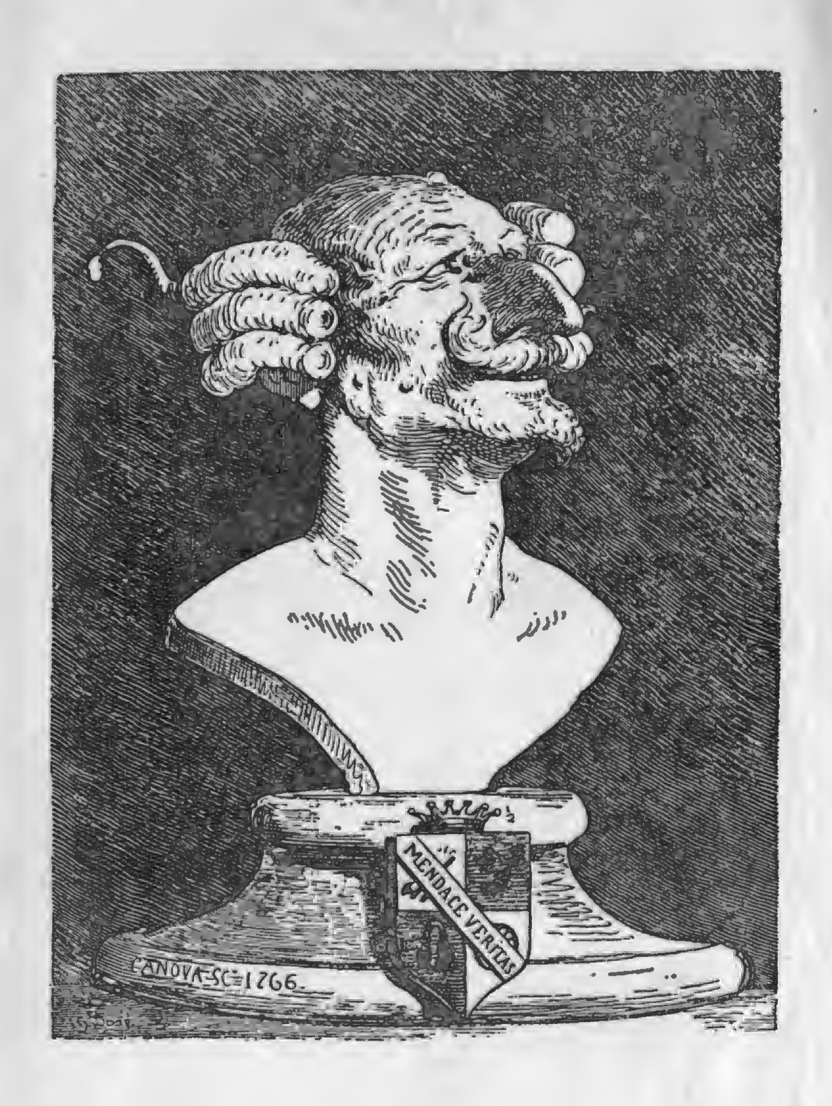
ДВА
МЮНХГАУЗЕНА







Минск
«Беларусь»
1993


MENDACE VERITAS
CANOVA SC 1766

ДВА МЮНХГАУЗЕНА

*Удивительные приключения
барона Карла
на суше и воде,
на войне и на охоте,
верхом и в карете
и столь же невероятные
похождения его внука,
побывавшего
в кармане сюртука,
в старинном замке
и в других местах*

ББК 84.4Г
Д 22
УДК 830-3

Печатается по изданиям:
Э. Распе. Вечера барона Мюнхгаузена. М., 1927
Г Бюргер. Удивительные приключения
барона Мюнхгаузена. М., 1956
К. Иммерман. Мюнхгаузен.
История в арабесках. М.; Л., 1931

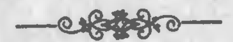
Перевод с немецкого

Составители и авторы предисловия
С. А. КОРЕНЬ, А. В. САПУН

В оформлении книги использованы гравюры *Г. Доре*

Д 4703010100—021 / М 301(03)—93 Без объявл.
ISBN 5-338-00911-0

ЛЮБЯЩИМ ШУТКУ И ЗНАЮЩИМ В НЕЙ ТОЛК



Мюнхгаузен — не выдумка. Такой человек действительно жил. Звали его Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен-ауф-Боденвердер. Родился он в 1720 году возле Ганновера и умер в 1797 году. Принадлежал к богатому и знатному дворянскому роду Германии, давшему стране многих известных государственных деятелей. «Наш» Мюнхгаузен в молодости был бравым офицером, состоял некоторое время на русской службе в годы царствования Анны Иоанновны.

Небезынтересно, что, по слухам, служил он в Гродненском полку, бывал в гостях у своих сослуживцев в поместьях, исторические следы которых затерялись ныне в благодатных уголках Литвы и Беларуси. Участвовал барон и в двух походах против турок, в освобождении Очакова.

Вернувшись домой после странствий, Мюнхгаузен поселился в своем поместье, увлекался охотой, принимал у себя друзей, в которых не было недостатка, любил рассказывать им о своих приключениях в России и иных местах. Как человек жизнерадостный, да к тому же охотник, да в окружении таких же охотников, да со стаканом вина в руках, барон чрезвычайно увлекался, безудержно фантазировал. Неправдоподобие его рассказов забавляло слушателей. Некоторые истории при посредничестве друзей пошли гулять по окрестным усадьбам добропорядочных немцев, обрастать новыми подробностями. Видимо, уже в ту пору барон слыл в округе отчаянным вралем. Но вряд ли это его беспокоило. Говорят, жил он легко и беспечально.

Знакомство с биографией Мюнхгаузена рождает серьезное подозрение: а не на белорусской ли почве так пышно расцвели заложенные родителями задатки, которые впоследствии сделали его знаменитым? Ведь не сюда он

привез свои истории и не здесь их рассказывал. Здесь он слушал и постигал прелесть и мудрость вымысла. Ну, а в нашем отечестве никогда не было недостатка в говорунах и выдумщиках,— кого хочешь научат. К тому же, по преданиям, местная брага на меду чрезвычайно располагала к продолжительным беседам. Так или иначе, но несомненно одно: подаренный Мюнхгаузену знаменитый литовский конь в жеребячьем возрасте учился щипать сочную травку где-то здесь поблизости. Именно отсюда и на этом жеребце отправился барон выдворять из крепости басурманов. О штурме крепости он и рассказывал друзьям с каким-то особенным удовольствием и без показной скромности.

Занимательные беседы в поместье имели непредвиденные последствия. Получилось вот что. В 1781 году вышел юмористический «Сборник для веселых людей», и в нем впервые появился Мюнхгаузен как литературный персонаж. Затем случилось так, что немецкий литератор и хранитель нумизматической коллекции Рудольф Эрих Распе (1737—1794), замешанный в какой-то авантюре с вверенными ему монетами, был обвинен в растрате и поспешил сбежать в Англию. Это было далеко, и поэтому туда убегали многие, кого бес попутал. На этом все могло и закончиться для нас. Но то ли Рудольфу Эриху попался там на глаза тот самый сборник для веселых, то ли ему в свое время посчастливилось самому погостить в доме Мюнхгаузена и наслушаться его рассказов — об этом никто уже не узнает. Как бы там ни было, в 1786 году Распе выпустил в Англии небольшую книгу под названием «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях». При этом сам он предпочел остаться анонимом, а незадачливого барона представил почтенной публике под настоящим именем. Талантливое сочинение Распе (его авторство было установлено нескоро) попало на родину, получило широкое распространение и, говорят, причинило немало огорчений пожилому балагуру, выставленному в нем без должного почтения к титулам и заслугам. Но это было только начало.

Следом за Распе известный немецкий поэт Готфрид Август Бюргер (1747—1794), которому понравилась книга Рудольфа Эриха, переработал, дополнил и издал ее под длинным, по той моде, названием «Удивительные путешествия по воде и по суше...» и так далее до конца заголовка, который полностью можно прочитать в нашем сборнике. Эта книга выдержала несколько изданий в

Англии, затем в Германии, переводилась на другие европейские языки, пересказывалась, переделывалась и стала, наконец, самым популярным и всемирно известным сочинением о Мюнхгаузене. Но и на этом приключения барона не закончились. Появились многочисленные подражания, продолжения, написаны были оригинальные пьесы, возник Мюнхгаузен II, и, наконец, не во всех своих начинаниях удачливый драматург, романист и театральный деятель Карл Лебрехт Иммерман (1796—1840) вывел на сцену Мюнхгаузена-младшего, третьего по родословной линии — внука бывшего гусара Гродненского полка.

Барон-внук — такой же вдохновенный враль и фантазер, как и дед. Но этот роман наполнен острой сатирой на современные Иммерману литературные, научные и общественные движения, теории и текущие события, пародирует многие произведения. Иммерман походя восхваляет приятных ему людей и сводит счеты с другими за причиненные когда-нибудь большие и мелкие обиды. Одним словом, Иммерман убеждает нас, что и прежде в литературных и театральных кругах кипела жизнь, отличающаяся от нынешней разве только в деталях.

Так вот, «Мюнхгаузен» Иммермана тоже в короткий срок обошел все страны и принес автору мировую известность. Еще бы — юный отпрыск знатного рода плетет на страницах книги невероятные кружева повествования, а между делом пересыпает свою речь весьма остроумными сентенциями, чувствительно язвит в адрес здравствующих и хорошо известных читающей публике лиц. Пусть не все намеки и иносказания барона понятны и близки современному читателю, однако это обстоятельство не снижает интереса к произведению, обошедшему мир и незаслуженно забытому на многие годы в нашем отечестве.

Предлагая вниманию читателей произведения трех авторов о двух Мюнхгаузенах, составители надеются, что соседство сочинений Распе и Бюргера ни у кого не вызовет возражений. В этом соседстве нагляднее видны преемственность и творческое развитие вымысла, заметны мифологические истоки некоторых сюжетов Мюнхгаузиады. А роднит все три произведения то, что и авторы, и их персонажи были веселыми людьми и знали толк в хорошей шутке.

С. А. Корень,
А. В. Сапун



Рудольф Эрих Распе

ВЕЧЕРА БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ



Сегодня, дорогие друзья, я расскажу вам о небольшом приключении на острове Цейлон, куда я, еще будучи юношей, сопровождал своего дядю.

Дядя был другом местного губернатора, устроившего нам великолепный прием. И вот однажды я вместе с братом губернатора отправился на охоту. Невыносимый зной утомил меня, и я несколько отстал от своего спутника. Идя по берегу большого озера, я вдруг услышал какой-то шорох, обернулся и... окаменел.

Огромный лев — в этом не было никакого сомнения — решил позавтракать моей ничтожной особой. При мне было лишь ружье, заряженное дробью и бессильное против льва. Я попытался все же его испугать и выстрелил. Это еще больше раздразнило льва, и он кинулся на меня. Что оставалось делать! Слыша рычание льва чуть ли не над собою, я бросился на землю — и вовремя: лев пролетел через меня.

Но это еще не все. Лежа на земле, я услышал необычайно странные звуки и осторожно приподнял голову. Что же оказалось? Можете ли вы представить себе мою радость, когда я увидел, что голова льва застряла в пасти крокодила, по-видимому, высунувшегося из озера и подстерегавшего меня с другой стороны. Перелетая через меня, лев и угодил ему прямо в глотку. От возни обоих друг с другом и стоял тот страшный шум, о котором я упоминал.

Тогда я вскочил, схватился за свой охотничий нож и одним сильным ударом отсек голову льву. Бездыханное тело упало к моим ногам. Ни секунды не медля, я прикладом вбил голову льва в пасть крокодила, благодаря чему чудовище, конечно, задохлось. Над этими двумя трупами и нашел меня прибежавший мой спутник. Поздравив меня с победой, он помог мне измерить длину крокодила: оказалось около шести саженей. Сейчас шку-

ра этого крокодила выставлена в городском музее Амстердама, служитель которого, к сожалению, любит приврать...

Так, например, по слухам, дошедшим до меня, этот смотритель уверяет посетителей, будто лев проскочил сквозь все туловище крокодила и вышел через задний проход. Он рассказывает, что, едва показалась сзади голова льва, я отрубил ее вместе с хвостом крокодила. Как мало нужно уважать истину, чтобы передавать подобные бредни. Благодаря вот таким наглым выдумкам может пасть подозрение и на меня, никогда не отступающего от правды при изложении фактов. Со стороны смотрителя музея такое поведение крайне бестактно и бесцеремонно!

Да и зачем прибавлять что-либо от себя, когда действительность, подстерегающая нас на каждом шагу, сама по себе чрезвычайно интересна?

Если уж хотите, друзья мои, еще более интересным может показаться такой случай, приключившийся со мною во время поездки по России. Я направлялся в Санкт-Петербург. Была зима, и я, купив лошадь и сани, преспокойно держал свой путь. Вдруг, проезжая лесом, я заметил вдали огромного волка, несомненно, желавшего меня догнать. Голодный и страшный вид его не обещал мне никакой надежды на спасение.

Долго раздумывать не приходилось. Я быстро юркнул на дно саней, предоставив свою несчастную лошадь ее судьбе. Как и следовало ожидать, разъяренный зверь, не обратив внимания на распластавшегося внизу человека, перескочил через меня и впился в заднюю часть лошади, которую начал пожирать с бешеным аппетитом.

Тихонько приподняв голову и заметив, что пасть волка вошла в тело лошади, я схватил кнут и стал нещадно колотить кнутовищем по зверю. Испугавшись этого неожиданного нападения с тыла, волк, естественно, рванулся вперед, отчего труп лошади упал на землю, а в упряжке оказался сам волк. Немилосердно подхлестывая зверя, не давая ему, так сказать, опомниться, я быстро домчался до Петербурга, к немалому, конечно, изумлению простодушных жителей северной столицы.

Вообще же в этой чудесной лесистой стране мне довелось испытать немало забавных, а порою и поучительных приключений. Когда я вспоминаю их, у меня является бодрость и желание их повторить. Помню, например, как однажды утром я заметил из окна своей спальни, что

обширный соседний пруд сплошь покрыт дикими утками. Я схватил ружье и с такой быстротой спустился вниз, что налетел лбом на дверной косяк, отчего искры посыпались у меня из глаз. Присутствие духа и умение использовать опыт прошлого — вот истинная доблесть как настоящего воина, так и подлинного охотника!

Приблизившись к пруду и подняв ружье, я убедился, что от удара пострадал не только мой лоб: кремень соскочил с курка, и высечь огонь было нечем. Но мгновенно вспомнив о свойстве человеческих глаз, я нацелил ружье в диких уток, а страшным ударом кулака снова высек искры из одного из своих глаз. Раздался выстрел, и более 50 пар уток были немедленной наградой находчивому охотнику, т. е. в данном случае — мне.

Впрочем, надо признаться, господа, что не только находчивость, но и случай нередко бывает добрым пособником каждого охотника, в чем и мне приходилось, конечно, убеждаться. Случай сделал, к примеру, то, что я встретил однажды на лесной тропинке великолепного стройного оленя, в то время как патронташ мой был совершенно пуст, а я лакомился вишнями, которые держал в руке.

Ради шутки я насыпал в дуло пороху вместе с вишневыми косточками и выстрелил в оленя. Оглушенный олень зашатался и пустился наутек. Спустя год или, может быть, два после этого я очутился с большой компанией в том же лесу, и вдруг... можете ли себе представить, кто нам повстречался: мой олень! Я его тотчас же узнал, потому что между рогами — в том именно месте, куда попал мой заряд,— у него высилось чудесное вишневое дерево, сажени полторы в вышину. Одним выстрелом я уложил на месте оленя, получив одновременно и прекрасное жаркое, и чуть ли не целый вишневый сад: так обильно дерево было осыпано плодами. Добавлю, что более спелых и вкусных вишен, по общему признанию, никто из нашей компании не едал!

Выпьем еще по бокалу, дорогие мои, и разойдемся на ночлег, так как я менее всего хотел бы в нынешний вечер злоупотребить вашим вниманием, которое нередко притупляется не только от всевозможных врак, но и от изобилия совершенно подлинных историй.

ВЕЧЕР ВТОРОЙ

Да, государи мои, мужество и энергия — вот те свойства, которые необходимы охотнику, но этого еще мало. Он должен знать все, что относится к его занятию, и уметь выбирать живые существа по их качествам, а предметы — по их материалу.

Я умел выбирать собаку или лошадь так же хорошо, как и найти для себя ружье или порох. Все вы слышали, конечно, о любимой моей борзой, с которой я неизменно охотился в течение многих лет. Как она травила дичь, как она бегала — на сотни верст вокруг не было подобной собаки! Но вот, наконец, от бесконечного бегания лапы у моей борзой стерлись. Что же из того? Я все-таки не оставил верной собаки и держал ее в качестве таксы. Все, кто видел, восхищались моей таксой, и в этом новом виде своем собака служила мне еще много лет.

Что же касается материала, то, как я уже выразился, сорт его играет первостепенную роль. Помню, как я добился даже от песка такого высокого качества, что сумел оказать благодаря этому величайшую услугу персидскому шаху. О случае этом вы можете прочитать в любом астрономическом учебнике Персии.

Дело было так. Покойный шах был, как известно, мечтательнейшая натура. Ничего не доставляло ему такого удовольствия, как ночные прогулки при луне. Когда я прибывал в Шираз, его величество брал меня обыкновенно с собою на такие прогулки, во время которых милостиво напевал мне песни знаменитого персидского поэта Гафиза.

Однажды, прогуливаясь по аллее, обсаженной благоуханными розами, его величество схватил меня за рукав.

— Гляди! Опять на Луне появились эти отвратительные пятна!

Я хотел объяснить шаху, что это явление называется у нас частичным лунным затмением, но шах прервал меня восклицанием:

— Какие глупости! Это пятна ржавчины, которая появляется на Луне вследствие сырой погоды. Спроси у моего придворного астронома.

Возражать было невозможно, и единственным желанием моим сделалось желание очистить Луну от этих огорчающих шаха пятен. Ночью же я разыскал прибывшего вместе со мною корабельного плотника, и мы без

труда в течение нескольких часов начертили план сооружения, при помощи которого решили спустить вниз Луну.

Утром на аудиенции я доложил его величеству о своем плане.

— Мюнхгаузен,— воскликнул шах, обнимая меня,— если ты действительно очистишь Луну, клянусь бородою пророка, я сделаю тебя графом персидским!

Главное, нужно было добыть тончайшего песку, способного не только счистить ржавые пятна с Луны, но и отполировать ее заново. По приказу шаха, в мое распоряжение отдано было несколько рот солдат, и шестьсот человек день и ночь работали специально над просеиванием песка. Через две недели все было готово: и сооружение для спуска Луны, и песок. И смешно было думать о том, что в Европе воображают, будто Луна скрылась из-за так называемого новолуния, между тем как в действительности это мы в Ширазе спустили ее вниз и песком счищали ржавчину, портившую блестящую ее поверхность. Ни единого пятнышка не оставили мы на Луне.

Как-нибудь при случае, друзья мои, не забудьте мне напомнить, чтобы я показал вам ордена, полученные мною в Персии за эту маленькую услугу шаху.

Лучшее качество, как и высшая порода, это моя слабость, или, если хотите, моя сила. Какой-нибудь гвоздь у меня, и тот должен быть крепким, первосортным. Кстати, такой именно гвоздь, завалявшийся у меня в кармане, доставил мне однажды не что иное, как драгоценнейший мех великолепной чернобурой лисы.

Я встретил ее в одной из дремучих чащ русского леса. Шкура этого животного слишком ценна, чтобы портить ее пулями или даже дробью. Тут-то я и вспомнил о своем гвозде и, достав его из кармана, зарядил им ружье. Один меткий выстрел — и превосходный хвост Рейнеке-Лиса был пригвожден к дереву без всякого вреда для его меха. Тщетны были попытки вырваться, гвоздь держал крепче капкана. Я спокойно подошел к животному, вынул свой охотничий нож и сделал надрез на морде лисицы. Затем несколькими ударами хлыста я заставил лисицу вылезть из своей шубы, так что она голая пустилась наутек. Воображаю, как ее встретила лисья семья, когда она явилась домой в таком непритязательном виде! Во всяком случае, я вернулся домой более богатым, чем эта бедняга, жертва моего отличного гвоздя.

Разумеется, изобретательный гений человека способен придавать вещам свойства, которых они и не имели.

Мне пришлось как-то убедиться, что обыкновенная на вид мазь получила способность, которую необразованный ум мог бы принять за чудо. Дéло в том, что один уехавший в Америку приятель прислал мне как-то в подарок несколько банок помады для волос своего изготовления. Я бороды никогда не носил и велел своему лакею поставить эти ненужные мне банки в кладовую. Он уместил их на окне, выходившем на солнечную сторону.

Спустя несколько месяцев, друзья мои, вхожу я в кладовую и вижу, что под влиянием солнечного зноя жир в банках растаял и расползся по помещению, покрыв пол чуть не по колено. Из любопытства я обмакнул в эту массу палец и помазал у себя под носом. Наутро, взглянув в зеркало, я вскрикнул от изумления: на месте, к которому я прикоснулся над губой, вырос большой и шелковистый, истинно гусарский ус.

Тогда я решил подшутить над своим цирюльником, приходившим брить меня через день. Едва он меня побрил, я вышел в другую комнату и натер подбородок подарком моего приятеля. Через несколько минут я вернулся к цирюльнику и сердито указал ему на щетину, уже выступившую на выбритых местах. Изумленный брадобрей снова повторил свою работу. Но я был неумолим: семнадцать раз, побрившись, я выходил из комнаты и тотчас же опять возвращался с бородой. У цирюльника окончательно притупились все бритвы, и от усталости он едва мог двигать руками. Никогда не забуду я этой потехи и очень сожалею, что у меня не осталось сейчас ни капли этой чудесной помады: то-то мы позабавились бы снова!

Признаться, я после описанного случая всю помаду израсходовал на своего пони. Он сделался длинношерстистым и курчавым, как пудель, и прохожие очень смеялись, когда он бегал за мною, как огромная собачонка, и только ржал, вместо того чтобы лаять. Неважно пришлось тогда лишь моему кучеру, ухаживавшему за этим пони. На руках его, на ладонях, выросли густые и длинные пряди волос, а когда он случайно прикоснулся к щеке, то и на ней выросло нечто вроде пушистого хвоста, так что кучер утешился только тем, что взял у меня расчет и стал показывать себя на ярмарках, чем и заработал впоследствии, как я слыхал, немалую толику денег.

Если бы не поздний час, я рассказал бы вам, дорогие друзья, о последующих приключениях с этим же литовским конем.

Но это от нас не уйдет, а пока я пожелаю вам спокойной ночи и самых лучших сновидений. Надеюсь, что правдивые истории, услышанные вами от меня, поспособствуют тому, чтобы сны ваши были действительно приятны.

ВЕЧЕР ТРЕТИЙ

Чокаясь с вами, друзья и приятели, я вспоминаю, как далеко от этой мирной обстановки приходилось мне бывать и даже иногда перестаю удивляться недоверчивым людям, которые косо поглядывают на рассказчика, хотя и не могут сомневаться в абсолютной точности его повествований.

Можно ли сравнить окружающее меня теперь благополучие с тем далеким временем, например, когда, попав к туркам, я вынужден был сторожить султанских пчел. Ранним утром мне приходилось выгонять их на луг, где они питались соками полевых цветов, а к вечеру вновь загонять их в ульи. И вот однажды, когда начало темнеть, к ужасу своему,я заметил, что в стаде моем недостает одной пчелы. Бросившись на поиски ее, я набрел на такую сцену: два медведя, повстречав мою пчелу, напали на нее и собирались, по-видимому, растерзать ее, чтобы воспользоваться ее запасом меда. При мне не было, разумеется, никакого оружия, кроме маленького серебряного топора, являющегося отличием султанских сторожей.

С перепугу, запустив моим топориком в медведей, я прицелился слишком высоко, и топорик, взлетев вверх, зацепился за краешек серповидной Луны и повис на нем. Хорошо, что я вспомнил тотчас же о турецких бобах, которые в своем росте достигают поразительной высоты. Взобравшись по стеблю такого растущего боба, я без труда достиг края Луны, но найти мой топорик среди этого лосиящегося отблеска пространства, признаюсь, мне было нелегко. Все же, в конце концов, я разыскал его в куче золотистой соломы и хотел было спуститься тем же путем вниз, когда, к ужасу своему, убедился, что стебель боба засох и для спуска уже не годился.

Выручила, как всегда, изобретательность, не покидающая меня в несчастьях. Я сплел веревку из соломы, прикрепил к рогу Луны и начал спускаться. Когда веревка

кончилась, я топором отрубил верхний конец ее и привязал его к нижнему. Таким образом, то и дело обрубая и подвязывая веревку, я оказался уже в нескольких милях от земли, когда подпорченная этими махинациями веревка не выдержала, и я полетел на землю.

Удар был настолько силен, что я своим телом вырыл яму саженей десять в глубину, и, чтобы выкарабкаться из нее, мне пришлось ногтями выдолбить в земле ступени. Но все же я благополучно снял с Луны свой серебряный топорик и вернулся к своим обязанностям без всякого урона.

Гораздо больше интереса для вас, друзья мои, представит, вероятно, мое второе путешествие на Луну, во время которого мною сделано было много в высшей степени любопытных научных наблюдений. Некоторые из них я постараюсь изложить вам, так как память моя, за исключением, быть может, самых ничтожных мелочей, сохранила их в должной неприкосновенности.

Один дальний мой родственник, назначивший меня своим наследником, захотел проверить россказни Гулливера о людях необычайной величины и, зная мою точность в изысканиях и записях, наметил именно меня для выполнения этой миссии. Я лично не поклонник Гулливера, так как не люблю никаких преувеличений, но, не имея возможности отказать почтенному моему родственнику в его просьбе, я сел на корабль, отправляющийся в Южный океан.

Как это часто бывает в океане, на нас налетел страшный ураган и поднял наш корабль на чудовищную высоту над обычным уровнем воды. На этой высоте мы и оставались до тех пор, пока новый шторм не раздул наших парусов и не погнал нас вперед среди туманов и облаков небесного свода. Несясь таким образом, мы увидели вдали огромное круглое и блестящее пространство и спустя некоторое время, найдя удобную гавань, пристали к нему. Это была Луна. Под нами расстилалась территория с городами, реками, горами и пр., в которой мы без труда признали покинутую нами Землю.

Начну с обитателей Луны. Прежде всего — они не рождаются, а вырастают на деревьях. Это очень красивые деревья, с листьями телесного цвета и с большими стручками, в которых и таится будущее человечество Луны. Когда стручки созревают, их собирают и складывают про запас. Желающий иметь детей бросает эти стручки в кипящий котел, после чего твердая оболочка

раскрывается и на свет выходят маленькие живые существа. Надо вам заметить, что деревья, дающие человеческое потомство, бывают разных пород: из одних выходят адвокаты, из других — солдаты, из третьих — священники, из четвертых — клоуны, и так далее. Каждый ребенок, вылупившись, тотчас же начинает упражняться в своем занятии и — к радости того, кто бросил в котел стручок,— вскоре достигает значительного совершенства.

Средний рост жителя Луны можно считать саженей в пять. Для еды ему необходимо тратить меньше усилий, чем нам, так как у него нет надобности в жевании: пониже груди, с левой стороны, у него имеется отверстие, открыв которое, он вкладывает пищу прямо в желудок. Затем отверстие закрывается, и до следующего месяца обитатель Луны сыт. Таким образом, прием пищи производится им только 12 раз в год. Нашим гастрономам и лакомкам я не посоветовал бы переселяться на Луну!

На Луне все имеет громадные размеры. Взамен лошадей местные жители пользуются коршунами о трех головах, причем каждое крыло этой птицы величиной превышало в несколько раз главный парус нашего корабля. Мы встретили как-то скачущее насекомое, по размерам гораздо большее, чем наша овца. Оказалось, что у них это обыкновенная блоха. Нам сообщили, что царь Луны находится в состоянии войны с царем Солнца, и показали образцы оружия, которым пользуются на войне. Это были редиски: жители Луны их мечут, как дротики, прикрываясь щитами, сделанными из шляпок грибов. Раненый редиской умирает мгновенно; когда же для редисок проходит сезон, их вполне заменяет спаржа.

Самое оригинальное, что отличает людей, населяющих Луну, от нас, это то, что голову они носят не на плечах, а под мышкою правой руки. Когда они отправляются в опасное путешествие, то, чтобы не рисковать головою, они оставляют ее дома. Вас может удивить, друзья мои, каким образом эти люди обходятся некоторое время без головы, хотя и в нашем земном быту попадаются порою люди, о которых можно подумать, что они обходятся без этого украшения. Но, в отличие от наших, жители Луны обладают способностью совещаться со своей головой на расстоянии, что считается у них даже как бы признаком хорошего тона. Когда кто-либо из власть имущих на Луне желает знать, что говорится и делается среди простого народа, то он посылает свою голову побродить в толпе, после чего она возвращается к своему

владельцу с подробным докладом обо всем виденном. Отличаются от нас жители Луны также и способом своей смерти. Достигнув глубокой старости, они поднимаются ввысь и среди облаков расплываются, как дым.

Чуть не позабыл вам еще рассказать, что у обитателей Луны нет ни кишок, ни печени, ни других внутренностей: лунные люди имеют возможность пользоваться своими телами как сундуками или ящиками, отпирающимися, когда нужно; естественно, что там они и хранят свой скарб или ценные для них вещи.

Любопытно еще вот какое обстоятельство у этих людей: как головы их легко отделяются от туловища, так и глаза их очень просто отделяются от головы. По желанию их можно вынимать из орбит и даже в руках видеть ими не хуже, чем в обычном их состоянии. Испортив себе глаз или потеряв его, житель Луны покупает себе другой, почему на базарах и в магазинах идет бойкая торговля глазами. Торговцы ловко пользуются этим обстоятельством и постоянно устанавливают новую моду: то на зеленые глаза, то на серые, то на голубые.

Кстати, там же мне удалось повидать и обитателей Сириуса, которые иногда приезжают на Луну по торговым делам. Они пониже ростом и, кроме того, отличаются тем, что глаза у них помещаются под носом и лишены век. Когда они ложатся спать, то закрывают глаза кончиком высунутого языка.

Вот, пожалуй, и все наиболее поучительное, что я вынес из своего путешествия на Луну. Если бы среди вас, милые мои друзья, нашелся какой-нибудь скептик, который усомнился бы в каких-нибудь подробностях моего описания, то стоит ему повторить мое путешествие, и он без труда убедится, что память моя не изменила мне ни в чем. А теперь чокнемся еще раз и — спокойной ночи.

ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ

Я расскажу вам сегодня о моем литовском коне, которого я получил от графа Пржобоского в подарок. Он сделался моим боевым товарищем, и, поистине, с этим конем я должен разделить свою славу. Как вы знаете, я не принадлежу к тем людям, которые любят рассказывать чудеса о своей храбрости и о своих победах. Мне всегда чрезвычайно странной казалась манера какого-либо короля или королевы говорить о своих военных

лаврах, в то время как его или ее величество никогда, конечно, и не нюхали пороху и видели своих солдат только на торжественных парадах.

Ничуть не претендуя на какие-либо особые заслуги на поле брани, я всегда честно выполнял свой долг солдата. В одной из таких экспедиций и принял деятельное участие мой литовский конь. Дело было под Очаковом, куда мы загнали турок. Во время горячей схватки с врагом я заметил, что на меня надвигается облако пыли, скрывающее новые полчища турок. Я велел своим гусарам поднять такие же облака пыли с обоих флангов, а сам бросился на врагов, обратив их в беспорядочное бегство. Разбитые наголову, они не только были загнаны в крепость, но даже были выгнаны из нее, чего мы вовсе не ожидали. Преследуя турок на своем литовском коне, я остановился среди базарной площади и с изумлением оглянулся: вокруг меня не было больше никого — ни врагов, ни своих. Куда же они все подевались?

Раздумывая над этим, я подъехал к колодцу, чтобы напоить своего запыхавшегося коня. Он начал пить. Пил, пил, и, наконец, мне стало казаться, что этому питью не будет конца. Прошло пять минут, десять, полчаса... Но вот я оглянулся, чтобы посмотреть, не видно ли где-нибудь моих гусаров. И что же я увидел? Задняя половина моего великолепного коня была отрезана, как ножом, и все, что животное так жадно впивало в себя, било фонтаном, выливаясь через отверстие, пересекавшее туловище коня на середине. Вот чем и объясняется его неутолимая жажда!

Повернув оставшуюся половину коня обратно, я поскакал на двух передних ногах его к тем самым воротам, через которые ворвался в крепость, преследуя турок. И тогда все сделалось ясным. В пылу преследования я не заметил, как кто-то, когда я въезжал в крепость, опустил шлагбаум, перерезавший пополам моего коня. Тут же, у ворот, возле шлагбаума, и лежала недостающая задняя часть славного животного, еще вздрагивающая от боли. К счастью, наш эскадронный коновал оказался настоящим мастером в таких делах: он тотчас же собрал молодые побеги лаврового дерева и сшил им обе половинки моего коня. Разрастаясь, эти побеги переплелись с внутренностями животного и вернули ему былую крепость и силу.

Мало того, пробиваясь наружу, лавровые ветви и листья образовали над седлом нечто вроде маленькой

беседки, нередко охранявшей меня в походах от действия знойного солнца. После этого не одно сражение выиграли мы еще вместе с моим благородным литовцем под сенью общих наших лавров!

К сожалению, во время моего турецкого плена (я уже упоминал об этой грустной поре, когда мне приходилось нести обязанности пчелиного пастуха) я вынужден был расстаться с моим красавцем-конем, и после заключения мира, будучи отпущен на волю, я вернулся в Россию, а оттуда на родину уже в карете.

Во время этого путешествия и приключилась история, получившая впоследствии широкую огласку, но удивительно искажаемая многими рассказчиками, почему я охотно сообщу вам сейчас, друзья мои, ту именно версию, которая наиболее соответствует действительности. Получать сведения из первоисточника — лучшее средство для того, чтобы не сделаться жертвой различных обманщиков и хвастунишек.

В ту зиму не только в России, но и по всей Европе стояли такие холода, что даже солнце отморозило себе нос. Однажды пришлось нашей почтовой карете проезжать узкой проселочной дорогой, и, чтобы не столкнуться с другими каретами, я приказал почтальону дуть в свой рожок. Он дул долго и что было силы, но ни один звук не выходил из его сигнального рожка.

Грустные последствия этого странного обстоятельства не преминули сказаться. Очень скоро мы заметили, что нам навстречу бешено мчится другая карета, и остановить ее было поздно. Что оставалось делать? Я мгновенно выскочил из своей кареты и, обладая изрядной физической силой, поднял ее и перескочил через забор (принимая во внимание значительный наш багаж, надо признать, что это было делом нелегким). Не теряя ни мгновения, я вернулся за лошадьми, взяв одну под мышку, а другую напялив на голову, и перенес их таким же манером к карете. Вспоминаю, что лошадь под мышкой очень брыкалась, и мне пришлось засунуть ее задние ноги в карман. Встречная карета проехала, и я снова перенес нашу карету и лошадей на дорогу, после чего мы уже беспрепятственно добрались до ближайшей гостиницы и в ней заночевали.

Вот тут-то и приключилась нашумевшая история. Почтальон повесил свою шляпу и рожок на гвоздь возле печки, затем мы разделись и готовы были уже уснуть, как вдруг раздались чрезвычайно мелодичные звуки, и,

к изумлению нашему, мы убедились, что они исходят... из отверстия рожка!

После короткого раздумья мы поняли, впрочем, что ничего чудесного тут нет. Когда почтальон многократно дул в свой рожок, звуки в нем замерзали (я уже упоминал о страшных холодах той зимой), чем и объяснялась тщетность его усилий в пути. Теперь же звуки эти оттаяли и изливались перед нами в тех самых мотивах, какие выдувал своими губами почтальон. Песни, услышанные нами, несомненно, делали честь его музыкальному дарованию! Тут были и «Ой вы, сени мои, сени», и «Ах, мой милый Августин», и несколько кавалерийских маршей, и многие народные песни, далеко за полночь услаждавшие нас. Вот как в точности было дело со звуками, замерзшими и оттаявшими в почтовом рожке.

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ

Дорогие друзья охотники! Я заметил, что некоторых из вас особенно заинтересовала та часть моих повествований, где я упоминал о своем пребывании в турецком плену.

Им, я думаю, еще более любопытным покажется то обстоятельство, что турецкому султану, державшему меня в качестве сторожа при своих пчелах, пришлось принимать меня вторично, но уже совсем в иной роли — в роли чрезвычайного посла со специальным дипломатическим поручением от венского двора!

Моя отвага, с одной стороны, и находчивость — с другой, были особенно подчеркнуты и похвалены его величеством султаном. Щедро наделенный всеми благами со стороны падишаха, я отбыл в Каир.

Отъехав немного от Константинополя, я со своей свитой заметил очень тощего человека, с необычайной быстротой приближавшегося к нам. Вскоре мы увидели, к изумлению своему, что к каждой ноге бежавшего была прикреплена огромная гиря.

— Куда ты спешишь так, дружище? — окликнул я его.— И почему у тебя на ногах гири?

— Я скороход,— отвечал мне тощий человек, останавливаясь.— Часа два тому назад я вышел из Алжира, где служил у тамошнего бея. Но так как мне не хочется торопиться, то я привязал к ногам гири для задержки.

Этот молодец понравился мне, и я взял его к себе на

службу. Он сел на одного из моих верблюдов, но, то и дело соскакивая с него, убегал мили на две вперед и потом опять возвращался: таково свойство привычки. Сегодня уже поздно, милые мои друзья, но в следующий раз я не премину вам рассказать о том, насколько удачен был в этом отношении мой выбор. Пью за ваше здоровье и не сомневаюсь в том, что предстоящая ночь будет для вас безмятежно спокойна.

ВЕЧЕР
ШЕСТОЙ

Итак, я обещал вам, друзья мои, описать дальнейшие свои похождения в Турции.

Должен сообщить вам, что из Каира я не сразу возвратился в Константинополь, так как желал отдохнуть и в качестве частного лица побродить по знаменитому Нилу. Наняв лодку, я поплыл в Александрию, надеясь в пути полюбоваться восхитительными красотами этой реки.

Желая соблюсти инкогнито, я никому не говорил о предполагаемой прогулке по Нилу, иначе меня, разумеется, предупредили бы о том, что близится как раз срок ежегодного разлива этой великой реки. И вот на третий день путешествия мы вдруг почувствовали, что поднимаемся, поднимаемся и, наконец, потеряли из виду берега, потому что выступавшая вода залила всю страну.

Не рассчитывая на длительное пребывание на воде, мы не взяли с собой достаточно припасов и потому очень обрадовались, когда лодка наша запуталась в ветвях дерева, которые оказались покрытыми прекрасными спелыми плодами миндаля. Поднявшийся шторм потопил вскоре нашу лодку, и лишь благодаря этому чудесному миндальному дереву мы не только, уцепившись за ветви, продержались около полутора месяцев, но и вполне сытно питались все это время восхитительным на вкус миндалем. В питье, как вы сами можете догадаться, мы тоже не испытывали недостатка.

Наконец в начале седьмой недели вода начала быстро спадать, и мы, вместе с нею опускаясь вниз, нашли твердую почву, а вместе с тем и нашу лодку. Спустя несколько дней мы были уже в Александрии, откуда я со своей свитой вернулся в Константинополь к султану.

Естественно, что после необыкновенных услуг, оказанных мною повелителю правоверных, он полюбил меня

еще больше и, в конце концов, ни часу уже не мог прожить без меня. Впрочем, вы слышали, наверное, об этом периоде моей дружбы с султаном, так как об этом ходит масса россказней, и любой мусульманин, приезжающий в Европу по торговым делам, считает долгом похвалиться моей близостью с турецким султаном.

Но вот о чем знают, пожалуй, далеко не все, так как происшествие это сопряжено с обстоятельствами, которые падишах волей-неволей должен был скрывать от своих подданных, особенно от мусульман, настроенных слишком фанатично, а таких, как вы знаете, немало.

Султан любил выпить. Вам известно, что закон Магомета воспрещает употребление вина, и во время официальных приемов за столом султана подают самые изысканные яства, но всякие крепкие напитки исключены. Но по окончании обеда или ужина его величество обыкновенно делал мне условный знак последовать за ним, и в тайном кабинете султана мы нередко распивали с ним бутылку-другую тончайшего вина.

Однажды турецкий монарх подмигнул мне таким образом, а затем шепнул:

— Мюнхгаузен, сегодня мы попробуем с вами нечто необыкновенное!

Когда мы остались наедине и бутылка была раскупорена, я попробовал вино и сказал:

— Это недурно, ваше величество, но...

— Молчите, Мюнхгаузен,— вскричал султан.— Это последняя бутылка токайского, присланная мне одним венгерским вельможей! Неужели вы станете утверждать, что пробовали лучшее вино в своей жизни?

— Ваше величество,— спокойно отвечал я.— Для Мюнхгаузена правда всегда была дороже всего. Не скажу ничего плохого об этом напитке, но в сравнении с тем токайским, которое я пил некогда у императора в Вене, это вино для кучеров.

— Дорогой мой, что вы говорите! — воскликнул падишах.

— Для того, чтобы у вашего величества не было сомнений, готов биться об заклад, что через час я доставлю вам бутылку токайского прямо из венских императорских погребов.

Султан не на шутку взволновался.

— Вы говорите чепуху, Мюнхгаузен!

— Я говорю правду, ваше величество. Ставлю в залог свою голову, что через час здесь будет бутылка вина, пе-

ред которым это вино покажется отвратительной кислятиной.

— Хорошо же! — воскликнул падишах.— Так шутить со мной не может позволить себе даже лучший мой друг. Или вам придется проститься с вашей головой, Мюнхгаузен, или вы сможете получить из моей кладовой столько золота и драгоценных камней, сколько будет в состоянии унести с собой самый сильный по вашему выбору человек.

Я молча поклонился, попросил бумаги и чернил и написал несколько почтительных слов Марии-Терезии, дочери покойного императора, чрезвычайно благоволившего ко мне. Пари заключено было ровно в четыре часа дня. Спустя пять минут мой скороход, отстегнув на этот раз свои гири, шагал уже по направлению к Вене с моей запиской. Мы же с султаном сели допивать начатую уже бутылку его вина — в ожидании моего, лучшего.

Прошло 15 минут, потом 30, наконец 40, а моего скорохода все еще не было. В пять без четверти я начал тревожиться. Мне показалось даже, что султан стал поглядывать уже на звонок, чтобы вызвать палача. Я вышел в сад и заметил, что какие-то подозрительные люди следуют за мною по пятам.

Один из моих слуг узнал об этом, тотчас же взобрался на высокую лестницу и воскликнул:

— Я вижу его! Он лежит под деревом у Белграда, а возле него бутылка. Но я его разбужу!

С этими словами он выстрелил из своего ружья в дерево, под которым спал скороход, и тот, вскочив под дождем падающих на него листьев и сучьев, схватил бутылку и пустился продолжать свой путь. Оставалось ровно полминуты до пяти часов, когда скороход предстал с бутылкой пред султаном. Мне же он передал собственноручное милостивое письмо от Марии-Терезии.

Отведав вина, падишах обнял меня и сказал:

— Мюнхгаузен, я не скуп, но этого вина я с вами не разделю. Я оставляю его для себя, а вам предоставлю воспользоваться тем, что я проиграл.

И, позвав казначея, султан приказал выдать мне из своей сокровищницы столько драгоценностей и золота, сколько сумеет унести тот, кого я выберу для этой цели. Надо ли распространяться о том, что я выбрал своего слугу-силача. Мой богатырь, нисколько не раздумывая, сгреб все сокровища и деньги, какие он застал в султанской кладовой, и увязал их в один громадный узел, кото-

рый и взвалил себе на плечи. Остальные слуги уже заранее снарядили для меня корабль, к которому и направился силач со своим узлом. А перепуганный казначей побежал к султану с докладом о том, что казна его величества осталась совершенно пуста.

Мы почти достигли уже Средиземного моря, когда вдали показались преследующие нас многочисленные суда турецкого флота. По-видимому, его величество не выдержало и решило вернуть себе так неожиданно исчезнувшие, хотя и на вполне законном основании, сокровища своей казны. Но не тут-то было. На помощь нам пришел еще доныне не использованный мой слуга, мастер по части ветров. Он встал на корме, одну ноздрю направил в сторону турок, а другую — к главному парусу нашего корабля. Таким образом, в одно и то же время он выпустил бурю навстречу нашим преследователям и дал попутный ветер нашему судну, благодаря чему враги рассеялись в разные стороны с изломанными мачтами и растерзанными парусами. Мы же благополучно прибыли в Италию, где могли по заслугам отдохнуть после волнений и трудов.

Вот что значит уметь выбирать людей и вот что значит не теряться перед лицом любой опасности и доводить до конца начатое дело, если на твоей стороне справедливость и ничем не запятнанная честь. Рассказ о токайском вине, дорогие мои товарищи по охоте, не мог не вызвать у вас желания отведать и нынешнее мое токайское. Разрешите мне налить вам его и чокнуться с вами перед тем, как мы после этого прекрасного вечера разойдемся на отдых и на ночлег.

ВЕЧЕР
СЕДЬМОЙ

Вопрос о моем происхождении, о моих предках, естественно, интересовал уже многих, друзья мои, и я считаю вполне возможным, что он интересует и некоторых из вас. С удовольствием поделюсь с вами теми данными по этому вопросу, которыми владею я сам, тем более что в дальнейшем мне придется коснуться некоторых обстоятельств, имеющих отношение к моему роду или, вернее, к преимуществам, связанным с ним.

Происхожу я непосредственно от известной вам по библейской истории связи жены Урии с царем Давидом. Его величество осчастливил жену Урии потомством из

нескольких сыновей, после чего между ними произошла крупная ссора, и они расстались. Насколько я знаю, спор между ними возник по поводу того, где был сооружен Ноев ковчег, и так как ни к какому соглашению они не пришли, то разрыв был неминуем. И вот в ночь после разрыва жена Урии решила похитить у своего царственного друга сокровище, которым он пуще всего дорожил: это была праща, при помощи которой Давид убил Голиафа.

Едва жена Урии скрылась вместе с похищенной пращой, как пропажа была обнаружена, и царь послал вслед за беглянкой нескольких своих стражей. Обладая драгоценной пращой, жена Урии убила первого же из стражей, который осмелился преследовать ее, тем же способом, как сделал это Давид с Голиафом. Остальные стражи в ужасе повернули обратно.

Убегая, жена Урии не желала расстаться с младшим и любимейшим из своих сыновей и взяла его с собой. Ему она и завещала впоследствии пращу царя Давида. От этого сына и происхожу я. Чудесная праща, переходя последовательно от отца к сыну, попала, наконец, ко мне и оказала мне, как увидите, некоторые неоценимые услуги. Между прочим, прапрапрадед благодаря этой же праще в свое время сначала подверг большой опасности, а потом спас знаменитого английского поэта, которого звали, если не ошибаюсь, Шекспиром.

Было это`так. В Англии царствовала тогда королева Елизавета. Постепенно она так обленилась, что не только одеваться или раздеваться, но даже принимать пищу и выполнять другие неудобосказуемые отправления показалось ей обязанностью слишком тяжелой.

Мой предок гостил в это время в Англии, где весьма подружился с этим самым Шекспиром, любившим поохотиться за дичью и, за неимением своих угодий, проделывавшим это в чужих. По дружбе он брал у моего прапрапрадедушки пращу и пользовался чудесными свойствами ее для своего браконьерства, в результате чего и попал, разумеется, в тюрьму.

Узнав о вышеупомянутых затруднениях заплывшей жиром королевы, мой предок явился к ней и предложил, что предоставит ей возможность все нежелательные для ее величества отправления выполнять при помощи заместителя, на что королева с восторгом, конечно, согласилась. В награду же за свою услугу предок мой (он-то и брал на себя тяжелую роль заместителя) попросил освобождения из тюрьмы Шекспира. Благородный

рыцарь жертвовал собственным здоровьем для избавления друга!

Праща царя Давида дает возможность тому, кто владеет ею, проделывать самые необыкновенные вещи, чем немало воспользовался и я как для простых забав, так и для предприятий весьма серьезного свойства.

Для начала вам любопытно будет узнать о маленьких развлечениях, которые я позволял себе, пользуясь чудодейственными достоинствами своей пращи. Я скупил весь шелк, имевшийся в мануфактурных складах Лондона, и сделал из него колоссальной величины воздушный шар. Поднявшись на этом шаре, я ночью при помощи пращи снимал с места какой-либо густонаселенный дом и переносил его в дальний конец города, а взамен этого дома ставил другой, тоже перенесенный мною издалека. Можете себе представить изумление проснувшихся утром жильцов, которым я предоставлял возможность потом всю жизнь гадать, как это с ними случилось.

Или вспоминаю такой, тоже не лишенный юмора, случай. Ежегодно в конце сентября все врачи города собирались обычно на торжественный акт, который заканчивался товарищеским обедом. Происходило это в одном из обширнейших в городе официальных зданий, кровля которого завершалась куполом и шпилем. Взлетев на своем шаре над куполом этого здания и уцепившись пращою за шпиль, я поднял все это сооружение на невероятную высоту вместе с пирующими врачами и продержал их там более трех месяцев. Врачи, впрочем, не испытывали все это довольно продолжительное время никакого недостатка в пище, так как для ежегодного пира своего запасались обычно яствами поистине в чудовищных размерах.

Гораздо печальнее невинная шутка моя, должен сознаться, отразилась на таких почетных лицах города, как священники, гробовщики и могильщики. Дело в том, что, пока медицинская коллегия в полном составе своем висела в воздухе и доктора не могли навещать своих больных, пациенты, естественно, выздоравливали, и в городе не наблюдалось ни одного смертного случая, если не считать нескольких не достойных упоминания самоубийц. Положение гробовщиков и прочих заинтересованных лиц действительно можно было назвать отчаянным, и лишь к концу указанного трехмесячного срока им до некоторой степени пришли на помощь аптекари, начавшие самостоятельно отпускать лекарства и, таким обра-

зом, спасшие вышеназванных почтенных лиц от полного банкротства.

Впоследствии мне еще раз пришлось использовать свою пращу для поднятия большой тяжести, но уже в деле более серьезном и оставившем в истории след в виде воспоминаний обо мне, дорогих для каждого англичанина и по сие время. Происходило это во французской гавани Кале, где я заметил корабль с пленными английскими моряками, которых зорко стерегли французские матросы. Воздушного шара тогда уже при мне, к сожалению, не было, и мне пришлось для выполнения задуманного плана изготовить себе пару огромных крыльев. Ночью, когда и пленники и стража заснули, я поднялся на крыльях над кораблем, зацепил пращою, к которой приделал соответствующие крюки, за мачты корабля, вытащил его из воды и в какие-нибудь полчаса перелетел вместе с ним через канал и спустил корабль в английской гавани Дувр.

И пленные англичане, и сторожившие их французы проснулись лишь через несколько часов после этой моей операции, и предоставляю вам вообразить себе удивленные лица и тех, и других. Разумеется, пленникам и стражам пришлось тотчас же обменяться местами, со всеми последствиями, вытекавшими из этой перемены. Нужно отдать должное англичанам в том, что они, отобрав награбленное французами, не стали мстить и в свою очередь грабить неожиданно плененного врага.

Еще более серьезную услугу оказала моя праща двум английским офицерам — генералу и полковнику — во время осады Гибралтарской крепости, где я гостил в это время у моего друга генерала Эллиота, храброго защитника Гибралтара. Кстати, расскажу вам сначала о военном происшествии, участником которого мне довелось стать тотчас же по прибытии в крепость. После первых радостных излияний, обычных при встрече старых друзей, я отправился вместе с генералом Эллиотом взглянуть на наши и неприятельские позиции. Подняв свою великолепную подзорную трубу, я увидел, что осаждающие готовятся как раз выпустить в нас ядро из своей самой большой пушки. Я немедленно предложил генералу, чтобы мне доставили с батарей еще большую пушку, сам установил прицел, и в то мгновение, когда неприятель поднес фитиль к своему орудию, я приказал сделать то же и у нас.

Наблюдая все время в подзорную трубу, я увидел сле-

дующее: на полпути между обоими орудиями ядра столкнулись. Наше, как более сильное, отбросило неприятельское ядро обратно, причем удар был так мощен, что вернувшееся к врагу ядро снесло голову не только солдату, заряжавшему орудие, но и двадцати человекам, стоявшим позади него. Затем оно срезало еще и мачты у нескольких судов, но, видимо, от этого сила его ослабела, так что, перелетев на другой берег, оно лишь пробило кровлю в избушке какого-то бедняка и выбило несколько зубов у старухи, спавшей, к сожалению, с открытым ртом. Наше же ядро, оттолкнув неприятельское, в свою очередь, принесло врагу немалый урон: достаточно уже того, что, снеся все на своем пути, оно попало в ту самую пушку, которая выстрелила в нас, бросило ее на стоявший вблизи испанский корабль, где сила удара выбила дно, и корабль неприятеля немедленно пошел ко дну, увлекая за собою и тысячу испанских матросов.

Но возвращаюсь к услуге, оказанной англичанам моей пращой. Мы сидели с генералом Эллиотом за завтраком, который, правду сказать, был превосходен, когда на наш стол неожиданно упала вражеская бомба. Генерал, как это сделал бы каждый на его месте, убежал, а я схватил бомбу и, прежде чем она успела разорваться, отнес ее на пустынное место на краю крепости. Не успел я передохнуть после этого, как внимание мое привлекло какое-то движение у неприятеля. Взбежав на высокую скалу, я направил туда подзорную трубу. И что же оказалось? Английский генерал и английский полковник, с которыми лишь накануне мы прекрасно провели вечер, оказались захваченными в плен во время разведки и сейчас должны были быть повешены.

Раздумывать было некогда. Я схватил бомбу, только что принесенную мною, и при помощи своей пращи метнул ее в неприятельскую группу. Расчет мой оказался правильным: бомба убила всех присутствующих, кроме двух пленников, висевших уже высоко над землею, ибо я приурочил свое движение к моменту, когда их только вздернули. От сотрясения же почвы виселица, разумеется, упала, и повешенные оказались лежащими на земле. Они тотчас же вскочили на ноги, освободили друг друга и бросились к берегу, где без труда нашли испанскую лодку, и через несколько минут мы уже все вместе, после радостных приветствий, продолжали прерванный завтрак у гостеприимного генерала Эллиота.

Боюсь, дорогие друзья и товарищи, что немного

наскучил вам сегодня рассказами о подвигах, которые совершил, в сущности, не я, а доставшаяся мне как последнему представителю рода наша наследственная праща. Как видите, славное начало ее деятельности, положенное еще при царе Давиде, имело не менее славное продолжение. А засим — в этот поздний час позвольте пожелать вам спокойной ночи!

ВЕЧЕР ВОСЬМОЙ

Человек, жизнь которого принадлежит охоте и войне, как вы сами знаете, дорогие друзья, должен уметь с одинаковой стойкостью встречать и леденящий холод и сжигающий зной.

Никогда не забуду морозов, которые мне пришлось перенести, когда я, покинув Рим, направился в Россию. Как сейчас вижу больного и нищего старца, которого я встретил где-то в Польше, почти нагого, в то время как я дрожал от холода, будучи одет, конечно, гораздо теплее, чем он. Разумеется, я тотчас же бросил старику свою верхнюю одежду, а сам погнал возможно быстрее своего коня. Путь я совершал верхом, и, к тому же, совсем не зная дороги.

Немудрено, что вскоре я сбился с пути. Настала ночь, и, чувствуя страшную усталость, я остановился среди равнины, сплошь покрытой снегом, и привязал коня к какому-то чуть торчавшему из-под белого покрова пеньку. Сам же лег на снег и от утомления вскоре заснул. Когда я проснулся, в глаза мне ударил дневной свет. Оглянувшись, я увидел себя лежащим среди церковного двора. Вдали виднелись деревенские избушки, а конь мой куда-то исчез. Вдруг я услышал знакомое ржание где-то над собой. Взглянув вверх, я понял все: оказалось, что я лег спать у церкви, сплошь занесенной снегом, а коня привязал к шпилю колокольни, который я и принял за пенек. Теперь, когда снег растаял и я опустился вниз, лошадь моя продолжала висеть там же на уздечке, конец которой был прикреплен к шпилю. Метким выстрелом из пистолета я перешиб уздечку и, таким образом, получил обратно сверху своего коня, после чего беспрепятственно продолжал путь по оттаявшим уже дорогам.

Как ни холодно было мне во время только что описанного путешествия, но эта температура, конечно, не может идти в сравнение с той, какую приходилось мне выносить

в то время, когда я вместе с капитаном Фиппсом совершил известную экспедицию к Северному полюсу. Огромные льдины окружали нас со всех сторон, и на одной из таких льдин мне пришлось сыграть как-то довольно трудную роль, о чем я сейчас вам расскажу, если хотите.

Началось с того, что я заметил на глыбе льда двух дерущихся белых медведей и решил их громадными и великолепными шкурами овладеть. Карабкаясь по ледяным выступам и ухабам, я поскользнулся и, не выпуская из рук ружья, упал, причем удар был так силен, что я потерял сознание. Когда я пришел в себя, то увидел, что один из белых медведей держит меня за пояс моих брюк, намереваясь, по-видимому, куда-то унести. Но, к счастью, при мне был вот этот самый складной нож, который вы видите сейчас. Достав его из кармана, я ударил медведя по лапе, отрубив ему несколько пальцев, отчего зверь, понятно, выпустил меня из зубов, ибо начал реветь от боли. Я схватил ружье и застрелил медведя, но громкий звук выстрела разбудил тысячи других спавших на льду медведей, и все это стадо хищных белых великанов направилось прямо на меня.

В одно мгновение я сообразил, что мне надо делать, и, выпотрошив убитого медведя, обрядился в его шкуру и стал поджидать приближающихся зверей.

Медведи окружили меня со всех сторон, старательно обнюхав, но, не найдя ничего подозрительного и считая меня одним из своих сородичей, оставили в покое. Но что делать дальше? Мой небольшой в сравнении с подлинными медведями рост мне не мешал, так как я мог выдавать себя за медвежонка; относительно рева и прыжков я тоже не отставал от своих новых собратьев, но, разумеется, это не могло продолжаться бесконечно.

Как очень часто бывает, на помощь пришли мои знания. Удар ножа в позвоночный столб, как я знал, убивает животное мгновенно. И именно таким образом я ударил между лопаток самого большого из медведей. Он упал мертвым, не издав ни звука. Поощренный этим, я последовательно таким же способом уложил на месте одного за другим всех медведей. Вернувшись затем на корабль и захватив с собою почти весь его экипаж, я привел матросов на место моего Самсонова побоища, где мы поснимали шкуры с медведей и перетащили на корабль, помимо шкур, еще и тысячи медвежьих окороков.

Впоследствии окороками мы наделили почти всех виднейших лордов Англии, а шкуры медведей я отослал

в подарок русской императрице, дабы ее величеству и всем придворным ее было во что одеться к наступавшей в то время зиме. Кстати сказать, в ответ, вместе с благодарностью, я получил от императрицы лестное предложение разделить ее ложе и корону. Но вы знаете, что я не честолюбив, и от предложения русской царицы отказался с такою же твердостью, какую всегда проявлял в отношении других, домогавшихся моей близости и предлагавших мне свою руку, королев.

В противоположность весьма холодным путешествиям, только что описанным вам мною, считаю небезынтересным теперь же рассказать вам о самых знойных впечатлениях, какие я испытал именно тогда, когда любознательность моя понудила меня исследовать знаменитую своими извержениями гору Этну.

Не довольствуясь тем, что я несколько раз обошел кругом отверстый кратер этой горы, я решил проникнуть внутрь ее и прыгнул вниз, в воронку. Меня обдало необыкновенным жаром, и горячий пепел и раскаленные угли то и дело обжигали меня, пока я спускался все ниже и ниже. Наконец я услышал стук, грохот, шум, а вместе с тем и голоса, которые — как это ни удивительно, господа,— оказались принадлежащими богу Вулкану и его циклопам, в существование которых я так же мало был бы склонен верить, как и вы, если бы не увидел их собственными глазами.

Теперь у меня нет никаких сомнений в том, что так называемые извержения Этны или Везувия суть не что иное, как масса пепла, вылетающего из кузниц Вулкана (он имеет также отделение своей мастерской и под Везувием). Во время ссор со своими работниками-циклопами Вулкан швыряет в них раскаленными кусками угля, которые они отбрасывают наружу. Вот почему среди пепла эти горы извергают порою и уголь.

Когда я представился Вулкану, он оказал мне необычайно любезный прием. Заметив повреждения, причиненные мне огнем, Вулкан самолично направился к своему аптечному шкапу и принес мазь, которая не только моментально исцелила мои раны, но восстановила даже те места моей одежды, которые были прожжены огнем. Как жаль, что я забыл попросить у Вулкана рецепт этой замечательной мази!

Затем я был представлен Вулканом супруге его, известной всем вам богине Венере. Могу сообщить, что, несмотря на почтенный возраст ее, она и поныне сохра-

нила свою примечательную красоту. Она также почтила меня знаками своего изысканнейшего внимания, что впоследствии, подарив мне много радостей, о которых я не считаю уместным распространяться подробно, к сожалению, рассорило меня с супругом.

Как бы то ни было, посещение мое Этны закончилось тем, что Вулкан, которому местные болтуны нашептали что-то о моих отношениях с Венерой, однажды утром неожиданно схватил меня под мышки, подвел к какому-то колодцу и со словами «неблагодарный смертный!» швырнул вниз головой.

Я чуть было не потерял сознание от страшной быстроты падения, когда вдруг ощутил вокруг себя массу воды. Температура ее тотчас же заставила меня позабыть о зное в жилище Вулкана. С детства великолепно плавая, я вскоре очутился на поверхности воды. Вокруг плавали ледяные горы, и на одну из них я взобрался. К счастью, еще не стемнело, когда вдали показался корабль. Я крикнул, и мне ответили на голландском языке. Взобравшись по брошенному мне канату на борт корабля, я спросил, где мы находимся. Это оказался Южный Ледовитый океан. Таким образом, несомненно, что, вылетев вниз со дна Этны, я проник в центр земли и, миновав его, очутился с противоположной стороны земного шара.

Замечаю, что горло пересохло не только у меня, а потому предлагаю вам, друзья мои, чокнуться со мной еще раз и разойтись на отдых. Если же вас интересует продолжение рассказанных сегодня приключений, то обещаю завтра же вам их досказать.

ВЕЧЕР ДЕВЯТЫЙ

Итак, дорогие товарищи и друзья, я продолжаю свой рассказ о моих приключениях.

Раз довелось мне очутиться в Южном океане. Спустя несколько дней с нашим кораблем случилось обычное несчастье: ужасная буря сломала мачты, разорвала снасти и, самое худшее, разбила вдребезги ящик, в котором находился компас. Управлять судном не было никакой возможности, и мы быстро неслись вперед, совершенно не зная, куда направляемся. Когда шторм утих, мы почувствовали какой-то необычайный аромат и заметили, что морская вода все белеет и белеет. Наконец мы увидели вдали берег и въехали в устье реки молочного

цвета. Зачерпнув ведром жидкость, мы убедились, что, действительно, под нами великолепное на вкус молоко. Едва мы приблизились к суше, как один из офицеров нашего экипажа упал в обморок. Оказалось, что остров, к которому мы пристали, есть не что иное, как колоссальный кусок сыру, а вышеупомянутый офицер, как оказалось, не переносил запаха сыра.

Жители острова — очень изящные существа, приблизительно в полторы сажени ростом, на трех ногах и с одной рукою. Среди лба у них высится рог, служащий им оружием в борьбе. Они не тонут в молоке и бегают по поверхности своей реки так же хорошо, как и по своему сыру. Этим сыром они, главным образом, и питаются, ибо съеденное за день количество его неизменно ночью вновь вырастает.

Но остров изобилует и другой самой разнообразной пищей. Так, например, там произрастает много хлеба (без чего жители лишены были бы возможности делать бутерброды). В отличие от нашего, хлеб у них растет на колосьях в виде готовых булок. Кроме молочных рек, то и дело пересекающих остров, мы за время пребывания там нашли еще около десятка рек винных.

Остров был очень велик. Нам пришлось идти более пяти недель, чтобы достичь противоположного его конца. Зато мы были вознаграждены изумительными плодами, которые росли на том конце сырного острова на деревьях гигантских размеров. Таких божественных абрикосов и персиков я еще не едал и, конечно, никогда больше не увижу. Но что я увидел там еще более необыкновенное — это величина птиц, которые свили себе гнезда на этих фруктовых деревьях. Я подсчитал яйца в одном из этих гнезд. Вы знаете, что я не люблю преувеличений, и потому могу вам с точностью сообщить, что в гнезде находилось 212 яиц. Каждое из них по размерам равнялось приблизительно объему семи-восьми бочек. Мы с большими усилиями разбили скорлупу одного яйца и нашли там еще неоперившегося птенца, который был раз в двадцать больше тех коршунов, которых мы знаем. За нашу проделку, впрочем, тотчас же больно поплатился капитан нашего корабля. Мать освобожденного нами птенца с громкими криками слетела вниз, ухватила когтем своей чудовищной лапы за шиворот капитана, особенно старавшегося возле яйца, унесла к морю и, выбив ему все зубы, ударом крыла сбросила вниз. Как превосходный пловец, он, в конце концов, спас-

ся и, выкарабкавшись, присоединился к нам. Вскоре мы вернулись на корабль.

Когда мы отплыли от сырного острова, произошел случай, который показался удивительным даже для меня, многое уже повидавшего на своем веку. Чему бы я мог еще изумиться? Вспоминаю, как однажды среди океана мой верный пойнтер Трей сделал стойку, указывавшую на то, что он почуял вблизи дичь. Капитан и офицеры, которым я указал на это, рассмеялись, но я, ничуть не изумляясь данному обстоятельству и доверяясь нюху своей собаки, предложил капитану пари. Я утверждал, что мой пойнтер не может ошибаться. Даже доктор пощупал мой пульс. Но я настаивал, и пари было принято. Спустя несколько минут, когда матросы распотрошили только что пойманную в океане акулу, они нашли в желудке у нее шесть пар живых куропаток!

Или такой случай, когда мой опыт и мои знания позволили мне отнестись опять-таки без всякого удивления к явлению, изумившему многих. Когда я, прибыв по Каспийскому морю в Россию, ступил на землю, на меня тотчас же набросился огромный медведь, растопырив свои передние лапы. Я незамедлительно схватил его за эти лапы и держал так до тех пор, пока зверь не издох. Дело объяснялось очень просто. Держа медведя в таком положении, я не давал ему возможности сосать свою лапу, без чего этот зверь существовать не может. Вот почему его гибель и не удивила меня.

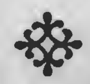
Многие выражали также изумление по поводу моего жилета, который вы видите перед собой. Стоит любой дичи приблизиться на расстояние выстрела ко мне, когда я в этом жилете, как одна из пуговиц отлетает и падает на то место, где находится дичь. Все объясняется опять-таки просто, если знать, что жилет я сшил себе из шкуры того самого пойнтера, о котором только что упоминал. Нужно быть совершенным невеждой, чтобы не учитывать так называемой силы привычки. Свойства моего жилета менее всего способны меня удивить.

Но вот, отплывая от сырного острова, я почувствовал крайнее изумление, быть может, впервые в своей жизни. Дело в том, что остров, как я уже вам рассказывал, покрыт громадными деревьями. И в момент, когда мы отъезжали, все эти деревья трижды низко поклонились нам, после чего приняли снова вертикальное положение. Много раздумывая, я до сих пор не могу отыскать должного объяснения этому обстоятельству в науке.

Сейчас подадут, друзья мои, наше любимое реуенталерское вино, и, пока раскупорят его, я успею досказать вам свои впечатления о сырном острове, который не был еще описан, кажется, никем, кроме меня, хотя по территории он значительно превосходит Европу. Кстати, я чуть было не забыл упомянуть о случае, который произвел на меня впечатление почти перед самым отплытием от берегов гостеприимного сыра.

Когда мы совершали последнюю прогулку по острову, то заметили виселицу, на которой качались три трупа. Казненные повешены были за пятки. Мы спросили у жителей, за что так строго наказаны эти люди? И услыхали в ответ, что это были путешественники, которые по возвращении обманывали своих ближних, описывая им места, где они никогда не бывали, и рассказывали небылицы о странах и людях, которых они встречали.

Вы знаете мягкость моей натуры, дорогие мои, но я должен сознаться, что повешенные за пятки не вызвали никакой жалости во мне, потому что, сам всегда придерживаясь фактов, и только фактов, я неукоснительно требую этого и от других.





Готфрид Август

Бюргер

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА ФОН МЮНХГАУЗЕНА НА ВОДЕ И НА СУШЕ, ПОХОДЫ И ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, КАК ОН ОБЫЧНО РАССКАЗЫВАЛ О НИХ ЗА БУТЫЛКОЙ ВИНА В КРУГУ СВОИХ ДРУЗЕЙ

Верьте, почтенные господа,
Умный не прочь пошутить иногда.

БАРОНА ФОН МЮНХГАУЗЕНА СОБСТВЕННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ



Я выехал из дома, направляясь в Россию, в середине зимы, с полным основанием заключив, что мороз и снег приведут, наконец, в порядок дороги в северной Германии, Польше, Курляндии и Лифляндии, которые, по словам всех путешественников, еще хуже, чем дороги, ведущие к храму Добродетели, не потребовав на это особых затрат со стороны достопочтенных и заботливых властей в этих краях. Я пустился в путь верхом, ибо это самый удобный способ передвижения, если только с конем и наездником все обстоит благополучно. При таких условиях не рискуешь ни дуэлью с «учтивым» немецким почтмейстером, не зависишь от прихоти томящегося жаждой почтового ямщика, который станет заворачивать по пути в каждый трактир. Одет я был довольно легко, и это становилось все неприятнее по мере того, как я продвигался на северо-восток.

Так вот, пусть представят себе, как должен был чувствовать себя в этом суровом климате бедный старик, лежавший где-то в Польше, на пустыре, по которому гулял северный ветер. Беспомощный и дрожащий, он не имел даже чем прикрыть свою наготу.

Мне до глубины души стало жаль беднягу. Хоть у меня самого душа в теле замерзала, я все же накинул на него свой дорожный плащ. И тут внезапно из поднебесья донесся голос, восхвалявший столь добрый поступок в следующих выражениях, обращенных ко мне:

— Черт меня побери, сын мой, тебе за это воздастся!

Я не придал этому значения и продолжал путь, пока ночь и мрак не окутали меня. Ни один огонек, ни один звук не говорили о близости хоть какой-нибудь деревушки. Все кругом было заметено снегом, и я не различал ни дорог, ни троп.

Утомленный ездой, я соскочил наконец с коня и привязал его к какому-то подобию остроконечного бревна, торчавшего из-под снега. Подложив на всякий случай под руку свой пистолет, я улегся неподалеку в снег и так крепко уснул, что открыл глаза только тогда, когда было уже совсем светло. Как же велико было мое удивление, когда я убедился, что лежу на кладбище в какой-то деревне! Коня моего нигде не было видно, но вдруг где-то высоко надо мной послышалось ржание. Я взглянул вверх и увидел, что он привязан к флюгеру на церковной колокольне и болтается в воздухе. Тут я сразу все сообразил. Дело в том, что деревня ночью была вся засыпана снегом. Погода неожиданно переменилась, и, по мере того как снег таял, я, не просыпаясь, потихоньку опускался все ниже. То, что в темноте показалось мне торчащим из-под снега бревном или пнем, к которому я привязал коня, было не то крестом, не то флюгером на колокольне.

Не задумываясь, я вытащил пистолет, выстрелил в недоуздок и, благополучно вернув себе таким образом коня, пустился в дальнейший путь.

Все шло прекрасно, пока я не добрался до России, где зимой не принято путешествовать верхом. Так как обычно я придерживался местных обычаев, то и на сей раз добыл маленькие одноконные беговые санки и весело помчался в Санкт-Петербург.

Не могу сейчас точно сказать, было ли это в Эстляндии или в Ингерманландии, помню только, что случилось это в дремучей лесной чаще, когда я вдруг увидел, что за мной со всех ног несется чудовищной величины волк, подгоняемый нестерпимым зимним голодом. Он вскоре настиг меня, и спастись от него не было никакой надежды. Машинально кинулся я ничком в сани, предоставив лошади, во имя общего нашего блага, полную свободу действий. И тут почти сразу произошло именно то, что я предполагал, но на что не смел надеяться. Волк, не удостоив такую мелкоту, как я, своим вниманием, перескочил через меня, с яростью накинулся на лошадь, растерзал и сразу же проглотил всю заднюю часть бедного животного, которое от страха и боли понеслось еще быстрее. Отделавшись, таким образом, благополучно, я тихонько приподнял голову и, к ужасу своему, увидел, что волк чуть ли не целиком вгрызся в лошадь. Но лишь только он успел забраться внутрь, как я, со свойственной мне быстротой, схватил кнут и при-

нялся изо всей мочи хлестать по волчьей шкуре. Столь неожиданное нападение, да еще в то время, как он находился в таком футляре, не на шутку напугало волка. Он изо всех сил устремился вперед, труп лошади рухнул наземь, и — подумать только — вместо нее в упряжке оказался волк! Я не переставал стегать его кнутом, и мы бешеным галопом, вопреки нашим общим ожиданиям и к немалому удивлению зрителей, в полном здравии и благополучии въехали в Санкт-Петербург.

Боюсь, милостивые государи, наскучить вам рассказами об образе правления, искусстве, науках и других достопримечательностях этой изумительнейшей столицы России и еще менее хочу занимать вас повествованием о всяких интригах и веселых приключениях в высшем обществе, где хозяйка дома имеет обыкновение приветствовать гостя рюмкой водки и звонким поцелуем. Я стремлюсь привлечь ваше внимание к более важным и благородным предметам, а именно — к лошадям и собакам, большим любителем которых я всегда был, далее к лисицам, волкам и медведям, а их, как и всякой другой дичи, в России такое изобилие, что ей может позавидовать любая другая страна на земном шаре, и, наконец, ко всякого рода увеселениям, рыцарским состязаниям и славным подвигам, которые более к лицу дворянину, чем крохи затхлой латыни и греческой премудрости или раздушенные саше, завитые коки и выкрутасы французских утонченных остряков и парикмахеров.

Ввиду того, что потребовалось известное время, пока я был зачислен в армию, у меня осталось несколько месяцев досуга, когда я мог и дни свои и деньги растрачивать благороднейшим образом, как подобает истинному дворянину.

Не одна ночь протекла за игорным столом, и немало ночей — под звон полных бокалов. Холодный климат и нравы страны отвели бутылке, среди других светских развлечений, в России гораздо больше места, чем в нашей трезвой Германии. Мне приходилось поэтому встречать там людей, которые в благородном искусстве выпивки имели право считаться подлинными виртуозами. Но все они были лишь жалкие недоучки по сравнению с седобородым генералом с медно-красным лицом, обедавшим с нами за общим столом.

Почтенный старичок, который в одном из боев с турками утратил верхнюю часть черепа, имел поэтому обыкновение, знакомясь с новыми людьми, с учтивым

простодушием извиняться за то, что вынужден за столом оставаться в головном уборе. За трапезой он неизменно опорожнял несколько бутылок водки и заканчивал обычно фляжкой аррака или же, смотря по обстоятельствам, раз-другой начинал сначала. И все же никогда нельзя было уловить в нем ни малейшего признака опьянения. Вам трудно этому поверить? Я готов извинить вас, милостивые государи. Это было и для меня непостижимо. Долго я не знал, чем это объясняется, пока мне, наконец, не удалось найти ключ к загадке...

У генерала была привычка время от времени слегка приподнимать шляпу. Мне нередко приходилось это видеть, но я не придавал этому значения. То, что ему становилось жарко, казалось вполне естественным, и то, что он старался освежить голову, также не вызывало удивления. Но в конце концов мне удалось заметить, что он вместе со шляпой приподнимает прикрепленную к ней серебряную пластинку, заменявшую ему недостающую часть черепа, и тогда весь пар от поглощенных им спиртных напитков взвивался ввысь в виде небольшого облачка. Загадка была разгадана!

Я поделился своими наблюдениями кое с кем из добрых моих друзей и, ввиду того, что как раз стемнело, взялся немедленно произвести опыт и доказать свою правоту. Я встал, не выпуская из рук трубки, за спиной генерала и, когда он приподнял шляпу, при помощи клочка горящей бумажки поджег взвившийся над его головой пар. И тогда перед нами предстало столь же неожиданное, сколь и красивое зрелище. В одно мгновение я превратил столб пара над головой нашего героя в огненный столб, а часть испарений, задержавшаяся в пространстве между волосами и шляпой генерала, вспыхнула голубым огнем, образовав некое подобие сияния, прекраснее любого нимба, когда-либо озарявшего чело самого прославленного святого. Скрыть от генерала произведенный мною опыт было невозможно. Но он ничуть не разгневался и даже впоследствии неоднократно разрешал повторять эксперимент, придававший ему столь возвышенный вид.

Не стану останавливаться на ряде других веселых проделок, так как собираюсь рассказать вам о разнообразных охотничьих приключениях, которые кажутся мне более замечательными и забавными.

Вы легко можете себе представить, милостивые государи, как хорошо я чувствовал себя в обществе добрых

приятелей, по достоинству умевших ценить обширный, ничем не огороженный лес для охоты. Разнообразие, свойственное таким развлечениям, а также исключительная удача, сопутствовавшая любой моей проделке, вспоминаются и сейчас с особым удовольствием.

Однажды утром я увидел, что большой пруд, находившийся почти под самыми окнами моей спальни, буквально усеян дикими утками. Я мгновенно схватил стоявшее в углу ружье и сломя голову бросился вниз по лестнице. Все это произошло столь стремительно, что я ударился лицом о дверной косяк. Искры посыпались у меня из глаз. Это, однако, ни на секунду не задержало меня. Но едва я вскинул ружье, как к великой своей досаде заметил, что при ударе о дверь соскочил даже кремень с ружейного курка. Что делать? Времени терять было нельзя.

К счастью, я вспомнил то, что сейчас произошло с моими глазами. Итак, я взвел курок, прицелился в диких птиц и ударил кулаком себя в глаз. Из него снова посыпались искры. Раздался выстрел, и я подбил пять пар уток, четыре красношейки и пару лысух. Находчивость порождает героические поступки! Если воин и моряк с ее помощью нередко избегают опасности, то охотник не менее часто бывает обязан ей своей удачей.

Случилось однажды, что по озеру, на которое я набрел во время охоты, плавало несколько дюжин диких уток. Они были так далеко друг от друга, что я не мог надеяться сбить каждым выстрелом больше одной. А на беду, у меня оставался только один, последний заряд. Между тем мне очень хотелось захватить с собой всех уток, так как я в ближайшее время собирался пригласить в гости большую компанию друзей и знакомых.

И тут я вдруг вспомнил о кусочке свиного сала, уцелевшем на дне моего ягдташа от взятого с собой завтрака. Я прикрепил этот кусочек к концу довольно длинного собачьего поводка, который я вдобавок расплел, удлинив его таким образом раза в четыре. Укрывшись в береговом камыше, я закинул в воду этот кусочек сала и с радостью увидел, как ближайшая утка быстро подплыла и проглотила его. За первой вскоре последовали и все остальные, и так как прикрепленный к шнуру скользкий кусочек сала очень быстро выходил сзади непереваренным, то его проглатывала следующая, и так все, одна за другой. Короче говоря, кусочек сала пропутешествовал по внутренностям всех уток, не оторвав-

шись от шнура. Утки были нанизаны на шнуре, словно бусы иа нитке. Я с удовольствием вытащил их на берег, обмотал шнур раз десять вокруг себя и направился в обратный путь.

До дому было еще довольно далеко, и так как весило такое множество уток порядочно и тащить их было тяжело, я уже почти готов был пожалеть о том, что столько их наловил. Но тут меня выручило необычайное происшествие, сначала немало смутившее меня. Дело в том, что все утки были еще живы. Оправившись от первого испуга, они изо всех сил стали бить крыльями и поднялись со мною ввысь. Многие при подобных обстоятельствах потеряли бы голову, но я умело использовал свое положение: пустив в ход вместо руля полы своего сюртука, я направил полет в сторону дома.

Оказавшись над своим жильем и желая без вреда для себя опуститься вниз, я стал свертывать уткам одной за другой шеи и таким образом медленно и мягко скользнул вниз прямо через трубу на плиту моей кухни, в которой, на счастье, еще не был разведен огонь. Все это к немалому испугу и удивлению моего повара.

Нечто подобное мне пришлось однажды проделать со стаей куропаток.

Я вышел из дому, намереваясь испробовать новое ружье, и уже растратил весь свой запас дроби, как вдруг из-под моих ног совершенно неожиданно вспорхнула стая куропаток. Желание видеть вечером несколько штук из них у себя на столе заставило меня придумать способ, к которому и вы, милостивые государи, можете вполне в случае надобности прибегнуть, положившись на мое слово. Заметив, куда опустились куропатки, я поспешно зарядил ружье, использовав для этого вместо дроби шомпол, верхний конец которого я, насколько возможно в такой спешке, немного заострил. Затем я подкрался к куропаткам и, лишь только они вспорхнули, выстрелил и имел удовольствие наблюдать, как мой шомпол с нанизанными на нем семью куропатками в нескольких шагах от меня медленно опускался на землю. Бедным птицам оставалось лишь удивляться, что они так рано оказались на вертеле! Да, как я уже говорил, в жизни всегда нужно уметь найти выход.

В другой раз в одном из дремучих лесов России я поднял великолепную черно-бурую лисицу. Очень уж жалко было продырявить пулей или дробью ее драгоценную шкуру! Кумушка стояла вплотную у дерева.

Я мгновенно вытащил из дула пулю, зарядил ружье здоровенным гвоздем, выстрелил и попал так удачно, что крепко пригвоздил лисий хвост к стволу. Тогда, спокойно подойдя к своей добыче, я вынул охотничий нож, крест-накрест рассек лисице морду, а затем, пустив в ход плетку, выколотил ее из собственной шкуры, да так ловко, что любо было поглядеть на такое чудо.

Случай и удача подчас помогают исправить совершенную ошибку. Лучшим примером может служить то, что́ я пережил несколькими днями позже, когда в самой гуще леса увидел бежавших друг за другом дикого поросенка и веприцу. Я выстрелил, но промахнулся. Поросенок продолжал свой путь, но веприца, не шевелясь, замерла на месте, словно пригвожденная к земле. Когда мне удалось присмотреться внимательнее, я убедился, что веприца слепа и держит в зубах хвостик своего поросенка, который, выполняя сыновний долг, служил ей поводырем. Моя пуля, пролетев между ними, порвала поводок, кончик которого старая веприца все еще сжимала в зубах. И теперь, когда поводырь уже не вел ее дальше, она остановилась. Я ухватился за оставшийся кончик поросячьего хвостика и без всякого труда и сопротивления с ее стороны отвел старое, беспомощное животное к себе домой.

Как ни страшны порой вепри, но кабаны гораздо страшнее и опаснее. Мне случилось однажды в лесу встретиться с кабаном, когда я не был готов ни к нападению, ни к самозащите. Едва успел я укрыться за деревом, как разъяренный зверь кинулся ко мне и попытался нанести мощный боковой удар. Но клыки его так глубоко вонзились в ствол дерева, что он оказался не в состоянии сразу выдернуть их и повторить свою попытку.

«Ага! — подумал я.— Теперь-то я расправлюсь с тобой!» Не теряя времени, я схватил камень и так крепко вколотил клыки в дерево, что кабану уже никак нельзя было выдернуть их. Пришлось ему дожидаться, пока я добыл в соседней деревне телегу и веревки, чтобы живым и в полной сохранности доставить его к себе домой, что мне великолепно и удалось.

Вам, милостивые государи, без сомнения приходилось слышать о святом Губерте — покровителе охотников и стрелков,— а также и о красавце олене, который встретился ему однажды в лесу. У этого оленя между рогами возвышался святой крест. Я сам ежегодно в доброй

компании совершал жертвоприношения этому святому Губерту. Что же касается оленя, то мне по меньшей мере тысячу раз приходилось видеть его изображение как в церквах, так и вышитым на гербах рыцарей. Так что, поверьте совести честного охотника, я не могу с уверенностью сказать, встречались ли только в старину такие крестовые олени или встречаются даже сейчас. Но разрешите лучше рассказать, что мне довелось увидеть собственными глазами.

Однажды, когда я уже потратил все свои заряды, передо мной неожиданно появился самый прекрасный олень, какого мне когда-либо приходилось видеть. Он так смело и не смущаясь глядел мне прямо в глаза, словно отлично знал, что патронташ мой пуст. Мгновенно зарядив ружье порохом и насыпав сверху целую горсть вишневых косточек, которые быстро очистил от мякоти, я выпустил оленю весь заряд прямо в лоб между ветвистыми рогами. Хотя выстрел и оглушил его — он зашатался,— все же он умчался прочь.

Год или два спустя мне снова пришлось охотиться в том же лесу. И подумать только — внезапно передо мной появился стройный олень с прекрасно разросшимся между рогами вишневым деревом высотой больше десяти футов.

Мне сразу же вспомнилось мое приключение. Я рассматривал этого оленя как свою давнишнюю благоприобретенную собственность и одним выстрелом уложил его. Это доставило мне одновременно и жаркое, и отличный вишневый соус. Дело в том, что дерево было густо увешано плодами, да такими вкусными, каких мне не приходилось пробовать за всю свою жизнь.

Можно ли теперь поручиться, что какой-нибудь святой — страстный любитель охоты, священник или епископ — не воздвигнул подобным же образом с помощью выстрела крест между рогами оленя святого Губерта? Ведь эти господа издавна славились своим умением наставлять кресты... да и рога тоже, и, пожалуй, сохранили за собой эту славу до наших дней.

В момент крайности, когда беда за вóрот схватит, что нередко бывает с бравым охотником, он готов пуститься на все, ухватиться за что угодно, лишь бы не прозевать благоприятный случай. Мне самому не раз приходилось переживать подобный соблазн.

Что вы, к примеру, скажете о таком казусе?

Однажды в лесу, в Польше, иссяк мой запас пороха,

и одновременно померк дневной свет. По пути домой на меня напал чудовищный медведь с разинутой пастью, готовый меня проглотить. Напрасно я в поисках пуль и пороха поспешно обшаривал свои карманы. Я не нашел ничего, кроме двух кремней, которые обычно берешь с собой на всякий случай. Один из этих кремней я швырнул в пасть зверя, в самую глубину его глотки. Медведю моему это пришлось не по вкусу, и он сделал крутой поворот — налево кругом! — так что я вторым камешком мог запустить ему прямехонько в задние ворота. Все это получилось чудесно и великолепно. Камешек не только попал куда следует, но даже пролетел так далеко, что столкнулся с первым и выбил из него искру, от чего медведь взорвался с оглушительным треском.

Если верить слухам, то подобные ловко направленные камешки, особенно если они сталкивались с камешками, брошенными ранее, заставили взлететь в воздух не одного сварливого ученого и философа... Хотя я и остался на этот раз цел и невредим, мне все же не хотелось бы еще раз повторить этот опыт, другими словами — завязать знакомство с медведем, не имея при себе других средств самозащиты.

Но, верно, такова уж моя судьба, что самые дикие и опасные звери нападали на меня именно тогда, когда я был не в состоянии защищаться. Словно какой-то инстинкт предупреждал их о моей беспомощности.

Вот, например, однажды, едва я успел отвинтить кремень от своего ружья, чтобы подточить его, как внезапно ко мне со страшным рычанием бросился разъяренный медведь. Единственное, что мне оставалось, это укрыться на дереве, чтобы там подготовиться к обороне. К несчастью, взбираясь на дерево, я уронил нож, которым только что орудовал, и у меня не было в руках ничего, чем бы я мог закрепить винт, который к тому же туго завинчивался. Медведь стоял у подножия дерева, и я каждую минуту мог ожидать, что он пожалует ко мне.

Выбивать ударом искры из глаз, как я однажды сделал, мне очень не хотелось, потому что, не говоря уже о других мешавших мне обстоятельствах, проделанный мною тогда опыт вызвал сильную боль в глазах, которая и сейчас еще давала себя чувствовать.

С тоской глядел я на свой нож, вертикально торчавший на снегу под деревом. Но тоскливые взгляды не могли ничем помочь делу. Наконец у меня мелькнула мысль, столь же необыкновенная, сколь и удачная. Я на-

правил струю жидкости, которая в минуты страха у человека всегда имеется в изобилии, прямо на черенок моего ножа. Царивший в то время жестокий холод мгновенно заморозил струю, так что через несколько мгновений от черенка протянулась ледяная сосулька такой длины, что она достала до нижних ветвей дерева. Ухватив удлинившийся черенок, я без особого труда, но с большой осторожностью подтянул нож к себе наверх. Только я успел с помощью ножа привинтить кремень, как косолапый начал взбираться на дерево.

«Вот уж в самом деле нужно быть сообразительным как медведь, чтобы с такой точностью рассчитать время!» — подумал я и встретил мохнатого гостя таким гостинцем, что он навеки разучился лазать по деревьям.

Точно так же в другой раз на меня с такой стремительностью набросился страшный волк, что мне ничего не оставалось, как инстинктивно сунуть кулак прямо в разинутую пасть. Для большей верности я проталкивал кулак все глубже и глубже, так что рука моя по самое плечо ушла внутрь. Но что было делать дальше? Не стану утверждать, что такое беспомощное положение было мне уж очень по душе. Ведь представьте себе только: лицом к лицу с волком!

Мы поглядывали друг на друга не так чтобы очень нежно.

Стоило мне вытащить руку назад — и зверюга с еще большей яростью накинулся бы на меня. Это можно было ясно и отчетливо прочесть в его горящих злобой глазах. Короче говоря, я ухватился за его внутренности, дернул и вывернул наизнанку, как рукавицу, затем швырнул его на землю и оставил там лежать.

Однако такую штуку я не решился выкинуть с бешеной собакой, которая вскоре после этого погналась за мной в одном из узеньких переулков Санкт-Петербурга. «Тут уж беги что есть мочи!» — подумал я. Чтобы легче было удирать, я скинул с себя шубу и поспешно укрылся в доме. За шубой я затем послал слугу и приказал повесить ее вместе с другим платьем в мой гардероб.

На следующий день меня до смерти напугали крики моего Иоганна.

— О боже! — вопил он.— Господин барон! Ваша шуба взбесилась!

Я поспешно побежал к нему и увидел, что все мое платье раскидано и растерзано в клочья. Мой слуга выразился очень метко — шуба именно взбесилась. Я вбе-

жал в то самое время, когда она набросилась на мой прекрасный парадный сюртук и принялась безжалостно таскать его по полу и трепать.

Во всех этих приключениях, милостивые государи, из которых мне удавалось благополучно, хоть иногда и в последнюю минуту, выпутаться, мне на помощь приходила случайность, которую я, обладая достаточным присутствием духа и мужеством, заставлял служить мне. Все это, вместе взятое, и создает, как известно, удачливого охотника, моряка и солдата. Зато достойным всяческого порицания следовало бы считать неосторожного охотника, адмирала или генерала, который полагался бы только на случайность или на свою счастливую звезду и не заботился бы о необходимом совершенствовании своего ремесла, а также не вооружился бы всеми средствами, которые способны обеспечить успех.

Лично я такого упрека не заслуживаю, ибо всегда славился как высокими качествами своих лошадей, собак и охотничьих ружей, так и особым умением всем этим пользоваться. В полях и лесах долгие годы будет жить слава моего имени.

Я не собираюсь во всех подробностях расписывать свои конюшни, псарни или свой оружейный склад, к чему обычно склонны юнкера-собачники, лошадники и охотники. Все же две мои собаки так отличились, служа мне, что я хочу, пользуясь случаем, хоть вкратце упомянуть здесь о них. Один из моих псов, лягаш, был так неутомим, внимателен и осторожен, что все видевшие его завидовали мне. Я имел возможность пускать его в дело и днем и ночью. Когда темнело, я вешал ему на хвост фонарик и мог охотиться так же хорошо, если даже не лучше, чем при дневном свете.

Однажды (это произошло вскоре после моей женитьбы) жена моя выразила желание принять участие в охоте. Я поехал вперед, чтобы высмотреть что-нибудь подходящее, и вскоре мой пес замер перед стаей в несколько сот куропаток. Жду я, жду свою жену, которая в сопровождении моего адъютанта и гайдука выехала сразу вслед за мной, но никого не видно и не слышно. В конце концов я забеспокоился и повернул назад. Примерно на полдороге внезапно до меня донесся жалобный плач. Казалось, плач раздается совсем близко, а между тем куда ни глянь — не видно ни живой души.

Соскочив с коня, я приложил ухо к земле и тогда не только услышал, что плач доносится из-под земли, но и

совершенно ясно уловил голоса моей жены, моего адъютанта и гайдука. И тут я заметил недалеко от себя вход в угольную шахту. Не могло быть сомнения в том, что моя несчастная жена и ее спутники провалились в эту шахту. Пустив лошадь в карьер, я понесся в ближайшую деревню за углекопами, которым после очень длительной и трудной работы удалось извлечь пострадавших из ямы глубиной в девяносто сажен.

Первым они вытащили гайдука, затем его коня, затем адъютанта, за ним его коня, потом мою жену, и наконец ее турецкого клеппера. Самым удивительным во всей этой истории было то, что люди и лошади при таком страшном падении остались, если не считать нескольких незначительных ссадин, невредимыми. Но испуг они пережили ужасный! Об охоте, как вы легко можете себе представить, уже думать не приходилось, и так как вы, надо полагать, за этим рассказом забыли о моей собаке, то не удивитесь, что и я не вспомнил о ней.

Служебные обязанности заставили меня на следующее же утро отправиться в дальнюю поездку, из которой я вернулся лишь через две недели.

Не прошло и нескольких часов после моего приезда, как я заметил отсутствие своей Дианки. Никто о ней за все это время не побеспокоился. Слуги были убеждены, что она побежала за мной, и вот теперь, к великому моему огорчению, ее нигде не могли сыскать.

Внезапно у меня мелькнула мысль:

«А не осталась ли собака у куропаток?»

Надежда и страх заставили меня немедленно помчаться к месту охоты, и — представьте себе! — к несказанной моей радости оказалось, что собака стоит на том же месте, где я оставил ее две недели назад!

— Пиль! — крикнул я. Она сразу бросилась вперед, и я одним выстрелом уложил двадцать пять куропаток.

Несчастное животное, однако, так обессилело от голода, что у него едва хватило сил доползти до меня. Чтобы добраться с ним до дому, мне пришлось взять его к себе на лошадь, и вы можете поверить мне, что я с величайшей радостью согласился вынести такое неудобство.

Благодаря тщательному уходу и заботе моя собака уже через несколько дней была весела и бодра, как прежде, а несколькими неделями позже она дала мне возможность разгадать загадку, которая без нее, вероятно, навеки осталась бы неразгаданной.

Два дня подряд я гонялся за зайцем. Собака моя все вновь и вновь выгоняла его, но мне никак не удавалось точно прицелиться. В колдовство я не верю — никогда не был подвержен суевериям, слишком много диковинного я для этого пережил. На этот раз, однако, моих пяти чувств было явно недостаточно. Наконец заяц подвернулся так близко, что я мог выстрелить в него. Заяц упал, и что вы думаете я тогда обнаружил? Под брюхом у моего зайца было четыре лапы, а на спине — четыре других. Когда две нижние пары уставали, то заяц мой, как ловкий пловец, умеющий плавать и на животе и на спине, переворачивался, и тогда обе новые пары несли его вперед с еще большей быстротой.

Никогда после не пришлось мне встречать такого зайца, да и этот не попался бы мне, не обладай моя собака такими совершенствами. Это животное настолько превосходило всех представительниц своего рода, что я не задумываясь присоединил бы к ее кличке эпитет «Единственная», если бы принадлежавшая мне борзая не оспаривала у нее эту честь.

Эта собака отличалась не столько своим сложением, сколько необычайной быстротой бега. Если бы вам, милостивые государи, пришлось видеть ее, вы были бы несомненно восхищены и не удивлялись бы тому, что я так любил ее и столь часто с ней охотился. Ей пришлось, служа мне, бегать так быстро, так часто и подолгу, что она стерла себе лапы почти по самое брюхо, поэтому в последние годы ее жизни я мог пользоваться ею только как таксой-ищейкой. Но она и в этой роли прослужила мне еще не один год.

В свое время, еще в бытность ее борзой — кстати сказать, она была сукой,— она погналась за зайцем, который показался мне необычайно толстым. Мне было жаль моей собаки: она должна была скоро ощениться, но старалась бежать с такой же быстротой, как всегда. Мне удавалось следовать за ней верхом только на очень большом расстоянии. Внезапно я услышал лай, словно лаяла целая свора, но при этом такой слабый и нежный, что я никак не мог сообразить, в чем дело. Когда я приблизился, глазам моим представилось подлинное чудо.

Зайчиха на бегу произвела на свет зайчат, а сука моя ощенилась! К тому же зайчат было ровно столько же, сколько и щенят. Подчиняясь инстинкту, зайчата

пустились наутек, а щенки не только погнались за ними, но и поймали. Таким образом, к концу охоты у меня оказалось шесть зайцев и шесть собак, хоть я и начал охоту с одной-единственной собакой.

Об этой замечательной собаке я вспоминаю с таким же удовольствием, как и о чудесном литовском коне, которому цены не было. Он достался мне благодаря случаю, предоставившему возможность показать свое искусство наездника и заслужить немалую славу.

Я гостил однажды в роскошном поместье графа Пржобовского в Литве и остался в парадном покое за чайным столом в обществе дам в то время, как мужчины спустились во двор посмотреть молодого чистокровного коня, только что доставленного с конского завода.

Внезапно со двора донесся крик о помощи.

Я сбежал по лестнице и увидел коня, который, взбесившись, вел себя так необузданно, что никто не осмеливался ни подойти к нему, ни вскочить на него.

Самые смелые и решительные наездники толпились вокруг в смущении и растерянности.

На всех лицах отразился испуг, когда я одним прыжком вскочил на коня и этим неожиданным маневром не только его напугал, но и полностью покорил и усмирил, пустив в ход все свое искусство наездника. Чтобы продемонстрировать перед дамами это искусство и при этом не обеспокоить их, я принудил коня вместе со мной прыгнуть через одно из открытых окон в столовую. Здесь я несколько раз то шагом, то рысью, то галопом прогарцевал по комнате и в конце концов заставил коня вскочить на чайный стол и продемонстрировать здесь в миниатюре все тонкости высшей школы верховой езды, которые вызвали восхищение всех присутствовавших дам. Моя лошадка проделала все так изящно и ловко, что не разбила ни одной чашки. Все это вызвало ко мне горячие симпатии как дам, так и самого графа, который с присущей ему учтивостью попросил меня принять молодого коня от него в подарок и завоевать на нем победу и славу в походе против турок, который должен был вскоре начаться под предводительством графа Миниха[1].

Трудно было сделать более приятный подарок! Он как бы предвещал много хорошего в походе, в котором мне предстояло выдержать первое испытание в качестве солдата. Такой конь, покорный, горячий и смелый — овечка и Буцефал одновременно — должен был

ежечасно напоминать мне о долге бравого солдата и об удивительных подвигах, совершенных на поле брани Александром в молодые годы.

Мы отправлялись в поход, как мне кажется, отчасти ради того, чтобы восстановить честь русского оружия, несколько пострадавшую при царе Петре в боях на реке Прут[2]. Это нам полностью удалось после тяжелых, но славных походов под предводительством великого полководца, уже упомянутого нами выше.

Скромность не позволяет подчиненным приписывать себе великие подвиги и победы, слава которых обычно становится достоянием предводителей вопреки их человеческим качествам. И — что особенно противоестественно — слава становится достоянием королей и королев, никогда не нюхавших пороха, разве только на увеселительных празднествах, и не видевших никогда в глаза ни бранного поля, ни армии в боевом порядке, разве только на вахтпараде.

У меня поэтому нет особых притязаний на славу, добытую в крупнейших боях с неприятелем. Все мы вместе выполняли наш долг патриота, солдата и просто честного человека. Это — всеобъемлющее выражение, полное большого содержания и значения, хотя масса всяких бездельников и пустословов имеет о нем весьма слабое представление. Ввиду того, что под моей командой находился гусарский полк, я проводил разные операции, где все было предоставлено моему собственному усмотрению и мужеству. Успех этих операций, как мне кажется, я все же имею основание поставить в заслугу себе и моим смелым товарищам, которых я вел к победе и завоеваниям.

Однажды, когда мы загоняли турок в Очаков, наш авангард попал в жестокую переделку. Мой горячий литовец чуть было не занес меня прямо к черту в пекло. Я находился на дальнем передовом посту, как вдруг заметил приближавшегося неприятеля, окруженного тучей пыли, что помешало мне определить как численность его, так и намерения.

Поднять такое же облако пыли и укрыться за ним было бы несложно; к такой шаблонной хитрости чаще всего и прибегают. Но это ничего не дало бы мне, да и не способствовало бы достижению цели, ради которой я был послан вперед. Я приказал поэтому своим правофланговым и левофланговым рассеяться по обе стороны колонны и поднять как можно больше пыли. Сам я в это

время двинулся прямо на неприятеля, чтобы лучше прощупать его. Это мне удалось, ибо он сопротивлялся и дрался только до тех пор, пока страх перед моими фланговыми не заставил его в беспорядке отступить. Теперь настало самое время смело броситься на него. Мы рассеяли его полностью, разбили наголову и не только загнали обратно в крепость, но погнали дальше, через нее, так что расправа с ним превзошла все наши самые кровожадные намерения.

Так как мой литовец отличался необыкновенной быстротой, я оказался впереди преследователей. Увидев, что неприятель удирает из крепости через противоположные ворота, я счел целесообразным остановиться на базарной площади и приказать трубить сбор.

Я осадил коня, но вообразите, господа, каково было мое удивление, когда возле себя я не увидел ни трубача, ни кого-либо другого из числа моих гусар.

«Не проскакали ли они по другим улицам? Куда они могли деваться?» — подумал я.

Но далеко, во всяком случае, они быть не могли и должны были вот-вот нагнать меня. В ожидании я направил своего тяжело дышавшего коня к колодцу на базарной площади, чтобы дать ему напиться. Он пил и пил без всякой меры и с такой жадностью, словно никак не мог утолить жажду. Но дело, оказывается, объяснялось очень просто. Когда я обернулся в поисках моих людей, то угадайте, милостивые государи, что я увидел? Всей задней части моего бедного коня как не бывало; крестец и бедра — все исчезло, словно их начисто срезали. Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды.

Для меня оставалось полнейшей загадкой, как это могло случиться, пока откуда-то с совершенно другой стороны не прискакал мой конюх и, разливаясь потоком сердечных поздравлений и крепких ругательств, не рассказал мне следующее. Когда я с толпой бегущих врагов ворвался в крепость, внезапно опустили предохранительную решетку и этой решеткой начисто отсекли заднюю часть моего коня. Сначала указанная задняя часть брыкалась изо всех сил и нанесла огромный урон неприятельским солдатам, которые, оглушенные и ослепленные, как безумные, напирали на решетку, а затем она победоносно, как выразился конюх, направилась на близлежащий луг, где я, верно, и сейчас еще ее найду.

Я повернул обратно, и оставшаяся половина моего коня неслыханно быстрым галопом доскакала до луга. С большой радостью нашел я здесь вторую половину и, к немалому удивлению, увидел, что она подыскала себе занятие, да такое любопытное, что ни один церемониймейстер, при всем своем остроумии, не мог бы изобрести ничего подобного для увеселения какого-нибудь безголового субъекта. Короче говоря, задняя половина моего чудо-коня за эти короткие мгновения успела завязать близкое знакомство с кобылами, носившимися по лугу, и, предавшись наслаждениям со своим гаремом, по-видимому, забыла все перенесенные неприятности. Голова при этом, правда, столь мало принималась в расчет, что жеребята, обязанные своим существованием этому времяпрепровождению, оказались негодными ублюдками: у них не хватало всего того, чего недоставало их отцу в момент их зачатия.

Имея перед собой неопровержимые доказательства того, что обе половины моего коня жизнеспособны, я поспешил вызвать нашего коновала. Не долго думая, он скрепил обе половины молодыми ростками лавра, оказавшимися под рукой. Рана благополучно зажила, но случилось нечто такое, что могло произойти только с таким славным конем. А именно: ростки лавра пустили у него в теле корни, поднялись вверх и образовали надо мной шатер из листвы, так что я впоследствии совершил не одну славную поездку в тени лавров, добытых мною и моим конем.

О другой незначительной неприятности, связанной с этим походом, я упомяну лишь попутно. Я так бурно, так долго и неутомимо рубил врага, что рука моя непроизвольно стала производить движение, которое совершала при рубке, и оно сохранилось и тогда, когда неприятеля давно уже и след простыл. Я был вынужден, чтобы нечаянно не задеть ни себя самого, ни приближавшихся ко мне солдат, носить с неделю руку на перевязи, словно она была у меня отсечена по локоть.

Человека, способного ездить на таком коне, как мой литовец, вы имеете полное основание, милостивые государи, считать способным и на другие фокусы при вольтижировке, которые сами по себе должны показаться неправдоподобными. Мы осаждали не помню уже сейчас какой город, и фельдмаршалу было необычайно важно получить точные сведения о положении в крепости. Было чрезвычайно трудно, почти невозможно пробраться

сквозь все форпосты, караулы и укрепления. Да и не нашлось бы толкового человека, способного удачно совершить такое дело. С обычным мужеством и служебным усердием я, пожалуй, чересчур поспешно, стал подле одной из наших самых больших пушек, из которой как раз в эту минуту собирались произвести выстрел. Одним махом вскочил я на ядро, рассчитывая, что оно занесет меня в крепость. Но когда я верхом на ядре пролетел примерно половину пути, мною вдруг овладели кое-какие не лишенные основания сомнения.

«Гм,— подумал я,— туда-то ты попадешь, но как тебе удастся сразу выбраться обратно? А что тогда случится? Тебя сразу же примут за шпиона и повесят на первой попавшейся виселице».

Такая честь была мне вовсе не по вкусу.

После подобных рассуждений я быстро принял решение, и, воспользовавшись тем, что в нескольких шагах от меня пролетало выпущенное из крепости ядро, я перескочил с моего ядра на встречное и таким образом, хоть и не выполнив поручения, но зато целым и невредимым вернулся к своим.

Ловкостью и умением, которыми я отличался в прыжках, обладала и моя лошадь. Ни канавы, ни изгороди никогда не мешали мне ехать напрямик.

Однажды я погнался верхом за зайцем, который наискось пересекал военную дорогу. По этой же дороге, как раз между мной и зайцем, проезжала карета с двумя красивыми дамами. Мой конь с такой быстротой проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и почтительнейше извиниться за такую вольность.

В другой раз я собрался перескочить через болото, которое сначала показалось мне не таким широким, каким я увидел его, когда находился уже на середине скачка. В воздухе я повернул поэтому обратно к тому месту, где находился раньше, чтобы взять больший разбег. Тем не менее я и во второй раз плохо рассчитал и провалился по горло в тину недалеко от противоположного берега. Мне суждена была неминуемая гибель, если бы не сила моих рук. Ухватившись за собственную косу, я вытащил из болота как самого себя, так и коня, которого крепко стиснул между колен.

Несмотря, однако, на мое мужество и сообразительность, несмотря на свойственные мне и моей лошади быстроту, ловкость и силу, не все в эту турецкую войну

сходило мне благополучно. На свою беду, мне пришлось даже, благодаря численному превосходству врага, попасть в плен. И, что еще хуже, я был продан в рабство — таков уж был обычай у турок.

Работа моя в этом унизительном положении была не столь мучительна и тяжела, сколь необычна и скучна. В мои обязанности входило каждое утро выгонять на пастбища пчел турецкого султана, целый день стеречь их, а затем под вечер загонять обратно в ульи.

Однажды вечером я заметил, что недостает одной пчелы, но тут же увидел, что на нее напали два медведя, которые, желая полакомиться медом, собираются ее растерзать. Так как при мне не было ничего похожего на оружие, кроме серебряного топорика — отличительного знака всех полевых рабочих и садовников султана,— я швырнул этим топориком в обоих разбойников с единственной целью отогнать их. Бедняжку пчелу я таким путем действительно освободил. Но мне не повезло: я чересчур сильно размахнулся, топорик взлетел вверх и не переставал подниматься, пока не упал на Луну.

Как же мне было вернуть его? Где найти на земле такую высокую лестницу, чтобы его достать?

Тут мне пришло на память, что турецкие бобы растут ужасно быстро и достигают удивительной высоты. Я сразу же посадил такой боб, который и в самом деле стал расти и сам по себе уцепился за один из рогов Луны. Тогда я спокойно полез вверх на Луну, куда, наконец, благополучно и добрался.

Трудно было разыскать мой серебряный топорик в таком месте, где все другие предметы блестели, как серебряные. Наконец я нашел его в куче мякины и рубленой соломы.

Я собрался спуститься обратно. Но — увы! — солнечная жара успела высушить мой боб так, что нечего было и думать сползти по нему вниз. Что было делать? Я сплел из рубленой соломы веревку такой длины, как только было возможно. Веревку я прикрепил к одному из лунных рогов и стал спускаться вниз. Правой рукой я держался за веревку, а в левой держал топорик. Спущусь немного, отрубаю излишний конец веревки надо мной и привязываю его к нижнему концу. Так я спустился довольно низко. Но от постоянного отрубания и связывания веревка не становилась крепче, а до поместья султана было все еще довольно далеко.

Я находился еще в облаках, в нескольких милях от

земли, как вдруг веревка разорвалась, и я с такой силой грохнулся вниз, на нашу родную землю, что был совсем оглушен. Благодаря тяжести моего тела, летевшего с такой высоты, я пробил в земле яму глубиной по меньшей мере в девять сажен, на дне которой и очутился. Постепенно я, правда, пришел в себя, но не знал, как мне выбраться оттуда. Однако чему только не учит нужда! Своими собственными ногтями, которым было уже сорок лет, я выкопал некое подобие лестницы и по ней благополучно выбрался на свет.

Наученный горьким опытом, я стал другими способами отделываться от медведей, которые охотно гонялись за моими пчелами и лазали по ульям. Я вымазал медом дышло телеги и ночью залег в засаде неподалеку от нее. Все произошло именно так, как я ожидал. Огромный медведь, привлеченный запахом меда, принялся с такой жадностью лизать передний конец дышла, что втянул его в себя через глотку, желудок и кишки, и оно сзади вылезло наружу. Когда медведь с такой ловкостью нанизал самого себя на дышло, я подбежал к нему и заклинил отверстие в дышле. Тем самым я отрезал лакомке путь к отступлению и оставил его в таком виде до утра. Великий султан, случайно проходивший мимо, чуть не умер от хохота над этой проделкой.

Вскоре после этого русские заключили с турками мир, и меня, в числе других пленных, отправили в Санкт-Петербург. Но я вскоре ушел в отставку и покинул Россию во время великой революции, лет сорок тому назад, когда император, еще покоившийся в колыбели, вместе со своей матерью и отцом, герцогом Брауншвейгским, фельдмаршалом фон Минихом и многими другими был сослан в Сибирь.

В тот год во всей Европе свирепствовал такой мороз, что солнце, по-видимому, пострадало от холода, отчего оно с тех самых пор и до сегодняшнего дня хворает. Мне поэтому при возвращении на родину пришлось испытать более тяжкие злоключения, чем по пути в Россию.

Ввиду того, что мой литовский конь остался в Турции, я был вынужден отправиться на почтовых. Случилось однажды, что нам пришлось ехать по узкой дороге, окаймленной высокой изгородью из шиповника, и я напомнил кучеру о том, что нужно протрубить в рожок, иначе мы рисковали в этом узком проходе столкнуться со встречным экипажем и застрять там. Парень поднес рожок к губам и принялся дуть в него изо всей мочи.

Но все старания его были напрасны. Из рожка нельзя было извлечь ни единого звука. Это было совершенно непонятно и могло кончиться для нас настоящей бедой, так как мы вскоре увидели, что навстречу нам мчится экипаж, объехать который было совершенно немыслимо.

Тем не менее я выскочил из кареты и прежде всего выпряг лошадей. Вслед за этим я взвалил себе на плечи карету со всеми четырьмя колесами и всеми дорожными узлами и перескочил с этим грузом через канаву и изгородь вышиной в девять футов. Это было отнюдь не пустяком, принимая во внимание вес экипажа. Перепрыгнув обратно через изгородь, я снова очутился на дороге, но уже позади чужой кареты. Затем я поспешил к нашим лошадям, подхватил обеих и, зажав их под мышками, прежним способом, другими словами — двойным прыжком туда и обратно, доставил их к карете, приказал запрягать и благополучно добрался в конце перегона до постоялого двора.

Я мог бы еще добавить, что одна из лошадей, очень резвая и молодая — ей было не более четырех лет,— чуть было не натворила беды. Когда я совершал второй прыжок через изгородь, она зафыркала и, выражая неудовольствие моими резкими движениями, стала брыкаться. Но я справился с ней, засунув ее задние ноги в карман моего сюртука.

На постоялом дворе мы отдохнули после всех наших приключений. Кучер повесил свой рожок на гвоздь подле кухонного очага, а я уселся напротив него.

И вот послушайте только, милостивые государи, что тут произошло! Внезапно раздалось: «Теренг! Теренг! Тенг! Тенг!»

Мы вытаращили глаза. И тогда только мы поняли, почему кучер не мог сыграть на своем рожке. Звуки в рожке замерзли и теперь, постепенно оттаивая, ясные и звонкие, вырывались из него, делая честь нашему кучеру. Этот добрый малый значительное время услаждал наш слух чудеснейшими мелодиями, не поднося при этом своего инструмента к губам. Нам удалось услышать «Прусский марш», «Без любви и вина», «Когда я на белильне...», «Вчера вечерком братец Микель пришел...» и еще много других песен, между прочим, и вечернюю песню «Уснули леса...»

Этой песенкой закончилась история с тающими звуками, как и я заканчиваю здесь историю моего путешествия в Россию.

Немало путешественников иной раз утверждают такое, что, если вдуматься хорошенько, не вполне совпадает с истиной. Нечего поэтому удивляться, если слушатели и читатели подчас бывают склонны к недоверию. Но если в нашей компании найдутся лица, которые усомнятся в моей правдивости, мне останется только сожалеть о том, что они так недоверчивы, и предложить им лучше удалиться до того, как я начну повествование о моих морских приключениях. Они, пожалуй, еще более невероятны, хотя столь же достоверны, как и остальные.

МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА ФОН МЮНХГАУЗЕНА

ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

Первым путешествием в моей жизни, совершенным задолго до поездки в Россию, о некоторых достопримечательностях которой я только что вам рассказал, было путешествие по морю.

Я еще «спорил с гусями», как частенько шутливо говорил мой дядюшка, самый чернобородый из всех когдалибо виденных мною гусарских полковников, и еще трудно было решить — считать ли белый пушок на моем подбородке зачатком бороды или гусиного оперения, как я уже бредил путешествиями.

Если принять во внимание, что отец мой в молодости многие годы провел в путешествиях и нередко коротал зимние вечера правдивыми и неприкрашенными рассказами о своих приключениях — некоторые из них я, быть может, позже перескажу вам,— мое влечение с одинаковым успехом можно считать как прирожденным, так и внушенным.

Одним словом, я пользовался каждым удобным и неудобным случаем, чтобы мольбами или упорством добиться удовлетворения своей непреодолимой жажды увидеть свет. Но все было напрасно.

Если мне удавалось пробить хоть маленькую брешь в укреплениях отца, то тем более яростное сопротивление оказывали мать и тетка. И мгновенно терялось все, чего я добивался ценой самого хитроумного подхода.

Но вот, на мое счастье, случилось так, что к нам приехал погостить один родственник с материнской стороны. Я вскоре стал его любимцем. Он часто говорил,

что я славный, живой мальчишка и что он готов сделать все возможное, чтобы помочь мне осуществить мое страстное желание. Его красноречие оказалось убедительнее моего. И вот после бесконечных убеждений и возражений, отговорок и споров, наконец, к моей неописуемой радости было решено, что я буду сопровождать нашего гостя в поездке на Цейлон, где его дядя много лет был губернатором.

Мы подняли паруса и отплыли из Амстердама с важными поручениями правительства Голландских штатов. Ничего достопримечательного в пути не произошло, если не считать сильнейшего шторма. Об этом шторме мне все же приходится упомянуть ввиду его удивительных последствий. Ураган поднялся в то время, как мы стояли на якоре возле какого-то острова, где должны были пополнить наши запасы воды и дров. Он свирепствовал с такой силой, что вырывал с корнем множество необычайно толстых и высоких деревьев и швырял их в воздух. Невзирая на то, что многие из этих деревьев весили сотни центнеров, они снизу казались ввиду невероятной высоты — их подбросило по меньшей мере миль на пять вверх — не крупнее птичьих перышек, которые иногда порхают по воздуху.

Но стоило урагану утихнуть, как каждое дерево вертикально опустилось вниз, прямо на свое место, и сразу же пустило корни. Таким образом, не осталось почти никаких следов опустошения. Только одно, самое высокое дерево составило исключение. Когда бешеной силой ветра оно было вырвано из земли, на ветвях его как раз сидел крестьянин со своей женой. Они собирали огурцы — в той части света эти дивные плоды растут на деревьях. Честнáя супружеская пара совершила полет с такой же покорностью, как баран Бланшара[3]. Тяжесть их тел, однако, заставила дерево отклониться от своего старого места. Кроме того, оно опустилось в горизонтальном положении. Все жители острова, а также их всемилостивейший царек, во время бури покинули свои жилища, боясь, что будут погребены под обломками. Царек как раз собирался, возвращаясь к себе домой, пройти через сад, как сверху рухнуло дерево, на котором сидели супруги, и, к счастью, убило царька наповал.

— К счастью?

— Да, да, к счастью! Ибо, милостивые государи, этот царек был, с позволения сказать, самым гнусным тираном, а жители острова, не исключая даже и любим-

цев его и любовниц, самыми несчастными созданиями под луной. В его кладовых гнили съестные припасы, в то время как подданные, у которых эти припасы были силой отобраны, умирали с голоду!

Его острову не приходилось бояться иноземных врагов. Тем не менее он забирал каждого молодого парня, собственноручно избивал его, пока не превращал в героя, и время от времени продавал свою коллекцию тому из соседних князей, кто готов был дороже заплатить. Это давало ему возможность к миллионам ракушек, оставленных в наследство отцом, добавить новые миллионы...

Нам рассказали, что такие возмутительные принципы он привез из поездки на Север. Мы не решились, несмотря на самый горячий патриотизм, оспаривать подобное мнение уже по одному тому, что у этих островитян «путешествие на Север» может с таким же успехом означать как поездку на Канарские острова, так и увеселительное путешествие в Гренландию. Требовать уточнения мы по ряду причин сочли нежелательным.

В награду за великую услугу, оказанную, хотя и случайно, своим согражданам, пара собирателей огурцов была возведена ими на освободившийся трон. Эти добрые люди, правда, во время полета по воздуху настолько приблизились к светилу мира, что утратили свет своих очей, а впридачу еще и частицу своего внутреннего света. Но это не помешало им так хорошо управлять своим островом, что все подданные, как мне позже стало известно, никогда не съедали огурца, не проговорив при этом: «Бог да сохранит нашего господина!»

Приведя в порядок наш корабль, сильно пострадавший от шторма, и почтительно распрощавшись с монархом и его супругой, мы подняли паруса и отплыли, подгоняемые довольно сильным ветром. Через шесть недель мы благополучно достигли Цейлона.

Прошло недели две после нашего прибытия, когда старший сын губернатора предложил мне отправиться вместе с ним на охоту, на что я с удовольствием дал свое согласие.

Мой друг был высокий и сильный мужчина, привыкший к местному климату и жаре. Зато я, несмотря на то, что не позволял себе лишних движений, очень быстро ослабел и к тому времени, когда мы добрались до леса, значительно отстал от своего спутника.

Я собрался было присесть и отдохнуть на берегу бур-

ного потока, уже некоторое время привлекавшего мое внимание, когда вдруг услышал шорох, доносившийся со стороны дороги, по которой я пришел сюда. Я оглянулся и замер, словно окаменев, при виде огромного льва, который направлялся прямо ко мне, не скрывая своего намерения всемилостивейше позавтракать моим бренным телом, не испросив на то моего согласия. Мое ружье было заряжено простой мелкой дробью. Раздумывать было некогда, да и мешала растерянность. Я все же решил выстрелить в зверя, надеясь хотя бы испугать его или, может быть, ранить. Но так как я с перепугу даже не выждал, пока лев приблизится ко мне на нужное расстояние, то своим выстрелом я только разъярил зверя, и он в злобе бросился на меня. Подчиняясь скорее инстинкту, чем разумному рассуждению, я попробовал совершить невозможное — бежать. Я повернулся, и...— еще сейчас при одном воспоминании меня обдает холодный пот,— в нескольких шагах от себя я увидел омерзительного крокодила, который уже раскрыл свою страшную пасть, собираясь проглотить меня.

Представьте себе, господа, весь ужас моего положения! Позади меня — лев, передо мной — крокодил, слева — бурный поток, справа — обрыв, который, как я узнал позже, кишел ядовитыми змеями.

Ошеломленный от страха — а это нельзя было бы в таком положении поставить в вину даже Геркулесу,— я бросился на землю. Все мысли, на которые я еще был способен, сводились к страшному ожиданию — вот-вот в меня вопьются клыки и когти беспощадного хищника или я окажусь в пасти крокодила.

Но вдруг до меня доносятся какие-то совершенно непонятные звуки. Я решаюсь приподнять голову и оглянуться. И что же? Как вы думаете, что я увидел? Оказалось, что лев, в ярости ринувшийся ко мне, в ту самую секунду, когда я упал, с разбегу перескочил через меня и угодил прямо в пасть крокодила. Голова одного застряла в глотке другого, и они бились, стараясь освободиться друг от друга.

Я едва успел вскочить, выхватить охотничий нож и одним ударом отсечь голову льву, так что туловище его в судорогах свалилось к моим ногам. Затем прикладом своего ружья я еще глубже загнал львиную голову в глотку крокодила и таким образом задушил его.

Вскоре после того как я одержал такую блистатель-

ную победу над двумя свирепыми врагами, появился мой друг, чтобы узнать, почему я отстал от него.

После взаимных приветствий и поздравлений мы принялись измерять крокодила и установили, что он имеет в длину ровно сорок парижских футов и семь дюймов.

Как только мы рассказали губернатору об этом необычайном приключении, он выслал телегу и нескольких слуг, приказав привезти обоих зверей к нему домой. Из шкуры льва местный скорняк изготовил мне кисеты для табака, из которых я несколько штук преподнес своим знакомым на Цейлоне. Остальные я по возвращении в Голландию подарил бургомистрам, которые собирались преподнести мне за них тысячу дукатов — подарок, от которого мне с трудом удалось уклониться.

Из кожи крокодила сделали самое обыкновенное чучело, составляющее сейчас одну из главных достопримечательностей Амстердамского музея. Человек, которому поручено водить по музею посетителей, рассказывает им историю этого крокодила. При этом он, правда, допускает всевозможные добавления, которые сильно расходятся с истиной. Так, например, он утверждает, что лев проскочил через крокодила и как раз собирался улизнуть через заднюю дверь, но мсье, знаменитый во всем мире барон (как он обычно величает меня), отсек вылезшую наружу львиную голову, а вместе с головой еще и три фута хвоста крокодила.

«Крокодил,— продолжает иногда рассказчик,— не остался равнодушным к утрате своего хвоста. Он повернулся, вырвал у мсье из рук охотничий нож и проглотил его с такой яростью, что нож пронзил сердце чудовища, после чего оно мгновенно лишилось жизни».

Мне ни к чему говорить вам, милостивые государи, как неприятна наглость этого негодяя. Люди, плохо знающие меня, смущенные такой ложью, могут в наше склонное к скептицизму время усомниться в правдивости рассказов о моих действительных подвигах, что в высшей степени обидно и оскорбительно для благородного кавалера, дорожащего своей честью.

ВТОРОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

В 1776 году я сел в Портсмуте на английский военный корабль первого ранга, направлявшийся в Северную

Америку. Корабль был вооружен сотней пушек, и экипаж состоял из тысячи четырехсот человек. Я мог бы здесь, правда попутно, рассказать и о том, что мне пришлось испытать в Англии, но оставлю это до другого раза. Об одной истории, которая представляется мне удивительно занятной, я все же мимоходом упомяну. Однажды я имел удовольствие увидеть короля, когда он с большой помпой направлялся в парламент. Кучер с необычайно внушительной бородой, в которой тщательно был вырезан английский герб, с торжественным видом восседал на козлах и, хлопая бичом, выбивал столь же искусное, сколь и четкое «Георг Рекс».

Что касается нашего морского путешествия, то с нами не приключилось ничего особенного до тех пор, пока мы не оказались на расстоянии примерно трехсот миль от реки святого Лаврентия. Здесь корабль вдруг со страшной силой ударился о какой-то предмет, который мы приняли за скалу. При этом, опустив лот на глубину пятисот саженей, мы не могли нащупать дно. Но еще более удивительным и даже непонятным было то, что мы потеряли руль, у нас сломался бугшприт, все мачты расщепились сверху донизу, а две из них даже полетели за борт.

Бедняга матрос, который в это время как раз убирал большой парус, отлетел на три мили от корабля, раньше чем свалиться в воду. Если он уцелел, то только благодаря тому, что во время полета ухватился за хвост северного гуся, и это не только облегчило его падение в воду, но и дало ему возможность, пристроившись на спине этой птицы, или, вернее, между шеей ее и крылом, плыть вслед за кораблем до тех пор, пока его, наконец, не удалось подобрать.

Сила толчка была так велика, что всех людей, находившихся в межпалубных помещениях, подбросило к потолку. Моя голова при этом была вбита в желудок, и потребовалось несколько месяцев, пока она заняла свое обычное положение.

Мы еще не пришли в себя от удивления и состояния полнейшей растерянности, когда все эти непонятные явления внезапно объяснились: на поверхности воды показался огромный кит, который, греясь на солнце, как видно, задремал. Чудовище было весьма рассержено тем, что мы осмелились его обеспокоить, и ударом хвоста не только сорвало часть обшивки, но и проломило верх-

нюю палубу. Одновременно кит ухватил зубами главный якорь, который, как полагается, был намотан на шпиль, и протащил наш корабль по меньшей мере миль шестьдесят — считая по шести миль в час.

Бог ведает, куда бы он увлек нас, если бы, на наше счастье, не порвалась якорная цепь, благодаря чему кит потерял наш корабль, но зато и мы лишились якоря.

Когда полгода спустя, возвращаясь в Европу, мы снова очутились в этих водах, то натолкнулись в нескольких милях от прежнего места на мертвого кита, который покачивался на волнах, и длиной он был,— чтобы не соврать,— по меньшей мере в полмили. Так как мы не могли погрузить на борт сколько-нибудь значительную часть такого огромного животного, то спустили шлюпки и с большим трудом отрубили ему голову. Какова была наша радость, когда мы не только обнаружили наш якорь, но еще и сорок саженей якорной цепи, которая забилась в дупло гнилого зуба слева в его пасти.

Это было за всю поездку единственное происшествие, достойное внимания.

Но погодите! Я чуть не забыл упомянуть об одной подробности. Когда кит в первый раз отплыл, таща за собой корабль, судно получило пробоину, и вода с такой силой хлынула в дыру, что работа всех насосов не могла бы и на полчаса отсрочить нашу гибель. К счастью, я первый обнаружил беду. Пробоина была большая — примерно около фута в диаметре. Я испробовал всевозможные способы, чтобы заткнуть ее. Но все было напрасно! В конце концов, я все же спас прекрасный корабль и весь его многочисленный экипаж. Меня осенила счастливейшая мысль. Как ни велика была пробоина, я всю заполнил ее моей дражайшей частью, даже не снимая для этого штанов, и ее хватило бы даже и в том случае, если бы пробоина была вдвое шире. Вас это не удивит, милостивые государи, если я скажу вам, что я и по отцовской и по материнской линии происхожу от голландских или по крайней мере от вестфальских предков. Положение мое, пока я сидел на очке, было несколько прохладное, но я вскоре был освобожден благодаря искусству плотника.

ТРЕТЬЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

Случилось однажды так, что мне грозила опасность погибнуть в Средиземном море. В один прекрасный летний день я купался близ Марселя в тихом и теплом море, как вдруг увидел большую рыбу, которая, широко разинув пасть, с неимоверной быстротой плыла прямо ко мне. Времени терять было нельзя, да и укрыться от рыбы оказалось совершенно невозможным. Я мгновенно постарался съежиться до предела, подтянул колени и прижал их сколько возможно к телу. В таком виде я проскочил между челюстей хищника и проскользнул в самый желудок. Здесь, как вы легко можете себе представить, я пробыл некоторое время в полном мраке, но зато был окружен приятным теплом. Мое присутствие, видимо, вызывало у рыбы чувство тяжести в желудке, и она, надо полагать, охотно бы от меня отделалась. Места у меня было достаточно. Я кувыркался и прыгал, стараясь раздразнить рыбу самыми невероятными выходками.

Но ничто, казалось, не причиняло рыбе такого неприятного ощущения, как мои ноги, когда я попробовал сплясать шотландский танец. Она дико взвыла и почти вертикально приподняла половину туловища над водой. Тем самым, однако, она привлекла внимание плывшего мимо итальянского торгового судна и за несколько минут была убита гарпунами.

Когда рыбу втащили на борт, я услышал, что люди на палубе обсуждают вопрос, как ее разрезать, чтобы добыть возможно большее количество жира. Я понимал по-итальянски и страшно испугался, что ножи моряков заодно прирежут и меня. Я поэтому встал посередине желудка, в котором свободно могло поместиться хоть двенадцать человек, полагая, что резать начнут с краев. Но скоро успокоился, так как они принялись вспарывать нижнюю часть живота.

Как только мелькнул луч света, я закричал во всю силу своих легких, что очень рад видеть милостивых государей и надеюсь, что они избавят меня от неудобного положения, в котором я чуть было не задохся.

Невозможно в достаточно ярких красках описать удивление всех этих людей, когда они услышали человеческий голос, исходивший из рыбьего брюха. Удивление их, разумеется, еще возросло, когда они воочию уви-

дели голого человека, вылезающего из рыбы на вольный воздух.

Тогда, милостивые государи, я рассказал им обо всем, что произошло, как сейчас поведал вам, и они просто не могли прийти в себя от удивления.

Слегка подкрепившись, я прыгнул в море, чтобы смыть с себя грязь, а затем поплыл за своим платьем, которое и нашел на берегу в том виде, в каком его оставил. По моим подсчетам, я пробыл в желудке чудовища три с половиной часа.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

В те времена, когда я находился на турецкой службе, я часто развлекался катанием на яхте по Мраморному морю, откуда открывался изумительный вид на весь Константинополь, включая и сераль великого султана. Однажды утром, любуясь красотой и ясностью неба, я заметил парящий в воздухе круглый предмет, величиной примерно в бильярдный шар, под которым висело еще что-то. Я мгновенно схватил свое самое лучшее дальнобойное ружье, без которого стараюсь не выходить из дома, зарядил его пулей и выстрелил в круглый предмет в воздухе. Но напрасно. Я выстрелил вторично двумя пулями, но снова безрезультатно. Только третий выстрел, когда ружье было заряжено четырьмя или пятью пулями, пробил сбоку дыру и заставил круглый предмет опуститься на землю.

Вообразите мое удивление, когда изящно позолоченная колясочка, подвешенная к воздушному шару, величиной превосходившему самый большой купол окрестных башен, упала в воду в двух саженях от моей яхты.

В коляске находился какой-то человек и половина барана, по-видимому, жареная. Когда я пришел в себя от изумления, мы с моими людьми тесным кольцом обступили эту странную группу.

У этого человека, походившего на француза — да он и был им на самом деле,— из всех карманов свешивалось по нескольку часовых цепочек с брелоками, на которых, как мне показалось, были изображены знатные дамы и господа. На каждой пуговице висели золотые медальоны, ценностью по меньшей мере по сто дукатов, а на каждом пальце красовался драгоценный, украшенный брильянтами перстень. Карманы его сюртука были набиты ко-

шельками с золотом, которые оттягивали их чуть не до земли.

«Боже мой! — подумал я.— Заслуги этого человека перед человечеством, вероятно, исключительно велики, если знатные дамы и господа, вопреки своей столь обычной в наши дни скупости, осыпали его такими подарками».

При всем том незнакомец после падения чувствовал себя так плохо, что едва был в силах произнести хоть слово. Немного погодя он пришел в себя и рассказал нам следующее:

— У меня не хватило бы ни знаний, ни способностей на то, чтобы самому изобрести такой воздушный шар, зато я в избытке обладал отвагой и смелостью канатного плясуна, что и позволило мне сесть в эту подвешенную к воздушному шару коляску и несколько раз подняться в ней ввысь. Дней семь или восемь назад — точный счет времени я утратил — я поднялся на этом воздушном шаре с мыса в Корнуэльсе, в Англии, и захватил с собой барана, чтобы затем в высоте на глазах у многих тысяч зевак проделать с ним разные фокусы. К несчастью, минут через десять после подъема ветер переменил направление и, вместо того чтобы погнать меня в Эксетер, где я рассчитывал приземлиться, понес меня к морю, над которым я, по-видимому, и носился все это время на недосягаемой вышине.

На мое счастье, я не успел проделать фокусов с бараном. На третий день полета я почувствовал такой сильный голод, что пришлось зарезать барана. Находясь одно время очень высоко над Луной, я шестнадцать часов продолжал полет вверх и так сильно приблизился к Солнцу, что оно опалило мне брови. Я положил убитого барана, с которого содрал шкуру, туда, где солнце припекало с наибольшей силой, или, лучше сказать, куда шар не отбрасывал тени. За каких-нибудь три четверти часа баран отлично изжарился. Этим жарким я и питался все время.

Тут человек умолк, углубившись, как казалось, в созерцание окрестностей. Когда я сказал ему, что здания, возвышающиеся перед нами,— не что иное, как сераль владыки Константинополя, он был страшно потрясен, так как, по его предположениям, должен был находиться в совершенно иных краях.

— Причина моего столь длительного полета,— произнес он,— заключалась в том, что лопнула веревка, при-

крепленная к клапану воздушного шара. Она служила для того, чтобы выпускать горючий газ. Если б вы не выстрелили в шар и не пробили оболочку, он, пожалуй, как Магомет, до самого страшного суда носился бы в воздухе между небом и землей.

Колясочку он великодушно подарил моему рулевому. Что же касается воздушного шара, то от моего выстрела он во время падения превратился в лохмотья.

ПЯТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

У нас, милостивые государи, еще хватит времени, чтобы распить последнюю бутылочку, поэтому я расскажу вам о весьма странном случае, приключившемся со мной за несколько месяцев до моего последнего возвращения в Европу.

Султан, которому я был представлен как римским, так и русским и французским послами, поручил мне выполнить чрезвычайно важную миссию в Каире, характер которой был таков, что она должна была навсегда остаться тайной.

Я пустился в путь по суше с большой помпой и в сопровождении многочисленной свиты. По дороге мне представилась возможность пополнить число моих слуг несколькими очень полезными лицами. Не успел я отъехать и нескольких миль от Константинополя, как увидел маленького тощего человека, быстро перебегавшего через поле, хотя у него на ногах висели свинцовые гири весом по меньшей мере в пятьдесят фунтов каждая.

Пораженный таким зрелищем, я крикнул ему:

— Куда, куда ты так торопишься, друг мой, и зачем привязал к ногам такие гири? Ведь они затрудняют твой бег!

— Я бежал из Вены,— ответил скороход.— Там я служил у знатных господ и только сегодня, с полчаса назад, уволился. Я направляюсь в Константинополь, где рассчитываю получить место. Этими гирями, привязанными к ногам, я хотел несколько умерить скорость моего бега, которая теперь никому не нужна, ибо умеренность надежна, как любил повторять мой, ныне покойный, воспитатель.

Этот Асахаил[4] пришелся мне по душе. Я спросил, не желает ли он поступить ко мне на службу, на что тот охотно согласился.

Мы двинулись затем дальше, проезжая через разные страны и города.

Недалеко от дороги на прекрасном лугу лежал, не шевелясь, какой-то человек. Казалось, что он спит. Но он вовсе не спал, а приник ухом к земле, словно подслушивая, что происходит у обитателей преисподней.

— К чему это ты прислушиваешься, друг мой? — спросил я его.

— Да я от нечего делать слушаю, как трава растет.

— И это тебе удается?

— Да что ж тут трудного?

— Тогда поступай ко мне на службу, дружище. Кто знает, на что еще пригодится твой слух.

Молодец вскочил на ноги и последовал за мной.

Немного подальше я увидел охотника. Он стоял на холме и палил в воздух.

— Бог в помощь, бог в помощь, господин охотник! Но в кого ты стреляешь? Я вижу лишь голубое небо.

— О, я просто пробую свое новое охотничье ружье. Там, на шпиле страсбургской колокольни, сидел воробей. Я только что сбил его.

Тот, кому известна моя страсть к охоте и стрелковому искусству, не удивится, что я крепко обнял этого замечательного стрелка. Естественно, я не пожалел ничего, чтобы привлечь его к себе на службу.

Мы двинулись дальше через многие страны и города, и пришлось нам, наконец, проезжать мимо горы Ливан. Там, перед густой кипарисовой рощей, стоял коренастый, невысокого роста человек и тянул за веревку, которая была обвита вокруг всей рощи.

— Что это ты тянешь, дружище? — спросил я его.

— Меня послали за строительным лесом,— ответил он.— А я забыл дома топор. Вот мне и приходится как-нибудь выходить из положения.

С этими словами он на моих глазах одним рывком свалил весь лес, занимавший добрую квадратную милю, с такой легкостью, словно это была охапка тростника.

Нетрудно угадать, что я сделал. Я бы не упустил этого человека, даже если бы мне стоило это всего моего посольского содержания.

Когда я, наконец, очутился на египетской земле, вдруг поднялся такой ветер, что нас чуть не опрокинуло. Я боялся, что меня подхватит вихрем и унесет вместе со всей моей свитой, конями и поклажей. Слева от дороги

выстроились в ряд семь ветряных мельниц, крылья которых вращались так быстро, как веретено у самой проворной ткачихи. Неподалеку, справа от дороги, стоял человек, по комплекции схожий с сэром Джоном Фальстафом. Указательным пальцем он зажимал себе правую ноздрю. Увидев, в каком мы оказались затруднении и как нас шатает ветер, человек сделал полуоборот и, став к нам лицом, учтиво, как мушкетер перед своим капитаном, снял передо мной шляпу.

Мгновенно наступило затишье, и все семь ветряных мельниц сразу замерли в неподвижности.

Удивленный таким явлением, которое казалось совершенно противоестественным, я крикнул, обращаясь к этому субъекту:

— Эй ты! Что тут происходит? Дьявол в тебе, что ли, сидит или ты сам дьявол?

— Прошу прощения, ваше превосходительство,— ответил человек.— Я только немножечко подгоняю ветром мельницы моего хозяина, мельника. Но чтобы не опрокинуть ветром все семь мельниц, мне пришлось зажать одну ноздрю.

«Вот так неоценимый человек! — мелькнуло у меня в уме.— Этот молодец еще как может пригодиться, когда ты вернешься домой и у тебя вдруг не хватит духу порассказать о всех чудесных приключениях, пережитых во время твоих путешествий по суше и по морю!»

Нам удалось быстро поладить. Ветродув бросил свои мельницы и последовал за мною.

Вскоре мы прибыли в Каир. Как только я с успехом выполнил там данное мне поручение, я решил распустить всю мою бесполезную свиту, за исключением лишь вновь нанятых мною полезных слуг, и, сопровождаемый ими, пустился в обратный путь уже в качестве частного лица.

Погода стояла чудесная, а знаменитая река Нил была неописуемо прекрасна. Я соблазнился мыслью нанять баркас и проехать до Александрии водным путем. Все шло великолепно, пока не наступил третий день плавания.

Вы, милостивые государи, несомненно, слышали о ежегодном разливе Нила. На третий день, как уже сказано, вода в Ниле начала неудержимо подниматься, а на следующий день вся местность и справа и слева от реки на расстоянии многих миль была уже залита водой.

На пятый день, после захода солнца, мой баркас

запутался в чем-то, что я принял сначала за ползучие растения и кустарник. Но лишь только на следующее утро рассвело, я увидел, что со всех сторон окружен миндалем, совершенно созревшим и великолепным на вкус. Когда мы опустили лот, я обнаружил, что дно под нами на глубине по меньшей мере шестидесяти футов. При этом нам нельзя было двинуться ни вперед, ни назад. Часов в восемь или девять, насколько я мог определить по солнцу, внезапно поднялся ветер, который накренил наш баркас. Баркас зачерпнул воды, пошел ко дну, и долгое время ничего не было известно о его судьбе.

К счастью, мы все, сколько нас было — восемь мужчин и двое подростков,— спаслись благодаря тому, что уцепились за деревья, ветви которых были достаточно крепки для нас, но не могли вынести тяжести нашего баркаса. В таком положении мы пробыли три дня, питаясь одним миндалем. Само собой разумеется, что в питье мы не испытывали недостатка. На двадцать второй день после крушения вода спала так же быстро, как и поднялась, и на двадцать шестой день мы могли уже ступить ногой на твердую землю. Первое, что мы с радостью увидели, был наш баркас. Он лежал в двухстах саженях от того места, где пошел ко дну. Высушив на солнце все, что могло быть нам полезным, мы отобрали из наших дорожных запасов все наиболее необходимое и пустились в путь, стараясь угадать направление, по которому плыли раньше. По моим самым точным подсчетам, нас отнесло в сторону миль на сто пятьдесят через ограды, изгороди и заросли.

За семь дней мы добрались до реки, которая спокойно текла по своему руслу, и поведали одному бею о наших приключениях. Бей любезно снабдил нас всем, что нам могло понадобиться, и отправил дальше в одной из своих лодок.

Примерно дней через шесть мы добрались до Александрии, где пересели на корабль, направляющийся в Константинополь.

Великий султан принял меня чрезвычайно милостиво, и я был удостоен чести лицезреть его гарем, куда его величество соизволил самолично ввести меня, чтобы предоставить в мое распоряжение столько прекрасных дам, включая и его жен, сколько я пожелаю отобрать для собственного удовольствия.

Я не люблю хвастать своими любовными приклю-

чениями, поэтому, милостивые государи, сейчас пожелаю вам всем спокойной ночи.

ШЕСТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

Покончив с рассказами о своих египетских приключениях, барон собрался было отправиться спать, но произошло это именно в тот момент, когда несколько ослабевшее внимание слушателей вновь было возбуждено упоминанием о гареме великого султана. Уж очень им хотелось услышать еще что-нибудь о гареме. Но так как барон решительно отказался продолжать разговор на эту тему, с другой же стороны, не желал огорчить своих веселых слушателей, осыпавших его просьбами, он решил позабавить их рассказами о своих необыкновенных слугах и так начал свое повествование:

— После моего путешествия в Египет я очень вырос в глазах великого султана. Его величество просто не мог жить без меня, и я ежедневно бывал приглашен и к обеду и к ужину. Я должен признать, господа, что у турецкого султана стол был более изысканный, чем у любого другого владыки на земном шаре. Но относится эта похвала только к еде, а не к напиткам, ибо, как вам известно, закон Магомета возбраняет верующим употребление вина. Поэтому на официальных обедах в Турции нечего и думать о том, чтобы выпить стаканчик вина. Однако то, что не происходит публично, нередко проделывается втихомолку, и, невзирая на запрет, многие турки знают, что такое доброе вино не хуже, чем почтенные немецкие прелаты. Так дело обстояло и с его турецким величеством.

За парадным столом, к которому обычно бывал приглашен и генеральный суперинтендант, то есть муфтий, который перед едой читал молитву «Очи всех», а после еды — «Благодарение аллаху», о вине не могло быть и речи. Но когда поднимались из-за стола, для его величества в кабинете обычно уже стояла наготове бутылочка доброго вина. Однажды великий султан, дружески мне подмигнув, дал понять, чтобы я прошел за ним в кабинет.

Когда мы там заперлись, он с таинственным видом достал из шкафчика бутылку.

— Мюнхгаузен,— произнес он,— я знаю, что вы, христиане, понимаете толк в бокале хорошего вина. У меня тут осталась еще бутылочка токайского. Такого

чудесного вина вам, верно, еще никогда в жизни не приходилось пить.

С этими словами его величество налил мне, а затем и себе по рюмке, и мы чокнулись.

— Ну, что вы на это скажете? Ну-ка! Не правда ли, чудо, а не вино?

— Винцо хорошее, ваше величество,— ответил я.— Но, с разрешения вашего величества, я все же должен сказать, что в Вене у покойного императора Карла Шестого мне приходилось пить во много раз лучшее. Черт возьми! Вот бы вашему величеству испробовать такого вина!

— Друг мой Мюнхгаузен, при всем уважении к вам не могу поверить, чтобы существовало токайское лучше этого! Я достал одну-единственную бутылку этого вина у венгерского дворянина, который с трудом решился с ним расстаться.

— Чепуха, ваше величество! Токайское токайскому рознь. Господа венгерцы не так-то щедры. Держу пари, что ровно за час доставлю вам прямым путем и непосредственно из императорского погреба бутылку токайского, да еще какого!

— Мюнхгаузен, мне кажется, вы болтаете вздор!

— Нет, я не болтаю вздор. Берусь за один час прямым путем из императорского погреба в Вене доставить вам бутылку токайского, и не такую кислятину, как это!

— Мюнхгаузен! Мюнхгаузен! Вы смеетесь надо мной, а этого я вам не позволю! Я знал вас до сих пор как человека необыкновенно правдивого, но сейчас готов думать, что вы завираетесь.

— В чем же дело, ваше величество? Давайте попробуем. Не выполню я свое обещание — а я непримиримый враг всяческого вранья,— тогда, ваше величество, прикажите отрубить мне голову. Ведь моя голова не кочерыжка какая-нибудь. Что же вы, ваше величество, против нее поставите?

— По рукам! Ловлю вас на слове! Если ровно в четыре часа токайское не будет доставлено, я не помилую вас, и это будет вам стоить головы. Смеяться над собой я не позволю даже лучшим моим друзьям. Если же вы свое обещание выполните, то можете взять из моего казначейства столько золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней, сколько в силах унести самый большой силач.

— Вот это другое дело! — ответил я, тут же попросил подать мне перо и чернила и написал королеве-императрице Марии-Терезии следующую записку:

«Ваше величество, в качестве единственной наследницы вам, несомненно, от вашего блаженной памяти отца наряду с прочим достались и его погреба. Осмелюсь покорнейше просить Вас прислать мне с подателем сего письма бутылку токайского, какое я частенько пивал у Вашего батюшки. Только самого лучшего. Дело касается пари. Готов как угодно за это отслужить и остаюсь...» И так далее.

Записку я поспешил вручить, даже не запечатав, так как было уже пять минут четвертого, моему скороходу. Ему пришлось отстегнуть свои гири и немедленно пуститься бежать в Вену.

После этого мы — великий султан и я — в ожидании лучшего выпили до дна оставшееся вино. Пробило четверть четвертого, половина... пробило три четверти четвертого... но скорохода не было видно. Должен признаться, что мне понемногу становилось все больше не по себе. Мне чудилось, что его величество время от времени поглядывает на шнур от колокольчика, собираясь вызвать палача. Мне, правда, еще разрешили выйти в сад, чтобы глотнуть свежего воздуха, но за мной все время следовали двое услужливых соглядатаев, не спускавших с меня глаз.

Когда стрелка показывала уже пятьдесят пять минут четвертого, я поспешил послать за моими слугами — за слухачом и стрелком. Они немедленно явились, и я приказал моему слухачу лечь на землю и послушать, не приближается ли скороход. К немалому моему испугу, он доложил, что негодяй где-то, и притом далеко отсюда, прилег отдохнуть и сейчас храпит что есть мочи.

Но лишь только мой славный стрелок услышал это, как взбежал на высокую террасу и, приподнявшись на цыпочки, закричал:

— Клянусь своей душой! Лежит себе этот лентяй под дубом около Белграда, а рядом с ним бутылка! Погоди! Сейчас пощекочу тебя так, что ты сразу проснешься! — И с этими словами он вскинул свое кухенрейтеровское ружье и выпустил заряд прямо в вершину дуба. Целый град желудей, веток и листьев посыпался на спящего, разбудил его, и так как скороход и сам почувствовал, что чуть было не упустил время, то он с та-

кой быстротой пустился бежать, что с бутылкой и собственноручной запиской Марии-Терезии в три часа пятьдесят девять с половиной минут оказался у дверей кабинета султана.

Вот это было вино! Ох, как смаковал его высочайший лакомка!

— Мюнхгаузен,— сказал он,— не обижайтесь, если эту бутылку я оставлю для себя одного. У вас в Вене лучшие связи, чем у меня! Вы сумеете добыть для себя и другую бутылку!

Сказав это, он спрятал вино в шкафчик, сунул ключ в карман штанов и позвонил казначею.

О, сколь сладостен показался мне этот серебряный звон!

— Теперь,— произнес он,— я должен рассчитаться с вами за наше пари... Вот,— добавил он, обращаясь к казначею, который появился на пороге,— отпустите моему другу Мюнхгаузену из моей казны столько, сколько сможет унести самый сильный из его слуг.

Казначей поклонился своему господину, ткнувшись носом в землю. Мне же великий султан дружески пожал руку и затем отпустил нас обоих.

Как вы легко можете себе представить, милостивые государи, я, не мешкая ни минуты, воспользовался полученным разрешением. Вызвав силача с его длинной льняной веревкой, я отправился с ним в кладовую казначейства.

На то, что мой силач оставил в кладовой после того, как упаковал свою ношу, вы вряд ли позарились бы.

Как можно быстрее устремился я со своей добычей в гавань, нанял там самое большое судно, какое только нашлось, и, нагрузив его до отказа, пустился на всех парусах со всеми своими слугами в море, торопясь скрыть мой улов в безопасном месте.

Случилось именно то, чего я опасался. Казначей, оставив незапертыми двери и ворота своей сокровищницы — ведь запирать их теперь не было особой надобности,— со всех ног бросился к великому султану и поведал ему о том, как широко я истолковал его разрешение.

Великого султана словно обухом по голове ударило. Он сразу же раскаялся в своем необдуманном поступке и приказал своему адмиралу немедленно со всем турецким флотом двинуться за мной в погоню и довести до

моего сознания, что таких условий в нашем пари не было.

Не успел я поэтому отплыть и двух миль, как увидел, что за мной, подняв все паруса, следует в полном составе турецкий военный флот. Должен сознаться, что голова моя, как будто немного укрепившаяся, снова зашаталась.

Но тут как раз под рукой оказался мой ветродув.

— Пусть ваша светлость не беспокоится,— сказал он и с этими словами встал на корме нашего корабля, заняв такое положение, чтобы одна ноздря его была направлена на турецкий флот, а другая — на наши паруса. Затем он дунул так здорово, что турецкий флот с разбитыми мачтами и рваными парусами еле добрался до гавани, тогда как мы, подгоняемые попутным ветром, через несколько часов благополучно прибыли в Италию.

Из моего клада мне все же досталось не много, ибо в Италии, несмотря на попытки веймарского библиотекаря Ягеманна[5] спасти ее честь, царят такая ужасная нищета и попрошайничество, а полиция так плохо выполняет свои обязанности, что мне — возможно, в силу моей непомерной доброты — пришлось большую часть моих богатств раздать уличным нищим. Остаток же у меня отняла по дороге в Рим, как раз на священной равнине Лоретто, банда придорожных грабителей. Совесть, верно, не очень-то мучила их за это, ибо добыча была столь велика, что даже одной тысячной доли ее хватило бы для всей честной компании, для их наследников и наследников этих наследников. Они могли бы получить за нее полное отпущение всех грехов, прошедших и будущих, хотя бы даже из рук самого высокопоставленного лица в Риме.

Но теперь, господа, мне и в самом деле пора на покой! Желаю вам приятного сна.

СЕДЬМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

с приложением вполне достоверной биографии одного из знакомых барона, который, после ухода последнего, выступает в роли рассказчика

Окончив предыдущий рассказ, барон, не поддаваясь уже никаким уговорам, поднялся, оставив своих слушателей в самом лучшем настроении. Все же он на прощание обещал им при первом удобном случае рассказать о приключениях своего отца, которые все они жаждали узнать, да еще добавить к ним кое-какие другие любопытные истории.

После того как все присутствующие, каждый по-своему, высказались о том забавном, что они услышали, один из слушателей, приятель барона, сопровождавший его во время путешествия в Турцию, заметил, что неподалеку от Константинополя находится колоссальных размеров пушка, о которой особо упоминает барон Тотт в своих недавно опубликованных «Записках». Сообщает он, насколько я помню, примерно следующее:

«Турки установили вблизи города, выше цитадели, на берегу знаменитой реки Симоис, огромное орудие. Оно было целиком отлито из меди и стреляло мраморными ядрами, весившими не менее тысячи ста фунтов каждое. Я испытывал непреодолимое желание,— повествует Тотт,— выстрелить из этого орудия, чтобы ясно представить себе, как оно действует. Все вокруг меня дрожали и тряслись, убежденные, что и город и крепость превратятся от такого выстрела в груду развалин. В конце концов страх несколько рассеялся, и мне, наконец, было разрешено произвести выстрел. Для этого потребовалось не менее трехсот тридцати фунтов пороха, а ядро, как я уже говорил, весило тысячу сто фунтов. Когда подошел канонир с зажженным фитилем, окружавшая меня толпа отодвинулась как можно дальше. С большим трудом удалось мне убедить подоспевшего пашу, что никакая опасность не угрожает. Даже у канонира, действовавшего по моим указаниям, от страха сильно колотилось сердце. Я занял место в углублении стены, позади орудия, дал сигнал и почувствовал толчок, словно при землетрясении. На расстоянии в триста саженей ядро разорвалось на три части. Куски перелетели через пролив и, отскочив от воды, ударились о горный склон на противоположном берегу, вспенив весь пролив».

Таков, насколько я, милостивые государи, припоминаю, рассказ барона Тотта о самой большой пушке в мире. Когда мы с бароном Мюнхгаузеном посетили эту местность, нам сообщили о выстреле, произведенном из этой пушки бароном Тоттом, причем этот поступок приводился как пример необычайного мужества барона Тотта.

Мой благодетель, для которого нестерпима была мысль, что француз мог в чем-то превзойти его, взвалил себе эту самую пушку на плечо и, тщательно установив ее в горизонтальном положении, прыгнул с ней в море и поплыл к противоположному берегу. Оттуда он, к не-

счастью, попытался перебросить пушку на ее прежнее место. Я сказал «к несчастью», ибо она несколько преждевременно выскользнула из его рук, а именно — в тот самый момент, когда барон размахнулся, собираясь швырнуть ее. Вследствие этого пушка рухнула в воду как раз в середине пролива, где покоится и сейчас и, верно, останется там до второго пришествия.

Вот эта самая история окончательно испортила отношения господина барона с его величеством турецким султаном. История с сокровищами, о которой барон сегодня рассказал вам, давно отошла в область предания. Ведь у султана было достаточно источников дохода, и он очень скоро мог снова наполнить кладовые своего казначейства. Барон в последний раз прибыл в Турцию, получив собственноручное приглашение его величества, и находился бы там, возможно, и по сие время, если бы гибель прославленной пушки не привела жестокого тирана в такую ярость, что он отдал строжайший приказ немедленно отрубить господину барону голову.

Но одна султанша, любимцем которой успел стать барон, не только своевременно сообщила ему о кровожадном намерении тирана, но и скрывала его в собственных покоях все то время, пока офицер, которому было поручено совершить казнь, вместе со своими подручными везде искал его. В следующую же ночь мы нашли приют на корабле, готовом поднять паруса и отплыть в Венецию. Таким образом нам удалось спастись.

Об этом случае барон упоминает неохотно потому, что ему не только не удалось выполнить задуманное, но он вдобавок еще чуть было не поплатился жизнью. Но так как эта история нисколько не позорит его, я иногда позволяю себе рассказывать ее в его отсутствие.

Итак, милостивые государи, вы теперь знаете все о бароне Мюнхгаузене и, надеюсь, уже никогда не станете сомневаться в его правдивости.

Для того, однако, чтобы у вас не было и тени сомнения относительно меня — предположение, которое я не желал бы даже допустить,— мне хочется вкратце сообщить вам, кто я такой.

Мой отец, или во всяком случае тот, кого считали моим отцом, был швейцарцем из Берна. Ему было поручено нечто вроде главного наблюдения за дорогами, аллеями, переулками и мостами. Подобные чиновники в той стране называются... метельщиками. Мать моя

была родом из Савойских гор, и на шее у нее красовался большой зоб, что у дам в тех краях считается самым обыкновенным явлением. Она в очень молодых годах покинула родительский дом и в погоне за счастьем попала в тот самый город, где отец мой впервые увидел свет. Будучи девицей, она зарабатывала себе на хлеб, благодетельствуя лицам нашего пола. Всем известно, что она никогда не отказывала в любезности, особенно в тех случаях, когда ей шли навстречу с соответствующей учтивостью и щедростью.

Эта милая пара повстречалась случайно на улице, и так как оба были под хмельком, то, покачиваясь, натолкнулись друг на друга и вместе покатились по земле. Оба при этом, не уступая друг другу, изрядно буйствовали. Их задержали дозорные и потащили сначала в комендантский пост, а затем в тюрьму. Здесь они пришли к заключению, что ссора их — просто нелепость, помирились, влюбились друг в друга и поженились.

Так как мать моя после свадьбы все же пыталась проделывать прежние штуки, отец мой, руководствовавшийся высокими понятиями о чести, довольно быстро расстался с супругой, предоставив ей в единоличное пользование все доходы от корзины для сбора мусора. Вскоре после этого она связалась с компанией, переезжавшей из города в город с театром марионеток. Позже судьба забросила ее в Рим, где она держала лавочку и торговала устрицами.

Вам всем, без сомнения, приходилось слышать о папе Ганганелли, или Клименте XIV, и о том, как он любил устриц. Однажды в пятницу, когда папа во главе пышной процессии направлялся к обедне в собор святого Петра, он увидел устриц, которыми торговала моя мать (а устрицы эти, как она мне много раз рассказывала, были необычайно свежи и хороши), и, конечно, не мог пройти мимо, не отведав их. И хотя в его свите насчитывалось не менее пятисот человек, всем пришлось остановиться, а в собор было сообщено, что служить обедню папа не сможет раньше завтрашнего дня.

Соскочив с коня — папы в таких случаях всегда едут верхом,— он вошел в лавчонку моей матери, проглотил сначала все устрицы, какие там были, а затем спустился с хозяйкой в погреб, где у нее хранились еще и добавочные запасы. Это подземное помещение служило моей матери одновременно кухней, приемной и спальней. Папе

Клименту здесь так понравилось, что он отослал всех своих приближенных. Короче говоря, его святейшество провел там с моей матерью всю ночь. До того, как покинуть ее поутру, папа отпустил ей не только те грехи, какие она уже успела совершить, но и все те, которые ей вздумается совершить и в дальнейшем.

Что же к этому добавить, милостивые государи? Моя мать заверяла меня своим честным словом (а кто посмеет усомниться в ее чести?), что я явился плодом той устричной ночи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА БАРОНА

Как легко себе представить, от барона не отступали с просьбами выполнить данное обещание и продолжить свои столь же поучительные, сколь и забавные повествования. Но довольно долгое время все мольбы оставались напрасными. У него была похвальная привычка ничего не делать, если на то не было особого настроения, и еще более похвальная — ни при каких обстоятельствах не отступать от этого принципа.

Но вот наступил, наконец, желанный вечер, когда веселая улыбка, с которой он встретил настойчивые просьбы своих друзей, могла послужить верным признаком того, что вдохновение осенило рассказчика и надежды его слушателей не окажутся напрасными. Все умолкли и слушали, не сводя глаз...

И Мюнхгаузен начал, сидя на мягких подушках дивана:

— Во время последней осады Гибралтара[6] я отплыл в эту крепость на одном из кораблей нагруженного провиантом флота, которым командовал лорд Родней. Я намеревался посетить моего старого друга — генерала Эллиота, который заслужил неувядаемые лавры блистательной защитой этого укрепления. Когда улеглись первые радостные порывы, всегда сопутствующие встрече двух старых друзей, я в сопровождении генерала прошелся по крепости, желая получить представление как о состоянии ее гарнизона, так и о подготовке к атаке, предпринимаемой неприятелем. Я захватил с собой из Лондона отличный зеркальный телескоп, купленный у Доллонда[7]. С помощью этого телескопа мне удалось обнаружить, что неприятель как раз собирался выпустить по тому самому месту, где мы находились, тридцатишестифун-

товое ядро. Я сообщил об этом генералу, тот поглядел в трубу и признал мое предположение правильным.

С разрешения генерала я приказал немедленно принести с ближайшей батареи сорокавосьмифунтовое ядро и навел дуло орудия — в области артиллерии, скажу без хвастовства, я не знаю себе равного — так точно, что не мог сомневаться в правильности попадания.

Затем я установил тщательное наблюдение за врагом, пока не уловил момента, когда его артиллеристы поднесли фитиль к орудию. В то же мгновение я дал сигнал стрелять нашим канонирам. Примерно на середине пути оба ядра столкнулись с неимоверной силой, и эффект от столкновения оказался потрясающим. Вражеское ядро так стремительно отлетело назад, что не только начисто снесло голову неприятельскому солдату, выпустившему его, но сорвало еще шестнадцать других голов, встретившихся на пути его обратного полета к африканскому побережью. Затем, еще не долетев до Африки, ядро снесло все мачты с кораблей, выстроившихся в неприятельской гавани, после чего, пролетев еще двести английских миль в глубину материка, пробило крышу деревенского домика, лишило спавшую там на спине с открытым ртом старушку немногих оставшихся у нее зубов и в конце концов застряло в глотке этой несчастной женщины. Ее муж, вскоре вернувшийся домой, попробовал извлечь ядро. Убедившись, однако, что это невозможно, он быстро принял решение и вбил молотком ядро в желудок, из которого оно позже вышло естественным путем.

Наше ядро сослужило нам отличную службу. Оно не только отбросило неприятельское ядро, заставив его произвести вышеописанные разрушения, но, в полном соответствии с моими намерениями продолжая свой путь, сорвало с лафета ту самую пушку, из которой только что в нас стреляли, и с такой силой швырнуло ее в киль одного из кораблей, что выбило у него днище.

Корабль дал течь, наполнился водой и пошел ко дну вместе с находившимися на нем тысячью испанских матросов и значительным числом солдат. Это был, несомненно, выдающийся подвиг. Но я не претендую на то, чтобы он был поставлен в заслугу мне одному. Честь замысла, конечно, принадлежит мне, но успеху в какой-то мере содействовал и случай.

Дело в том, что позже я обнаружил следующее: в на-

шу пушку, выпустившую сорокавосьмифунтовое ядро, было по недосмотру заложено двойное количество пороха, чем, собственно, и объясняется неслыханная сила, с которой было отброшено неприятельское ядро.

Генерал Эллиот за эту выдающуюся услугу предложил мне занять должность офицера. Но я отказался, удовлетворившись благодарностью, которую он в самой лестной форме выразил мне за ужином в присутствии всего офицерского состава.

Так как я очень расположен к англичанам, которых считаю, бесспорно, мужественным и благородным народом, я твердо решил не покидать крепости, пока вторично не окажу им услугу. Недели три спустя для этого представился удобный случай.

Нарядившись католическим священником, я в час ночи тихонько выбрался из крепости и, благополучно проскользнув через неприятельские линии, оказался в центре вражеского лагеря. Там я проник в палатку графа Артуа, который вместе с высшим командным составом и другими офицерами был как раз занят разработкой плана штурма крепости, назначенного на следующее утро. Одежда священника ограждала меня от подозрений. Никто меня не заметил, и я без помехи мог все видеть и слышать.

В конце концов все отправились на покой, и я вскоре обнаружил, что весь лагерь, включая и часовых, спит глубоким сном.

Я тотчас же приступил к делу — снял с лафетов все пушки, начиная с тех, что стреляли сорокавосьмифунтовыми ядрами, до двадцатичетырехфунтовых, и швырнул их за три мили в море. Так как помочь было совершенно некому, то это была самая тяжелая работа, какую мне когда-либо приходилось предпринимать, исключая, впрочем, одну, о которой, как я слышал, вам счел нужным поведать в мое отсутствие мой знакомый. Речь идет об огромной, описанной бароном Тоттом, турецкой пушке, с которой я переплыл пролив.

Покончив с орудиями, я перетащил к одному месту посреди лагеря все лафеты и телеги, а чтобы скрип колес не привлек внимания, перенес их попарно под мышкой. Великолепный холм получился — не ниже Гибралтарской скалы!.. Вслед за этим я с помощью куска железа, выломанного из самого большого орудия, выбил огонь из кремня, торчавшего на глубине двадцати футов под

землей в каменной стене, построенной еще арабами, запалил фитиль и поджег всю эту кучу. Я забыл еще сказать вам, что сверху я навалил на нее все телеги продовольственного обоза.

Самые легковоспламеняющиеся предметы я, разумеется, подложил снизу, и поэтому все в одно мгновение вспыхнуло жарким пламенем. Во избежание подозрений я первым поднял тревогу.

Весь лагерь, как вы легко можете себе представить, был объят ужасом. Общее мнение сводилось к тому, что часовые были подкуплены и что такое полное уничтожение всей лагерной артиллерии могло быть произведено только силами семи или восьми полков, переброшенных с этой целью из крепости.

Господин Дринкуотер в своем описании этой знаменитой осады упоминает о громадном ущербе, понесенном врагом из-за возникшего пожара, но ни слова не говорит об истинной причине этой катастрофы. Да и не мог он знать о ней. Ведь я не открывал еще этой тайны никому (хотя я единолично спас в эту ночь Гибралтар), даже генералу Эллиоту.

Граф Артуа с перепугу удрал вместе со своими приближенными, и все они без передышки бежали две недели подряд, пока не достигли Парижа. Кроме того, страх, пережитый ими при этом страшном пожаре, так на них подействовал, что в течение трех месяцев они не были в состоянии что-либо съесть или выпить и оказались вынужденными питаться, как хамелеоны, одним воздухом.

Месяца два спустя после того как я оказал осажденным такую важную услугу, я сидел с генералом Эллиотом за завтраком, как вдруг в комнату влетело ядро (ибо я не успел отправить их мортиры вдогонку за пушками) и упало прямо на стол. Генерал, как на его месте сделал бы всякий другой, мгновенно покинул комнату, а я схватил ядро до того, как оно успело разорваться, и отнес его на вершину скалы. Оттуда я увидел, что в неприятельском лагере в одном месте собралось довольно много народа. Простым глазом я, однако, не мог разглядеть, что там делается. Прибегнув поэтому к помощи своего телескопа, я разглядел, что два наших офицера — один генерал, а другой полковник, которые еще накануне провели со мной вечер, а после полуночи пробрались в неприятельский лагерь, чтобы произвести там разведку,—

попали в руки врага и сейчас должны были подвергнуться казни.

Расстояние было слишком велико, чтобы можно было просто швырнуть туда ядро рукой. К счастью, я вспомнил, что у меня в кармане находилась та самая праща, которую блаженной памяти Давид так удачно пустил в ход в борьбе с великаном Голиафом. Я вложил в нее ядро и швырнул его прямо в круг собравшихся. Упав, ядро мгновенно взорвалось и убило всех, кто там находился, за исключением обоих английских офицеров, которых, на их счастье, только что вздернули на виселицу. Осколок ядра ударился о подножие виселицы, и она тут же рухнула.

Друзья наши, почувствовав под ногами твердую почву и желая понять причину случившегося, оглянулись и, увидев, что охрана, палачи и все остальные возымели благую мысль первыми отправиться на тот свет, освободили друг друга от неприятных пут, побежали к берегу, вскочили в испанскую шлюпку и принудили обоих находившихся в ней гребцов отвезти их на наш корабль.

Несколько минут спустя, когда я докладывал генералу Эллиоту о происшедшем, они появились перед нами. После взаимных приветствий и поздравлений мы весело и радостно отпраздновали это знаменательное событие.

Всем вам, господа,— вижу это по вашим глазам — хочется узнать, как я добыл такую драгоценность, как упомянутая мною праща. Хорошо! Дело обстояло так. Я происхожу, да будет вам известно, от жены Урии, с которой у Давида, как все знают, были весьма близкие отношения. С годами, как это нередко случается, чувства его величества к графине заметно охладели — графское достоинство было ей пожаловано три месяца спустя после кончины ее супруга. И вот однажды они поспорили по весьма важному вопросу — о том, в каком месте был построен Ноев ковчег и где он после всемирного потопа пристал к берегу. Основатель моего рода жаждал прослыть великим знатоком старины, а графиня была председательницей общества по изучению истории. При этом царь страдал недостатком, свойственным многим большим господам и почти всем маленьким людям,— он не терпел, чтобы ему перечили, а ей был свойствен порок всех лиц ее пола — она желала быть во всем правой. Одним словом, последствием был разрыв.

Графине часто приходилось слышать, как царь хвастался этой пращой, называя ее неоценимым сокровищем, и сочла благоразумным захватить ее с собой — надо полагать, «на память».

Однако не успела еще она покинуть пределы государства, как исчезновение пращи было замечено, и не менее шести человек из личной охраны царя были посланы в погоню. Графиня так ловко пустила в ход захваченное ею оружие, что уложила на месте одного из преследователей, который, желая, по-видимому, выслужиться, опередил остальных. И произошло это на том самом месте, где некогда был насмерть сражен Голиаф.

Увидев, как пал их товарищ, остальные преследователи после долгих и серьезных размышлений сочли за благо прежде всего доложить высокому начальству об этом новом обстоятельстве, а графиня сочла за благо, как можно чаще меняя лошадей, продолжать свой путь в Египет, где у нее при дворе были очень влиятельные друзья.

Мне следовало еще раньше сказать вам, что графиня из нескольких детей, которые были ею зачаты при милостивом содействии его величества, увезла с собой одного сына, своего любимца. Ввиду того, что на плодородной почве Египта у этого сына появились еще братья и сестры, мать оставила ему, оговорив особой статьей в своем завещании, прославленную пращу, а от него она по более или менее прямой линии перешла ко мне.

Один из тех, кому пришлось владеть ею, мой прапрадед, живший лет двести пятьдесят тому назад, во время одного из своих посещений Англии познакомился с поэтом, который, хоть и не был плагиатором, но все-таки охотился за чужой дичью. Имя его — Шекспир.

Этот поэт, в творениях которого в настоящее время, вероятно, в отместку, гнусно браконьерствует немало немцев и англичан, иногда брал на время у моего прапрадеда эту пращу и перебил ею так много дичи сэра Томаса Люси, что с трудом избежал судьбы моих двух гибралтарских приятелей. Несчастного посадили в тюрьму, и моему прапрадеду удалось добиться его освобождения совершенно необычным способом.

Правившая в те годы Англией королева Елизавета, как вы знаете, в последние годы жизни опостылела сама себе. Одеваться, раздеваться, пить, есть и кое-что другое, о чем незачем упоминать,— все это делало для

нее жизнь нестерпимой обузой. Мой прапрадед дал ей возможность совершать это лишь по своему усмотрению, через посредство заместителя, а то и без него.

И как вы думаете, что он выговорил себе в награду за этот изумительнейший образец волшебства? Освобождение Шекспира! Ничего другого королева не могла заставить его принять. Этот добряк так полюбил великого поэта, что готов был пожертвовать частью оставшейся ему жизни, лишь бы продлить дни своего друга.

Должен вам, впрочем, сказать, милостивые государи, что метод королевы Елизаветы — жить без пищи — не встретил при всей своей оригинальности сочувствия у ее верноподданных, и меньше всего у гвардейцев, «пожирателей говядины», как их по сей день принято называть. Она и сама пережила введение нового обычая всего на каких-нибудь восемь с половиной лет.

Отец мой, от которого я получил эту пращу в наследство, незадолго до моей поездки в Гибралтар рассказал мне следующий удивительный анекдот, который от него часто слышали его друзья и в достоверности которого не сомневался никто из знавших почтенного старика.

«Мне пришлось,— рассказывал он,— во время моих путешествий довольно долгое время пробыть в Англии. Однажды я прогуливался по морскому побережью вблизи Гарвича. Внезапно на меня накинулся разъяренный морской конь. При мне не было ничего, кроме пращи, с помощью которой я так ловко швырнул в моего врага два камешка, что выбил ему глаз. Вслед за тем я вскочил ему на спину и погнал в море. Дело в том, что, потеряв зрение, животное мгновенно присмирело и стало совершенно ручным. Пращу я вложил ему в пасть вместо уздечки и без всяких затруднений поехал на нем верхом через океан.

Менее чем за три часа мы добрались до противоположного берега, хотя от него нас отделяло расстояние примерно в тридцать морских миль. В Гельветслуисе я продал моего коня за семьсот дукатов хозяину трактира «Три чаши», который выводил его напоказ в качестве редчайшего животного и заработал на нем порядочно денег. Сейчас можно увидеть его изображение у Бюффона[8].

Как ни достопримечательно было мое путешествие,— продолжал мой отец,— но еще удивительнее были сделанные мною в пути открытия и наблюдения.

Животное, на спине которого я сидел, не плыло, а с неимоверной быстротой бежало по морскому дну, гоня перед собой массу всяких рыб, причем многие из них вовсе не походили на обыкновенных. У некоторых голова помещалась на середине брюха, у других на кончике хвоста. Одни сидели кружком друг подле друга и распевали изумительно красивые песни, другие строили прямо из воды чудесные прозрачные здания, окруженные величественными колоннами, в которых в чарующих красках волнообразно переливалось какое-то вещество, походившее на пламя. Некоторые комнаты в этих зданиях были очень остроумно и удобно обставлены для случки рыб. В других покоях выхаживали и выращивали нежную икру, а ряд обширных помещений предназначался для воспитания юных рыб. Внешние формы применявшегося здесь воспитательного метода (дух его был мне, разумеется, так же мало понятен, как пение птиц или диалоги кузнечиков) удивительно походили на то, что мне в старости пришлось наблюдать в так называемых филантропических и других подобных учреждениях, и я совершенно убежден, что один из предполагаемых изобретателей этих воспитательных методов совершил когда-нибудь такое же путешествие, как и я, и скорее почерпнул свои идеи из воды, чем извлек из воздуха.

Из того немногого, что я вам сообщил, вы можете во всяком случае убедиться, что немало еще остается неиспользованным и немало еще можно придумать.

Продолжаю, однако, свое повествование.

Пришлось мне, между прочим, в пути перебираться и через горный хребет, высотой превосходящий Альпы. На склонах скал виднелось множество высоких деревьев самых разных пород. На них росли омары, раки, устрицы, гребенчатые устрицы, раковины, морские улитки и так далее. Некоторые из них — каждая штука в отдельности — могли составить груз для ломовой телеги, а самую маленькую с трудом потащил бы на себе грузчик. Все, что выплескивается морем на берег и продается на наших базарах,— жалкие отбросы, сбитые водой с ветвей, нечто вроде негодных мелких плодов, которые ветер срывает с деревьев.

Наиболее густо были увешаны омаровые деревья. Зато раковые и устричные деревья превосходили остальных своей высотой. Мелкие морские улитки растут на

каком-то подобии кустарника, который всегда теснится у подножия устричных деревьев и ползет по ним вверх почти так же, как плющ по стволу дуба.

Я мог также отметить чрезвычайно странное явление, связанное с затонувшим кораблем. Этот корабль, по-видимому, пошел ко дну, натолкнувшись на острие скалы, находившейся примерно на три сажени ниже поверхности воды, и при этом опрокинулся. Опускаясь, корабль налетел на высокое омаровое дерево и сбил с него значительное количество омаров, которые свалились на росшее под ними раковое дерево. Случилось это, по-видимому, весной, и омары были еще молоды. Они заключили брачный союз с раками и вывели плод, сохранивший сходство и с теми и с другими. Я попытался, ввиду их необычайного вида, захватить с собой несколько штук, но это, с одной стороны, оказалось затруднительным, с другой же — мой Пегас никак не желал стоять смирно. Кроме того, я проехал около полпути и находился в долине, на глубине не менее пятисот саженей ниже уровня моря, так что я постепенно начинал уже ощущать неудобство от недостатка воздуха.

Мое положение, впрочем, оказалось и в другом отношении не из приятных. Время от времени навстречу мне попадались большие рыбы, которые, судя по их разинутой пасти, были не прочь проглотить нас обоих.

Мой бедный Россинант был слеп, и только моему умелому управлению мы были обязаны тем, что нам удалось спастись от враждебных намерений этих голодных господ. Я подгонял поэтому своего коня, стремясь поскорее выбраться на сушу.

Когда я приближался к берегам Голландии и вода над моей головой была, по-видимому, не выше каких-нибудь двадцати саженей, мне почудилось, что передо мной на песке лежит человеческое существо в женском платье. Мне показалось, что женщина еще проявляет какие-то признаки жизни. Приблизившись, я увидел, что она шевелит рукой. Схватив ее за руку, я потащил мнимую утопленницу к берегу.

Хотя в те годы еще не достигли таких высот в искусстве воскрешать мертвых, как в наши дни, все же благодаря умелым и неутомимым стараниям местного аптекаря удалось раздуть искорку жизни, еще теплившуюся в этой женщине.

Спасенная оказалась дражайшей половиной челове-

ка, который командовал кораблем, причисленным к гавани Гельветслуис и незадолго до этого вышедшим в море. К несчастью, капитан в спешке захватил с собой вместо своей жены другую особу. Супруга была немедленно извещена об этом одной из богинь, бдительно охраняющих домашний очаг. Твердо убежденная в том, что права брачной постели так же незыблемы на море, как и на суше, обуреваемая бешеной ревностью, супруга бросилась на открытой лодке в погоню за мужем. Очутившись на палубе его корабля, пострадавшая, после краткого и непереводимого вступления, попыталась доказать свою правоту таким убедительным способом, что ее верный супруг счел благоразумным отступить на несколько шагов. Печальным последствием было то, что ее костлявая рука нанесла удар, предназначавшийся щеке мужа, морским волнам, и так как эти волны оказались еще податливее супруга, она встретила сопротивление, к которому стремилась, лишь на дне морском.

И тут моя несчастливая звезда свела меня с ней, чтобы умножить число счастливых супружеских пар на земле.

Легко могу себе представить, какие добрые пожелания послал по моему адресу ее супруг, узнав, что его нежная женушка, спасенная мной, ожидает его возвращения!

Все же, как ни зловредна оказалась шутка, сыгранная мною над беднягой, сердце мое не было в ней повинно. Моими поступками руководило чистейшее человеколюбие, хотя последствия, не смею отрицать этого, и оказались ужасными».

На этом, милостивые государи, кончается рассказ моего отца, о котором я вспомнил в связи с прославленной пращой. К сожалению, этой праще после долгих лет, которые она прослужила нашей семье, оказав ей немало важных услуг, пришлось, по-видимому, тяжко пострадать в пасти морского коня. Я лично, во всяком случае, прибегнул к ней один-единственный раз — тот самый, о котором вам рассказал, а именно, когда отослал испанцам обратно их ядро и тем спас от виселицы двух своих друзей. И в этот раз, послужив такой благородной цели, моя праща, ставшая с годами несколько трухлявой, окончательно выбыла из строя. Бóльшая часть ее улетела вместе с ядром, а небольшой кусок,

оставшийся у меня в руке, хранится в семейном архиве вместе с другими ценными предметами старины.

Вскоре за тем я покинул Гибралтар и вернулся в Англию. Там со мной приключилась одна из самых странных историй в моей жизни.

Мне пришлось отправиться в Уоппинг, где я хотел присмотреть за погрузкой вещей, которые отправлял своим друзьям в Гамбург. Покончив с этим делом, я возвращался по набережной Тауэр. Был полдень. Я страшно устал, и солнце пекло так нестерпимо, что я залез в одну из пушек, собираясь там передохнуть. Не успел я укрыться в тени, как сразу же погрузился в крепкий сон. Происходило это как раз четвертого июня[9], и ровно в час дня, в ознаменование этой даты, был дан залп из всех орудий. Они были заряжены с утра, и так как никто не мог заподозрить мое присутствие, то силой взрыва я был перенесен поверх домов на противоположный берег реки прямо во двор какого-то арендатора между Бермондсеем и Дептфордом. Здесь я свалился на высокий стог сена. Я был так оглушен, что — в этом нет ничего удивительного — остался лежать там, не проснувшись.

Месяца через три сено ужасно поднялось в цене, и арендатор решил, что он может весьма выгодно продать свой запас. Стог, на котором я лежал, был самым большим во всем дворе — в нем было по меньшей мере пятьсот возов. С него поэтому и начали. Шум, поднятый людьми, которые, приставив. лестницы к стогу, собирались забраться на него, разбудил меня. Спросонок не соображая, где я нахожусь, я хотел убежать и скатился вниз прямо на хозяина. Сам я от этого падения нисколько не пострадал, но арендатору пришлось плохо — он был убит на месте, так как я, вовсе этого не желая, сломал ему шею. К своему успокоению, я позже узнал, что этот человек был гнусный хапуга, который всегда придерживал свои запасы до тех пор, пока не наступала жестокая дороговизна и он мог продать их по непомерно высокой цене. Таким образом, насильственная смерть была для него лишь заслуженной карой, а для окружающих — подлинным благодеянием.

Вы легко можете себе представить, сколь необычайно было мое удивление, когда, придя, наконец, полностью в себя, я после длительного раздумья вернулся к тем мыслям, с которыми уснул три месяца тому назад,

а также удивление и радость моих лондонских друзей, когда после их долгих и бесплодных розысков я внезапно предстал перед ними.

Ну, а теперь выпьем еще по рюмочке, а затем я расскажу вам еще кое-что о моих приключениях на море.

ВОСЬМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

Вам, без сомнения, приходилось слышать о последнем путешествии на север капитана Фиппса — ныне лорда Малгрэйва.

Я сопровождал капитана — не как офицер, а только как друг. Ввиду того, что мы достигли довольно высокого градуса северной широты, я схватил свой телескоп, с которым уже познакомил вас при рассказе о моем путешествии в Гибралтар, и стал всматриваться в окружающие нас предметы. Ибо, говоря мимоходом, я всегда считаю полезным время от времени оглядеться, особенно в пути.

Примерно в полумиле от нас плыла ледяная гора, значительно более высокая, чем наши мачты, а на ней я разглядел двух белых медведей, вцепившихся, как мне показалось, друг в друга в жаркой схватке.

Я мгновенно вскинул на плечо ружье и направился к ледяной горе. Но когда я оказался на вершине, передо мной открылась невероятно трудная и опасная дорога. Мне ежеминутно приходилось перескакивать через страшные обрывы, а в других местах поверхность была скользкой, как зеркало, и я только и делал, что падал и поднимался. Но, наконец, я добрался до такого места, с которого мог попасть в медведей, и в то же время я разглядел, что они не дерутся друг с другом, а лишь играют.

Я уже мысленно прикидывал стоимость их шкур — каждый из медведей был величиной с хорошо откормленного быка,— но в ту самую минуту, когда я вскинул ружье, я поскользнулся, упал навзничь и так сильно ушибся, что на добрых полчаса потерял сознание. Вообразите мое удивление, когда, придя в себя, я увидел, что одно из вышеупомянутых чудовищ успело перевернуть меня лицом вниз и при этом ухватилось за пояс моих новых кожаных штанов. Верхняя часть моего туловища находилась под его брюхом, а ноги торчали нару-

жу. Бог знает, куда бы зверь уволок меня, но я вытащил перочинный нож — вот этот самый, который вы сейчас видите,— ухватился за левую заднюю лапу медведя и отрезал от нее три пальца. Медведь сразу выпустил меня и дико завыл. Я поднял ружье, выстрелил в него, когда он пустился бежать, и медведь рухнул.

Выстрел мой, правда, погрузил в вечный сон одного из этих кровожадных зверей, но зато разбудил несколько тысяч других, которые лежали и спали на льду, образуя круг шириною в полмили. Все они во всю прыть бросились ко мне.

Нельзя было терять ни минуты. Я обречен был на погибель, если мгновенно чего-нибудь не придумаю. И я придумал. Примерно за половину того времени, которое требуется опытному охотнику, чтобы ободрать зайца, я стянул с медведя шкуру и завернулся в нее, просунув свою голову под медвежью. Едва я успел кончить, как меня окружило все стадо. Меня бросало то в жар, то в холод под моей шкурой. Но хитрость моя полностью удалась. Медведи один за другим подходили ко мне, обнюхивали и явно принимали за своего косолапого собрата. Мне и в самом деле не хватало только роста, чтобы полностью походить на них, а некоторые из них, помоложе, были немногим выше меня.

После того как все медведи обнюхали меня и тело своего покойного товарища, они почувствовали ко мне, по всей видимости, симпатию. Кстати сказать, мне вполне удавалось подражать всем их повадкам, только разве в отношении рычания, рева и драки они превосходили меня.

Но, как ни походил я на медведя, я все же оставался человеком! Я принялся поэтому обдумывать, как наиболее выгодно для себя использовать добрые отношения, создавшиеся между мною и этими зверями.

Мне пришлось некогда слышать от одного старого фельдшера, что ранение в позвоночник смертельно, и вот я решил произвести опыт. Взяв снова в руки свой нож, я воткнул его одному из самых крупных медведей в загривок, у самого плеча. Нужно признаться, что шаг был очень рискованный и мне было страшновато. Ведь совершенно ясно — если зверь останется в живых после удара, я буду разорван в клочья.

Но мой опыт вполне удался. Медведь упал мертвым, не издав ни звука. Тогда я решил тем же способом рас-

правиться с остальными, что оказалось не так уж трудно. Видя, как справа и слева падали их собратья, медведи все же не подозревали ничего дурного. Они не задумывались ни о причине, ни о последствиях такого падения, и это было счастьем как для них, так и для меня.

При виде всех этих лежащих вокруг меня мертвых тел я сам себе показался Самсоном, сокрушившим тысячи врагов.

Не стану затягивать повествования — скажу только, что я вернулся на корабль и попросил послать со мною две трети экипажа. Они должны были помочь мне содрать шкуры и перетащить на корабль окорока. Мы справились с этим делом в несколько часов и загрузили все трюмы корабля. Все, что осталось, мы побросали в воду, хотя я не сомневаюсь, что при умелом засоле эти части были бы не менее вкусны, чем окорока.

Сразу же по возвращении я от имени капитана послал несколько окороков лордам адмиралтейства, несколько других — лордам казначейства, несколько штук — лорд-мэру, лондонскому городскому совету и торговым компаниям, а остальные — самым близким моим друзьям. Со всех сторон на меня посыпались выражения благодарности, а Сити на мой подарок ответило по-особому: я получил приглашение ежегодно участвовать в традиционном обеде в день выборов лорд-мэра.

Медвежьи шкуры я отослал русской императрице — на шубы для ее величества и для всего двора. Императрица выразила свою признательность в собственноручном письме, доставленном мне чрезвычайным послом. В этом письме она предлагала мне разделить с ней ложе и корону. Принимая, однако, во внимание, что меня никогда не прельщало царское достоинство, я в самых изысканных выражениях отклонил милость ее величества. Послу, доставившему письмо императрицы, было приказано дожидаться и лично вручить ее величеству ответ. Второе письмо, вскоре полученное мною, убедило меня в силе владевшей ею страсти и в благородстве ее духа. Причина последней ее болезни — как она, нежная душа, соблаговолила пояснить в беседе с князем Долгоруким — крылась исключительно в моей жестокости.

Не пойму, что находят во мне дамы! Но царица не единственная представительница своего пола, которая предлагала мне свою руку с высоты престола.

Нашлись люди, распускавшие клеветнические слухи,

будто капитан Фиппс во время нашего путешествия проник не так далеко, как мог бы это сделать. Но здесь уж я обязан вступиться за него. Наш корабль шел правильным путем, пока я не перегрузил его таким неимоверным количеством медвежьих шкур и окороков, что было бы просто безумием пытаться плыть дальше. Ведь мы едва были в состоянии противостоять сколько-нибудь значительному ветру, не говоря уже о ледяных горах, плавающих в северных широтах.

Капитан впоследствии не раз выражал свое недовольство тем, что он не разделяет со мною славу этого дня, который он напыщенно называет «днем медвежьих шкур». При этом он весьма завидует славе, которую доставила мне эта победа, и всеми силами пытается умалить ее. Мы не раз уже ссорились по этому поводу, да и теперь еще отношения у нас остаются несколько натянутыми. Между прочим, он утверждает, будто я не имею основания ставить себе эту историю в заслугу, что медведей я обманул, прикрывшись медвежьей шкурой. Он, по его словам, решился бы направиться к ним без маскировки, и они все равно приняли бы его за медведя.

Тут, правда, я коснулся столь щекотливого и острого пункта, что человек, умеющий ценить светскую любезность, не может спорить по такому поводу с кем бы то ни было, и уж во всяком случае не с высокородным пэром.

ДЕВЯТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

В другой раз я выехал из Англии с капитаном Гамильтоном. Мы направились в Ост-Индию. Я вез с собой легавую собаку, какую не добыть даже на вес золота. Она никогда не вводила меня в заблуждение.

Однажды, когда мы, согласно самым точным наблюдениям, находились еще в трехстах милях от берега, мой пес вдруг начал волноваться. Чуть ли не целый час я с удивлением наблюдал за ним. Я сообщил об этом странном обстоятельстве капитану и всем офицерам на корабле, утверждая, что мы безусловно находимся недалеко от земли, так как собака чует дичь.

Мои слова вызвали общий смех, который все же не заставил меня изменить доброе мнение о моей собаке.

После долгих споров за и против я в конце концов объявил капитану, что больше доверяю носу моего Трея,

чем глазам всех моряков на борту, и смело заявил ему, что бьюсь об заклад на сто гиней (сумма, которую я ассигновал на это путешествие), что мы в ближайшие полчаса наткнемся на дичь.

Капитан — добрейший человек — снова расхохотался и попросил нашего корабельного врача, господина Крауфорда, пощупать мой пульс. Врач исполнил эту просьбу и объявил, что я совершенно здоров. Вслед за этим оба стали о чем-то шептаться, причем я разобрал бо́льшую часть их разговора.

— Он не совсем в своем уме,— говорил капитан.— Я не могу по чести принять такое пари.

— Я придерживаюсь совершенно противоположного мнения,— возразил врач.— Он вполне здоров. Просто он больше доверяет обонянию своей собаки, чем здравому смыслу всех офицеров на борту... Он, разумеется, проиграет. Ну, и поделом ему!

— И все-таки,— стоял на своем капитан,— держать такое пари будет с моей стороны не вполне честно. Впрочем, тем похвальнее будет, если я потом верну ему деньги.

Пока шли все эти переговоры, Трей, не меняя позы, продолжал делать стойку и тем самым еще больше укрепил меня в моем мнении. Я вторично предложил держать со мною пари, и на этот раз мое предложение было принято.

Едва мы успели ударить по рукам, как несколько матросов, которые, сидя в шлюпке, привязанной к корме корабля, занимались рыбной ловлей, убили необыкновенно крупную акулу. Они тут же втащили ее на борт и принялись потрошить. И подумайте только — в ее желудке мы нашли... шесть пар живых рябчиков!

Несчастные птицы так долго находились в заключении, что одна из самок уже сидела на яйцах, из которых одно вскрылось как раз в ту самую минуту, когда акуле взрезали брюхо.

Птенцов мы вырастили вместе с котятами, появившимися на свет несколькими минутами раньше. Старая кошка так любила этих птенцов, словно это были ее четвероногие детеныши, и невероятно волновалась, если наседка улетала слишком далеко и долго не возвращалась. В числе рябчиков было четыре самки, из которых постоянно то одна, то другая высиживала птенцов, так что в течение всего пути стол капитана в избытке был обеспечен свежей дичью. Бедняге Трею, в награду за

сто гиней, выигранных мною, отдавали по моему приказу все косточки, а иногда ему доставалась и целая птица.

ДЕСЯТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРЕ

(Второе путешествие на Луну)

Я когда-то уже рассказывал вам, милостивые государи, о небольшом путешествии на Луну, предпринятом мною с целью достать оттуда мой серебряный топорик. Мне пришлось вторично, и гораздо более приятным способом, попасть туда, и я пробыл там достаточно долго, чтобы познакомиться с рядом вещей, о которых расскажу вам настолько подробно, насколько позволит мне память.

Один мой дальний родственник вбил себе в голову, что где-то должны существовать люди такого роста, как жители королевства Бробдингнег, якобы открытого Гулливером. Мой родственник предпринял путешествие с целью разыскать это королевство и попросил меня сопутствовать ему. Я всегда считал эти рассказы просто выдумкой и так же мало верил в существование какого-то Бробдингнега, как и Эльдорадо. Но родственник мой назначил меня своим наследником, а это обязывало меня к предупредительности.

Мы благополучно добрались до Южного океана, не испытав и не увидев ничего достойного упоминания, если не считать летающих мужчин и женщин, танцевавших в воздухе менуэт или совершавших диковинные прыжки, и тому подобных пустяков.

На восемнадцатый день, когда мы миновали остров Отахеити, налетевший ураган поднял наш корабль по меньшей мере на тысячу миль над поверхностью воды и довольно долго продержал его на этой высоте. Наконец свежий ветер надул наши паруса, и мы с невероятной скоростью понеслись вперед.

Шесть недель мы носились над облаками, когда вдруг увидели большой круглый и сверкающий остров. Мы вошли в удобную гавань, спустились на берег и увидели, что страна эта населена. Внизу под нами виднелась другая земля с городами, деревьями, горами, реками, озерами и так далее. Это был, как мы предположили, мир, покинутый нами.

На Луне — ибо сверкающий остров, к которому мы пристали, был Луной — мы увидели каких-то существ,

летающих на трехглавых орлах. Чтобы дать вам представление о величине этих птиц, достаточно будет сказать, что расстояние от кончика одного крыла до другого в шесть раз превышало длину самого длинного корабельного каната на нашем судне.

Тогда как мы в нашем мире ездим верхом на лошадях, жители Луны летают на таких птицах.

Тамошний король как раз вел войну с Солнцем. Он предложил мне пост офицера. Но я отказался от чести, предложенной мне его величеством.

Все в этом лунном мире отличается необыкновенной величиной. Простая муха, например, немногим меньше нашей овцы.

Излюбленное оружие, которым пользуются жители Луны на войне,— это редьки, заменяющие им копья. Раненный таким копьем мгновенно умирает. Щитами им служат грибы, а когда кончается сезон редьки, вместо нее пользуются спаржей.

Пришлось мне увидеть здесь и кое-кого из уроженцев собачьей звезды[10], которых бурная жажда деятельности склоняет к таким путешествиям. Лица у них напоминают бульдожьи морды. Глаза помещаются по бокам кончика, или, вернее, нижней части их носа. У них отсутствуют веки, и, укладываясь спать, они прикрывают глаза языком. Обычный рост их двадцать футов. Что же касается жителей Луны, то все они не ниже тридцати шести футов. Название у них очень странное. Они зовутся не людьми, а «кипящими существами», потому что они, как и мы, готовят себе пищу на огне. Еда, впрочем, отнимает у них очень мало времени: они просто раскрывают левый бок и засовывают всю порцию разом в желудок. Затем они запирают бок, пока по прошествии месяца не наступает соответствующий день. Обедают они, таким образом, не более двенадцати раз в году. Такой обычай должен быть по душе любому (за исключением разве обжор или пьянчуг), и каждый безусловно предпочтет его тому порядку, который принят у нас.

Радости любви на Луне совершенно неведомы, ибо там и кипящие существа, и все остальные животные — одного пола. Все растет на деревьях, которые, однако, в зависимости от растущих на них плодов, значительно отличаются друг от друга как величиной, так и формой листьев. Те, на которых растут кипящие существа, или люди, гораздо красивее других. У них большие, длин-

ные, прямые ветви и листья мясного цвета, а плоды их — это орехи с очень твердой скорлупой и длиной не менее шести футов. Когда эти орехи созревают, что сказывается в изменении их окраски, их очень тщательно собирают и хранят столько времени, сколько считают нужным. Когда хотят из них получить живые ядра, то бросают в большой котел, наполненный кипящей водой. Через несколько часов скорлупа лопается, и оттуда выскакивает живое существо.

Духовная сторона этих существ еще до их появления на свет от природы подготовлена для определенного назначения. Из одной скорлупы вылупляется воин, из другой философ, из третьей — богослов, из четвертой — юрист, из пятой — фермер, из шестой — крестьянин и так далее. И каждый из них немедленно приступает к усовершенствованию в том деле, с которым до сих пор был знаком лишь теоретически.

Определить по внешнему виду скорлупы что́ в ней кроется — очень трудно. Тем не менее, как раз в бытность мою на Луне какой-то лунный богослов наделал много шуму, утверждая, что владеет этой тайной. Но на него не обратили особого внимания, и общее мнение сводилось к тому, что он сумасшедший.

Когда жители Луны стареют, то не умирают, а растворяются в воздухе и улетают, как дым.

В питье они не нуждаются, так как у них не происходит никакого выделения влаги, кроме как при выдыхании. У лунных жителей по одному пальцу на каждой руке. С его помощью они всё делают так же хорошо, как мы, и даже лучше, хоть у нас, кроме большого пальца, еще и по четыре других впридачу.

Голову они носят под мышкой, справа, а если отправляются в путешествие или на такую работу, которая требует большой подвижности, то обычно оставляют ее дома. Посовещаться с ней они могут всегда, на каком бы расстоянии от нее ни находились.

Знатные люди из числа лунных жителей, если им хочется знать, что происходит среди простого народа, не имеют обыкновения сноситься с ним непосредственно. Они остаются дома, а вместо себя посылают свою голову, которая может везде присутствовать инкогнито, а затем, когда ее господин этого пожелает, вернуться к нему и доложить обо всем.

Виноградные косточки на Луне в точности похожи на

наши градины, и я твердо убежден, что, когда на Луне буря срывает виноград с лозы, косточки падают на землю в виде града. Я думаю, что это явление давно уже известно многим виноторговцам. Мне, во всяком случае, не раз доставляли вино, которое, по всей видимости, было изготовлено из градин и вкусом совершенно походило на лунное вино.

Чуть было не позабыл упомянуть об одной интересной вещи. Живот полностью заменяет лунным жителям наш чемодан: они суют туда все, что может им понадобиться, и так же, как и свой желудок, отпирают его и запирают, когда им вздумается. Дело в том, что кишками, печенью, сердцем они не обременены, так же как и платьем. У них, правда, нет и таких частей тела, которые стыдливость повелевала бы им прикрывать.

Глаза свои лунные жители могут по желанию вынимать и вставлять, и видят они ими одинаково хорошо — все равно, торчат ли они у них в голове или они держат их в руке. В случае, если они потеряют или повредят глаз, то могут одолжить у кого-нибудь или купить себе другой и пользоваться им не хуже, чем собственным. На Луне поэтому всюду можно встретить лиц, торгующих глазами. И в этом единственном случае лунные жители проявляют свои склонности и вкусы: возникает мода то на зеленые глаза, то на желтые.

Признаюсь, все это звучит неправдоподобно. Но я предоставляю право каждому, питающему хоть какие-нибудь сомнения, самому отправиться на Луну и убедиться в том, что я придерживался истины строже любого другого путешественника.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЕТУ И ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Если верить выражению ваших глаз, то я, пожалуй, скорее устану рассказывать вам о всяких необыкновенных случаях из моей жизни, чем вы перестанете слушать меня. Ваше внимание настолько льстит мне, что я не решусь — как предполагал раньше — закончить свое повествование путешествием на Луну.

Итак, если угодно, выслушайте еще один рассказ, столь же правдивый, как и предыдущий, но своей необычайностью, пожалуй, даже превосходящий его.

«Путешествие Брайдона в Сицилию»[11], книга, которую я прочел с огромным интересом, внушила мне желание увидеть гору Этну. По пути туда мне не пришлось встретить что-нибудь достойное внимания. Я говорю — мне, потому что многие другие сочли бы кое-какие происшествия удивительными и, чтобы покрыть путевые издержки, во всех подробностях расписали бы всякие случаи, представлявшиеся мне такими повседневными мелочами, что я не могу повествованием о них испытывать терпение порядочного человека.

Однажды утром, покинув расположенную у подножия горы хижину, я пустился в путь с непоколебимым решением: рассмотреть и обследовать, хотя бы ценою собственной жизни, внутреннее устройство этой знаменитой жаровни.

После утомительной трехчасовой дороги я оказался на вершине горы. Она как раз бушевала в то время, и это длилось вот уже три недели. Вид горы при таких обстоятельствах описывали уже столько раз, что изобразить ее,— если это вообще возможно изобразить словами,— я во всяком случае опоздал. Если же, как я мог на опыте убедиться, описать это словами нельзя, то лучше мне не терять даром времени на погоню за невозможным, а вам не рисковать своим хорошим настроением.

Я трижды прошелся по краю кратера — вообразите его себе в виде огромнейшей воронки,— но, убедившись, что это ничего или почти ничего не прибавляет к моим познаниям, я, не колеблясь, принял решение прыгнуть в кратер. Едва лишь я осуществил свое намерение, как очутился в дьявольски нагретой парилке, и несчастное мое тело было в разных местах — благородных и неблагородных — основательно помято и обожжено раскаленными докрасна углями, непрерывно вылетавшими из глубины горы.

Как ни велика, однако, была сила, с которой угли выбрасывались вверх, все же тяжесть моего падающего тела значительно превосходила ее, и я довольно быстро и благополучно достиг дна.

Первое, что поразило меня здесь, были нестерпимый стук, шум, визг и проклятия, раздававшиеся, казалось, со всех сторон. Я открыл глаза — и, представьте себе, оказался в обществе Вулкана и его циклопов. Господа эти, которых я давно со своей житейской мудростью отнес в область выдумок, вот уже три недели как поссо-

рились, не сойдясь во мнениях о порядке и субординации, и от этого произошел такой шум на поверхности земли. Мое появление немедленно восстановило мир и тишину.

Вулкан сразу же заковылял к шкафу, достал какие-то пластыри и мази и собственными руками наложил их на мои раны. Все они мгновенно зажили. Кроме того, он предложил мне подкрепиться бутылкой нектара и другими изысканными винами, которыми обычно наслаждаются одни лишь боги и богини.

Как только я несколько пришел в себя, Вулкан представил меня своей супруге Венере, приказав ей окружить меня всеми удобствами, необходимыми при моем состоянии. Красота комнаты, в которую она ввела меня, сладострастная нега дивана, куда она меня усадила, божественное обаяние всего ее существа, нежность ее чувствительного сердца — всего этого не описать обыкновенными словами, и голова у меня начинает кружиться даже при одном воспоминании.

Вулкан очень подробно описал мне Этну. Он рассказал, что гора эта не что иное, как нагромождение пепла, который выбрасывается из ее жерла, что ему часто приходится наказывать своих слуг и он в таких случаях в гневе швыряет в них раскаленными докрасна углями, которые они подчас с большой ловкостью перехватывают на лету и выкидывают в мир, чтобы угольки эти больше не попадались их повелителю под руку.

— Наши ссоры,— продолжал он,— длятся иной раз по нескольку месяцев, и те явления, которые это вызывает на свете, у вас, смертных, кажется, называются «извержениями». Гора Везувий также принадлежит к числу моих мастерских. К ней ведет дорога, которая тянется под морским дном на протяжении по меньшей мере трехсот пятидесяти миль. Такие же недоразумения, как у нас, вызывают и там подобные извержения.

Если поучения бога Вулкана и приходились мне по душе, то еще приятнее было мне общество его супруги, и я, возможно, никогда не покинул бы этих подземных замков, если бы не кое-какие злорадные болтуны. Они насплетничали на меня Вулкану и разожгли в его добродушном сердце жаркое пламя ревности. Не выдав до этого ни единым звуком своего недовольства, он однажды утром, в тот момент, когда я собирался помочь богине при одевании, схватил меня, унес в незнакомую мне

комнату и поднял над колодцем, который показался мне очень глубоким.

— Неблагодарный смертный! — произнес он.— Вернись в тот мир, откуда ты явился!

С этими словами, не дав мне ни минуты на оправдания, он швырнул меня в бездну.

Я падал и падал со все возрастающей скоростью, пока страх окончательно не лишил меня сознания. Внезапно я очнулся от обморока, очутившись в водах огромного озера, ярко освещенного лучами солнца. Я с детства отлично плавал и умел проделывать в воде всякие фокусы. Поэтому я сразу почувствовал себя как дома, и по сравнению с той обстановкой, в которой я только что находился, мое теперешнее положение показалось мне раем.

Я огляделся кругом, но — увы! — всюду виднелась лишь вода. Да и температура ее весьма неприятно отличалась от горна мастера Вулкана. В конце концов я разглядел вдали нечто, напоминавшее удивительно большую скалу. Вскоре выяснилось, что это плавучая ледяная гора, которая приближалась ко мне. После долгих поисков я нашел, наконец, место, на которое мне удалось взобраться, а оттуда вскарабкаться и на самую вершину горы. Однако, к великому моему огорчению, и отсюда нигде не видно было земли.

В конце концов, уже перед самым наступлением темноты, я заметил судно, двигавшееся по направлению ко мне. Как только оно несколько приблизилось, я принялся кричать. Мне ответили по-голландски. Бросившись в воду, я подплыл к кораблю, и меня подняли на борт. На мой вопрос, где мы находимся, мне ответили: «В Южном Ледовитом океане».

И только тогда мне все стало понятно. Совершенно ясно, что я с горы Этны прямым путем через центр земли провалился в Южный Ледовитый океан. Путь этот во всяком случае короче, чем путь вокруг земного шара. Никто еще, за исключением меня, не исследовал его, и если мне предстоит еще раз проделать такое путешествие, я постараюсь произвести более тщательные наблюдения.

Я попросил, чтобы мне дали поесть, а затем улегся спать. Грубый все-таки народ эти голландцы! Я рассказал о своих приключениях офицерам так же откровенно и просто, как рассказал вам, милостивые государи, и

кое-кто из этих господ, в частности сам капитан, своим видом дали мне понять, что сомневаются в моей правдивости.

Но так как они дружески приняли меня к себе на корабль и существовал я благодаря их милостям, пришлось волей-неволей проглотить обиду.

Я только осведомился о том, куда они направляются. Они сообщили мне, что отплыли с целью совершить новые открытия, и если мой рассказ правдив, то цель их достигнута.

Мы находились как раз на пути, по которому следовал капитан Кук, и на следующее утро прибыли в Ботани-Бей, куда английскому правительству следовало бы не ссылать в наказание всяких преступников, а отправлять туда в виде поощрения заслуженных людей — так щедро на этом побережье рассыпала природа свои прекраснейшие дары.

Мы пробыли здесь всего три дня. На четвертые сутки налетел страшный шторм, который за несколько часов изорвал все паруса, расщепил бугшприт и повалил брамстеньгу, которая рухнула на ящик, куда убирали компас, разбив вдребезги и ящик и самый компас. Каждый плававший по морям знает, какие печальные последствия влечет за собою такая потеря. Мы совершенно сбились с курса.

Но вот, наконец, буря улеглась, и подул ровный, крепкий ветерок.

Мы плыли и плыли три месяца подряд и, должно быть, успели покрыть огромное расстояние, как вдруг заметили вокруг удивительную перемену. Нам стало как-то легко и весело, а ноздри наши защекотали самые упоительные запахи. Цвет моря также изменился: оно было уже не зеленым, а белым.

Вскоре после этой прекрасной перемены мы увидели землю и недалеко от нас — гавань и направились к ней. Она была глубокой и достаточно обширной. Вместо воды ее наполняло превосходное и очень вкусное молоко.

Мы пристали к берегу. Как выяснилось, весь остров представлял собой большой сыр. Возможно, мы даже не заметили бы этого, если бы не одно обстоятельство, открывшее нам истину. Дело в том, что у нас на корабле находился матрос, отроду испытывавший отвращение к сыру. Не успел он ступить на берег, как упал в обморок. Придя в сознание, он стал умолять, чтобы у него из-под

ног убрали сыр. Когда мы повнимательней пригляделись, то обнаружили, что матрос совершенно прав: весь остров, как уже было сказано, представлял собой один огромный сыр.

Местные жители питались главным образом этим сыром и сколько бы его за день ни поели — за ночь опять прибавлялось столько же. Мы увидели множество виноградных лоз с прекрасным крупным виноградом. Стоило надавить виноградину — из нее вытекало одно только молоко.

Жители были стройные, красивые существа, большей частью ростом в девять футов. У них было по три ноги и по одной руке. У взрослых на лбу вырастал рог, которым они очень ловко пользовались. Они устраивали состязания в беге по поверхности молочного моря и разгуливали по ней, не погружаясь, так же свободно, как мы по лужайке.

На этом острове, или на этом сыре, росло много злаков, колосья которых походили на трюфели. В них помещались хлебы, вполне готовые и пригодные для еды. Разгуливая по сырному острову, мы обнаружили семь молочных рек и две винные.

После шестнадцатидневного пути мы добрались до берега, расположенного напротив того, к которому пристали. Здесь мы нашли целую полосу дозревшего синего сыра, который обычно так расхваливают настоящие любители. В нем не водится, однако, червей, а на его поверхности растут чудесные фруктовые деревья вроде персиковых, абрикосовых и всевозможные другие, неведомые нам. На этих необычайно высоких деревьях было множество птичьих гнезд. Среди ряда других нам бросилось в глаза гнездо зимородка, которое в окружности в пять раз превосходило купол собора святого Павла в Лондоне. Оно было искусно сплетено из огромных деревьев, и в нем лежало — подождите-ка, я хочу быть совершенно точным — по меньшей мере пятьсот яиц, и каждое было величиной с добрый оксгофт[12]. Птенцов мы могли не только разглядеть, но и услышать их свист. Нам с величайшим трудом удалось разбить одно из таких яиц, и из него вылупился юный, еще голый птенчик, значительно превосходивший размерами двадцать взрослых коршунов.

Едва мы успели выпустить птенчика на свободу, как внезапно на нас налетел зимородок-отец. Он подцепил

когтем нашего капитана, взвился с ним на милю в вышину и, избив крыльями, швырнул в море.

Все голландцы плавают, как крысы. Капитан вскоре снова оказался с нами, и мы вернулись к себе на корабль.

Мы возвращались, однако, не по прежней дороге и встретили поэтому еще много разных удивительных вещей. Между прочим, нам удалось подстрелить двух диких быков, у которых было только по одному рогу, и рог этот рос у них во лбу, между глаз. Потом мы пожалели, что убили их. Как выяснилось, жители острова приручают этих быков и пользуются ими, как мы пользуемся лошадьми,— для езды верхом и в телеге. Мясо их, как нам говорили, очень вкусное, но народ, питающийся только сыром и молоком, совершенно в нем не нуждается.

Нам оставалось еще дня два пути до нашего корабля, как вдруг мы увидели трех человек, повешенных за ноги на высоких деревьях. Я осведомился, в чем они провинились, чем заслужили такую жестокую кару, и узнал следующее. Эти люди побывали на чужбине и по возвращении обманули своих друзей, описав места, которых вовсе не видели, и рассказав о событиях, никогда не происходивших. Я счел наказание вполне заслуженным, ибо первейший долг путешественника — придерживаться строжайшей истины.

Добравшись до своего корабля, мы немедленно снялись с якоря и, поставив паруса, отбыли из этой чудесной страны. Все деревья на берегу — среди них было несколько очень высоких — разом дважды склонились перед нами и затем все одновременно выпрямились.

Проплавав три дня — одному небу ведомо где, так как у нас все еще не было компаса,— мы попали в какое-то море, казавшееся совершенно черным. Мы попробовали эту черную воду на вкус, и — представьте себе! — это была вовсе не вода, а великолепное вино. Теперь у нас только и было дела, что следить за тем, чтобы не все матросы перепились!

Но радость наша оказалась преждевременной. Прошло всего несколько часов, и мы оказались окруженными китами и другими невиданно огромными животными. Среди них было одно, которое нам не удалось охватить взглядом, даже прибегнув к помощи всех наших подзорных труб. Мы, к сожалению, заметили это чудовище лишь тогда, когда очутились очень близко от него и оно

внезапно втянуло в себя весь наш корабль со всеми его стоячими мачтами и надутыми парусами сквозь зубы в пасть. А зубы были такие, что по сравнению с ними мачта самого большого военного корабля показалась бы щепкой.

Продержав нас некоторое время у себя в пасти, чудовище снова раскрыло ее и глотнуло такое неслыханное количество воды, что наш корабль — а вы можете себе представить, что это был порядочный кусочек,— был смыт волной прямо в желудок страшного животного. Здесь мы оказались в неподвижности, словно на якоре во время мертвого штиля.

Воздух был здесь душный и, откровенно говоря, довольно скверный. Мы нашли вокруг якоря, канаты, лодки, баркасы и значительное число кораблей, частью нагруженных, частью без груза. Все это было проглочено чудовищем. Действовать здесь можно было только при свете факелов. Для нас больше не существовало ни солнца, ни луны, ни планет. Дважды в день обычно наступал прилив, и дважды в день мы оказывались на дне. Когда животное пило, у нас начинался прилив, а когда опорожнялось — мы садились на дно. По самому скромному подсчету, оно за один раз проглатывало воды столько, сколько содержит Женевское озеро, которое имеет в окружности тридцать миль.

Во второй день нашего заключения в этом царстве тьмы я решился в час отлива — так мы называли время, когда корабль садился на дно,— совершить вместе с капитаном и несколькими офицерами небольшую прогулку. Запаслись, разумеется, факелами. Во время прогулки мы повстречались с десятком тысяч человек всевозможных национальностей. Люди эти как раз собирались держать совет о том, как им выйти на свободу. Некоторые из них уже несколько лет жили в желудке чудовища. В ту самую минуту, когда председатель собирался познакомить нас со всеми обстоятельствами дела, наша проклятая рыба почувствовала жажду и принялась пить. Вода хлынула в желудок с такой силой, что нам пришлось, чтобы не утонуть, поспешно ретироваться на свои суда. Некоторым удалось спастись, только пустившись вплавь.

Но через несколько часов мы оказались счастливее. Как только чудовище опорожнилось, все снова собрались. На этот раз председателем избрали меня. Я внес

предложение соединить вместе две самые высокие мачты и, как только чудовище разинет пасть, вставить в нее эти мачты так, чтобы помешать ему закрыть ее снова. Предложение мое было принято единогласно. Тут же была подобрана сотня самых сильных молодцов, которым поручили выполнение задуманного.

Едва только мы приладили мачты, как представился случай осуществить наш план. Чудовище зевнуло, и мы немедленно всунули в пасть связанные вместе мачты так, что один конец, проткнув язык, уперся в верхнее нёбо, а другой — в нижнюю часть пасти. Закрыть пасть теперь оказалось невозможным даже в том случае, если бы наши мачты и не были такими крепкими.

Как только в желудке рыбы все всплыло, мы усадили в лодки гребцов, которые и вывезли нас из нашей тюрьмы. После двухнедельного — как мы примерно подсчитали — заключения дневной свет подействовал на нас необыкновенно благотворно.

Когда все выбрались из обширного рыбьего желудка, то выяснилось, что мы составляем флотилию в тридцать пять судов всех национальностей. Наши мачты мы так и оставили торчать в пасти чудовища, чтобы предохранить других мореплавателей от страшной участи быть ввергнутыми в бездну тьмы и грязи.

Первым нашим желанием теперь было узнать, где мы находимся, но мы сначала никак не могли прийти к определенному заключению на этот счет. После тщательных наблюдений я, наконец, пришел к выводу, что мы плывем по Каспийскому морю. Так как это море со всех сторон окружено землей и не соединяется ни с какими другими морями, трудно было понять, как мы сюда попали.

Но один из жителей сырного острова, которого я захватил с собой, высказал очень остроумное предположение. По его мнению, чудовище, в желудке которого мы так долго были заперты, приплыло с нами сюда по каким-то подземным каналам.

Так или иначе, мы находились в Каспийском море, радовались тому, что находимся здесь, и готовы были приложить все усилия, чтобы выбраться на сушу. Я первым выскочил на берег.

Едва только я ступил ногою на землю, как на меня набросился огромный медведь. «Ага! — подумал я.— Ты попался мне как раз кстати!»

Схватив его обеими руками за передние лапы, я сердечно приветствовал его таким пожатием, что он дико взвыл. Но я не дал себя растрогать и продержал его в таком положении до тех пор, пока не уморил голодом.

Таким способом я заслужил уважение всех медведей, и уже ни один из них не решался попасться мне под руку.

Отсюда я направился прямо в Петербург и получил там от одного из моих старых друзей подарок, который был для меня необычайно драгоценен. Это была охотничья собака, происходившая от знаменитой суки, которая, как я вам уже рассказал, ощенилась во время погони за зайцем. К сожалению, ее вскоре подстрелил один неумелый охотник: он целился в стаю куропаток, а попал в собаку, которая делала на этих куропаток стойку.

На память о ней я заказал себе из ее шкуры куртку. Когда я в ней отправляюсь при наступлении охотничьего сезона в поле, она помимо моей воли тянет меня туда, где водится дичь. Когда я приближаюсь на расстояние выстрела, от куртки отлетает пуговица и падает на то самое место, где скрывается зверь, а так как курок у меня всегда взведен, а на полке есть порох, то ничто не ускользает от меня! У меня, как видите, осталось всего три пуговицы, но лишь только наступит время охоты, моя куртка будет украшена двумя рядами новых пуговиц.

Посетите меня тогда, и, поверьте, скучать вам не придется. Впрочем, сегодня разрешите проститься и пожелать вам приятного сна.





Карл Лебрехт
Иммерман

МЮНХГАУЗЕН
ИСТОРИЯ В АРАБЕСКАХ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ КНИГА

МЮНХГАУЗЕН ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СЦЕНЕ

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА[1],

в которой барон фон Мюнхгаузен не только выражает свое отвращение к пороку лжи, но и доказывает это

— Что за гнусный порок — ложь! Во-первых, кто заливает через меру, нередко попадается, а, во-вторых, если человек, усвоив такую привычку, иной раз и скажет правду, то никто ему не поверит.

Когда мой дед, барон фон Мюнхгаузен-ауф-Боденвердер однажды в жизни обмолвился истиной и никто не хотел ему верить, то за это поплатилось жизнью около трехсот человек.

— Каким образом? — воскликнули в один голос старый барон и его дочь.

— Уважаемые друзья и милые хозяева, умерьте ваше удивление,— возразил гость, поводя, как кролик, вздрагивающими ноздрями и прищуривая глаза, которые были у него разного цвета.— Все это проще простого! Слушайте внимательно! Как вы знаете, упомянутый мною дед был, прости господи, сверхъестественный и ужасающий враль. Кто не помнит двенадцати уток, пойманных им на кусок сала, его раздвоенного коня, которому даже половинчатое состояние не помешало произвести потомство, его взбесившейся шубы, почтовой трубы с замороженными в ней звуками и... ох! ох! ох!..

Голубой глаз внука источал слезы, в то время как карий сверкал гневом возмущенной добродетели. Он долго не мог продолжать. Наконец старому барону с дочерью все же удалось его успокоить. Благородный рас-

---

[1] Иммерман помещает главы 11—15 перед главами 1—10, пародируя вышедшие в 1830—1831 гг. «Письма покойника» князя Пюклер-Мускау (1785—1871). Это произведение начинается с 25-го письма, а первые письма помещены после 48-го.

сказчик всхлипнул еще несколько раз, а затем продолжал:

— По чести сказать, нехорошо с моей стороны, что я дурно отзываюсь о своем в бозе почившем предке, но правда выше всего. Этот заядлый лгун отравил историческую истину на многие столетия и, до известной степени, сделал последующие поколения рабами того безумья, которое затем распространилось по всему миру. Да, пользуясь сравнением с одной из его безвкуснейших басен, скажу: после него в отношении каждого нового пророка с человечеством случалось то же, что с медведем, которого мой дед заманил на обмазанное медом дышло и который влизал его в себя целиком. Какую бы невероятную нелепость ни преподносили людям, они только восклицали: «Весьма возможно: с Мюнхгаузеном случались и не такие вещи!» Лет пятьдесят-шестьдесят тому назад они пролизали себя насквозь ледяной сосулькой просвещенчества, а когда их затем с трудом с нее сняли и страшная простуда еще корчила им внутренности, пришли французы и протянули им дерево свободы, помазанное смесью сиропа с коньяком, и безумцы охотно принялись его влизывать в себя, да так, что вскоре все, терзаясь от боли, сидели на колючем стволе, и Наполеон мог их тащить за собою без труда. Ну-с, эти вдохновенные порывы кончились всякими ужасами, и в настоящее время...

— В настоящее время? — спросил барон с надеждой в голосе.

— В настоящее время,— спокойно продолжал г-н фон Мюнхгаузен,— вымазывают медом столько всяких дышел, деревьев и сосулек, в том числе и железнодорожных рельсов, что пока еще нельзя с уверенностью установить, какая из этих приманок притянет больше людей.

— А слово правды, которым ваш дед убил триста человек? — мягко спросила фрейлейн Эмеренция.

— Точно так, сударыня,— ответил г-н фон Мюнхгаузен.— Игра аллегориями и фантазиями вышла из моды и относится к рамлеровским[1] временам. «Материя! материя! материя!» — кричит жадный до реальностей мир. Ну, что же, вот вам и моя материя. Мой дед, Мюнхгаузен, был, несмотря на свой ужасный порок, на редкость одаренной натурой. Он состоял в сношениях с Калиостро, и в свое время выделывал золото того сорта, который называют гремучим. Про него говорили, что он в прямом, а не в переносном смысле слышит, как трава растет; словом, этот человек глубоко заглянул во многие

тайны природы. В особенности, в нем была развита способность предчувствий по отношению к своему телу, и все, что после этого рассказывали о нервных людях и сомнамбулах, пустяки по сравнению с тем, что передавали мне о нем достойные доверия свидетели. Он умел предугадывать все свои болезни или, как выражаются гомеопаты, все перемены в состоянии своего здоровья, и, так сказать, носил в себе, чуя носом, все свое соматическое будущее. Нетрудно заметить начинающийся насморк; но вот угадать сквозь насморк еще те печальные последствия, которыми он вам грозит,— это дано не всякому. «Феофил,— однажды сказал дед тому, кого свет считает моим отцом,— Феофил, завтра я схвачу здоровенный насморк; когда он пройдет, у меня начнется перемежающаяся лихорадка, а после этого остаток простуды перейдет в виде подагры в правую ногу». И действительно, так оно и было. Он предугадал сквозь насморк перемежающуюся лихорадку, а сквозь лихорадку приступ подагры.

Вы, наверное, слышали про племя южноамериканских индейцев, живущих в области Апапуринказиквиничхиквизаква?

— А...па...пу...рин... — повторил по слогам старый барон.— Ну да, разумеется, мы слышали про это племя,— добавил он после некоторого раздумья.— Кто же о нем не слышал?

— Апапуринказиквиничхиквизаква, — мечтательно прошептала барышня.

— Это племя,— сказал г-н фон Мюнхгаузен, обитает на шестьдесят три и три четверти мили южнее экватора на горном плато, находящемся на две тысячи пятьсот футов выше уровня моря. Защищенные со всех сторон снежными пиками Кордильер, эти люди живут первобытной природной жизнью. Никогда еще алчность и жестокость конквистадоров не проникала к ним за ограду скалистой цепи. Благодаря высокому расположению в Апапуринказиквиничхиквизакве совсем нет деревьев, но зато тянутся вдоль залитых солнцем отвесных пиков бесконечные долины, покрытые особым видом изумрудной травы, в широких, веероподобных листьях которой не устает мелодически шелестеть беспрестанно веющий там западный ветер. Бесчисленные стада персиковых коров и быков (так мило шутит там красками природа) пасутся на зеленых пастбищах. Юркие телята окрашены в золотисто-желтый цвет; только постепенно принимают

они более холодную персиковую окраску. Этот рогатый скот составляет единственное богатство невинных апапуринказиквиничхиквизакванцев. Они питаются исключительно кислым молоком, или так называемой простоквашей; их прекрасные татуированные от щек до щиколоток девушки выдаивают эту простоквашу из упругого вымени коров своими тонкими пальчиками, окрашенными в желтый и красный цвет.

— Силы небесные, какая прелесть! — воскликнула барышня в упоении чувств.

— Вероятно,— заметил старый барон, потирая лоб,— они сначала доят сладкое молоко, а потом делают из него простоквашу.

— Нет,— ответил г-н фон Мюнхгаузен,— на этом счастливом горном плато они получают простоквашу прямо от коровы, и только когда эта простокваша застоится и начнет портиться, кислота ее переходит в сладость.

— Гм... гм... однако.., — пробормотал старый барон и покачал головой.

— Не удивляйтесь, а лучше выслушайте меня спокойно. Разве все незрелое не кисло? Каков, например, на вкус дикий несозревший каштан? Можно ли надкусить юношески зеленое яблоко или младенчески упругую сливу, не скорчив гримасы? А что такое сок винограда, которого сладострастный луч солнца еще не лишил невинности? — чистейший уксус! Пиндар сказал: «Первоначало — это вода!», а я скажу: «Первоначало — это кислятина!»

— Ах, первоначало! — вздохнула Эмеренция.

— Кисло поэтому молоко натуральных коров! Как известно, домашние животные теряют многие природные свойства от общения с человеком. Собака или кошка, которые в чаще лесов имеют вид лохматых, энергичных зверей, превращаются в наших комнатах в маленьких, гладеньких подлипал. Точно так же и рогатый скот: пройдя сквозь все противоречия нашей расслабляющей культуры, он дает соки, которые, правда, считаются у нас продуктом здоровых сил, но которые своей дряблой сладковатостью выдают дегенерирующую природу ручной, или искусственной коровы. Только когда это так называемое сладкое, или, в сущности, истощенное молоко постоит некоторое время, оно вспоминает о своем легкомысленно растраченном естестве и со стыдом и раскаянием сгущается в прозрачную сыворотку и питательную

простоквашу; эту последнюю в Нижней Саксонии называют «ваддике» и все чистые духом с наслаждением поглощают ее в сладостной тишине скотного двора. Но раскаяние не равно невинности, и наша простокваша — не та теплая простокваша, которую выдаивают из коров на высотах Апапуринказиквиничхиквизаквы. О, если б каждый истый немец пил опять кислое молоко!..

— И при этом покуривал бы свою трубку!..— с жаром вставил старый барон.

— ...И гулял бы взад и вперед между овощными грядами! — воскликнул г-н фон Мюнхгаузен.

— И слушал бы только, как из соседнего кегельбана раздается: «Все девять!» или «Промазал!» — вздохнул старый барон.

— Это была бы настоящая реставрация Германии! — с энтузиазмом заключил гость.

— Во имя всех святых! — воскликнул худощавый человек, вошедший во время этих разговоров,— ведь мы все еще не узнали того слова правды, которым ваш дед лишил жизни триста человек!

Г-н фон Мюнхгаузен посмотрел на карманные часы и сказал со свойственным ему тоном превосходства:

— Сегодня, пожалуй, будет уже поздно. Значит, завтра, с вашего разрешения...

Он встал, взял свечу и вышел из комнаты, пожелав всем доброй ночи.

— Зачем вы его прервали, учитель! — с досадой обратился старый барон к худощавому.— Такого человека, с таким всеобъемлющим кругозором нельзя прерывать посреди речи: ведь он мог сказать что-нибудь занимательное и поучительное; без вас мы, может быть, в конце концов дошли бы до правдивого слова его дедушки.

— Не браните меня, благодетель, из-за этого барона Мюнхгаузена, которого невзначай закинуло в ваш замок,— ответил худощавый.— Этот неутомимый говорун и рассказчик может вывести из терпения всякого, кто привык к краткости и лаконичности: ведь он постоянно перескакивает с пятого на десятое. Краткость же, выразительная краткость спартанцев — это колчан с большим запасом стрел, в котором, во-первых...

— Довольно, довольно, учитель,— прервал его старик, бросив на него двусмысленный взгляд.— Почему вы пришли сегодня так поздно? Мы уже все съели.

Учитель Агезилай посмотрел в угол комнаты, где

стоял небольшой, бедно накрытый стол. На тарелках лежали косточки съеденной курицы.

— Я впопыхах никак не мог нарезать достаточно тростника для своей постели,— ответил он.— Поэтому я явился сюда уже после ужина и мне придется удовольствоваться дома своим черным супом.

Он зажег ручной фонарь, поплотнее натянул на плечи грубую, разодранную пелерину, которую носил взамен кафтана, и удалился, отдав вежливый поклон барону и барышне.

Старик оглянулся по сторонам и пробурчал:

— Другого подсвечника нет?

Затем он вынул из стенного шкапа огарок, всунул его в горлышко бутылки и с этим приспособлением в руках тотчас же вышел из комнаты, погруженный в глубокие мысли по поводу рассказов гостя и не обращая на дочь никакого внимания.

Но она совсем не заметила его манипуляций, так как после описания блаженного горного плато ею овладела романтическая мечтательность, в которую она нередко погружалась. Очнувшись от экстатических блужданий, она воскликнула:

— Великая, грандиозная картина природы! Изумрудные пастбища на откосах пиков вперемежку с персиковыми коровами и золотисто-желтыми телятами на фоне белоснежных пиков Кордильер! О, почему я не в Апапур... в Апапур... в горной долине с таким непроизносимым названием?

Порыв ветра распахнул окно, одна из трухлявых ставен которого, еле державшаяся на петлях, полетела на пол и разбилась со звоном. Барышня нисколько не удивилась этому происшествию, а сняв одну из досок стола, заслонила ею образовавшееся отверстие и, подобно остальным обитателям замка, отправилась на покой, чтобы увидать во сне горную долину, длинным именем которой я уже так часто докучал своим читателям.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Барон Мюнхгаузен хотя и не доводит до конца начатый рассказ, но зато повествует о многих других из ряда вон выходящих вещах

На следующий вечер барон Мюнхгаузен начал так, безо всякого предисловия:

— Южноамериканские индейцы, которые вчера занимали наше внимание, доживают при таком кисломолоч-

ном питании, большей частью, до глубокой старости. У них не редкость, что люди (мужчины и женщины) отмахивают по сотне лет. Так как чувства их и соки находятся в непосредственном общении с естеством, то безошибочное предчувствие подсказывает им срок, предопределенный для них природой. Поэтому такой старик заранее и совершенно точно указывает час, минуту и мгновение своей смерти, а затем плетет себе соломенную бутыль, в которой он собирается быть похороненным...

— Соломенную бутыль? — переспросил учитель Агезилай.

— Соломенную бутыль,— хладнокровно подтвердил г-н фон Мюнхгаузен.— Если бы вы слушали меня с самого начала, то сэкономили бы себе не один вопрос. Деревьев у них нет, это я сказал еще вчера. Следовательно, они не могут сколотить себе гроб и должны пользоваться сухими травами или соломой, чтобы изготовлять футляры для своих покойников. Такой футляр напоминает по форме удлиненные четырехугольные плетенки с коротким, несколько суженным горлышком, в которые упаковывают бутылки триестского мараскина. Туда и залезает умирающий старец, попрощавшись предварительно со своими родичами, и испускает дух пунктуально в предсказанный момент. Как только он отходит, над верхним отверстием натягивают пузырь, а затем вся семья рассаживается вокруг похоронного футляра и вкушает кислое молоко в память о почившем. После этого соломенную бутыль относят на горное плато Пипирилипи, общественное кладбище этого народа. Там ее ставят среди прочих. Я видел это кладбище собственными глазами. Восхитительное зрелище! Точно на полках хорошо снабженного погреба стоят рядышком на этом плато многие тысячи бутылок, прошлое целого народа, абстрагированное, так сказать, в соломе.

— Вы были и на изумрудном плато? — с некоторым изумлением спросила барышня.

— Господи Иисусе, где я только не был! — ответил, улыбаясь, барон Мюнхгаузен.— Несколько лет тому назад я устал от Европы. Почему? Я и сам не знаю, ибо никто меня не обижал. Тем не менее, я устал от Европы, как устают, например, часам к одиннадцати вечера, поэтому я решил попутешествовать, и попутешествовать как можно дольше. Но так как в наше время всякий человек, желающий, чтобы с ним считались, и в особенности в дороге, должен быть интересным и страдать спли-

ном, то я отправился в столицу Пруссии и научился там интересничать. Это стоило мне два фридрихсдора. Затем я поехал в Лондон и взял учителя сплина; этот плут брал дорого, и вы можете мне верить или нет, но я отсыпал ему двадцать гиней и к тому же должен был поклясться никому не выдавать секрета.

После того как я овладел искусством интересничанья и сплина, счастье мне везде улыбалось. То я разыгрывал из себя англичанина, то новогрека, то лежал, как дама, на софе и страдал мигренью; при этом я говорил на том франко-немецком жаргоне, который был в моде в начале XVIII столетия, в эпоху великой порчи нашего языка. Интересничанье заключалось в смене костюмов и в сизокрапчатом немецком языке. Что касается сплина, то я возил с собой повсюду камфору, чтобы постоянно его освежать. Дело в том, что камфора придает бледность, и скоро я выглядел так, точно лет десять пролежал в гробу. Когда я однажды увидел себя в ручном зеркале, которых у меня в то время, когда я отдавал дань тщеславию, бывало всегда по нескольку штук, мне пришла в голову блестящая мысль. «Разве я не похож на труп?» — сказал я самому себе. «Буду выдавать себя за покойника». Сказано — сделано! Покойника немцы еще не видали. Да к тому же покойника, умеющего так интимно болтать и рассказывать тысячи разных историй, которые всякий живой человек может подобрать в любом сплетничающем светском салоне. Стар и млад, мужчины и женщины, ученые и идиоты теснились вокруг покойника; вновь ожила старая сказка, в которой народ, ликуя, следовал за разукрашенным мертвецом. Черная магия извлекла этот вымысел из могилы, чтоб обольщать толпу. Юноши с вожделением протискиваются вперед, чтобы плясать с пестро размалеванной богиней Венус; все дальше и дальше завлекает сластолюбцев зачумленная красавица, которая благоухает для них запахом цибета и амбры; наконец, на кладбище спадают одежды со стучащих друг о дружку костей, и страшный скелет рычит им в лицо: Sic transit gloria mundi![2] Но со мною дело не зашло так далеко; напротив, я продолжал пребывать в качестве надушенного покойника посреди этой самой gloria mundi. Сделавшись такой знаменитостью, я стал объезжать мир, посетил мимоходом и Африку. В Алжире я превратился в араба по всем статьям и после этого был гостеприимно принят в семье вице-короля Египта. Он перешел со мною на ты, и я должен был рассказывать ему тысячи всяких

историй, которые он все, без исключения, принимал на веру. Затем в Нубии, недалеко от большого водопада, я пережил прелестное приключение с бегемотом.

Сижу я на берегу реки в камышах In naturalibus, т. е. как мать родила — иначе я в Африке и не ходил — и мирно поедаю свой завтрак. Вдруг вылетает на меня какая-то бестия-гиппопотам, и не успел я крикнуть: «Остановитесь!» — как уже сидел у него в пасти. Я, однако же, сконцентрировал, несмотря на быстроту, все свое присутствие духа и крикнул зверю в пасть в ту самую минуту, когда он собирался меня проглотить: «Месье! Месье! С вашего позволения я литератор и к тому же дворянин!» Что же произошло? Можете мне верить или нет, но эта добрая душа гиппопотам выплюнул меня на месте и стал утирать слезы...

— Чем? Чем? — крикнул барон.

— Пальмовым листом, который этот честный скот держал в передней лапе, после чего он покраснел и в смущении бросился бежать. Вот чего достигли вице-короли Египта! Даже гиппопотамусы питают там решпект к литературным светилам...

— Мне кажется, что гиппопотам питается растительной пищей, а не мясом,— скромно вставила барышня.

— По-видимому, он был близорук и принял меня за растение,— ответил г-н фон Мюнхгаузен.— Я знаю, что знаю: я сидел в пасти. Истина есть истина, и правда не выдаст. Да, на чем я остановился? На Африке. Но стоит ли задерживать ваше внимание на таких пустяках? Я скоро устал от Африки, как устал и от Европы, и решил поехать в Америку, но прежде завернуть в Германию и Англию, куда меня призывали разные причины.

Во-первых, я начал слегка забывать интересничанье и сплин и хотел снова пройти курс в Берлине и Лондоне. В Африке люди не интересничают. Коран не покровительствует этому направлению, и одна африканская рожа похожа на другую. Что же до сплина, то вице-король Египта выколачивает его батогами; нет лучшего средства против ипохондрии. Однажды мы с ним слегка повздорили, как это иногда случается между друзьями; тут я подумал о последствиях, которые это может иметь для моих пяток, и самое воспоминание о сплине прошло у меня от одной только мысли об этом. К счастью, дело не дошло до последствий, мы помирились и в тот же день ели за обедом поросячьи уши с квашеной капустой, ибо

вице-король — просвещенный турок и собирается в ближайшее время доказать в специальном сочинении, что Пророк есть выдумка правоверных[3]. На чем я остановился? Ах, да — на сплине. Ну-с, интересничать я тоже разучился за отсутствием подходящей аудитории. Таким образом, уже из-за одного этого я должен был съездить в Германию и Англию.

На этот раз для уроков интересничанья я принужден был взять в Берлине гувернантку, mère l'Oie[4]. Хотя эта Мать-Гусыня и бросала ретроспективные взгляды на людей и события, с ней, однако, не стряслось того, что с женою Лота в подобном же случае, ибо она не только не превратилась в соляной столб, а сделалась еще болтливее и неугомоннее. Многих подмывало слегка пощипать эту кумушку; они утверждали, что все ее остроумничанье и интересничанье — чистейшее очковтирательство, но я должен заступиться за mère l'Oie. Высокими целями она вообще не задавалась; она думала только о своих прабабках, которые некогда гоготаньем спасли Капитолий. Поэтому она, пока что, упражняла горло, чтобы быть в голосе, на случай, если Капитолий накладного германского либерализма окажется когда-нибудь в опасности.

— Почему же вы не пошли к вашему прежнему учителю? — спросил старый барон.

— Он сидел в то время в Париже и читал старофранцузские манускрипты. Я проехал из Алжира через Тулон в упомянутую столицу и встретил его в библиотеке. Тут я увидел истинное чудо ретивого писания книг, или писания ретивых книг. Вы можете мне верить или нет, но фактически он шуйцей перелистывал лежавший перед ним пергаментный фолиант, а десницей изготовлял книгу о нем или из него. В то же время он диктовал остроумную записку к какой-нибудь артистке и вел обстоятельную беседу с окружным комиссаром о быте парижских гризеток. Словом, он отставал от многосторонности Цезаря на каких-нибудь три очка.

Второй же причиной, побудившей меня завернуть в Германию, было желание нанять хорошего лакея. С прежним мне пришлось расстаться: он тоже хотел быть интересным и все время ловил ворон. В качестве светского интересника я считал себя вправе возражать против этого, но так как свобода ремесел царит повсюду, то делать было нечего: всякий прощелыга имеет право интересничать.

Лакея я хотел нанять только в Германии, ибо всякая страна славится каким-нибудь продуктом, который там лучше, чем в других местах. Таковы: в Испании — вина, в Италии — пенье, в Англии — конституция, в России — юфть, во Франции — революция. В Германии же особенно удается прислуга.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА[5]

Барон Мюнхгаузен рассказывает историческую новеллу о шести связанных кургессенских косах, но взрыв отчаянья со стороны учителя Агезилая прерывает это повествование, и барон обещает довести его до конца в другой раз

Там, где на запад — поросшие кустарником возвышенности Габихтвальда, на полночь — цепи Рейнгартвальда, на полдень — скалистый Зеревальд расступаются в широкую равнину, где всевозможными изгибами с юга на север струит свои потоки Фульда, а на восход раскрывается смеющаяся долина, над которой совсем вдалеке возносит свою синюю главу величественный Мейсен, там лежит Кассель...

— О, святые и праведные боги, куда это нас опять заведет! — простонал учитель Агезилай, приведенный рассказом г-на фон Мюнхгаузена в состояние, которое не так легко описать.

— ...Лежит Кассель, столица курфюршества Гессенского. Чистенькие, широкие улицы пересекают Верхний, или Новый, город, где почти все дома имеют отличный вид, в то время как в Нижнем, или Старом, городе преобладают грязь и покосившиеся постройки. Многие красивые площади украшают более красивую часть города, но самая красивая из них — это Фридрихсплац, где возвышается великолепный дворец с длинными рядами красивых окон.

Это было в то время, когда, после счастливой Реставрации, курфюрст Вильгельм[6] снова вернулся в хоромы своих предков и ввел среди прочих испытанных порядков то удлинение прически, которое принято называть косой. Это время уже давно прошло, и вести о нем звучат, как сказ о потонувшем острове Атлантиде, но историческому повествованию не пристало упускать из виду какого бы то ни было явления прошлого, даже такого, как добрая старая кургессенская коса.

Это было поздно вечером, и жители Касселя уже спали или ложились в постели. Но во дворце, в кабинете

курфюрста еще горел свет. Ассамблея уже кончилась, и старый достойный властитель удержал при себе нескольких приближенных. По обыкновению поговорили о междуцарствии и об удивительном перевороте. Курфюрст в форме своей гвардии — камзол с отворотами и ботфорты — стоял, крепко опираясь на камышовую трость с золотым набалдашником. Он сказал:

— Так и будет: я игнорирую все распоряжения, сделанные за это время моим управителем Жеромом... Пострадавшие пусть ищут с моего управителя, которому мы не давали власти самовольно вводить новшества и который подобными деяниями эксцедировал свой мандат. Мы знаем, что этим постановлением мы подвергаем себя критике некоторых беспокойных голов, но это не может смутить Нашу совесть и Мы в этом отношении всецело полагаемся на божественное провидение, которое после короткого испытания вернуло Нас в Наши родовые владения и ретаблировало на Нашей территории немецкую верность и честность. Изготовили ли вы эдикт, который лишает приобретателей домэнов каких бы то ни было эсперансов на удержание иллегально захваченного ими имущества?

— Это было моей первой заботой,— ответил тайный советник Веллей Патеркул[7], к которому относился этот вопрос.— Действительно, давно пора ретаблировать у нас немецкую верность и честность.

— Меня еще не узнали, как следует,— продолжал, повышая голос, старый, но бодрый курфюрст.— Я уже заставил однажды подметальщиков чистить улицы в новомодных французских костюмах в поучение неженкам и петиметрам, и нет ничего невозможного в том, что такой или подобный пассаж повторится еще раз, если Нас будут слишком раздражать. Наш Кассель превратился при моем управителе в распущенный вертеп, из которого исчезли всякая дисциплина и благонравие.

К курфюрсту подошла молодая дама и сказала ему ласковым голосом:

— Не горячись, папочка, ведь ты же восстановил здесь и дисциплину и благонравие.

После этого она и тайный советник Веллей Патеркул были милостиво отпущены. С курфюрстом остался один только барон фон Ротшильд[8]. Он прибыл в Кассель, чтоб подвести счета со своим августейшим клиентом, который заявил, что не может оставить барону депонированные у него суммы из семи процентов, а вынужден настаивать на восьми.

Этим признанием и сообщением барон фон Ротшильд был потрясен до глубины души. Он клялся именем Авраама, Исаака и Иакова, что это разоряет его вконец, но так как его высокий кредитор продолжал настаивать и пригрозил, в случае отказа, взять вклад обратно, то барон, скрепя сердце, согласился и в утешение прикинул про себя, что его банк взимает по двадцати процентов, так что ему все же остается чистых двенадцать.

Во время этих переговоров курфюрст продолжал невозмутимо сохранять прежнюю позу. Теперь же он распахнул окно, заглянул в ясную, звездную ночь и сказал:

— Когда я консидерирую, что я опять в этом дворце, и сколь интересную прибыль принесли мне тогда английские деньги за мой американский корпус[9], я говорю: «Ротшильд! Жив еще старый бог и не допустит до погибели».

Барон ответил несколько раздраженно:

— Почему бы не жить старому богу, если еще живет ваше высочество? И какая может быть погибель при восьми процентах годовых?

Пока внутри дворца происходили все эти события, шесть братьев Пипмейер рассказывали товарищам в кордегардии истории с привидениями.

Шесть братьев Пипмейер были шестью сыновьями кастеляна Пипмейера из замка Левенбург. Этот человек, как обычно бывает с такими управителями сеньориальных замков, держался самых лояльных взглядов и воспитал в том же духе своих сыновей. Об этой семье можно было с уверенностью сказать, что в семи индивидуумах билось единое гессенское сердце. Папаша Пипмейер был тем самым человеком, который при въезде курфюрста вскочил на тумбу и, помахивая своей уцелевшей от всех искушений междуцарствия косичкой, кричал: «Ваша светлость! Ваша светлость! А моя висит! А моя висит!» — что, говорят, было первой монаршей радостью престарелого властителя по возвращении в страну. Как только эти шесть сыновей Пипмейеров, которых мамаша Пипмейер на протяжении двух лет подарила своему супругу двумя тройнями, достигли призывного возраста, папаша Пипмейер отдал всех шестерых в один и тот же день в герцогскую косично-гамашную гвардию. Все шестеро были одного роста, а именно в шесть футов и три дюйма, носили совершенно одинаковые гамаши и косы и вообще настолько были похожи

друг на друга, что командир приказал полоснуть каждому из них нос другой краской, чтоб отличать их во время службы. Карл Пипмейер получил желтую полосу, Генрих Пипмейер синюю, Фердинанд Пипмейер красную, Гвидо Пипмейер оранжевую, Христиан Пипмейер зеленую, Ромео Пипмейер серебристо-серую и Петер Пипмейер черную. Но вне службы, когда они чувствовали себя людьми, братья Пипмейер стирали эти полосы.

Эти шесть братьев из Левенбурга рассказали другим гессенским караульным следующую историю:

— Вы можете верить или нет, но в те годы, когда наш курфюрст жил на чужбине, он ежегодно в день своего рождения появлялся наверху в замке. В этот день уже с утра в верхних апартаментах бывало неспокойно: шелестели шелковые портьеры, потрескивала кровать с балдахином, бряцали доспехи в оружейной палате, неутомимо махал крыльями на башне флюгерный петух. Мы заметили это и еще многое другое, когда были мальчиками, но не обращали никакого внимания; когда же нам минуло пятнадцать лет и мы конфирмовались, отец отвел нас в сторону и открыл нам тайну замка. Она заключалась в том, что курфюрст, хотя и пребывал далеко в чешской земле, все же ежегодно справлял день своего рождения в родовом замке. А именно в шесть часов вечера, в то самое время, когда встарь за столом сословных представителей провозглашали здравицу и палили из пушек перед лугом, он якобы появлялся в желтой диванной, где висит портрет старого Фрица[10] в младенчестве, и проводил там с полчаса для своего плезира.

На следующий год отец разрешил нам посмотреть. Мы спрятались за зеленой портьерой в желтой диванной... Что же произошло? Как только часы на замковой башне пробили шесть, слышим мы, как по длинной галерее, ведущей в эту комнату, хлопают двери одна за другой. Наконец распахивается дверь в желтую диванную и входит курфюрст собственной персоной: ботфорты, лосины, мундир, треуголка, букли, словом — тютелька в тютельку. Садится к окну, что выходит в сад, набивает трубку, курит так, что дым столбом идет, изредка поглядывает в сад, покуривши, вытряхивает пепел — который мы потом нашли на паркете — затем встает, тихо выходит из желтой диванной, и мы слышим, как одна за другой захлопываются двери вдоль длинной галереи. Вся желтая диванная была полна дыма — «Варинас, 1-й сорт»: все мы семеро, шесть братьев и отец, сразу узнали эту марку.

Когда братья Пипмейер рассказали своим товарищам эту историю, в кордегардии возник жаркий спор, потому что...

Но г-н фон Мюнхгаузен не смог продолжать свой рассказ, так как и в той комнате, где собралось наше общество, поднялся страшный шум. А именно в эту минуту окончательно прорвалось отчаянье, в которое привели учителя Агезилая рассказы барона. Он скинул с себя свою грубую, разорванную пелерину и забегал в короткой шерстяной куртке взад и вперед по комнате, жестикулируя, как сумасшедший.

— Нет, что слишком, то слишком, и всякому человеческому терпению есть границы! — воскликнул он, рыдая.— Глубокочтимый благодетель, прошу тысячу раз прощения за мое невежество, но я не могу больше сдерживаться, я должен высказаться, иначе я погиб с внуками и правнуками! Враки Мюнхгаузена, гомеопатия, кургессенские косы, простокваша, Апапуринказиквиничхиквизаква, Мать-Гусыня, гиппопотамы, покойники, вице-короли Египта, старофранцузские манускрипты, гризетки, юфть, Ротшильд, Варинас 1-й сорт... кто не сойдет с ума от всего этого, у того должны быть менее упорядоченные мозги, чем те, которыми, к сожалению, я обладаю. Г-н фон Мюнхгаузен принимаются рассказывать, затем в этих рассказах начинают рассказывать другие лица, и если сейчас не остановиться, то мы попадем в такую гущу рассказов, что наш бедный мозг безусловно потерпит крушение. Женщины, торгующие коробками, иногда вкладывают их одну в другую по двадцать четыре штуки; с этими рассказами может быть то же самое: кто нам поручится, что каждому из шести братьев Пипмейер их товарищи по караулу не расскажут по шести историй и что таким образом историческая перспектива не уйдет в бесконечность. Г-н фон Мюнхгаузен хотели поведать нам то слово правды, которым ихний дед умертвил триста человек; вместо этого нас переносят на Кордильеры, оттуда в Африку, а теперь мы опять в Гессен-Касселе и не знаем, почему мы туда попали. Г-н фон Мюнхгаузен, я считаю вас великим, удивительно одаренным человеком, но я прошу вас об одной милости: рассказывайте несколько связнее и проще. Вы намереваетесь, как я слышал, оказать честь г-ну барону продолжительным пребыванием в его замке; поэтому вы и сами заинтересованы в том, чтобы с первых же дней не сбить нас с панталыку и духовно не угробить.

После сей речи последовала длительная пауза. Хозяин имел смущенный вид, гость высокомерно глядел прямо перед собой, барышня бросила гневный взгляд на учителя и взгляд, полный восторженного поклонения, на г-на Мюнхгаузена. Учитель стоял в углу, тяжело дышал и казался глубоко потрясенным.

Первым снова заговорил барон Мюнхгаузен:

— Мне жаль, что меня так резко прервали. Я могу заверить, что вполне владею своим материалом и что мои рассказы так же связаны между собой, как и то, что делается у меня в мозгу. Я перенес бы вас снова из гессенской кордегардии к индейцам в изумрудные долины...

— Ах, изумрудные долины! — с упоением воскликнула барышня.

— ...Да, в изумрудные долины, и вы бы вскоре узнали, какую связь имеют шесть кургессенских кос с тем словом правды, которым мой дед лишил жизни триста человек. Впрочем, для некоторых некоторые комбинации являются недосягаемыми.

— Да, да! — Резко и с горечью воскликнула барышня.— Икра — не для черни. Иначе, чем в головах человеческих, отражается в этой голове мир.

Так как после этого приятная беседа как-то все не налаживалась, то старый барон, втайне сочувствовавший учителю, сказал:

— Самое грустное для нас, дорогой Мюнхгаузен, было бы лишиться ваших интересных сообщений.

— Мой дух так устроен,— возразил барон,— что он, подобно часовому механизму, тотчас же останавливается, как только сломан малейший зубец, малейшая пружинка. Все, что последовало за происшествиями в кассельской кордегардии, вся идейная связь между этими событиями и словом правды моего деда, из которого я исходил, все это потеряно теперь навсегда и на веки останется для вас тайной; единственное, на что я еще могу согласиться, это досказать до конца историю о шести связанных кургессенских косах. Затем, если вы хотите меня слушать, я должен буду перейти к другим материям.

Старый барон дружески придвинулся к Мюнхгаузену и ласково зашептал ему на ухо:

— И в отношении этих материй вы постараетесь держаться поближе к стержню, не правда ли, любезнейший Мюнхгаузен? Я прошу вас об этом, не ради самого рассказа, который лучше всего будет передан так,

как вы это делаете, но ради наших слабых способностей, к коим вы должны снизойти, если хотите нас просветить.

— В дальнейшем я буду отбарабанивать все подряд, как газета,— ответил Мюнхгаузен.— Во всяком случае, могу вас заверить, что я придерживался самых лучших современных образцов и строил свое повествование так, как меня учили авторы, которые в наше время зажигают и увлекают эпоху и нацию.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Начатая историческая новелла благополучно приходит к концу, хотя и самым неожиданным образом

После рассказа шести братьев Пипмейеров возник в кассельской кордегардии, как я уже говорил, большой спор. Несколько гессенцев пытались усомниться в достоверности этой истории и утверждали, что ни один живой человек не может ходить, как привидение. Какой-то скептик из Витценгаузена сказал, что ни один дух не курит трубки, а тем более не оставляет после себя табачного пепла, а потому весь рассказ есть, как он выразился, одно только «выражение воображения» братьев Пипмейеров.

Шесть гвардейцев из Шаумбурга возразили, что с венценосцами дело обстоит несколько иначе, чем с партикулярными; им отпущены некоторые преимущества: они могут быть везде и нигде. Два цигенцейнца воскликнули:

— Если он там был для своего плезира, то мог и курить, а если он мог курить, то могли появиться и дым, и пепел. Один солдат из Гофгейсмара переставил эти предложения, и у него получилось: «Раз, стало быть, Пипмейеры нашли пепел, то, стало быть, он курил, а раз, стало быть, он курил, то, стало быть, он был в Левенбурге».

Количество спорящих все прибавлялось, и шум рос с минуты на минуту. Тут караульный начальник, молодой фендрик фон Цинцерлинг, отпрыск одного из лучших местных родов, крикнул своим высоким дискантом:

— Сукины дети! Чтоб вас разорвало! Перестаньте резонировать!

Спор моментально кончился, и весь караул воздержался из субординации даже от тайных мыслей об этом предмете.

Ночь между тем уступила место первым лучам рассвета, которые ложились красно-желтыми полосами на печь и скамьи кордегардии. Ни с чем несравнимо было действие одного прямого луча, падавшего на верхний цинковый ободок пивной кружки и отражавшегося на набалдашнике фельдфебельской трости, висевшей над нею на третьем крючке. Везде глубокие, насыщенные тона, ясные, прозрачные тени. Кордегардия не походила на реальную кордегардию — она казалась чем-то бóльшим, она казалась нарисованной.

Что касается Пипмейеров, то они отстояли свой караул и могли, хоть и не надолго, усладить себя сном. Спокойно лежали они на нарах друг возле друга и похрапывали. Все шесть косичек рядышком свисали с нар для того, чтобы полковой цирюльник мог их заплести, не будя солдат.

В этот момент случилось следующее достойное изумления событие. А именно, в кордегардию вошел полковой цирюльник Изидор Гирзевенцель[11].

— Я не вижу тут никакого чуда,— невольно заметил старый барон.

— Все в природе и в истории связано между собой,— сказал г-н фон Мюнхгаузен с достоинством.— Прошу внимать мне, не перебивая; чудо следует по пятам за кургессенским цирюльником Изидором Гирзевенцелем.

— Но ведь этот Изидор не тот же самый?..— робко спросила барышня.

— Именно тот самый Изидор Гирзевенцель, который с тех пор затопил немецкую сцену невероятным количеством пьес,— ответил г-н фон Мюнхгаузен.— Жизнь этого героического человека, происходившего из хорошего, но захудалого рода в Ольгендорфе, небольшом местечке в Люнебургской степи, сложилась весьма странно. Драматургом он сделался лишь впоследствии, от природы же он безусловно был предназначен торговать кожами[12]. Первый звук, который издал его младенческий ротик, походил на слово: кожа! Ни деревянные, ни оловянные игрушки не забавляли подрастающего мальчика. Веселое желто-коричневое ружьецо, стрелявшее горохом, вызывало в нем ужас, с отвращением отталкивал он от себя изящно сработанную нюрнбергскую колясочку, невинного рождественского барашка с красными задумчивыми лакированными глазами; зато взгляд его загорался, когда он, бывало, увидит

плетку, скрученную из пяти ремней, или ему позволят взобраться на обтянутую кожей лошадку или наденут на него игрушечный патронташ. Позднее он иногда исчезал на полдня из родительского дома. И где же его находили! На одном из кожевенных заводов, которые были главными кормильцами города. Однажды полный юной отваги он даже спрыгнул в дубильную яму, чтобы попробовать, не сможет ли он еще при жизни привести свою кожу в столь любезное его сердцу состояние; к сожалению, его вытащили оттуда слишком рано, так что дубление было проделано только наполовину. Таким образом, не удалось усовершенствование его покровов, хотя специалисты уверяли, что после этого опыта он навсегда остался толстокожим.

О, отцы и воспитатели, вы, на чьей священной обязанности лежит взрастить побеги доверенных вам растений, подойдите поближе и учитесь на этом страшном примере содрогаться перед тем, что может случиться, если вы презрите голос природы и заставите ствол, который стремится вправо, расти налево. Вы не только превратите дерево в жалкого калеку! Нет, оно заразит и соседние стволы! Паразиты, которые заведутся в гангренозной верхушке, разнесут опустошение гораздо дальше, чем вы можете рассчитать или предвидеть!

Изидор Гирзевенцель из Ольгендорфа мог бы стать для Германии таким кожевенником, какого мы еще не видывали. Возможно, что в глубинах его души дремали мысли, ниспровергавшие троны и превращавшие дубленую кожу во властительницу мира. Но отец не понимал сына. Он не понимал чреватых будущностью томлений духа, который, размышляя над шкурами, квасцами, дубильной корой, известью и выделкой замши, высиживает открытия.

— Дорус, ты дурак,— сказал суровый отец,— кожа может выйти из моды; любовь к ближнему сейчас в таком почете, что она способна неожиданно переброситься и на животных; а откуда ты возьмешь тогда кожу, если каждый пес и бык будет тебе братом, каждая овца — сестрой, и мы начнем щадить родственные жизни. Нет, сын мой, ты изберешь ту карьеру, которую я тебе предназначил.

Изидор плакал, впадал в отчаяние, но ни слезы, ни вздохи не смогли умилостивить твердого, как кремень, отца; Изидору пришлось сделаться парикмахером. Это означало, что для света он был простым цирюльником;

но для того, чтобы удовлетворить свое тяготение к компактному, чтобы при помощи бесхарактерной помады, бесстрастной пудры хотя бы несколько приблизиться ко всему тугому, кожаному, он в утешение создавал украдкой те удивительные прически, которые мир как будто совсем уже позабыл, предпочтя им естественный пробор и шведскую стрижку.

Я буду краток. Когда старый курфюрст вернулся в Гессен, то первое его пожелание, или, вернее, первый же закон вызвал большое замешательство. Но с ним произошло то же, что нередко случается со многими другими законодательными актами; он остался временно на бумаге, и возникал вопрос: может ли коса стать фактом? Ибо никто не знал лица, которое умело возводить это достойное волосяное сооружение. Правда, у старого монарха был поседевший на этом деле искусник, но уважение к рангу и этикет не допускали, чтобы руки, священнодействовавшие над головой его высочества, могли прикасаться к черепам обыкновенных смертных.

В эту минуту нужды и печали выскочил наш мастер из облака пудры, как Эней из тучи. Он умел завивать, умел помадить и взбивать тупеи, умел заплетать косы любой длины и толщины. Его презентировали, прорепетировали, апробировали, ангажировали. С этого момента государство могло считаться организованным.

— Итак, этот человек вошел в кордегардию...— сказала барышня, которой, несмотря на все ее восхищение перед рассказчиком, хотелось, однако, несколько ускорить ход повествования.

— Пока еще нет, сударыня,— холодно возразил г-н фон Мюнхгаузен,— до этого мы еще не дошли. Историческое повествование требует медленного развертывания событий; почтовые кареты быстро двигаются по дорогам, но, как вам хорошо известно, наши романисты все еще пользуются в своих произведениях желтым саксонским дилижансом, который некогда циркулировал между Лейпцигом и Дрезденом и тратил три дня на это путешествие, разумеется, при хорошей дороге.

Большая психическая революция произошла в нашем Изидоре в годы ученичества. Его видели одиноко скитающимся по лесам, «бежал он сверстников толпы», но ах! цветов он не ищет на поляне, чтоб ими украшать любовь! Любовь умерла в этой груди; мрачная морщина недовольства пересекла задумчивый лоб, в нем

созревали решения, которые на горе современникам превратились в темные поступки. Брадобрей по воле провидения, кожевенник по призванию, парикмахер из смирения, он сделался драматургом из человеконенавистничества, за коим, увы, и по сей день не последовало раскаянья. Да, друзья мои, все те трагедии, в которых герой вынужден чистить сапоги своего брата, а возлюбленная утешает его видением того мира, где от него больше не будет разить ваксой, все те трагедии, где ландрат Фридрих Барбаросса рассказывает о своих служебных неприятностях, податной инспектор Генрих Шестой изводится, собирая недоимки, или бравый, просвещенный пастор Фридрих Второй из Гильсдорфа затевает проклятую возню с лионской консисторией из-за рационализма, а камергеры (по существу, уборщики) являются единственными действующими персонажами, да, друг мой, все эти трагедии — и, о господи! сколько еще других — родила мизантропия Гирзевенцеля[13]. Мы были бы избавлены от всего этого, если бы ему было дозволено последовать своему истинному призванию.

— А разве нет никакого средства предотвратить дальнейшее развитие этого зла? — со странным смущением спросила барышня.

— О, сударыня! — вдохновенно воскликнул Мюнхгаузен.— Вечной истиной останутся слова нашего Шиллера: «Чего не видит разум мудреца, то в простодушьи зрит душа младенца». Вы в своем простодушии набрели на великую мысль. Теперь, когда в такой моде всякие подписки, мы откроем подписку по всей Германии, чтобы соединенными силами нации купить Гирзевенцелю кожевенный завод в Силезии среди онемеченных полячков, усластить ему вечер его жизни и освободить от него сцену. Я уверен, что даже наши монархи, которые принимают так близко к сердцу поэзию и литературу, пожертвуют сколько-нибудь на это дело, скажем, гульден или талер, в зависимости от того, управляют ли они страной гульденов или талеров. Ну, а теперь продолжим наш рассказ.

Когда мысль о загубленной жизни вспыхнула в Изидоре с особенной отчетливостью, он воскликнул: «Раз вы не допустили меня до кожи, то я, не будучи в состоянии отнять у вас самую жизнь, по крайности, испорчу вам картину жизни — сцену».

Мои предшественники по ремеслу, Ифланд и Коцебу, сделали из ничтожеств героев; я хочу сделать обрат-

ное и превратить героев в ничтожества. Мюльнер[14] действовал на зрителей преступлением и кровью, Говальд[15] — старыми Камиллами и портретами, достойными виселицы, а я хочу действовать скукой. Я хочу поднять скуку до драматической динамики, сонливость моих персонажей должна порождать катастрофы. Мои герои предпочтут умереть или подвергнуться любому другому бедствию, чем сучить канитель моей фразеологии. Я хочу написать вам пьесу под названием «Король Генциан», пьесу, где вы не увидите ни звезды загробной надежды, ни ночи Тартара под ногами низверженного злодея, ни чистого отречения в пустыне или монастыре, а меблированную комнату в скале, сверху снабженную крышкой, где у зевающего постояльца и его зевающей возлюбленной не окажется иного дела, как плодить детей, которые при рождении вместо крика тоже будут зевать. Истинно, истинно говорю вам, болезнь, именуемая холерой, поразит нашу часть света. Лекари будут ломать себе голову над тем, откуда взялся микроб, занесший заразу, и никто не должен догадаться, что он выполз из ямы, в которую я запихнул «короля Генциана». Горе тебе, Санд-Иерусалим[16], ты, который мирволишь иудеям и постоянно распинаешь пророков! Тебя дважды поразит холера, ибо ты не раз будешь ставить моего «Генциана»! Я хочу написать двадцать один миллион триста два с половиною стиха, следовательно, на полстиха больше Лопе де Веги; они будут стоять у меня шпалерами, как ломбардские тополя на шоссе от Галле до Магдебурга, и это чудо будет превзойдено только той поистине сказочной смелостью, с которой я буду утверждать, что никогда не написал ни одного некрасивого стиха. Но я не собираюсь дразнить театр ошибками и причудами; я хочу нивелировать, обескровить и изнурить сцену. Я не выпущу из-под своего пера ни одной строчки, к которой могла бы придраться даже китайская цензура; я хочу быть вполне правительственно-бюджетным поэтом, но в то же время не перестану заверять, что меня вдохновляют до слез великие исторические эпохи, не ведавшие ни о каких бюджетах. Надо бренчать: это входит в ремесло. Истинно, истинно говорю вам, наступит время, когда артисты будут играть мои пьесы во сне, публика будет спать, а критик Готшед, похрапывая после обеда, будет стряпать на следующий день рецензию для какого-нибудь веленевого листка, в которой он скажет, что новое гениальное произве-

дение моего пера вызвало в публике энтузиазм. Словом, я быть хочу самим собой и лишь себе подобен.

Как Изидор сдержал свое слово, об этом знают просвещенные надворные советники, юстиц-советники, тайные секретари и биржевые маклеры, которые одни только и составляют сейчас публику санд-иерусалимского театра. Ни одна девушка не крадется утром или под вечер по саду (где цветет желтая настурция и вьюнок качает на своем стебле мотылечка или сверкающего золотисто-зеленого жука) к сиреневой беседке с томом его пьес «серьезного и комического содержания» (я удивляюсь, что он не сказал «сорта») и не вычитывает из них, тайно пылая, секреты своего бьющегося сердечка; ни один студент, расставаясь в винограднике у реки со своим товарищем юности и обмениваясь с ним альбомом, не впишет туда ни одного стиха Изидора; ни один художник не вдохновится для своей картины его так называемыми героями. Кто к шести часам вечера еще сохранил остатки хорошего настроения или кто приглашен всего только на роббер виста, тот обегает здание, в котором Изидор открыл свою драматическую харчевню для нищих и где он ублажает Готшеда и кормит пресыщенных иерусалимцев. Ему удалось привести в исполнение свою дьявольскую угрозу. Да, теперь они молотят трижды обмолоченную пустую солому и перетряхивают лузгу, которыми даже трактирщик Ангели не стал бы кормить своих четвероногих гостей[17]. Благодаря Изидору театр дошел, что называется, до шпеньтика. Вот этот, действительно, умел обращаться с немцами! Искры гения не в состоянии воспламенить эту так называемую нацию. Разве подожжешь мокрую шерсть? Тут надо все время делать одно и то же, все равно с каким результатом; тогда они скажут: «Этот, вероятно, знает свое дело». Будучи хорошими хозяевами, они вообще интересуются только тем, чтобы литературный инвентарь был разнесен по соответствующим рубрикам. Не подвернись им Гирзевенцель, они нашли бы второго Кронека, или Геллерта, или Вейсе. Изидор, вечером совершенно изничтоженный критикой, воскресал наутро с тремя посредственными пьесами, которые, как эхо, повторяли все поставленные ему в упрек глупости. Люди же говорили: «Он свое дело знает; так и надо». Даже героизм спасовал, наконец, перед стойкостью промышленного производства; фабрике предоставили гудеть и наматывать, не пытаясь больше вставлять палки

в ее колеса, благоухавшие рыбьим жиром. Но в Валгаллу он не попадет, если только она вообще будет достроена, и сохранит свое назначение, а не превратится со временем в пивоварню[18]. Граф фон Платен попадет туда, и ему там место, несмотря на все его глупости и промахи, но Гирзевенцель не попадет, напиши он хотя бы еще двадцать один миллион стихов. Впрочем, еще неизвестно, умрет ли он вообще и не будет ли смерть засыпать от скуки каждый раз, как его увидит.

Итак, исцели, господь, немецкий театр!

Спугнутая с подмостков Мельпомена сидит в подвале, там, где рабочие возятся с трапом и превращениями; кинжал выскользнул из обессиленных рук и ржавеет в сырости; в сырости же валяется маска, предназначенная прикрывать и скрашивать обыденность человеческих лиц; вся она уже заплесневела, и один из рабочих приплюснул ей нос каблуком. Над головой Мельпомены, на подиуме, лезет из кожи вон шумливый выскочка со своими трескучими, деревянными ямбами. Ах, несчастная! Даже плакать она больше не может! Изидор заразил ее сухим насморком и с жестоким издевательством требует теперь от нее, чтобы она научилась нюхать макубу[19], которая помогает ему от всех недугов.

Все это общеизвестно, но не многие знают, что все его пьесы, которые с тех пор просачивались из-за кулис, как неиссякаемый источник помоев, были изготовлены нашим трагиком в часы досуга, когда он еще занимался косами и прическами. Да, друзья мои, все они были сфабрикованы про запас; манускрипты лежали в его мастерской среди прочих вещей и изделий, приблизительно в таком порядке: фальшивая коса, затем «Земная ночь» и парик, «Св. Геновева» и помада, «Рафаэль» и пудреница, «Школа жизни» и т. д.[20] Поэтому ему было нетрудно завалить рынок Санд-Иерусалима своими товарами.

Однако я чувствую, что у меня не хватает красок для этого полотна и что кисть моя слишком тупа. Чтобы развертывать такие глубокомысленные эстетико-поэтические картины душевных переживаний и чтобы эти картины были ясны всякому, как шоколад, для этого нужно быть Гото, который в своем «Опыте изучения жизни и искусства» показал на собственной биографии, что можно сочинить «Дона Рамиро», писать эстетические статьи для «Ежегодника научной критики», изда-

ваемого Обществом научной критики, и в то же время принимать себя всерьез[21].

В далекие времена, когда родился дон Рамиро, пели:

Дон Рамиро, дон Рамиро!
Пусть твой век протянет Клото.
Мудрецы тебя прославят,
И прочтет тебя дон Гото.

Я подражаю этой народной песне и пою:

Дон Рамиро, гранд де Гото!
Ты один опишешь в драме
Гирзевенцеля напасти
Гегельянскими мазками.

Изидор, вооруженный гребнем и шпильками, приблизился к шести братьям Пипмейер. Он стал на колени, развязал банты, стягивавшие шесть причесок, так что волосы шестью потоками стали свисать с шести затылков, и, приведя своими инструментами в порядок это шестикосье, принялся расчесывать его и заплетать.

В эту минуту в его меланхолически-юмористическом воображении зародился образ Тиля[22].

Вы, наверно, помните ту удивительную фигуру, при помощи которой наш тогдашний полковой парикмахер, а теперь писатель создал столько гениально-комических сцен. Большей частью Тиль имеет дело с неким цирюльником по имени Шелле[23], но он не брезгует также советницами и начальниками полиции! Можно лопнуть со смеху! Какие штучки выкидывает этот Тиль, этот стреляный воробей... Нет, когда я подумаю об этом Тиле, и затем о Тиле и Шелле, о Шелле и Тиле... и о Теле и Шилле... и о всех коленцах этого Тиля... то... то...

При воспоминании о шутках Тиля г-н фон Мюнхгаузен разразился конвульсивным смехом, звучавшим так, точно в жестяной коробке трясут деревянные кубики. Старый барон ударил его несколько раз по спине, после чего Мюнхгаузен пришел в себя и продолжал:

— ...То я могу только пожалеть, что «Редьки»[24], из которых автор хотел вырастить на своем огороде шесть пар трилогий, еще не созрели. Может случиться, что они еще взойдут, так как для Гирзевенцеля нет ничего невозможного. Но пока редьку изготовят на приправу к т и л е н к у, удовольствуемся простым Тилем[25], которому я смело могу пожелать в товарищи Петрушку, что вместе с редьками составит такой салат из овощей, от которого у всякой кухарки сердце задрыгает в груди.

Каждый раз, как я смотрел всех этих Тилей на сце-

не, мне вспоминался человек, которого я встретил между Ютербоком и Трейенбриценом, в селе, называвшемся, кажется, Книппельсдорф или как-то в этом роде. Местность вокруг Книппельсдорфа несколько бесплодна: поля зеленеют только после сильных наводнений, и тогда там устраивают большие празднества, на которых люди наедаются кашей до отвала. Но очаровательных сосен и летучего овса у них сколько душе угодно. У моей коляски сломалась ось, и я был принужден просидеть в харчевне несколько часов, пока тележный мастер чинил ее, т. е. ось. Эта задержка познакомила меня с «книппельсдорфской жизнью». Было девять часов утра, и стоял чудный жаркий июль, но круглые окна харчевни были настолько закопчены, что день сквозь них уже не казался ясным. Куры разгуливали по комнате, делая это, однако, без всякой корысти, ибо есть было нечего, в чем я вскоре убедился, попросив закусить. Правда, я мог утолить жажду, но при условии, что соглашусь ждать до следующего дня: тогда они обещали сбегать в Цане за полпивом. В комнате стоял отчаянный запах, хотя чистоте там придавали большое значение, так как простоволосая служанка в неглиже старательно вытирала длинный стол, а затем, той же тряпкой, глиняные тарелки. Тучи мух жужжали в комнате, и насмешливый, бледный, раздраженно-заспанный человек (тот самый, которого мне впоследствии напоминали Тили) охотился за ними. На нем был ночной колпак, сдвинутый на ухо, во рту глиняная носогрейка, а на ногах стоптанные туфли, в которых он шлепал взад и вперед по комнате. Убив хлопушкой муху, он сжимал свои вялые губы в неприятную улыбку и отпускал каждый раз какую-нибудь остроту насчет убитого насекомого; за каждой мухой аккуратно следовала острота; к сожалению, я их все перезабыл. Служанка не смеялась над этими остротами; я тоже не мог. От нее я узнал, что это младший брат хозяина харчевни, который не хотел делать ничего путного, а потому принужден жить тут из милости; издевательство над убитыми мухами — его единственное занятие.

Тиль, как я уже сказал, впервые привиделся Гирзевенцелю, когда он заплетал косы шести братьям Пипмейерам. «Стой,— подумал он,— вот случай написать этюд с натуры для этого комического героя! Создадим такую завязку, которая по безмерной веселости и смелой изобретательности превзойдет все, что при-

думали Шекспир, Гольберг и Мольер. Я неразрывно сплету вместе косы Пипмейеров, а когда они проснутся и не смогут разойтись, и будут дергать друг друга, корча гримасы от боли, о! тогда я переживу всю полноту комического зрелища! Я уже предвижу дюжины готовых тилиад!» Сказано — сделано. Он сплел Петера с Ромео, Ромео с Христианом, Христиана с Гвидо, Гвидо с Фердинандом, Фердинанда с Генрихом, Генриха с Карлом, так что четверо Пипмейеров оказались дважды сплетенными, а право- и левофланговый по одному разу. Когда Изидор выполнил свое намерение, он спрятался за печку, чтобы наблюдать ход интриги.

Мирно спали жертвы гирзевенцелевского юмора, видели во сне хлеб, рыбу и двойной кошт и не ведали зла. Когда заря стала заниматься и лучи солнца позолотили звезду на груди у статуи ландграфа Фридриха Второго посреди дворцовой площади, словом, когда пробило шесть, фельдфебель вошел в отделение Пипмейеров, чтобы возобновить полосы на носах братьев, так как служба со всей ее строгостью вскоре должна была начаться. Когда же он оглядел пары и увидел поразительное сплетение братских шевелюр, то опустил от изумления приподнятую кисточку и несколько секунд безмолвно смотрел на это явление. Действительно, зрелище было довольно удивительное: Пипмейеры походили сзади на лейб-гвардии кургессенского крысиного короля.

Но известно, что всякий фельдфебель быстро приходит в себя. Так и к нашему после кратковременной растерянности вернулось самообладание, и он обратился к этой коалиции со следующей мужественной речью:

— Чтоб вас, курицыны дети, гром и тысяча молний забили на шесть сажен под нижнюю половицу!

От этого симпатичного обращения бравого служаки братья Пипмейеры одновременно проснулись и хотели одновременно подняться. Но, почувствовав боль, они откинулись назад, одновременно ощупали свои косы, открыли причину мучений и одновременно, как из одного рта, произнесли совершенно спокойно:

— Г-н фельдфебель, пока мы спали, какой-то дурак, по-видимому, прокрался в кордегардию и сыграл с нами шутку.

— Клянусь честью, это так,— сказал вошедший фендрик фон Цинцерлинг.— Отвяжите, фельдфебель,

одного из них, а он поможет братьям. Куда запропастился этот прохвост Гирзевенцель?

Фельдфебель освободил Карла Пипмейера от Генриха Пипмейера, Карл затем отделил Генриха от Фердинанда, Генрих отцепил Фердинанда от Гвидо, Фердинанд отчленил Гвидо от Христиана, Гвидо распутал Христиана и Ромео. Наконец, Христиан восстановил дуализм между Ромео и Петером. Когда, таким образом, все шесть братьев получили вновь право на самобытие, они дополнили свое реальное существование взаимным восстановлением шести раздельных косичных индивидуальностей. Тем самым круг действия этого происшествия замкнулся в своем абсолютном содержании, представление о явлении достигло самоосознания, или, попросту говоря, все кончилось. Ибо, когда фельдфебель обратился к фендрику с вопросом, следует ли доложить об этом по начальству, фон Цинцерлинг, подумавши, ответил:

— Нет, мы живем в неспокойное время, и не к чему усиливать брожение умов. Тот плохо служит монарху, кто служит его подозрительности. Об инциденте не будет доложено. Я беру ответственность на себя.

Как Гирзевенцель ушел незамеченным из-за печки, навсегда останется тайной кордегардии.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Двое слушателей чувствуют такое же разочарование в своих ожиданиях, как и читатель; третий же слушатель, напротив, вполне удовлетворен. Барон фон Мюнхгаузен сообщает несколько скудных сведений из своей семейной хроники

Уже во время последней части повествования учитель Агезилай обнаруживал явные признаки восстановленного удовлетворения. Он потирал руки от удовольствия, покачивался на стуле взад и вперед, вставлял разные «гм, гм! да, да! так, так! эге!» и бросал на г-на фон Мюнхгаузена взгляды, полные лукавства, сквозь которое просвечивал легкий оттенок глубокомыслия. Когда Мюнхгаузен кончил, учитель вскочил, подбежал к нему, крепко пожал ему руку и воскликнул:

— Глубокочтимый благодетель, простите, что я не считаюсь с разницей общественных положений и так просто кидаюсь к вам, но как нужда не знает закона, так и восхищение не знает границ. Позвольте мне выразить вам, с каким удовольствием, с каким наслаждением

я слушал вашу диатрибу, облеченную в форму исторической новеллы. Продолжайте в том же духе и вы можете быть уверены в сочувствии всех благородных умов. Наконец-то мы получили пищу для души и сердца.

— Я вас не понимаю,— серьезно возразил г-н фон Мюнхгаузен.

— Так! так! так! а я вас отлично понимаю, драгоценнейший! — воскликнул учитель.— Да, да! О, премудрый, вот что происходит, когда перебарщивают! Случается же это потому, что мы все доводим до крайности, что от всего на свете мы требуем самого высшего, самого невероятного. Не правда ли, глубокоуважаемый, вашим напускным сарказмом вы хотели сказать про этого столь часто травимого и непризнанного человека: смотрите, вот до каких невероятных экстравагантностей можно дойти, вот как насмешка сама себе вредит, вот как сильнейшие удары всегда попадают мимо, когда ими руководит страсть; а потому, о люди, учитесь довольствоваться тем, что у вас есть, ходите по средней дорожке между ненавистью и восхищением, которую мудрецы всех веков называли золотой! Эту и подобные истины вы хотели внушить вашей пространной сатирой, если только я правильно понял смысл ваших речей, а не плавал по их поверхности.

На это обращение учитель ожидал услышать что-нибудь лестное. Но г-н фон Мюнхгаузен только посмотрел на него широко раскрытыми глазами и сказал после долгого молчания:

— Г-н профессор, вам бы комментарий к Фаусту написать.

Затем он повернулся к нему спиной и стал искать глаза барышни, которые, однако, его избегали.

Барышня же втайне любила героя новеллы, вот почему предложение положить предел его бесстрашной деятельности пришлось ей не по сердцу. Она имела обыкновение в часы сильных волнений декламировать успокоения ради его ломбардские шоссейно-топольные стихи. Но, как и всякая дама, она питала невероятный страх перед смешным; во время же рассказа Мюнхгаузена она видела себя как бы поставленной на одну доску со своим любимцем, а потому чувствовала себя совершенно уничтоженной в собственном сознании и тщетно искала какого-нибудь якоря спасения для своей беспомощной души.

В то же время ее пугало молчание, наступившее в обществе после разговора между г-ном фон Мюнхгаузе-

ном и учителем, молчание, конца которому не предвиделось.

Отец ее делал ножом зарубки на дрянном деревянном столе, за которым все сидели, что входило в его обыкновение, когда он бывал серьезно расстроен. При этом он бормотал про себя:

— Учитель, пожалуй, еще спятит! Ведь это же была чистейшая, неприкрытая сатира на Гирзевенцеля, Шмирзегенцеля или как его там зовут. Стихоплетство и романы разные, это не мое дело... вот природоведение и народоведение, это так!..

Учитель же сидел молча, красный от гнева. Он, правда, не понял мюнхгаузенского ответа, но чувствовал, что в нем кроется укол. В этом отношении с ним нельзя было шутить, так как его самолюбие могло сравниться разве только с его безграничным пристрастием к нравам древних спартанцев.

Кому не знакомо бремя таких штилей в обществе? Собеседники сидят, как флот, бессильный шевельнуться среди неподвижного моря. Вяло свисают паруса; тщетно следят за ними взоры, не раздует ли их, наконец, свежий ветерок. Но все напрасно! Кажется, что сломалось какое-то колесо в мироздании и что вся машина вместе с солнцем, луной и неподвижными звездами внезапно затормозилась. Так и общество, переживающее штиль, в отчаяньи ищет какой-нибудь мысли, замечания, выражения, чтоб раздуть паруса беседы. Тщетно! Никакие слова не срываются с уст, не превращаются в доступный слуху звук. Легенда говорит, что в это время ангел пролетает по комнате, но, судя по длине этих пауз, такие полеты предпринимаются иногда и ангелами, которые давно не тренировались. Наконец, кто-нибудь приносит себя в жертву общественности; он выпаливает какую-нибудь чудовищную глупость, и чары падают, языки развязываются; весла плещут, паруса шуршат, судно весело несется по морю искусства, городских новостей, политики, сообщений о болезнях и здоровьи, религиозных вопросов и карнавальных балов.

После того как в обществе, о котором здесь идет речь, молчание продлилось несколько минут и различные аффекты умолкнувших собеседников превратились в горячее желание услышать человеческое слово, барышня, точно просветленная добрым гением, внезапно обратилась к Мюнхгаузену:

— Летом все-таки погода всегда бывает лучше, чем зимой.

После этого взрыва всем стало легче дышаться; общество почувствовало, что чары, тяготевшие над ним после столь продолжительных разговоров о нашем национальном драматурге, спали. Мюнхгаузен же поцеловал у барышни руку и заговорил:

— Вы высказали сейчас глубокую истину, сударыня, и я знаю кроме вас только одну даму, которая твердо усвоила в своей возвышенной душе это замечательное наблюдение над природой и сообщала его одному поэту каждый раз, когда он имел счастье с ней встретиться. Несмотря на то, что этот поэт напечатал несколько произведений, не оставшихся незамеченными, несмотря на то, что с ним можно было говорить о чем угодно, так как он интересовался более или менее всем и охотно поучал тому, о чем не имел понятия,— несмотря на все это, говорю я, эта дама выражает каждый раз, когда он имеет счастье с ней встретиться, только свое убеждение, что погода летом бывает лучше, чем зимой.

— Невероятно! — воскликнул старый барон.

— Может быть, невероятно, но это так,— ответил г-н фон Мюнхгаузен.— Поэт мне друг и заверил меня в этом своим честным словом.

Затем Мюнхгаузен весело продолжал:

— Я хотел сообщить вам несколько кратких сведений о своей семье. Вот они: так называемый Мюнхгаузен-Враль — это мой дед, если только наше родословное дерево в Боденвердере не ошибается. Недавно Адольф Шрётер[26] написал в Дюссельдорфе его портрет; на этой картине дед потягивает трубку в кругу охотников и арендаторов и рассказывает этим людям свои истории. Напротив него сидит какой-то толстый человек; он снял куртку, чтобы удобнее слушать, и лицо его выражает самое доверчивое внимание; рядом с ним улеглась его огромная собака, чрезвычайно на него похожая.

Мой дед удался Адольфу Шрётеру, как никому. В этом нет ничего удивительного, так как старый Мюнхгаузен явился ему во сне; это было видение. Видения являются не одним только благочестивым художникам,— они бывают и у других. Никто не нарисует двух младенцев, убиваемых двумя злодеями, или кегельбана, или даже портрета без того, чтобы эти предметы ему не явились. Но вот в чем преимущество мирских видений: здесь всегда можно сравнить и определить, насколько они верны, так как везде водятся и невинные младенцы, и злодеи, и кегельбаны, и люди, с которых рисуют пор-

треты; но с благочестивыми видениями этого не сделаешь, и поэтому никто не знает, выглядели ли все эти ангелочки, богоматери и угоднички так, как утверждают люди, которым они являлись.

Что Адольф Шрётер имел настоящее видение, это подтвердил еще недавно один старый, седой, как лунь, охотник из Боденвердера, который торгует сейчас в разнос порошком от крыс и мышей и между прочим забрел на берега Рейна. Он зашел на выставку, так как надеялся там расторговаться, и когда увидел картинку, воскликнул: «Да ведь это наш старый барин, прямо как живой, когда рассказывал про двенадцать уток!» Картинку собираются теперь воспроизвести al fresco, с фигурами в человеческий рост для нового зала знаменитых мужей в Ганновере.

Родство с этим человеком причинило моему отцу величайший вред на всю жизнь. Если он собирался занять деньги под свое дворянское слово с обещанием заплатить при первой возможности, то ростовщики, с которыми он имел дело, говорили:

— Очень жаль, но мы не можем вам служить, ведь вы г-н фон Мюнхгаузен. Он поступил на военную службу и однажды в качестве штаб-ротмистра сделал рапорт, действительно казавшийся невероятным; генерал ему не поверил и вследствие этого проиграл битву. Против него начались интриги за интригами; дело было извращено, и он был уволен в отставку с немилостью. Тогда он посвятил себя финансам и открыл тайное средство размножать благородные металлы; он хотел продать его государству, но государство отказалось, и ему было сказано: «Хорошо, хорошо, мы и без того знаем, что вас зовут Мюнхгаузен». Из финансового ведомства его тоже уволили с немилостью за то, что он аферист, как говорилось в приказе об отставке. А что получило государство от этого отказа? Оно принуждено было печатать бумажные деньги.

Но и отец тоже не получил прибыли от своего тайного средства; он не мог его использовать для себя, так как первоначальные расходы были слишком велики для частного лица. Он сватался поочередно к двенадцати девушкам, но

первая сказала, оробев,
вторая — как лев,
третья — едко,
четвертая — метко,
пятая — как кокетка,

шестая — велеречиво,
седьмая — медоточиво,
восьмая — скорометательно кратко,
девятая — взоромечтательно сладко,
десятая — ссороискательно гадко,
одиннадцатая — шаловливо и нежно, но все же, хитро виляя,
двенадцатая — горделиво небрежно и тоже перо вставляя:

— Г-н фон Мюнхгаузен, спасибо за оказанную честь, но ведь вы нас надуваете.

Таким образом все двенадцать кандидаток в мои матери отказали этому бедному человеку только из-за его фамилии и из-за дедушкиной репутации.

Я так и остался бы без матери, если б он потерпел фиаско еще и у тринадцатой; но это была мыслительница, которая находила скрытое значение в книге о дедушкином вранье и истолковала все аллегорически и теософски. Она дала слово моему отцу, но не из любви к нему, как она открыто заявила при обручении, а из уважения к моему деду.

Я не имею права распространяться об этом браке. Он скрывает в себе тайны, которые, в свою очередь, глубоко связаны с другими тайнами моего самого сокровенного «я» и которые последуют за мною в могилу. Одно только скажу вам: брак из уважения к отцу супруга есть для последнего несчастнейший из несчастнейших браков. «Несчастный брак из деликатности» Шредера — сущие пустяки, а «Брак по объявлению» — просто рай по сравнению с браком из уважения[27].

Барон Феофил фон Мюнхгаузен (так звали человека, которого мир считает моим отцом) всецело отдался серьезным занятиям, после того как ему так не повезло в любви и в жизни. Он сделался большим трезвенником, и за то время, что я был в Боденвердере, улыбнулся при мне всего три раза.

Раннее детство я, по странному сплетению случая, рока и страстей, провел среди животных, а именно среди козьего стада на Эте. Что со мною там было, об этом я поведаю в другой раз, теперь же скажу только, что, по странному сплетению случая, рока и страстей, я прожил отроческие годы в доме отца. С этим человеком (которому я, каковы бы ни были вышеупомянутые таинственные обстоятельства, все же обязан жизнью) я изучал всякую всячину.

Утром: философия, география, алхимия, техника, отечественная история, всеобщая история, физика, математика, статика, гидростатика, аэростатика.

Днем: литература, поэзия, музыка, пластика, драстика, феллопластика.

Вечером: гимнастика, гиппиатрия, медицина, в особенности анатомия, физиология, патология, семиотика, биотика, траволечение.

Ночью: мы репетировали, экспериментировали, диспутировали.

При таком учебном плане я, во всяком случае, мог кой-чему научиться.

— Когда же вы спали? — спросила барышня.

— С четверть часика, когда придется, во время более легких уроков,— объяснил г-н фон Мюнхгаузен.— Я был скоросоней, как бывают скороходы. В несколько минут я мог втеснить такое количество сна, какое обыкновенные люди укладывают только в несколько часов. О сне вообще не может быть речи для человека, который хочет быть на высоте своей эпохи, после того, как научные открытия достигли таких размеров. Не только мое образование, но и дух мой, и характер не были оставлены без внимания в Боденвердере. В особенности прививал мне мой так называемый отец сильное моральное отвращение ко лжи, ибо дед расстроил этим пороком наше семейное счастье. Мой так называемый отец придерживался в отношении некоторых вещей собственных принципов и придавал особенно большое значение первым чувственным впечатлениям детства. Каждый воскресный и праздничный день я получал аллегорическую фигуру Истины, выпеченную из пряничного теста с медом,— обнаженную особу с двумя изюминками вместо глаз, с бомбергской сливой вместо носа и солнцем из миндалин на груди. После того как я с наслаждением съедал эту аллегорию, мне неизменно повторяли: «Истина сладка, как медовый пряник». Но если я портил желудок и принужден был принять ревень, мне строжайше говорили: «Это горький напиток лжи».

Правильность этого метода оправдывается на мне. Я действительно получил непреодолимое отвращение ко лжи и могу сказать, что ни одно лживое слово не слетело с моих уст, за исключением разве одного, за которое, впрочем, я тут же горько поплатился. Долго я не мог думать об истине, или об известных истинах без того, чтоб мне не вспоминались медовый пряник, изюмины,

миндалины и бамбергские сливы, но все же со временем дух мой возвысился до идеальных представлений.

Что же касается единственной лжи в моей жизни и ее последствий, то дело обстояло так. Сижу я однажды у себя за секретером и занимаюсь серьезным делом. Слуга докладывает, что меня спрашивают.

— Проваливай,— говорю я ему,— меня нет дома.

— Г-на барона нет дома,— говорит он за дверью.

Как только слуга исполнил мое приказание и я услышал, что посетитель ушел, я начинаю чувствовать беспокойство, которое не позволяет мне усидеть за столом; я вскакиваю, меня бросает то в жар, то в холод и вообще мне сильно не по себе. Мне вспоминается ревень моих детских дней и его аллегорическое значение, фантазия вступает в свои неограниченные права, тайные связи между душой и телом начинают действовать все сильнее, все конкретнее растет во мне мысль о ревене, вскоре я с головы до пят пропитываюсь ревенем, природа следует за воображением, недуг прорывается... Остальное вы угадываете сами!

Последствия моей лжи, обусловленные ревенно-аллегорическими воспоминаниями, сказываются с такой силой, что наука робко отступает перед нею. В городе — двадцать четыре врача; все они один за другим навещают болящего. Раздается двадцать четыре мнения, предписывается двадцать четыре разных и противоположных средства. Первый говорит, что это слабость, второй настаивает на гиперестезии, третий на новой форме чахотки. Четвертый предписывает сипапизмы, пятый катаплазмы, шестой припарки, седьмой adstrin gentia, восьмой mitigantia, девятый corro borantia:

— Ипекакуана! — восклицает десятый.

— Нет, гиосциамус! — кричит одиннадцатый.

— Ни то, ни другое, а красный лук,— спокойно говорит двенадцатый; тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый оперируют, скарифицируют, ампутируют, эвакуируют, трепанируют; номер восемнадцатый установил диагноз верно, девятнадцатый говорит, что с прогнозом скверно, двадцатый дает borax, двадцать первый storax, двадцать второй находит, что всему виною торакс; двадцать третий предлагает мне франконского винца, двадцать четвертый превращает больного в полумертвеца.

Из этого состояния выводит меня один гомеопат при помощи 1/6000000 грана мышьяка.

— Господин доктор,— говорю я, ослабленный двадцатичетырехкратным аллопатическим лечением,— г-н доктор, все это оттого, что я соврал.

— Соврали! — восклицает тот.— В таком случае нет ничего легче, чем вас вылечить.

Вы должны наклеветать, т. е. солгать со злобным намерением, и тогда болезнь моментально пройдет.

Мысль, как молния, пронизывает мне душу.

— В Швабию! — кричу я.— В Штутгарт! Доктор Нахтвехтер — человеколюбец, он будет великодушен и позволит мне некоторое время, до моего выздоровления, сотрудничать в его литературном листке[28].

Меня укутывают в тюфяки, кладут в карету, и я добираюсь до Штутгарта еле живой. В этот самый момент издатель литературного листка выходит из Палаты, где при обсуждении налога на вино он говорил о бремени, под которым страждет церковь.

— Благородный человек,— говорю я,— вы, чье лицо светится добротой и честностью! Вы — ночной сторож Германии, который всегда трубит, что полночь настала, когда заря взошла! Так-то и так-то обстоит со мной.

Я рассказываю ему всю историю и излагаю свою просьбу.

— Охотно,— говорит Нахтвехтер,— начхать мне на литературу.

Он дает мне инструкции относительно статьи для листка, и я сажусь писать. На первой же странице я чувствую успокоение, на второй уже облегчение, на третьей кровь притекает в жилы, на четвертой ко мне возвращаются силы, на пятой полнеет мой отощавший лик, а после шестой я здоров, как бык; так что мне уже не к чему было писать дальше о книгах и авторах, которым надо было нашить по первое число, и я мог предоставить Нахтвехтеру окончание статьи.

Таким образом, штутгартский литературный листок вылечил меня гомеопатически от губительных последствий лжи. Вероятно, Нахтвехтер не принимал в детстве ревеня или не имел никакого воображения, иначе он давно бы умер от своего листка. Я же остерегусь когда-либо еще погрешать против правды, так как знаю, что Нахтвехтер мне больше не поможет. Он вопит о неблагодарности: я-де, мол, сидел у его очага, он-де оказал мне гостеприимство, как капитан Роландо Жиль Блазу в своей берлоге, а я-де не исполнил своего долга и перестал врать для него, как только выздоровел.

Против этих и подобных обвинений защищает меня одно старое изречение, гласящее:

Связует правда нас, а ложь к раздору тянет.
Коль ты обманешь свет, то свет тебя обманет.

ПЕРЕПИСКА АВТОРА С ПЕРЕПЛЕТЧИКОМ

I

АВТОР ПЕРЕПЛЕТЧИКУ

Любезный г-н переплетчик, что за штуки вы выкидываете в последнее время? Недавно посылаю вам книгу: «Карл Гуцков: Философия истории». А вы ставите на обложке: «Философия истории Карла Гуцкова», точно эта книга содержит личную историю автора, в то время как он трактует там о мертвых силах и естественных предпосылках в истории, об абстрактном и конкретном человеке, о мужчине и женщине, о страсти, о государстве, о войне, о переходных эпохах, о революциях и, наконец, о боге, охватывая в своем труде всю область исторического мышления. А сегодня получаю от вас обратно Мемуары Мюнхгаузена и вижу, что вы неправильно вплели первые десять глав, поместив их после глав одиннадцатой — пятнадцатой. Возвращаю вам книгу и прошу переплести ее заново.

Остаюсь с совершенным почтением и т. д.

II

ПЕРЕПЛЕТЧИК АВТОРУ

Ваше высокоблагородие сделали мне горький упрек, который я не могу оставить без ответа. Я слишком давно работаю в своем деле и знаю его вдоль и поперек. Если автор что-нибудь пропуделял, то порядочный переплетчик должен в наше время исправить это каким-нибудь намеком на корешке или где-либо в другом месте.

Сочинители начали писать несколько сумбурно. Молодые люди мало учатся и мало читают, но мы, у которых, так сказать, вся литература проходит под переплетным ножом и которые должны следить за всеми «Новостями для переплетчиков», и, кроме того, проверять эти новости и справа, и слева — мы смотрим на вещи шире. Тут надо выручать по мере сил, и нередко удается установить

правильный взгляд на книгу, опустив или вставив, в зависимости от обстоятельств, запятую или точку.

В отношении книги Карла Гуцкова я достиг этого, поместив имя автора после заглавия. Ваше высокоблагородие! Я переплетал Шпитлера и Шлецера[29], «Мысли к философии истории человечества» Гердера прошли у меня под ножом по меньшей мере раз сто, а теперь я часто переплетаю Ранке[30] — и я говорю вам, эти люди писали такие хорошие, толстые книги, и столько в этих книгах примечаний и цитат, что видно, как автору солоно достались и философия и история; и я уверяю вас, что совершенно невозможно исторически охватить на 305 страницах бога и революцию, и дьявола, и его бабушку, как это сделал Карл Гуцков. Но это вовсе и не входило в его намерения, как видно из предисловия, которое мне пришлось прочесть, так как я должен был подклеить в нем лист. Ведь автор говорит, что не мог использовать для «Философии истории» никаких источников, кроме разве нескольких накаляканных на стенке проклятий скуке или нацарапанных на оконных стеклах бесчисленных девизов с незнакомыми подписями[31]. Если же он все-таки издал эту книгу, сочиненную им, вероятно, для того, чтобы разогнать скуку, то сделал он это исключительно с целью написать историю своих слабых и неудовлетворительных знаний, а потому заглавие «Философия истории Карла Гуцкова», как я вытиснул золотом на корешке, проставлено мною вполне правильно.

Что касается последних глав вашей книги, которые я сделал первыми, то об этом я вам тоже сейчас доложу. Вы опять начали историю Мюнхгаузена в свойственном вам скромном стиле: «В той части Германии, где некогда лежало могущественное княжество Гехелькрам, возвышается плоскогорие, поросшее...» и т. д., затем вы сообщаете о замке и его обитателях и, наконец, постепенно переходите к герою этого рассказа.

Ваше высокоблагородие! Этот стиль мог быть хорош и пригоден во времена Сервантеса, когда читатель любил проникать в рассказ тихо и незаметно, как в зачарованный грот, о котором поют в сказках и где у входа сидит прекрасная эльфа, завлекающая рыцарей дивными звуками в альмандиновое ущелье. Она не трубит ни в трубу, ни в валторну и не делает пиччикато, а держит в руках маленькую золотую лютню и из этой лютни текут звуки, простодушные и наивные, как невинные дети, которые обвивают рыцаря цветочными цепями, и не успевает он

опомниться, как уже оплетен и затянут в грот, и вот он стоит в стране чудес, еще не понимая, что покинул реальный мир.

Но сейчас такая магия сладко-пленительного стиля никуда не годится.

Ваше высокоблагородие! В наше время мало трубить в валторну: вы должны ударять в там-там и пускать в ход трещотки, которыми оркестр изображает ружейный огонь во время баталии, или брать фальшивые квинты, или мешать диссонансы с консонансами, чтобы «захватить» читателя, как теперь принято выражаться.

Ваше высокоблагородие! Упорядоченный стиль вышел из моды. Автор, желающий иметь успех, должен писать хаотично: только тогда он достигнет напряжения, которое захватывает у читателей дух и гонит его под хлыстом до последней страницы. Итак, напихать и накидать одно на другое, как льдины во время ледохода, отрицать начисто небо и землю, характеры списать с потолка, и чтоб они не вязались с происшествиями, да вызвездить происшествия, которые бегают без характеров, как собаки без хозяина. Словом: хаос! хаос! хаос! Поверьте мне, ваше высокоблагородие, без хаоса вы в наше время ничего не достигнете.

В отношении вашего Мюнхгаузена я позаботился о вас, сколько мог, и внес некоторую конфузию, чтобы придать рассказу необходимую напряженность. Видите ли, в том виде, в каком сейчас переплетена книга, никто не может угадать, в чем собственно дело, кто такой барон, кто барышня, кто учитель, и где все это поисходит? Но если выносливый читатель прогрызся сквозь первые главы, то он прогрызется и дальше, ибо с читателем происходит то же, что с иным зрителем в комедии. Он злится на дрянную пьесу, зевает, лезет из кожи вон от нетерпения и все же не двигается с места, так как он заплатил за вход и ему хочется отсидеть за это свои три часа.

Поэтому я надеюсь, ваше высокоблагородие, что вы откажетесь от намерения переплетать заново эту книгу.

Оставаясь и т. д.

III

АВТОР ПЕРЕПЛЕТЧИКУ

Любезный господин переплетчик, вы меня убедили. Ах, я приму теперь совет в своем ремесле от всякого, даже от вашего подмастерья, если он захочет мне сделать

какое-либо предложение по поводу моей новой книги. Не раз уже случалось, что подмастерья давали мне указания, а я им не следовал и тяжело за это платился.

Мы не будем менять порядка листов, и если в дальнейшем вы или ваш подмастерье заметит, что я снова погрешил против напряженности или хаотической манеры, то переплетайте главы вперемежку по вашему усмотрению и исправляйте этим способом книгу. Я даже уверен, что я не первый прибегаю к этой системе, безусловно, г-н Стеффенс дал такое же разрешение переплетчику относительно своих новелл «Вальзет и Лейт», «Четыре норвежца» и «Мальколм»[32].

Лет семь-восемь тому назад никто не позволил бы себе предложить мне что-нибудь подобное, но теперь я...

...да, дорогой г-н переплетчик, я написал «устал» и вполне конфиденциально изложил вам, почему можно так устать в этом мире.

Но две дамы, которым я дал прочесть письмо, сказали, что это надо вычеркнуть, что усталый и плаксивый тон мне решительно не пристал.

Они правы. Мир может отказать нам во всем, но отнять у нас историю и природу он не может. Пусть юнцы скулят и хнычут о безвременьи, которое они сами помогают создавать.

Нет, г-н переплетчик, наши глаза должны смотреть бодро, а наши раны служить нам к украшению.

Но каково ваше мнение о Мюнхгаузене и что, по-вашему, из него выйдет?

IV

ПЕРЕПЛЕТЧИК АВТОРУ

Ваше высокоблагородие, из «Мюнхгаузена» ничего не выйдет, раз уж вы хотите знать мое мнение. Все равно, будет ли одной никчемной книгой в мире больше или меньше. Но мы можем прийти на помощь отдельным отрывкам. Я уже имею в виду одно маленькое домашнее средство для первой части.

Остаюсь с глубоким почтением и т. д.

V

АВТОР ПЕРЕПЛЕТЧИКУ

Что это за домашнее средство, милейший г-н переплетчик? Я жду с нетерпением ваших дальнейших сообщений. С совершенным почтением и т. д.

VI

ПЕРЕПЛЕТЧИК АВТОРУ

Ваше высокоблагородие! Переписку теперь охотно читают, даже если она содержит только сведения о насморках и кашлях корреспондентов. Распорядитесь напечатать наши письма в первом томе; это поставит его на ноги.

VII

АВТОР ПЕРЕПЛЕТЧИКУ

Даже наши последние записки?

VIII

ПЕРЕПЛЕТЧИК АВТОРУ

И их тоже.

IX

АВТОР ПЕРЕПЛЕТЧИКУ

Отлично.

X

ПЕРЕПЛЕТЧИК АВТОРУ

(Конверт с письмами автора).

ПЕРВАЯ ГЛАВА

О замке Шник-Шнак-Шнур и его обитателях

В той части Германии, где некогда лежало могущественное княжество Гехелькрам, возвышается плоскогорие, поросшее бурым вереском. То там, то здесь выступают на этой мрачной поверхности остроконечные скалы, окаймленные белоствольными березами или темными елями. На севере эти скалы так близко подходят друг к другу, что их можно принять за маленький горный хребет. Многочисленные тропинки пересекают эту равнину и сливаются возле двух самых высоких утесов в одну широкую дорогу, которая ползет, постепенно подымаясь, между ними. После нескольких поворотов она упирается в шоссе, некогда, по-видимому, вымощенное, теперь же, благо-

даря выбитым камням и глубоким рытвинам, скорее напоминающее потайную горную тропу. Несмотря ни на что, за этим ухабистым и смертоубийственным проселком сохранилось название Замкового проспекта. Ибо, вступив на нее, вы видите или, вернее, видели возвышающийся на голом холме замок, название которого указано в заголовке настоящей главы. Чем ближе вы к нему подходите или подходили — ибо теперь от него осталась только куча развалин,— тем яснее вам бросается или бросалась в глаза необычайная ветхость замка. Что касается или касалось ворот, то, правда, оба столба еще стояли, и на правом из них даже ухитрился уцелеть скульптурный лев, державший гербовый щит, но зато его левый партнер уже свалился в высокую траву; железная решетка ворот была давным-давно выломана и использована для других целей. Но создавшаяся благодаря этому опасность разбойнических нападений грозила замку только в сухую погоду. Когда же шел дождь (а в этой местности он идет часто), двор замка превращался в непроходимое болото, на котором, если только история не врет, по временам попадались бекасы.

Этому входу вполне соответствовали как внешность, так и внутренность замка. Со стен сползла окраска, а отчасти и штукатурка. Фронтонная стена осела с одной стороны, и ее поддерживала балка, уже подгнившая снизу и потому представлявшая не слишком надежную опору. Если бы кто, не устрашившись этого зрелища, все же захотел войти в замок, то встретил бы немалое препятствие со стороны двери. Ибо пружина старого, заржавленного замка давным-давно перестала действовать и ручка поддавалась только после повторного и сильного нажима, причем она нередко выскакивала из гнезда и оставалась в руке входящего. Обитатели поэтому предпочитали пользоваться для входа и выхода постепенно расширявшейся дырой в стене и загораживать таковую только на ночь бочками и ящиками. Если говорят про окна, что они глаза дома, то этот, с позволения сказать, замок можно было с полным правом назвать полуслепым. Ибо эти глаза были только в немногих, и то в самых необходимых комнатах; остальные же покои были, благодаря закрытым ставням, навсегда погружены во мрак, так как оконные стекла постепенно повыпадали из рам.

В этом обветшалом доме, в этих голых, запущенных комнатах проживал еще несколько лет тому назад со своей отцветшей, почти сорокалетней дочерью Эмеренци-

ей пожилой дворянин, которого во всей округе называли не иначе как «старый барон». Он принадлежал к обширному роду фон Шнуков, поместья которого широко раскинулись по всей стране и который дробился на линии, ветви, ветки и боковые ветки, а именно:

I. Старшая или серо-крапчатая линия — линия Шнук-Муккелиг; родоначальник Паридам, владетельный барон ауф-унд-цу-Шнук-Муккелиг.

1. Старшая или пепельно-серо-крапчатая ветвь — ветвь Шнук-Муккелиг-Пумпель.

2. Младшая или серебристо-серо-крапчатая ветвь — ветвь Шнук-Муккелиг-Пимпель.

II. Младшая или фиолетовая линия — линия Шнук-Пуккелиг; родоначальник Гейзер, сеньор ауф-унд-цу-Шнук-Пуккелиг.

1. Старшая или желто-фиолетовая ветвь — ветвь Шнук-Пуккелиг-Шиммельзумпф.

а) Ветка Шнук — Пуккелиг — Шиммельзумпф-Моттенфрас.

б) Ветка Шнук-Пуккелиг-Шиммельзумпф, по прозванию «из чулана» (№. B. бездет.).

2. Младшая или фиолетовая ветвь, по прозванию «с Гречишного поля» — ветвь Шнук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер.

а) Ветка Шнук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер фон Доннертон.

б) Ветка Шнук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер из Дубравы.

Боковая ветка: Шнук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер из Дубравы у Варцентроста.

От этой боковой ветки происходил наш старый барон.

Многократное дробление рода фон Шнуков имело последствием значительные разделы родового имущества; в особенности, весьма сократились владения представителей младшей линии, отличавшейся большой плодовитостью. Поэтому пришлось прибегнуть к выдумке, будто фон Шнукам принадлежат по праву все церковные бенефиции и все военные должности в княжестве. Эта выдумка тем более могла быть принята на веру князьями гехелькрамскими, что Шнуки, как уже говорено, осели на всех землях и, к тому же, кузен Бото сказал: пусть будет так, кузен Гюнтер утверждал, что так лучше всего, кузен Ахатий ввернул, что Шнуки и их приверженцы образуют железную стену вокруг трона, кузен Варфоломей вывел, что раз необходимо, чтоб Шнуки

существовали, то надо дать им и средства к существованию, т. е. бенефиции и должности,— остальные тридцать шесть Шнуков привели еще тридцать шесть разных доказательств в подтверждение правильности этой выдумки. Князья, которые были окружены только Шнуками и слышали только вышеприведенные речи, должны были, в конце концов, поверить в необходимость этой системы. Сильно повлияло на укрепление этой веры и то обстоятельство, что, согласно гехелькрамской конституции, всякий очередной князь должен был выбирать себе очередную фаворитку из рода Шнуков. Эти же дамы, как само собой понятно, способствовали агнатическим интересам.

Порядок этот вскоре твердо укрепился и вошел в качестве добавления в национальное законодательство. Теперь фон Шнуки могли жить-поживать и размножаться, как песок морской. Когда они проедали свое, то в качестве генералов продолжали проедать полковую казну, а сыновей своих, за исключением одного, делали прелатами и советниками в Верховной Коллегии.

Я не изложил вам всех подробностей системы. Согласно этой последней всякий Шнук, избиравший гражданское поприще, был по рождению тайным советником в Верховной Коллегии.

— Вы остановились... вы вздыхаете, г-н сочинитель?

— Ах, сударыня, разве это не несчастье для бедного рассказчика постоянно освежать старые истории. Вещи, о которых я вам рассказываю, были донельзя затасканы романистами уже пятьдесят лет тому назад! А я должен опять ставить в печь вчерашнюю похлебку.

— Ведь вы рассказываете о прошлом, г-н сочинитель, и такие старые истории здесь вполне уместны.

— Тысячу благодарностей, сударыня, за то, что напомнили. Да, я рассказываю о прошлом, о вещах, которые давным-давно умерли, как блаженной памяти дворянская цепь. Всему виной моя фантазия, которая увлекла меня так, что я мог представить себе существование системы фон Шнуков в наше время или в ближайшем будущем. Нет, она никогда не вернется, эта система; против нее огромное большинство, большинство всех порядочных людей, которые упорно трудятся в этом мире. Итак, смелей, без запинок и вздохов, углубимся в предания старины!

Наш старый барон унаследовал в молодости от отца

один только замок Шнук-Шнак-Шнур, который в то время был простой мызой и лишь впоследствии получил почетное название замка. Это владение приносило ежегодно две, самое большое две с половиной тысячи гульденов. Покойный отец содержал дом в полном порядке: гербовые львы величественно красовались на обоих столбах, между которыми, как и полагается, помещались железные ворота; двор тогда еще был вымощен, а в комнатах висели красивые, пестрые фамильные портреты и стояли стулья и комоды под красное дерево с бронзой. За домом отец приказал разбить сад в строго французском стиле и поставить там статуи пастухов и амуров из песчаника.

Две или две с половиной тысячи гульденов в год,— разумеется, довольно скудная рента для дворянина, но наш старый барон обошелся бы этим в своем сельском уединении, если бы не вырос с мыслью, что он по рождению предназначен быть тайным советником в Верховной Коллегии. С четырнадцати лет он вечером засыпал, а утром просыпался с этой мыслью, придававшей ему уверенность, которую ничто в мире не могло поколебать. Знал он, по правде говоря, мало или совсем ничего; отец его был против усиленных занятий, так как держался мнения, что кавалеру неприлично быть ученым. У него был легкий, беззаботный и добродушный характер; он любил доставлять удовольствие другим и не менее ценил свое собственное. Он охотно устраивал пиры, охотно ходил на оленя с десятком друзей и считал более или менее высокую игру с товарищами по охоте лучшим отдыхом после этого напряжения. Даже когда он бывал один, он обедал не меньше чем из шести блюд, к которым, разумеется, полагался добрый старый рейнвейн. Одевался он чисто, лакеев держал немного, человек пять-шесть, для себя и для своей супруги, происходившей от старшей, так называемой серо-крапчатой линии, линии Шнук-Муккелиг-Пумпель; при ней же, кроме того, состояли камеристка и гардеробная девушка. Баронесса же находила свое удовольствие, главным образом, в бриллиантах, жемчугах, робах и кружевах, и ее супруг не отказывал ей в этом отношении.

— Ибо,— говорил он,— хотя эти штуки и стоят дорого, но они подобают нашему рангу, а что подобает рангу, то никогда не стоит слишком дорого.

Когда же нашего барона утомляло однообразие домашней жизни, то он вместе с супругой, камерист-

кой, гардеробщицей, пятью-шестью лакеями и с каким-нибудь другом дома, тоже чувствовавшим утомление и просившим взять его с собой, отправлялся в интересное путешествие по соседним странам, откуда он затем возвращался с новыми силами к своим пирам, охотам и игре. После таких поездок тихие домашние удовольствия казались ему вдвое приятнее. Небо благословило его брак единственной дочерью, получившей во святом крещении имя Эмеренции. Это было от рождения на редкость мечтательное дитя: еще грудным ребенком оно закатывало глаза самым удивительным образом. Когда маленькая Эмеренция подросла, то она не слышала от своей матери почти ничего, кроме рассказов о дамах линий Шнук-Муккелиг и Шнук-Пуккелиг, которые были фаворитками князей гехелькрамских. Мать показывала ребенку этих дам на фамильных портретах: все красивые женщины с высокими фигурами, в желтых, зеленых и красных адриеннах[33], с большими букетами и обнаженными плечами. Так как она постоянно слышала об этих возлюбленных и дамы на портретах ей чрезвычайно нравились, то она вбила себе в голову, что это является и ее призванием,— мысль, которая еще больше укрепилась, когда замок посетил Ксаверий Никодим XXII, князь гехелькрамский. Он посадил тогда тринадцатилетнюю Эмеренцию к себе на колени, обласкал ее и спросил:

— Хочешь быть моей маленькой невестой?

На что она, не задумываясь, отвечала:

— Да, как все эти дамы, что там висят.

Князь спустил ее с колен и, улыбаясь, сказал ее матери:

— Ah, la petite ingénue!

Время, правда, стерло в ее сердце образ князя Ксаверия Никодима XXII, так как она его с тех пор не видала, но представление о ранге, представление о том, что она предназначена быть в нежных отношениях с одним из гехелькрамских князей, крепло в ней все больше и больше, причем она безусловно не думала ничего дурного и верила в это с той же искренностью, с какой ее отец в чин тайного советника. Но так как сердце не любит холостых порывов, а предпочитает успокоиться на приятной и благородной действительности, то ее романтическая фантазия нашла себе после нескольких неопределенных блужданий видимый предмет, долженствовавший временно символизировать ожидаемого возлюбленного из гехелькрамского княжеского дома.

Действительно, этот предмет имел все свойства, необходимые, чтобы воспламенить воображение любой чувствительной девушки. Вся его статная, коренастая, пропорциональная фигура дышала мужественной силой; в его лоснящемся розовом лице с широкими, крепкими скулами светилась решимость разгрызть любой, даже самый твердый орех, предложенный ему судьбою; правда, в связи с его профессией, рот его был несколько больше, чем позволяли законы идеальной пропорции, но удивительно пышные черные усы, окаймлявшие губы, исправляли этот недостаток. Большие светлые, небесно-голубые глаза кротко глядели прямо перед собой, и в них отражалась душа, в которой уживались вместе доброта и сила.

Одет был этот идеально красивый щелкунчик в красный лакированный мундир и белое продолжение; на голове же у него была импозантная шляпа с пером. Эмеренция получила его ко дню ангела. Как только она его увидела, она задрожала, завздыхала, заалела. Никто не понял ее волнения. Она же отнесла щелкунчика в свою комнату, поставила на камин, долго смотрела на него, пылая и плача, и наконец воскликнула:

— Да, так должен выглядеть человек, которому отдастся это переполненное сердце!

С этого момента щелкунчик сделался ее предварительным возлюбленным. Она вела с ним нежнейшие беседы, целовала его черные усы, и так одушевила их отношения, что каждый раз, как собиралась раздеться перед сном, стыдливо прикрывала платком голову своего друга, стоявшего на камине. Щелкунчик на все соглашался, уверенно стоял на своих ногах и смотрел перед собой кротко и энергично большими намалеванными голубыми глазами.

От этой прекрасной любви Эмеренция быстро расцвела. Если природа и не расщедрилась для нее на чары, то все же она наградила ее красивым цветом лица и полными руками; поэтому у нее не было недостатка в поклонниках среди соседних помещичьих сынков. Но она отказывалась от всех предложений, говоря, что следует своему идеалу и принадлежит будущему. Под идеалом она понимала того, кто стоял на камине, а под будущим гехелькрамского князя.

Родители не неволили ее. Они говорили, что в ветках Шнук-Муккелиг и Шнук-Пуккелиг чувства в течение столетий всегда шли по правильной геральдической линии.

А потому не к чему искусственно изменять или перефасонивать душевные переживания дочери.

В эпоху самого обильного и пылкого сватовства барон предпринял со своими одно из упомянутых увеселительных путешествий, чтобы отдохнуть от бремени охот и карточной игры. Целью поездки был на этот раз курорт Ницца. Семейство путешествовало под чужим именем, так как шесть пылких помещичьих сынков поклялись последовать за барышней на край света; она же хотела быть одна, одна со своим щелкунчиком, со священным морем и возвышающимися над ним вечными Альпами.

Семейство носило в Ницце фамилию фон Шнурренбург-Микспиккель. Однажды Шнурренбург-Микспиккели гуляли по штранду. Барышня со своим другом в ретикюле шла несколько впереди. Вдруг родители видят, что она покачнулась; отец бросается к ней и принимает дочь в свои объятия. Лицо ее бледно, но глаза сверкают восхищением; она покоится в блаженстве на груди отца. Взгляды ее робко устремляются вдаль и затем, точно нагруженные золотыми сокровищами счастья, уходят в себя.

Родители, проследив направление дочерних взглядов, тоже охвачены удивлением. Ибо с противоположной стороны пляжа идет им навстречу фигура, и кто же вы думаете? Щелкунчик в человеческий рост: красный мундир, белое продолжение, шляпа с пером, ярко-голубые, но все же добрые глаза, лоснящееся, точно лакированное, розовое лицо, широкий рот, скрытый черными усами удивительной пышности, красивая, коренастая фигура, сила во всех членах,— словом, щелкунчик во всех подробностях, до мельчайшей черты, до последней складки.

Он подходит к ним и озабоченно осведомляется, что случилось с дамой. Отец, в свою очередь, спрашивает,— с кем имеет удовольствие?..

— Я,— отвечает незнакомец, шевеля вздрагивающими ноздрями и щуря глаза,— синьор Руччопуччо из Сиены, командир шестой слоновой роты в войсках европейского образца его величества царя всех бирманов.

— Фу-ты ну-ты, издалека же вы, сударь, прибыли! — воскликнул старый барон.

— Не так страшно,— возразил незнакомец, расправив бедра, так что суставы хрустнули.

Старик расспрашивал его о бирманах, мать рассматри-

вала шитье на его вороте, Эмеренция, погруженная в пучину счастья, только шептала:

— О, Руччопуччо!..

Так дошли они до гостиницы, где незнакомец вскоре откланялся, испросив разрешение возобновить свой визит и еще раз многозначительно взглянув на Эмеренцию своими прищуренными глазами.

Но разрешите мне умолчать о ней. Сон стал действительностью, сердце воплотило желание и придало ему ощутительную форму. На следующий день командир шестой бирманской слоновой роты приказал доложить о себе. Где заговорила судьба, там умолкает язык человека. Он входит в одну дверь, она входит в другую; он теребит ус, она теребит носовой платок; вот он бледнеет, а она краснеет; он раскрывает объятья, она раскрывает объятья; он наклоняется к ней, она наклоняется к нему, и:

— Мы созданы друг для друга! — срывается первое слово с ее горящих уст после блаженства первого поцелуя.

— Мы созданы друг для друга! — клятвенно подтверждает Руччопуччо, снова щуря при этом глаза и шевеля вздрагивающими ноздрями.

Но за этой быстро расцветшей весной любви последовала гибельная буря, грозившая сразу сломать все розы. А именно, в Эмеренции проснулась вся диалектика тонко чувствующих женских сердец, когда они не знают, чего хотят. Бедняжка увидела себя раздвоенной острым комплексом чувств. Щелкунчик был ее идеалом, князь гехелькрамский — ее будущностью, бирманец Руччопуччо из Сиены — ее настоящим, ее действительностью. Должна ли она изменить идеалу и будущему ради настоящего, ради действительности? Должна ли она пожертвовать настоящим, пожертвовать действительностью, чтобы, быть может, остаться со своим идеалом и со своим будущим в старых девах? Горький выбор, ужасная борьба, растормошившая всех богов и демонов в ее груди! Дамское перо опишет вам в добавлении к настоящим рассказам эту часть истории Эмеренции. Только писательнице под силу распутать все тайные волокна и нити, из которых состоит ткань таких трагедий.

Наконец настоящее и действительность одержали верх над идеалом и будущим. Сперва судьба убрала с дороги идеал, воспользовавшись для этого рукою матери. Баронесса, улучив момент, незаметно для дочери взяла щелкунчика и приказала выбросить его на помойку поза-

ди отеля. Там, в сущности, ему и было место, после того как он выполнил свое назначение и идея, деревянным носителем которой он был, получила полное осуществление в лице Руччопуччо. Руччопуччо же, узнав от возлюбленной причину ее горя, накрепко поклялся ей обезьяной гануманом, что в действительности он и есть гехелькрамский князь, подмененный ребенок, разными дьявольскими интригами вывезенный в Сиену и оттуда заброшенный к бирманам. Скоро он вернется в Гехелькрам и, представив неоспоримые документы, будет домогаться отцовского трона.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Любовь Эмеренции поверила в то, в чем поклялась любовь Руччопуччо, в особенности потому, что клятва была принесена именем обезьяны ганумана, которая пользуется в Индостане еще большим почетом, чем какая бы то ни была обезьяна в Европе, где они ведь тоже играют немаловажную роль. Таким образом все сочеталось весьма гармонично: предназначение дочерей из рода Шнуков, Щелкунчик как идеал и, наконец, князь гехелькрамский, скрывающийся под личиной императорского бирманского офицера из Сиены. В данном случае можно сказать, что осуществление превзошло ожидание.

Если Эмеренция проникла в великую тайну Руччопуччо, то сама она, однако, не могла решиться открыть ему свое настоящее имя. Возлюбленный ее был простодушен и болтлив; она заметила это еще в начале их знакомства. Он был способен разболтать ее секрет, это могло дойти через Альпы до шести пылких помещичьих сынков; те исполнили бы свою клятву и помчались бы за ней; а тогда — прощай тихое небесное счастье в Ницце. Поэтому Эмеренция продолжала оставаться для Руччопуччо баронессой фон Шнурренбург-Микспиккель и звалась Марсебиллой, так как это имя звучало в ее ушах особенно сладостно и романтично.

Тогда наступили для обоих любящих те сказочные дни, в которые люди не могут расставаться друг с другом, в которые губы льнут к губам, в которые, когда милая чихнет, милому слышатся эоловы арфы и пенье ангелов, а когда он подавит зевок, она открывает новое божественное выражение в его дорогих чертах,— дни, когда

они блуждают вдвоем и заклинают солнце, месяц и звезды взглянуть с высоты на их счастье, если им больше нечего сказать друг другу. Руччопуччо и Эмеренция основательно прошли сквозь все эти этапы любви; в особенности они много гуляли вдвоем. Он водил ее к морю, он водил ее на Альпы, он водил ее в оливковую рощу, он водил ее днем, он водил ее ночью, а она часто и нежно восклицала, что никто еще не водил ее с такой приятностью.

Маленькой тучкой на горизонте их радостей было то обстоятельство, что претендент на гехелькрамский трон всегда сидел без гроша. Он уверял ее, что ему следует от бирманского царя столько-то и столько-то тысяч лак[34] недополученного жалования, которое должно поступить с первой же почтой; а пока что она должна ссудить его из своей копилки. Когда таковая была исчерпана, он заявил, что неизбежен новый оборот колеса фортуны, и для того, чтобы его символически предвосхитить, он намерен исписать несколько маленьких полосок бумаги, которые имеют прямое отношение к оборотам и в мире прозы именуются векселями, а также способствуют чудесным сменам свободы и необходимости.

Так протекло еще несколько недель в любовных усладах и в изготовлении векселей. Как-то вечером они опять отправились гулять в одну райскую местность, овеваемые теми сладостными эолами, которые вливают бальзам в грудь болящих и точно шелковыми ручками ласкают ланиты здоровых людей. Они всей душой погрузились в высокие рассуждения о боге и бессмертии, они говорили о том, что эти откровения можно было бы хоть сейчас напечатать в «Часах молитвы»[35], как вдруг перед счастливой парочкой выросло восемь евреев и шестнадцать полицейских, ибо каждый еврей нанял себе по два сбира. Евреи тыкали Руччопуччо в нос полные пригоршни символических бумажек, а сбиры крикнули ему по-итальянски:

— Марш! — указывая путь вытянутыми пиками.

— Милый, во имя всех святых! — воскликнула Эмеренция.— Что это означает?

— Ничто иное, сердце мое, как дьявольскую интригу, именуемую арестом за векселя,— отвечал Руччопуччо, ни на минуту не потеряв самообладания.— Царь всех бирманов — тиран! Тиран, говорю я, презренный тиран! Он не может обойтись без меня, он прислал

за мной: я должен помочь ему сформировать седьмую, восьмую и девятую слоновые роты, которые он за это время набрал. Прямо он этого сделать не мог; поэтому он играет заодно с паршивыми жидами (как мелко для царя!); они посадят меня здесь за векселя, а затем будут таскать из тюрьмы в тюрьму, и так до самого Индокитая; я вижу это отсюда. О, служба царская! служба царская!****** Не полагайтесь **** на сынов человеческих, ибо вы не дождетесь от них спасения!»

Говоря это, Руччопуччо возвел глаза к небу и прижал руку к сердцу, как граф Страффорд, когда ему объявили, что Карл Стюарт соблаговолил пожелать, чтобы он, Страффорд, соблаговолил взойти на плаху ради своего короля.

Дрожащая Эмеренция подошла к нему и воскликнула:

— Ты покидаешь меня в то время, когда... — и она шепнула ему нечто на ухо. Розовое лоснящееся лицо Руччопуччо покрылось мертвенной бледностью, и на нем началась такая удивительная и не свойственная другим человеческим лицам игра красок, что даже евреи и полицейские отступили в изумлении, а Эмеренция лишилась бы сознания, если бы не была так занята собой и своей участью.

Но Руччопуччо быстро оправился и сказал Эмеренции спокойным приветливым тоном:

— Это естественные последствия естественных причин, которые не могут удивить мудреца. Положись на меня, Марсебилла, я разорву оковы тиранов, вернусь обратно гехелькрамским принцем и приеду за тобой в Шнурренбург, замок твоих дедов. Дух осеняет мои уста песней утешения, храни ее в самом сокровенном ларчике твоего сердца, как святую тайну чувства; по ней мы когда-нибудь узнаем друг друга:

Ты Щелкунчика прежде любила,
А после любила меня,
Но рок, злодей и громила,
Взял Щелкунчика, а после меня.

Щелкунчик попал на помойку,
А я к злым бирманам в наем.
Не вернется Щелкун, но я стойко
Разыщу тебя в замке твоем.

Сбиры помешали окончанию этой оды, уведя Руччопуччо. Эмеренция упала в обморок. Два еврея доставили ее к озадаченным родителям.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Дальнейшие сведения о старом бароне и его домочадцах

Когда после довольно грустного путешествия родители вернулись вместе с дочерью в замок Шник-Шнак-Шнур, помещичьи сынки попытались возобновить прерванные домогательства, но расстроенная Эмеренция отказала им еще решительнее, чем раньше. Печаль губительно отразилась на ее здоровье; лицо зачастую принимало странное выражение, порой ей претила пища и от времени до времени она испытывала тошноту. Старый барон вызвал врача; врач поговорил с барышней с глазу на глаз, вышел из комнаты с вытянутым лицом и сказал родителям:

— Воздух Ниццы был слишком питателен; он хорош для чахоточных, но не для полнокровных. У нее скопился излишек соков, ей нужен истощающий воздух, какой-нибудь другой курорт: тогда все придет в равновесие. И ехать она должна одна; пусть погрустит, потоскует, это самое верное средство похудеть.

Родители поверили доброму рассудительному врачу и отпустили Эмеренцию на другой курорт, где воздух способствовал похуданию; они отпустили ее одну, ибо так советовал врач.

Для успешности лечение должно было быть основательным и долгим; поэтому Эмеренция провела на водах несколько месяцев. Затем она вернулась свежее и здоровее, чем когда бы то ни было. Также и настроение у нее стало более веселым; она жила в твердой вере, что синьор Руччопуччо вернется в один прекрасный день в качестве счастливого претендента на гехелькрамский трон, чтоб увезти ее из замка. Мать сказала:

— Если это будет так, то все обстоит благополучно, и, значит, ты исполнила в Ницце свое предназначение.

После этого прошло много лет. Старый барон стал действительно старым бароном, фрейлейн Эмеренция — старой девой, а старая баронесса успела умереть от наследственной родовой болезни ветви Шнук-Муккелиг-Пумпель.

Годы увеличивали возраст и уменьшали капиталы, что, впрочем, мало беспокоило барона. Если кастелян ему говорил: «Г-н барон, аренды и процентов не хватает»,— то ответ гласил: «Не беда. Когда все будет прожито, я пойду в Верховную Коллегию и буду жить на жалованье: я ведь прирожденный тайный советник. Мне нуж-

ны деньги, а потому, дорогой кастелян, продайте парочку участков».

Кастелян руководствовался этими распоряжениями и мало-помалу спустил все земельные участки вокруг замка, все поля, луга, пастбища и рощи. Продавши последний участок, он снова отправился в покои барона и сказал:

— Ваша милость, с участками мы покончили; я подаю в отставку, ибо где нечем управлять, там не нужен и управляющий.

— Верно,— возразил барон,— так же верно, как то, что дважды два четыре. Я выдам вам аттестат за отличное управление; что касается меня, то я отправляюсь в Верховную Коллегию и становлюсь тайным советником.

Увы! Когда он спросил про Верховную Коллегию, то оказалось, что ее больше не существует, а когда он спросил про князей гехелькрамских, то ему сказали, что они уже давно перестали править; тогда он попытался обратиться в рейхстаг, чтобы узнать, как ему осуществить свои исконные права, но тут ему сообщили, что Германская империя уже столько-то и столько-то лет тому назад нечаянно выскользнула из рук императора.

— Удивительно! — воскликнул старый барон.— Как все это могло случиться?

Он погрузился в глубокое раздумье и думал несколько лет о том, как могла ускользнуть Германская империя, как случилось, что гехелькрамская династия перестала управлять, и как это может быть, что он больше не прирожденный тайный советник в Верховной Коллегии. Для первых двух проблем он, в конце концов, нашел какое-то решение, но главная из них, проблема тайного советничества, так и осталась неразгаданной, и потому он пришел к мысли, что теперешнее положение является переходным, что доброе старое время уже стоит за дверьми и очень скоро постучится. Когда он дошел до этой мысли, к нему вернулась вся его прежняя веселость. Он решил жить и умереть с этим убеждением.

Между тем бриллианты, жемчуга, робы и кружева покойной баронессы были распроданы; затем железная решетка ворот, плиты двора и все предметы домашнего обихода, без которых можно было обойтись, были превращены в деньги. В это же время грохнулся оземь геральдический лев, потом стала обсыпаться штукатурка, а затем угрожающе поддалась и стена, причем не было

сделано никакой попытки ее починить, так как грубияны-мастеровые пальцем не пошевельнут, покуда не увидят денег.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Белокурая Лизбет

Жалкий и одинокий образ жизни вели в вырешеченном, обветшавшем замке Шник-Шнак-Шнур старый барон и дочь его Эмеренция, которая с наступлением солидного возраста настолько же прибавлялась в весе, насколько убавлялись средства. Охота, разумеется, прекратилась, так как исчезли те леса, где можно было предаваться этому удовольствию; об игре не могло быть и речи: не играть же на фишки. Поэтому друзья стали навещать их все реже и реже, затем совсем бросили, вероятно, частью поумирали. Постепенно исчезли также слуги и служанки, так как им не платили жалованья, и, в конце концов, отец и дочь принуждены были бы сами готовить себе кофе и скромные трапезы, если бы это убогое и разрушающееся хозяйство не обрело опоры в лице белокурой Лизбет; как только руки Лизбет оказались достаточно сильными для работы, она стала служить старому барону и барышне, как самая простая служанка, варила, мыла, убирала и при этом всегда выглядела милой и любезной, а когда выполняла что-нибудь очень трудное, то делала такой вид, точно все это пустяки.

Белокурая Лизбет была подкидышем. Однажды, много лет тому назад, какая-то старуха принесла в замок ящик с пробитыми в нем маленькими дырочками, передала его слуге и сказала, что близкий друг господина барона посылает ему этот подарок. В то время как слуга относил ящик в покои барина, подарок в нем зашевелился и оттуда раздался тонкий писк. Человек со страху уронил бы ящик, но вовремя оправился и осторожно поставил его на стол в комнате своего господина. Старый барон приподнял крышку и оттуда, точно прося защиты, протянула ему ручонки крошечная девочка, не больше шести недель от роду, завернутая в жалкие отрепья; при этом она бодро упражняла свою маленькую глотку теми первыми звуками, которые, вступая в жизнь, издает человек.

Впрочем, под ребенка была постлана вата. Но ни амулетов, ни драгоценностей, ни крестов, ни запечатанных

бумаг, которые бы указывали на происхождение младенца и без которых ни один уважающий себя найденыш вообще не может показаться в романе, там не оказалось. Никакой родинки под левой грудью, никакого выжженного или вытатуированного знака на правой руке, с которого впоследствии во время сна спустилась бы сорочка, так, чтобы кто-нибудь, случайно увидев, мог бы спросить: кто и когда? — нет! ничего, решительно ничего, так что мне самому становится страшно за развязку.

В ящике лежал серый лист бумаги, уведомлявший, что девочка во святом крещении наречена Елисаветой. Надпись была неразборчива; по-видимому, писавший нарочно изменил почерк. Края листа были испещрены буквами, крючками и каракулями, но, при всем желании, соединить их в нечто связное было так же трудно, как те значки, которые обыкновенно бывают разбросаны на кредитных билетах. В эту бумагу был завернут цилиндр с двумя оптическими стеклами. Барон взял цилиндр, посмотрел в стекло, направил трубу в пространство, чтобы поймать разгадку, так сказать, налету, но сколько он ни смотрел и ни направлял, он не видел ничего, кроме голубого неба и мутно плавающих предметов.

На эти тщетные усилия составить каракули и разгадать секрет при помощи оптического стекла ушло, по крайней мере, около получаса, во время которого барон не догадался спросить о подателе лежавшего перед ним божьего дара. Слуга, глазевший с открытым ртом то на младенца, то на усилия своего господина, тоже забыл упомянуть о старухе. Наконец, барон набрел на этот столь естественный при данных обстоятельствах вопрос. Слуга отвечал, как мог. Его отправили за мошенницей; он гонялся полдня по всем направлениям, но вернулся несолоно хлебавши, так как и сам не нашел старухи и не встретил никого, кто бы ее видел.

Между тем в комнату явились старая баронесса, которая тогда еще была жива, и фрейлейн Эмеренция: барон, еще не справившийся с собственным удивлением, должен был выдержать натиск восклицаний и вопросов, посыпавшихся с уст супруги и дочери. Пришла также служанка, и пока господа обсуждали происшествие, она позаботилась накормить и успокоить все еще кричавшее дитя.

Когда ребенок притих и, улыбаясь, задремал в ящике, семья уселась вокруг стола, на котором он стоял, и принялась совещаться о том, что делать с найденышем. Глава

семейства и хозяин замка, безрассудство которого пасовало разве только перед его непоколебимым добродушием, сейчас же заявил, что дитя надо оставить и воспитать, как свое собственное.

Супруга его сначала несколько противилась, но вскоре примирилась с этим гуманным разрешением вопроса, так как вспомнила, что старшая ветвь серо-крапчатых Шнук-Муккелиг-Пумпелей сама вела свое начало по женской линии от найденыша, оказавшегося девицей высокого происхождения. Больше всего возражала против подкидыша Эмеренция. После возвращения из второго путешествия она сделалась такой добродетельной, щепетильной и стыдливой, что ее глубоко задевал даже самый отдаленный намек на обстоятельства, при которых мы создаемся и возникаем. Она сильно невзлюбила цветы, с тех пор как один проезжий профессор объяснил ей значение тычинок; когда при ней рассказали, что бурая Дианка ощенилась шестеркой, она встала из-за стола; она даже приказала приспособить перед своими окнами особые пугала против воробьев, чтоб не видеть, как они целуются клювами, чем эти птицы по живости темперамента сильно злоупотребляют.

Эмеренция сказала, что подозревает в найденыше — а подозрения женщины всегда бывают точны и безошибочны — плод запретной любви. От стыда она еле смогла произнести это слово. Она заявила, что не будет в состоянии смотреть на него иначе, как с отвращением, что присутствие этого создания в доме будет для нее невыносимо, и заклинала отца отправить ребенка в воспитательный дом. Но старый барон был непоколебим в своем намерении, мать, как уже было сказано, тоже стала на его сторону, и Эмеренции пришлось подчиниться, хотя и с великим отвращением.

Впоследствии она всячески проявляла неприязнь к ребенку, и даже когда белокурая Елисавета, или Лизбет, как ее звали в замке, подросла и превратилась в идеальнейшее и добрейшее существо, она редко когда соглашалась удостоить ее милостивого взгляда. В Лизбет же ничто не могло убить удивительных симпатий, которые, казалось, предопределила в ней природа. К Эмеренции, обращавшейся с ней так плохо, она привязалась с поразительной нежностью, радостно исполняла для нее самую трудную работу, позволяла себя бранить и только ласково улыбалась при этом, тогда как к старому барону, собственно говоря, ее единственному за-

щитнику и благодетелю, она питала чувства, не переходившие границ благодарности.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Старый барон становится абонентом журнальной библиотеки

Когда охота, игра и пиры перестали для него существовать, и разве одни только ласточки да летучие мыши, пробиравшиеся сквозь щели и гнездившиеся в необитаемых комнатах так называемого замка, могли еще, пожалуй, именоваться гостями, барон стал испытывать ужасную скуку, которую вначале ничем нельзя было рассеять. Правда, развлечения ради он воображал себе будущее, а именно, как он вскоре в качестве тайного советника будет заседать в Верховной Коллегии и справа от него на дворянской скамье будет сидеть господин фон такой-то, а слева господин фон такой-то; он отчетливо представлял себе президента и все детали старинного конференц-зала, а также стол заседаний с грудами бумаг и документов, которые не будет читать ни он, ни его соседи, а только образованные заседатели из разночинцев. Когда же эта картина была воссоздана им в сотый и двухсотый раз и описана его двум собеседникам, это занятие начало казаться ему монотонным, и он стал искать другого развлечения. Таковое пыталась доставить ему дочь — Эмеренция: она рисовала ему картину, как в один прекрасный день подъедет в красной лакированной карете, запряженной шестью изабеллами, князь гехелькрамский, он же Руччопуччо, вышлет своего скорохода в шотландской клетчатой ливрее, шелковом переднике с золотой бахромой и в шляпе с цветами, и прикажет спросить: помнит ли Марсебилла, или Эмеренция,— о которой он так долго и тщетно справлялся у всех представителей рода Шнурренбург-Микспиккель, пока, наконец, случайно не узнал, что она — урожденная Шнук-Пуккелиг — помнит ли она, Эмеренция, священные минуты в Ницце? Она на этот случай уже приготовила ответ, который будет гласить:

— Государь! В расцвете молодости мы принесли жертву страсти на алтаре наших сердец. Для таких жертвоприношений у нас теперь не стало фимиама! Но алтарь еще стоит. Принесем же теперь на нем жертву дружбе, запас которой у меня для вас неиссякаем.

Затем, пожалованная большим золотым наперсным

крестом, она поселится в замке вблизи резиденции, сделается подругой князя, разумеется, только в самом платоническом смысле, будет встречаться с ним исключительно при свидетелях, помирит его с супругой и вообще станет добрым гением правящего дома и всей страны.

Однако и это живописание не удовлетворяло старого барона; он называл его «carmen», желая сказать стихотворение; стихотворений же он никогда особенно не любил. Наконец ему пришла мысль заняться чтением, так как он слыхал, что очень многие убивают этим время. Между тем книги, небольшое собрание которых еще со времен его отца стояло на камине и которые он теперь выбирал наугад, доставляли ему мало утешения. Все в них было слишком длинно и растянуто; подчас автор только на двадцать четвертой странице объяснял то, что имел в виду на первой, или вообще требовал от читателя сосредоточенности, к чему старый барон по преклонности лет никак не мог привыкнуть. Он жаждал разнообразия, развлечения, как некогда в свои юные и веселые годы.

Все это он получил сразу, когда набрел на счастливую мысль записаться в журнальную библиотеку, обслуживавшую духовной пищей всех алчущих знания на расстоянии четырех квадратных миль в окружности и давно уже славившуюся богатым выбором. Чтобы убить навсегда всех конкурентов на упомянутой обширной территории, владелец ее собрал у себя на полках все периодические издания нашего отечества. Там были не только все утренние, дневные и ночные «листки», но и «вестники» запада, востока, юга, севера, северо-запада и юго-востока; «собеседники» и «отшельники»; простые и элегантные журналы; избранные отрывки и «извлечения из избранных отрывков»; либеральные, сервильные, рационалистические, феодальные, супранатуралистические, конституционные, суперстиционные, догматические, критические органы; мифологические существа: Феникс, Минерва, Геспер, Изида; журналы местные и журналы заграничные: «Европа», «Азия», «Африка», «Америка» и «Голос Задней Померании»; кометы, планеты, вселенная — словом, восемьдесят четыре выпуска, так что каждый абонент мог в течение всей недели читать по двенадцати часов в сутки и каждый час по новому журналу.

Это развлечение пришлось вполне по вкусу старому барону.

— Вот, наконец,— воскликнул он, когда познакомился с объемом раскрывшихся перед ним запасов.— Вот, наконец, печатное слово, которое поучает, не затрудняя!

Действительно, благодаря чтению журналов кругозор его быстро и необычайно обогатился. Если один журнал давал ему короткую заметку о суринамском ядовитом дереве, отравлявшем воздух на тысячу шагов, то другой поучал его, как предохранить картофель от зимней стужи; то он читал о Фридрихе Великом, то, минуту спустя, о грефенбергских целебных водах, но не долго, так как третий журнал сейчас же рассказывал ему историю новых открытий на луне. Четверть часа он проводил в Европе, затем, точно перенесенный на фаустовском плаще, разгуливал под пальмами; Христос был то существом историческим, то мифологическим, то его совсем не было; утром барон нападал на министров вместе с крайне левой, днем он был настроен абсолютистски, а к вечеру окончательно сбивался с толку и ложился спать, чтобы ночью увидеть во сне амстердамского фокусника Янхена.

Он никогда не поверил бы, что дождется в жизни такого счастья. Положение его все ухудшалось, у него остался один только крошечный неотчуждаемый майорат, спасавший его от крайней нужды, но это мало его беспокоило.

Когда белокурая Лизбет говорила ему, что фронтонная стена дала новую трещину и что дом может обрушиться за ночь, то он обыкновенно отвечал:

— Оставь меня в покое! Мне еще надо проштудировать шесть номеров.

Если она настаивала, он раздраженно восклицал:

— Прежде чем замок рухнет, я еще буду тайным советником! — и она отступалась от него, ничего не добившись.

Правда, неиссякаемый материал, который он должен был каждый день переваривать, вызывал у него в голове большую путаницу представлений, и он подчас принужден был хвататься за голову, чтобы вспомнить, находится ли он в нашей или в другой части света, да и вообще на земле или давно уже где-нибудь на Сириусе. Он был теперь готов поверить чему угодно, даже тому, что птицы поют по ночам.

— Ибо,— говорил он,— ничего не может быть глупее в наше время, чем качать головой и разыгрывать Фому

неверного; достаточно быть абонентом нашей библиотеки, чтобы знать, что нет такого чуда, которое бы теперь не случалось; люди, вещи, открытия невероятно прогрессируют, и если это будет продолжаться, то мы дождемся того, что еще мост через море перекинут и мы так и будем катить на почтовых до самого Лондона.

Если что его и удручало, то это было отсутствие друга, которому он мог бы открыть душу, с которым мог бы обменяться мыслями. Тоска по созвучной душе, по стимулирующему общению с другим человеком была в нем иногда очень сильна. Дочь не могла удовлетворить этой потребности, она шла своими чувствительными, идеальными путями и питала мало склонности к реальным познаниям; Лизбет же, когда он как-то захотел поговорить с ней о столь живо интересовавших его предметах, отказалась раз навсегда, заявив, что не намерена забивать себе голову.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Как сельский учитель Агезель потерял рассудок из-за немецкой грамматики и с тех пор стал называть себя Агезилаем

До известной степени, хотя и не в полной мере, желание старого барона все же исполнилось, и он получил, так сказать, некоторый паллиатив против духовного одиночества, когда учитель Агезилай вошел в круг его жизни. Этот человек, который раньше назывался Агезелем и которого старый барон давно знал, занимал до переворота в своей судьбе должность учителя и обучал детвору соседней деревушки чтению и письму. Он жил в мазанке, в которой кроме классной комнаты была только боковушка, и получал ежегодно жалованья тридцать гульденов, да еще плату за учение — двенадцать крейцеров с мальчика и шесть с девочки; кроме того, ему предоставлялась лужайка для коровы и право выгонять двух гусей на общинное пастбище. Он исполнял свои обязанности добросовестно, учил молодежь по старинке, как это практиковалось на селе лет сто с лишним, разбирал по складам *к, о = ко, з, а = за — коза* и т. п. и нередко доводил более способные головы до того, что они без особого напряжения читали по-печатному. Что касается письма, то из его рук от времени до времени выходил один-другой ученик, который мог вывести свое имя, разумеется, если его не торопили.

С этой системой наш учитель дожил до пятидесяти лет. Но тут случилось, что всеобщий прогресс эпохи вызвал реформу учебного плана, которая должна была коснуться и сельских учителей. Начальство прислало ему учебник немецкого языка, один из тех, которые пытаются придать азбуке глубокомысленное и философское обоснование, и приказало рационализировать свой прежний грубый эмпиризм, прочесть предварительно книгу самому, а затем приступить к обучению молодежи по новому методу.

Учитель прочел книгу раз, затем другой, затем третий; он прочел ее спереди и сзади, и посредине и не знал, что собственно он прочел. Ибо там говорилось о гласных и согласных, аблаутах, умлаутах и изглашениях; он должен был научиться по этой книге напрягать и облегчать звуки, выводить свистящие, шипящие, губные, носовые и гортанные; он узнал, что язык имеет просто корни и производные корни, что «и» есть исконная гласная и что для ее произнесения необходимо крепко сжать голосовые связки.

Он обратился к богу, чтоб тот просветил его темноту, но суровое небо не вняло его мольбе. Он снова сел за книгу, на этот раз с очками на носу, чтобы лучше видеть, хотя днем он еще прекрасно обходился и без стекол. Увы, от этого еще яснее выступили перед его вооруженными глазами ужасные загадки жизни, все эти свистящие, шипящие, губные, носовые и гортанные! После этого он отложил книгу, накормил гусей и дал мальчишке, прибежавшему сказать, что отец не хочет внести плату за учение, две здоровенные затрещины, чтобы тем самым найти какое-нибудь применение для теории в практической жизни. Тщетно! Он съел копченой колбасы, чтоб подкрепиться. Никакого толку! Он вылизал целую банку с горчицей, так как слыхал, что эта приправа заостряет ум. Напрасные старания!

Вечером, перед сном он положил книгу под подушку. На следующее утро он, к сожалению, убедился, что ни просто корни, ни производные корни не проникли в его голову. Рискуя самыми страшными коликами, он охотно проглотил бы книгу (как сделал Иоанн с той, которую принес ангел), если б только это помогло ему одолеть содержание. Но каковы были шансы на успех этого смелого опыта, после всего того, что он проделал?

Занятия в школе прекратились, и дети ловили майских жуков или загоняли уток в пруд. Старики качали

головами и говорили: «С учителем что-то неладно». Однажды, доработавшись до отчаяния над напряжением и облегчением звуков, учитель воскликнул:

— Одолей я хоть клочок этой треклятой книжки, может быть, остальное пришло бы само собой!

Он решил сперва вплотную заняться исконным «и» по указаниям учебника.

Он уселся для этого на лужайке, где эмпирически мычала его корова, нисколько не заботясь о рациональном воспроизведении звуков, подбоченился, энергично сжал голосовые связки и принялся выводить все те звуки, которые позволяло подобное положение. Последние звучали так странно, что даже корова подняла морду от травы и жалостливо взглянула на хозяина. Звуки привлекли целую толпу крестьян, которые с любопытством и изумлением обступили учителя.

— Братцы! — крикнул тот, сделав маленькую передышку,— слушайте, чисто ли выходит у меня исконное «и»!

И он опять занялся своими небно-гортанными упражнениями.

— Господи,— восклицали крестьяне, расходясь по домам,— учитель свихнулся! Уже по-поросячьи пищит.

И действительно, бедный учитель был близок к той границе, через которую он, по мнению крестьян, уже перешагнул. Срок, предоставленный ему для самообучения, истек: он обязан был приступить к преподаванию по новой книге. Приближался день, когда член училищного совета Томазиус должен был посетить школу; отчаяние охватило душу учителя, и мысли его начали путаться. Иные сходили с ума, ломая себе голову над беспорочным зачатием пресвятой девы Марии или над тайной Троицы или над Вечностью; почему бы не свихнуться сельскому учителю на новом учебнике грамматики? Однако довольно! Таков мой рассказ, а кто не верит, пусть спросит в деревне Гаккельпфифельсберг. Там это произошло, и всякий ребенок об этом знает.

Некий путешествующий студент приехал в те дни в Гаккельпфифельсберг, завернул в харчевню и услышал про сошедшего или сходившего с ума учителя. Это был образованный, умный человек, особенно интересовавшийся психологией, и потому он возгорел желанием познакомиться с больным. Он застал учителя в большом ночном колпаке, без куртки, с раскрытой волосатой грудью.

— Как поживаете, учитель? — спросил студент.

— Да, да, чужеземец,— ответил тот,— не правда ли, древние спартанцы, вот это были люди! Никакой лишней учености, никакого мучительства с аблаутами, умлаутами и грудными звуками! Все с расчетом на силу воли, на реальную жизнь. Да, закалять тело, заострять ум апофтегмами! Пусть меня повесят, если я не устрою все в будущем по лакедемонскому образцу. О, мои славные предки! Ибо что такое Агезель? Агезель это извращенное, историческое Агезилай, имя храброго спартанского царя. Турки прогнали греков, в том числе и потомков царя Агезилая, и те постепенно доплелись до здешних мест, но последний слог по дороге утерялся. Тот, кому в свое время свело кишки от корней и дериватов, не найдет в этом ничего удивительного.

— Ого,— подумал студент,— вот до чего дошло! Но интересный случай! Надо понаблюдать.

Он провел весь день с учителем и путем разных вопросов узнал из его путанных ответов, что больной некогда прочел старинный фолиант об обычаях и нравах этой греческой республики, еще тогда пришел от нее в большое восхищение, и что теперь эти дремавшие в нем представления проснулись и зажили лихорадочной жизнью. Вечером студент занес в записную книжку следующую заметку:

«Паралич мыслительных функций у ограниченного субъекта, вызванный трудно переваримым умственным материалом.

Постепенное образование пустоты в мозгу.

Появление в пустоте доминирующей идеи из области классической древности.

Атомы разрушенного мышления устремляются к этой идее.

Бредовое состояние.

Консолидация бреда.

Навязчивая идея.

В остальном здравомыслящий человек.

NB. Разработать после каникул».

* * *

Месяца три спустя после этих событий учитель, прикрытый одним только грубым бурым плащом, с молодой елкой в руке появился перед старым бароном, наслаждавшимся свежим воздухом в своем запущенном французском парке позади замка. Барон уже знал в об-

щих чертах о том, что случилось с его знакомцем, и потому отступил на несколько шагов назад, в особенности, когда увидел, что тот вооружен довольно увесистым еловым стволом. Но учитель улыбнулся и, точно угадав чужие мысли, положил палицу на землю. Затем он вежливо поклонился барону и произнес обычное приветствие, причем ни в тоне его, ни в обращении не прорвалось ничего эксцентричного. Это вернуло барону смелость, он подошел к учителю и, взяв его за руку, сказал:

— Ну, как поживаете, старый сумасшедший черт? Что вы за штуки выкидываете, Агезель?

— Агезилай, с вашего разрешения,— мягко и вежливо поправил учитель.— Я, ваша милость, снова принял свое доброе, честное родовое имя.

После этого барон снова несколько отошел от своего посетителя и робко взглянул на него со стороны. Но учитель степенно продолжал:

— Я знаю, что вы обо мне думаете, благодетель. Вы считаете меня сумасшедшим. Но это не так, г-н барон, я не сумасшедший, мне было бы жаль, если б я находился в этом состоянии, так как тогда вы бы с полным правом отказали мне в том, о чем я хочу вас попросить. Я владею всеми пятью чувствами и знаю, что я потомок древнего царя Агезилая, а потому обязан служить образцом спартанских нравов и спартанской жизни, которая вообще могла бы стать великолепным коррективом к этой рыхлой, расслабленной, перемудрившей и софистической эпохе.

Барон спросил, чтобы сказать что-нибудь:

— Правда ли, что вы смещены, господин... господин... Агезилай... так, кажется, вы себя называете?

— Смещен или, если хотите, выгнан членом училищного совета Томазиусом,— спокойно ответствовал Агезилай.— Когда я преодолел грамматическую горячку, которой меня наградила эта адова фонетика, я счел своим долгом воспитывать вверенных мне сельских отроков в лакедемонском духе. Поэтому я учил их красть и не попадаться, чтоб развить в них хитрость и смелость, подстрекал их к ссорам и дракам, чтобы испытать их отвагу, и порол их без всякой причины три раза в неделю по образцу бичеваний на алтаре Дианы. Моя система чудно привилась. Дети находили, что никогда еще учение не шло так весело; они дубасили друг друга, так что любо было смотреть; крали яблоки из-под носа роди-

телей и не попадались; терпели даже беспричинную порку ради прочих развлечений, которыми они теперь безнаказанно пользовались. Но идиоты-крестьяне не могли понять моего плана. Они стали кричать, что я порчу им посев на корню, и пожаловались на меня. Тогда член училищного совета — тоже не из светлых голов! — выставил меня вон,— и так настиг меня фатум.

— Я удивляюсь,— сказал барон, который все еще не мог прийти в себя от изумления,— всем тем ученым выражениям, которые сыплются из вас, как пух из подушки, когда взбивают постель. Откуда у вас все эти фатумы, софистические эпохи и все, что вы там еще наговорили?

— Все это и многое подобное я черпаю из внутреннего просветления и вдохновения,— ответил учитель.— С тех пор, как во мне пробудилось старинное воспоминание о моих мужественных и несравненных предках, дух мой овладел такими предметами, которые были мне малодоступны в прежнем моем деревенском существовании.

Затем он изложил барону свою просьбу, состоявшую в том, чтобы предоставить ему приют и необходимую пищу, так как он после своего увольнения лишился всего и обладал только тем, что было с ним и на нем. Барон затруднялся оставить в замке сумасшедшего (ибо таковым он считал учителя); но, с другой стороны, его доброе сердце не позволяло ему отказать неимущему в еде и приюте. Он предоставил ему поэтому маленький, ветхий, некогда зеленый павильон, который помещался в самой глубине французского парка на горке со спиральными дорожками. Его подопечный остался этим вполне доволен. Он поселился в павильоне, назвал горку Тайгетским хребтом и окрестил Эвротом маленький ручеек, тащившийся довольно вяло под мелкой ряской. Раз в день он являлся в замок, чтобы разделить с его обитателями скудную трапезу, а ужинал он у себя. Этот ужин, как правило, состоял из своего рода мучной каши, которую он приготовлял на костре из сучьев возле своего жилища и называл черным супом. Единственной его одеждой была пелерина; воду он черпал из колодца старым глиняным горшком, который олицетворял для него спартанскую чашу или котон, и похвалялся, что этот сосуд, благодаря загнутым краям, удаляет от уст, подобно вышеназванному античному ковшу, все опасное и нечистое; каждую неделю он ходил в замок за свежей соломой для своего ложа и называл это «резать камыш у Эврота».

Спустя некоторое время старый барон потерял всякий страх перед жильцом. Ибо он заметил, что тот думал и говорил о любом предмете так же разумно, как самый заурядный уравновешенный человек, и что его спартанские идеи превратились в совершенно невинную причуду, или, что называется, заскок. К тому же барон должен был признать, что под режимом повара Недоедая, царившего как над замком, так и над павильоном, спартанская скромность была вполне у места, и что ее приверженцу можно было заодно простить и его родство с царем Агезилаем. Общество учителя стало доставлять ему удовольствие; теперь у него был человек, с которым он мог поболтать в длинные зимние и осенние вечера; ему нечего было опасаться, что его задушит почерпнутый из журналов преизбыток идей.

Правда, как мы уже сказали в начале этой главы, учитель был для барона всего лишь паллиативом.

Владелец замка мог обсуждать с ним всякие рассказы и анекдоты, и ему была обеспечена оживленная беседа, когда он затрагивал разные важные моменты истории, как-то: прав ли был Брут, убивая Цезаря; что случилось бы с миром, если бы французы не сделали революции, или если бы Фридрих Великий и Наполеон были современниками и т. п. Зато у предполагаемого потомка лакедемонского царя отсутствовал всякий интерес к курьезам народоведения и географии, а также к изобретениям, торговле и промышленности, к которым барон питал настоящую страсть.

С барышней у учителя не раз бывали недоразумения, и в сущности она терпела его исключительно ради отца. Он стал ей особенно ненавистен после одной пламенной речи, в которой горячо превозносил обычай спартанцев заставлять девушек танцевать нагими на празднествах в честь богов. После этой речи с ней случился нервный припадок и она несколько недель чувствовала себя нездоровой. Поэтому он решил впредь быть осторожнее в отношении своих излюбленных тем, чтобы не взорвать под собой ту почву, на которой обрел пристанище. С другой стороны, все три академика замка Шник-Шнак-Шнур приняли постепенно за общее правило не наступать друг другу на любимую мозоль.

В таких-то условиях коротали старый барон, барышня и учитель свои странно-отрешенные от мира дни. Однажды вечером владелец замка сказал своему подопечному:

— Вы стали, г-н Агезилай, гораздо спокойнее и урав-

новешеннее, чем раньше, когда вам в сущности жилось значительно лучше. В те времена вы бывали подолгу угрюмы и раздражительны.

— Нет, благодетель,— возразил учитель,— не угрюм и раздражителен, а задумчив и меланхоличен. Раньше я заставлял своих грязных мальчишек читать по складам, и так из недели в неделю, из месяца в месяц, и все это безрезультатно, ибо те, которые выучивались, покидали школу, и их сменяли свежие ряды, которые ничего не знали и с которыми приходилось начинать все сызнова, опять и опять; тогда, вы понимаете, жизнь могла показаться жалкой и нескладной, и бывали ночи, когда мне снилось, что человеческое существование — это длинный бессмысленный ряд разных а-бе-це, с иксом, ипсилоном и зетом, уходящими в бесконечность, из которых нельзя образовать ни толковой фразы, ни даже путного слова. Если я тогда и говорил себе в утешение, что я только бедный сельский учитель, что мои мрачные взгляды происходят от угнетенного положения и что более счастливые люди, например, высшее начальство или светлейшие правители, в состоянии придать своему существованию осмысленную связь, то все же этого успокоения мне хватало ненадолго. Ибо зрелое размышление убеждало меня, что управлять страной и людьми — это то же пустое нудное обучение азбуке и что не успели вы втолковать грамоту одному какому-нибудь болвану, как он исчезает, и с другой стороны начинает лепетать новый потребитель букваря. Но с тех пор, как я открыл своих предков, с тех пор, как я знаю, каких чудесных традиций я являюсь продолжателем и носителем, все во мне прониклось спокойствием и радостью, все составные части жизни сгруппировались вокруг меня,— коротко говоря, я обрел ясность и понимание окружающего.

— Удивительно! — воскликнул про себя старый барон, когда учитель покинул его после этого объяснения.— По-видимому, человеку необходимо иметь какой-нибудь пунктик, чтобы не расклеиваться. Разум — как чистое золото: он слишком мягок, чтобы принять твердую форму, и в него надо прибавлять большой кусок меди, хорошую порцию безумия, и только тогда человек чувствует себя хорошо, только тогда он представляет собою фигуру, и с ним надо считаться. Что за балда был раньше этот учитель и как разумно он разговаривает теперь, когда у него не все дома. Жизнь — курьезная штука, и не будь я прирожденным тайным

советником Верховной Коллегии, я бы сам за себя боялся. Но раз это так, то в голове у меня все в порядке.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Барон фон Мюнхгаузен брошен на арену вышеописанных событий

Белокурая Лизбет отправилась в горы, чтобы собрать с крестьян недоимки. Она случайно разыскала их в одном старом забытом реестре, валявшемся в чулане среди прочего хлама. Ее приемный отец боялся пустить девочку одну в горы, но она храбро сказала:

— Ничего со мною не будет. Я принесу деньги!

Затем она срезала себе у Эврота ивовую трость, вскинула на плечи дорожный мешок с необходимым бельем, зашнуровала полусапожки и, надев соломенную шляпу на удалую головку, отправилась в путь.

Однажды днем во время ее отсутствия старый барон, барышня и учитель гуляли по запущенному французскому парку. Они не общались друг с другом, как это обычно бывает во время таких прогулок, но предавались собственным мыслям на разных дорожках и тропинках. Дороги вокруг замка были почти повсюду преграждены терновником или болотом, так что тропинки парка, все еще до известной степени прикрытые песком, были предпочтительнее для променада. Но для того, чтобы каждый мог пользоваться полной свободой в эти совместные часы отдохновений и чтобы не транжирить зря материал вечерних бесед, старый барон установил на время этих прогулок, как правило, прекращение взаимных сношений. На случай же какого-нибудь исключения и возобновления беседы, он изобрел надежный и выразительный способ оповещения. А именно, он писал мелом на груди каменного гения, стоявшего перед маленькой темной беседкой с приложенным к губам пальцем и принадлежавшего к наиболее сохранившимся статуям парка, слово «colloquium», одно из немногих латинских слов, которое он еще помнил с детских лет. Таким образом, как только кто-нибудь из этого общества вступал в парк, он смотрел на грудь гения и молчал или разговаривал, в зависимости от распоряжения владельца замка, ибо, несмотря на всю бедность барона, его окружающие привыкли в точности руководствоваться его желаниями.

На этот раз на груди гения не стояло никакого

коллоквиума. Уже в течение нескольких недель старый барон находился в хмуром, тоскливом настроении, которое как раз сегодня чрезвычайно омрачилось и совпадало с подобным же настроением учителя и Эмеренции, так что оба они были в тот день особенно довольны наложенным на них траппистским запретом.

Обыкновенно бывает так: истинные, основные причины целого комплекса ежедневных разочарований, сокрытые от нас, вдруг, подобно подземному ключу, неудержимо вырываются на поверхность.

Чувства трех прогуливавшихся персон вылились в форму разговора с самим собой, так как они расхаживали настолько далеко друг от друга, что не боялись быть услышанными.

Старый барон гулял взад и вперед между двумя стенами тисов, верхушки которых некогда представляли изящнейшее сочетание крестов, колонн и урн, но давно уже были запущены и превратились в бесформенные уродливые комья зеленых листьев и веток. Шаг его был порывист, взгляд тяжел.

— Да,— воскликнул он,— будь у меня человек, который бы меня понимал, при котором я мог бы думать вслух и который обладал бы широким кругозором, мне жилось бы весело и прекрасно! Я всегда ищу нового и чудесного; журналы больше меня не удовлетворяют, они кажутся мне пресными. Я жажду гипотез, одна смелее другой, ибо только гипотезы утоляют жажду знаний, раз она уже разгорелась. Что от того, что я прочел сегодня о тысячелапых чудовищах с шаровидными тельцами, с хоботами или клыками, живущих в каждой капле воды? Поумнел я, что ли, от этого? Нет, наоборот, поглупел. Откуда они появляются? Как живут? Что едят? Как оплодотворяются? Что это, млекопитающие, живородящие, или рыбы, несущие яйца? Ах, найди я человека, с которым можно было бы обо всем подробно говорить и который самым темным вопросам давал бы объяснение, все равно, какое! Учитель — честный малый, но, в сущности, балда со своими спартанскими бреднями. Я представлял себе сумасшедших гораздо более занимательными... этот Агезель начинает мне надоедать.

Расстроенный, он подошел к каменному пастушку, который помещался на одном из концов тисовой аллеи и некогда играл на флейте, а теперь только тщетно складывал губы сердечком и впустую протягивал руки в неестественной музыкальной позе, так как время дав-

ным-давно унесло его флейту. Старик мрачно оперся об искалеченную статую, и перед его духовным оком ползли, мчались, катились гигантские инфузории, пока мысли его не расползлись в бесформенную массу.

Между тем фрейлейн Эмеренция кружила вокруг окаймленного раковинами бассейна, который, правда, уже много лет был так же сух, как Красное море, когда его переходили израильтяне. Дельфин выпячивал вздернутый нос из середины этого бассейна. Счастье его, что он был сделан из листовой меди: не обладай он такой конституцией, он давно бы сдох от засухи. Еще одно праздное существо! Откуда было взяться струе, которую он раньше метал в небо из своих разверстых ноздрей? Барышня, как мы уже сказали, ходила вокруг бассейна, поглядывая то на дно, то на дельфина, то на пестрые кругляки, сложенные в звезды, ромбы и цветы и украшавшие площадку вокруг бассейна, причем ни один из этих предметов не утешал ее в ее унынии.

— Злая участь,— прошептала она печально,— с таким богатым сердцем, с такими нежными чувствами жить среди холодных, бесчувственных натур! Кто поймет здесь святой порыв, влекущий меня к Руччопуччо, к тайному принцу гехелькрамскому? Я знаю, судьба, направляющая наши жизни, требует, чтобы ее спокойно поджидали, и потому ни одно пылкое желание не предвосхищает в моей груди грядущих дней! Нет, спокойно ждет верующая душа любящей женщины блаженного мига, когда раззолоченная карета остановится перед замком и скороход в переднике и украшенной цветами шляпе войдет в дверь и спросит про Эмеренцию, которая в Ницце в священные часы звалась Марсебиллой. Но другую чувствительную и сочувствующую душу ты желаешь и имеешь право желать, бедная Эмеренция, чтобы облегчить муки ожидания! Как же удовлетворить здесь этому желанию? Кто тебя окружает? Понимает ли твои вздохи кто-нибудь из тех, с кем связала тебя судьба? Отец добр, очень добр, но разве он не смеется, когда ты робко и стыдливо раскрываешь перед ним тайны своего сердца? О, как портит людей односторонняя умственная культура, которую человек черпает из журналов! Как она опустошает сердце! А этот простонародный спартанский шут... нет, не стану думать о нем, об этом глупце; от одного воспоминания о его циничных речах моя целомудренная душа кровоточит из тысячи ран. О, приди, человек, сочувствующий человек, ко-

торого я не знаю, но вижу воплощенным перед очами моего духа, ты, что поймешь меня без слов, как священная луна, когда я возношу к ней взор, ты, кому все несказуемое во мне будет ясно, как лепет невинности. Приди Параклит, утешитель, истолковать мои сладкие чаяния и понять во мне то, чего я сама не понимаю!

После этих слов, которые, несомненно, сделают Эменцию любезной сердцу всех чувствительных читательниц, она присела против дельфина на кучу дерна, некогда представлявшую скамью, и принялась испускать душераздирающие вздохи.

Учитель тоже не был счастлив. Он примостился на корточках перед огнем, который ветер отклонял то в одну, то в другую сторону, и варил у себя на Тайгете черный суп. Ибо в замке к обеду был шпинат, единственное блюдо, которого он, не будучи привередой, все же не мог выносить, так как, по его мнению, оно по вкусу напоминало табак. Во время этого занятия он то выкрикивал, то бормотал следующее:

— Скверно, очень скверно, шут подери, когда имеешь дело с игнорантами! Барышня наша — лунная принцесса, а барон, да воздаст ему господь за его доброту ко мне,— блаженный путанник! У меня же ничего не выходит. Я могу проследить своих предков до Богемии, куда они бежали от турок, но дальше — ночь, мрак, непроходимая пустыня. Мой прадед был из Букстегуде, следовательно, спартанцы дали крюк к Немецкому морю. Как связать этот крюк с поселениями остальных Агезелей,или, вернее, фамилии Агезилая, в здешней местности? Но раз факт налицо, то можно его и доказать. О, где ты, ученый, исследователь, который связал бы все мои предположения и сам бы выдвинул предположения там, где иссякают мои предположения! О, такой человек мне необходим, как воздух!

Он резко размешал черный суп, и речь его вылилась в отрывистые восклицания, свидетельствовавшие о раздраженном состоянии его души.

Несколько минут спустя барышня вздохнула у высохшего бассейна так громко, что это услыхали и отец возле флейтиста без флейты, и учитель на своем Тайгете. Из симпатии они присоединились к ней, и мощный, тройной вздох тоски огласил парк замка Шник-Шнак-Шнур.

Не успел он отзвучать, как в углу возле наружной ограды раздался сильный стук как бы от падения какого-

то тела с изрядной высоты, затем стук копыт убегающей лошади и разговор двух голосов, из которых один спросил:

— Что, ваша милость, ушиблись? На что другой отвечал:

— Нисколько, нисколько, ты ведь знаешь, что мне всякие падения нипочем: к тому же, как видишь, тут навалена мягкая куча сорной травы, и на нее-то я и упал, когда спустился с воздушных высей.

— Догнать лошадь? — спросил первый голос.

— Зачем? — возразил тот.— Мы у цели, указанной нам судьбой. Пусть животное тоже бежит к своей цели, каковой, несомненно, является конюшня в городе, где я нанял этого одра.

Тут старый барон, барышня и учитель направились к месту, откуда раздались шум падения и разговор, и увидели двух мужчин, приведших их в немалое изумление. Один из них был коренастым человеком лет за сорок, с очень бледным, но сильно мускулистым лицом, на котором сверкали большие живые глаза. Костюм его ничем не выделялся, но зато привлекала внимание чрезмерно большая соломенная шляпа с полями шириною в фут, валявшаяся на песке в нескольких шагах от него. Эта соломенная шляпа, в сущности, не была шляпой, так как тулья ее представляла нечто среднее между шапкой и каской, и там, где она встретится в дальнейшем, мы будем называть ее соломенным шлемом.

Второй был еще приземистей и коренастей, чем первый; он казался одних лет с ним, но обладал обычным цветом лица здорового человека. Глаза у него были еще лучистей, чем у его господина... Я сказал: господина, ибо, по-видимому, таково было его отношение к последнему, так как на нем была яично-желтая ливрея и лакированный полуцилиндр, и он старательно счищал щеткой следы земли и травы со светло-серого редингота своего барина.

Когда обитатели замка приблизились к незнакомцам и те их увидели, то первый шепнул что-то на ухо второму, после чего лакей поднял с земли соломенный шлем и подал его своему господину. Тот подошел к хозяевам и, странно играя мускулами лица, обратился к старому барону с несколькими словами извинения за то, что свалился в его сад без доклада. Барон возразил, что это не имеет никакого значения, а учитель прибавил к этому глубокий поклон. Оба с удивлением рас-

сматривали атрибуты незнакомца — тетради, свитки и бумажные листы, торчавшие из его задних, передних и боковых карманов, а также из кожаного ранца, который он носил на ремне через плечо. Внимание барышни, напротив, с первых минут было приковано слугой. Действительно, в одежде этого человека многое отступало от обычной ливреи. Ибо, не говоря уже о букете полевых цветов, благоухавшем на его шляпе, должно было казаться странным, что он повязал себе бедра, точно фартуком, большим пестрым платком.

Тем временем его господин стал между бароном и учителем, и это движение побудило барышню взглянуть на него внимательнее и подойти ближе; таким образом, вокруг пришельца образовалась, как бы сама собой, группа слушателей.

— Уважаемые незнакомцы, зачем нам так долго стоять в недоумении друг перед другом? — начал он с некоторой торжественностью, что, впрочем, не мешало удивительной игре мускулов его лица, о которой мы уже упоминали.— Внутренний голос говорит мне, что наша встреча в этом запущенном французском парке является следствием какой-то астральной конъюнкции, которая соответствует сигнатурам наших четырех микрокосмов. Если это так, то пустое удивление и суетные условности ничего не говорящих комплиментов, украшающих преддверие малозначащих знакомств, были бы просто потерей драгоценнейших мгновений. «Лови момент, ибо на его воскрыльи покоится вечность»,— сказал некий мудрый поэт. Глубочайшее предчувствие моей души говорит мне: это было предназначено! Назрел час, когда лошадь моя должна была дать козла у этой изгороди и сначала сбросить меня на кучу травы, чтобы я затем мог очутиться в вашем любезном и гостеприимном кругу.

— Вы упали с лошади? — спросил старый барон.

— Да,— ответил незнакомец,— или вернее, я слетел и описал дугу, вычисление которой, вероятно, дало бы все элементы эллипса. Я предпринял пешком научное путешествие, преследующее цель найти минерал, при посредстве которого воздух... впрочем, пока ни звука об этих вещах! Но, почувствовав усталость, я нанял в городе, в четырех милях отсюда, лошадь, чтоб завернуть в эту местность. Сюда направили меня почерпнутые из разных трудов глухие указания, на которые толпа не обращает внимания, но которые содержат крупицы чи-

стейшего золота. Также и личные соображения убедили меня в том, что здесь расположено местонахождение мин... но, как сказано, об этом ни слова! Сидя на лошади, я предавался различным наблюдениям, так как мои довольно обширные познания способствуют тому, что самые разнообразные вещи приходят мне в голову одновременно. Я нашел, что инфузории, быт которых, между прочим, занимает меня в последнее время, представляют собою в сущности недоразвившихся карпов и обладают памятью...

— Можете ли вы обстоятельно рассказать мне про инфузории? — со страстным энтузиазмом прервал оратора старый барон.

— Сколько хотите; я находился в самом близком общении с этими существами,— возразил тот.— В то же время я обдумывал свои гипотезы о насильственных и добровольных передвижениях древних наций во время переселения народов и убедился, что в нас течет довольно много греческой крови, на что в некоторых случаях указывает и наш язык, например, слово «кот», происходящее от греческого «чистить, очищать», так как это животное очищает дом от мышей; или же «кот» происходит от приставки вниз, прямо, на, через, сквозь, вдоль. Разве коты со своими ласковыми и порывистыми движениями не суть до известной степени ожившая приставка? Разве они не спрыгивают беспрерывно вниз с крыш и деревьев? Не бросаются прямо на стены? Не перескакивают через чердак, освещаемый луной? Не пролезают сквозь огонь и воду? Не крадутся вдоль ржаного поля? Так что повсюду в Германии, куда бы вы ни вступили, греческие рудименты и...

— В особенности спартанские, не правда ли? — спросил учитель со сверкающими глазами.

— И их тоже, конечно, легко удается обнаружить,— ответил незнакомец.

Учитель горячо пожал руку барона за спиной незнакомца, а владелец замка, который думал об инфузориях и забыл всякие различия рангов, ответил теплым рукопожатием на это выражение восторга. Незнакомец между тем продолжал: — Эти и многие другие вопросы я обдумывал, удобно сидя на спине клячи, уже переставшей находить радость в телодвижениях и соглашавшейся идти более или менее пристойным шагом только под ударами хлыста, которыми шедший за мною слуга обрабатывал ляжки лентяйки. Я потому так подробно из-

лагаю эти обстоятельства, что они имеют значение для последовавшего происшествия. А именно, когда я загибал на дорогу вдоль вашей ограды и мой проклятый конь ступал самым степенным шагом, в то время как я не думал ни о чем ином, как о том, чтобы познакомиться с замком и его обитателями,— лошадь испугалась, точно ей, подобно валаамовой ослице, явилось видение, закинула голову, стала на передние ноги, подпрыгнула с невероятной резвостью, одновременно брыкая задними ногами, и боковым прыжком бросилась в колючий кустарник; я же, потеряв поводья, описал упомянутую дугу, согласно параллелограмму равнодействующих сил козляния, брыкания и бокового прыжка, и полетел через изгородь на кучу травы. Но во время полета и падения во мне молниеносно зародилось интеллектуальное представление, которое с физической силой проникло из крестца через позвоночник в мозговые нервы, и в переводе на слова гласит: «Это великий исторический момент, это исходная точка важных событий». Но для того, чтобы вы уразумели, кого так неожиданно закинуло в гущу ваших отношений, узнайте мое имя, титул и звание. Я барон фон Мюнхгаузен, член почти всех ученых обществ, принятый в Аркадскую академию в Риме под именем «Неувядающего».

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

трактует о слуге Карле Буттерфогеле и о любезном приеме, оказанном барону фон Мюнхгаузену в замке Шник-Шнак-Шнур

— А я,— сказал лакей, смело подходя к господам,— слуга Карл Буттерфогель,— чищу щеткой платье барина и натираю ему сапоги. Сударыня смотрит с удивлением на мой букет на шляпе и на этот платок, что выглядит, пожалуй, как передник скорохода; я скороход, да такой, которого всякая улитка догонит: а все от этого ранца, в котором лежат инструменты барина. Цветы я срывал от скуки, пока барин изучал воздух, а передник я нацепил, чтоб спасти брюки от колючек, сквозь которые барин хотел пролезть во что бы то ни стало. Я не думаю, чтоб кляча испугалась исторического момента, как вы говорите, а просто ее колючки царапали, она от того и взбесилась.

Старый барон и учитель слушали с удивлением сверхнаглую речь слуги. Мюнхгаузен пытался выразитель-

ным взглядом поставить нахала в рамки, но тот выдержал взгляд, не сдаваясь, и тогда его господин опустил глаза, причем на лице его отразилось скрытое душевное страдание. Барышня же испытывала сильнейшие внутренние переживания. Во время речи Карла Буттерфогеля щеки ее сделались огненно-красными, взгляды быстро перебегали от господина к слуге и обратно, а губы шепотом вопрошали судьбу:

— Передник скорохода? Шляпа с цветами?

Старый барон любезно пригласил г-на фон Мюнхгаузена погостить у него столько, сколько ему заблагорассудится, на что г-н фон Мюнхгаузен согласился с благодарностью. После этого все направились из парка в замок, причем владелец его объяснил гостю, смотревшему с некоторым недоумением на разрушенное здание, что хозяйство в связи с разными обстоятельствами пришло в некоторый упадок, но что предполагается стройка. На лестнице, ведшей из сеней в комнаты, с гостем чуть было опять не случилось несчастье, ибо одна из трухлявых ступеней, на которую он ступил, затрещала и сломалась. При этом он потерял равновесие, хотел удержаться за перила, но схватил только воздух, так как перила давно уже пошли в топку. Он бы и упал, если бы старый барон не удержал его за полу кафтана. Благодаря этому он благополучно устоял на ногах и был введен в общую комнату, где его попросили обождать, пока будут готовы его апартаменты. Заботу об этих последних взял на себя учитель, так как барышня оказалась ни на что не пригодной. Она сидела с просветленным взглядом в углу комнаты, смотрела перед собой, и мысли ее, казалось, были далеко. Когда отец сказал ей:

— Ренцель (так он называл ее, когда бывал особенно в духе), откуда взять ночной столик для гостя?

Она отвечала:

— Отец, заря всходит.

А когда он попросил ее позаботиться о постельном белье, она неподвижно посмотрела ему в лицо и не поняла. Учитель же, который при таковых обстоятельствах предложил себя в дворецкие, обнаружил немалое проворство. В бытность свою в Гаккельпфиффельсберге он был у себя и слугой, и служанкой, а потому приобрел весьма точные познания во всевозможных мелочах домашнего обихода. Быстро убрал он из кладовой, которую владелец замка предназначил для гостя (как единственное помещение, еще имевшее окно), сушеные ябло-

ки, бобы и горох, припасенные там на зиму, позаботился о безопасности г-на фон Мюнхгаузена, отбив шестом с потолка растрескавшуюся штукатурку, чисто вымел пол, прогнал пауков из их воздушных замков, взял с кроватей остальных обитателей то, чем они еще могли поступиться, смастерил из разных кусков дерева с помощью пилы, молотка и гвоздей нечто вроде козел и ухитрился даже раскопать для гостя сносный стол и стул.

Закончив работу, он спустился вниз и нашел старого барона помолодевшим на десять лет. Мюнхгаузен расписал быт инфузорий в таких очаровательных красках, что его слушатель пришел в восторг: он нарисовал ему целые идиллии, эпопеи и трагедии, которые, по его заверениям, происходят в каждой капле воды. Когда учитель остался на несколько минут наедине с Мюнхгаузеном, то по его настоянию тот заверил его честным словом, что недалеко от Букстегуде он нашел отчетливые следы спартанского происхождения и нравов, поскольку люди там презирали науки и были покрыты грязью. Учитель, в высшей степени довольный, пошел есть свой черный суп и предоставил Мюнхгаузена Эмеренции.

После паузы, такой же торжественной, как та, которую устраивают комедианты перед захватывающей сценой, где любовь побеждает коварство тем, что Фердинанд подсыпает своей Луизе крысиного яду в лимонад,— после паузы, которая была такой же длинной и тяжелой, как предшествующая фраза, Эмеренция робко сказала гостю:

— Г-н фон Мюнхгаузен, вы как некий мифологический продукт нашего существования, движимый внутренней необходимостью, вступаете в замок моих дедов. Еще в парке вы сказали, что чувствуете себя крепко связанным со всеми нашими желаниями и надеждами. Не обессудьте поэтому робкую деву, если она, нарушив законы скромности, присущей ее полу, спросит вас настойчиво и от всего сердца: «существуют ли еще скороходы?»

— Да, сударыня,— серьезно и прочувственно возразил г-н фон Мюнхгаузен,— скороходы еще существуют.

— Держат ли князья таких скороходов? — спросила барышня, смахивая слезу с правого глаза.

— Только князь и может себе это позволить! — воскликнул Мюнхгаузен и поднес носовой платок к своему левому плачущему глазу.

— А теперь еще один, последний, вопрос, обращенный к вашему прекрасному сердцу, благородный человек, вопрос, которым я отдаю вам душу: носит ли скороход там, где он появляется, шляпу с цветами и передник?

— Шляпа с цветами и передник останутся эмблемами скорохода до конца дней! — торжественно провозгласил барон фон Мюнхгаузен и поднял вверх, как бы для клятвы, два пальца правой руки.

— Благодарю вас за эту минуту,— сказала барышня.— Моя жизнь снова расправляет крылья. Судьба подает знак! В уста невинности, в уста вашего Карла вложила она свое многозначительное слово, созвучное волшебным тонам моих сокровеннейших глубин, сокровищам моей груди, которые, лучась, только что вырвались из мрака. Вы же, великий учитель, деликатно и мудро превратили сладостную сказку в истинную, простую правду. О, я знала, что здесь я буду понята!

— Безусловно понята! — воскликнул г-н фон Мюнхгаузен.

В эту минуту вернулся в комнату старый барон, ходивший осматривать покои, приготовленные для гостя, и пригласил его проследовать туда, чтобы сразу же расположиться поудобнее.

Оставшись одна, Эмеренция сказала:.

— Явился тот, кто понимает меня без слов; небо держит обещания, которые дает нам в часы воздыханий! Скоро, скоро прибудет и Руччопуччо, князь гехелькрамский, чтобы взять отсюда свою подругу в самом непорочном смысле этого слова.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Взаимное понимание и непонимание — интенсивная воля — орден — убеждения и почетные должности — Гёррес и Штраус — «Орлеанская девственница» — знамения, чудеса и новые тайны

В последовавшие за приездом гостя дни пылкий восторг обитателей замка перед удивительным человеком перешел в более спокойную, а тем самым и более прочную уверенность, что в его лице им явился предназначенный судьбой, давно желанный Мессия. Ибо старый барон заметил уже в первый вечер, когда наслаждался беседой с г-ном фон Мюнхгаузеном, что никто между землей и небом не мог сравниться с его гостем в отношении знаний, опыта, приключений, взглядов, идей

и гипотез. Гость, судя по его рассказам, побывал почти во всех известных и неизвестных странах земли, занимался всеми искусствами и науками, заглянул в Вейнсберге в мир духов, испытал всякие положения в жизни, был попеременно поваренком, воином, политиком, естествоиспытателем и машиностроителем. Судьба выбрасывала его даже из круга человеческой жизни; после первых часов знакомства он дал понять, что провел часть своего детства среди скота.

Старый барон установил для бесед главным образом вечерние часы, когда все обычно собирались в общей комнате и усаживались при свечке на деревянных табуретках вокруг соснового стола. В отношении прогулок по парку он еще строже, чем раньше, соблюдал правило молчания.

— Ибо,— говорил он,— надо освободить день для размышлений над тем, что Мюнхгаузен рассказывает по вечерам; иначе накопится слишком много материала и мы, как овцы, впадем в вертеж от мудрости этого человека.

От библиотечного абонемента он теперь отказался; гость давал ему больше любого журнала; дух всех журналов воплотился в Мюнхгаузене. Этот удивительный человек всегда исходил в своих рассказах из чего-нибудь знакомого и установленного, затем отделялся от земли для самых смелых и рискованных полетов, и про него можно было сказать, что своей персоной он олицетворял могучий прогресс нашего времени.

Впрочем, в ощущения владельца замка вторгалось по временам и чувство недовольства. Мюнхгаузен много говорил о литературе и поэзии и при этих рассказах легко впадал в сатиру. Барон же не интересовался этими областями и ненавидел сатиру, а потому вступал в подобные разговоры только с некоторой досадой. Но действительно оскорбленным он чувствовал себя, когда Мюнхгаузен, как это нередко бывало, высказывал мнение, что все люди рождаются равными и что только ослепление, ныне навсегда похороненное, могло признавать за кем-либо прирожденные привилегии, которые в то же время не принадлежали бы и всем остальным его собратьям.

Отношения между барышней и гостем вскоре приняли глубокую и прочную форму того деликатного понимания без слов, которое так ценят наши мечтательные и возвышенные дамы. Когда она шептала ему, что не-

выразимое нечто пронизывает ее, то он уверял, что вполне ее понимает; и если она под наплывом чувств не могла подобрать конца к началу фразы, то он намекал, что вторые части предложений хранятся невысказанными в его молчаливой душе. Кроме того, она наслаждалась до глубины сердца его блестящими описаниями далеких стран, и ее возбуждение доходило до энтузиазма, когда он произносил двадцатичетырехсложные мексиканские, перуанские или индусские названия.

Правда, по временам и ее кое-что задевало. Рассчитывая понравиться ей еще больше, Мюнхгаузен иногда высказывал мнение, что только женщина остается верна своим чувствам, а что к мужчине применима поговорка: «С глаз долой, из сердца вон», почему никогда и нельзя рассчитывать на обещание этих непостоянных существ. Он, конечно, не мог знать, как сильно такие изречения шли наперекор ее ожиданиям. На это она обыкновенно отвечала:

— Г-н фон Мюнхгаузен, ваше появление и появление Карла заранее опровергают для меня эту фразу на основании высших предчувствий.

Когда она это говорила, то он ее действительно не понимал, но у него не хватало смелости в этом признаться.

Между тем эти отдельные размолвки быстро растворялись в чувствах преклонения и восхищения, которые испытывали к нему отец и дочь; мало того, в силу контраста размолвка придавала этим чувствам еще большую страстность. Напротив, отношение к нему учителя было совершенно особенное; оно напоминало те шуточные рисунки, которые кажут веселое лицо, когда посмотришь на них с одной стороны, и раздраженное, когда посмотришь с другой. Личность Мюнхгаузена и его речи не могли не произвести сильного впечатления на учителя; мы знаем, какие он имел виды на этого фатального человека для подтверждения самых дорогих для него убеждений. Но он не всегда мог согласиться с мюнхгаузеновским методом изложения. В начальной школе он привык к простоте; просто, без всяких прикрас, отбарабанивал он мальчикам и девочкам сотворение мира, грехопадение, жертвоприношение Авраама и историю о целомудренном Иосифе. Мюнхгаузен же, обуреваемый воспоминаниями, переполненный ссылками, ретроспективными взглядами и отступлениями, городил столько побочных эпизодов на основной рассказ и часто залезал в такой лабиринт, что

бедный учитель, принужденный поневоле разыгрывать блуждающего Тезея, нередко упускал из рук нить Ариадны. Кроме того, он замечал, что Мюнхгаузен, смотревший на него, как на ничтожного нахлебника — чем он в действительности и был,— обходился с ним не с той же любезной внимательностью, как со старым бароном и барышней, и совсем не реагировал на его увещевания документально изложить переселение изгнанных спартанцев в княжество Гехелькрам.

Поэтому он то бывал в восторге от Мюнхгаузена, то зол на него. Истинно сказано, что несть пророка в своем отечестве без какого-нибудь Фомы, который сегодня следует за ним, а завтра предаст его.

Во время одной из вечерних бесед барон сказал гостю:

— Видит бог, я неохотно верю в чудеса и держусь того мнения, что природа — это дом, где все еще каждый день обнаруживают новые комнаты и каморки; но когда я подумаю, дорогой Мюнхгаузен, что вы были заброшены к нам в тот самый момент, когда, как я узнал от Эмеренции и учителя, мы все трое одновременно мечтали о таком именно человеке и в один присест испустили громкий вздох, то я, право, не знаю, происходят ли такие вещи естественным путем.

— А что такого удивительного в том, друзья мои, что вы притянули меня вздохом? — воскликнул Мюнхгаузен.— Ведь мы же знаем, что, когда человеческий дух сосредоточится как следует на каком-нибудь пункте, ему бывают присущи повышенные способности. Так, Гёррес рассказывает в своей «Христианской мистике», книге, безусловно достойной доверия, что однажды святая Екатерина не могла причаститься из-за легкого недомогания и потому во время службы стояла на коленях в углу церкви: но это не имело никакого значения, так как облатка полетела через весь церковный корабль прямо ей в рот[36].

Так вот я всегда и говорю: что одному хорошо, то и другому здорово. Ежели праведники могут притягивать молитвой святые дары на сто с лишком шагов, то миряне, если они только энергично сосредоточатся на одном пункте, могут приманить к себе этот пункт, будь то деньги, женщины или почет; и, таким образом, каждому воздается по его желанию; праведники получают, что им необходимо, а миряне — что им полезно. Я убежден, что ваши желания набросили на ноги моей клячи

магический аркан, который потянул ее в колючки садовой ограды, и что затем ее вспугнула мистическая сила ваших вздохов, благодаря чему, пройдя сквозь последующие причинные звенья, я попал к вам.

— Да, Мюнхгаузен,— воскликнул старый барон,— вы свалились к нам из эфира, как громовая стрела!

Мюнхгаузен продолжал:

— Не обладай человеческая воля такой силой, то как могло бы случиться, что иная славная, красивая девушка выходит за безобразного олуха? Олух втемяшил себе в голову, что он женится на красавице; он направляет на оную все свои желания, и точно: она отдает ему руку, сама хорошенько не зная, как это произошло. Другой больше интересуется почетом и высоким положением: он не знает ничего, решительно ничего, даже в писаря не годится, но он человек «с убеждениями», в том смысле, в каком мы, посвященные, понимаем это слово; он обладает максимальной интенсивностью желания доставить себе и своему кузену все мыслимые блага и еще парочку в придачу; он убежден, что если ему и г-ну кузену будет хорошо на этом свете, то счастье страны обеспечено.

Человек с убеждениями, без знаний и ума, так долго и с таким жаром тайно мечтает сделаться наместником или министром, что в одно прекрасное утро он просыпается таковым. Мир кричит о мелких интригах. Ерунда! Он бы лучше научился заглядывать в великие тайны природы. Мистическая сила желания была причиной того, что наместничество полетело человеку с убеждениями прямо в рот, как...

— Как жареный голубь! — вставил старый барон.

— Как облатка святой Екатерины, по крайней мере, по Гёрресу,— сказал Мюнхгаузен.— Однажды (это было в герцогстве Дюнкельблазенгейм) возмечтал я о местном ордене; это не значит, что я вздыхал о нем страстно, но тщетно. Нет, я реально примечтал его к своему фраку[37]. Тамошний герцог — добрый старик; образование его ограничивается баснями Геллерта; дальше этого он не пошел; и вот, в память этой поучительной детской книжки он учредил орден Зеленого Осла с командорством, с большим и с малым крестом.

Так вот, мне страшно захотелось иметь этот зеленый ослиный орден, ибо вас в Дюнкельблазенгейме почти что за человека не считают, если вы не принадлежите к ослам: так для простоты называют там кавалеров это-

го ордена. Как-то утром подходит к моей постели мой тогдашний чистильщик сапог, Калинский, подносит мне фрак, который провисел всю ночь у меня в спальне, и восклицает:

— Г-н барон, вы за ночь стали ослом.

Смотрю и сам несколько удивлен: действительно, в третьей петлице — переливчатый бант, и на нем висит крест с любителем чертополоха и девизом. Выскакиваю из постели и справляюсь в доме, не прокрался ли кто ночью, чтобы сыграть со мной эту шутку. Но дверь всю ночь была на запоре, до Калинского никто не приходил.

— Орден налицо; где же заслуги? — спрашиваю я себя.— Есть ли у тебя какие-нибудь заслуги перед Дюнкельблазенгеймом? Строжайше испытываю свою совесть и разбиваю главный вопрос на шесть второстепенных.

Но на все вопросы, главные и второстепенные, я принужден был ответить: нет! У меня не было никаких, решительно никаких, ну просто ни малейших заслуг перед этим государством. Перед другими государствами у меня были заслуги, но не перед Дюнкельблазенгеймом. Я ничего не сочиняю.

А орден все-таки был тут. Опять доказательство мистической силы настойчивого желания. Самое удивительное во всем этом деле, и чего я до сих пор не мог себе объяснить,— это не то, что я притянул крест своим желанием, но то, что он, со своей стороны, повлиял на переливчатый бант, который сам вделся в петлицу. Я попытался развязать узел, но он был так крепко затянут, что это мне удалось только после больших усилий. И впоследствии бант продолжал плотно держаться, подобно тому, как в «Христианской мистике» держалась на кресте Хуана Родригес, не будучи к нему прибита.

— Ах, если бы мне быть Хуаной Родригес! — пропела барышня.

— Чепуха! — пробурчал учитель.

— В этой книге Гёрреса, по-видимому, имеются удивительные вещи,— сказал старый барон.

— Ого, там еще не то расписано! — воскликнул Мюнхгаузен.— У святого Филиппо Нери так распухло сердце от молитв, что оно проломило ему два брюшных ребра, а именно четвертое и пятое; святого Петра из Алькантары так жгло любовное пламя, что снег вокруг него таял и что однажды зимой он принужден был

прыгнуть в прорубь, чтобы охладиться, но лед вокруг него шипел и кипел, как в котле, поставленном над большим огнем.

— Перестаньте, перестаньте! — взмолился старый барон.— У меня голова кружится.

Но Мюнхгаузен продолжал с жаром.

— Гёррес, кроме того, говорит, что святые прекрасно благоухают, в особенности, когда страдают проказой. Но самое очаровательное это то, что они источают миро. Святая Лиутгарда пускала его из пальцев, у святой Христины оно было в персях, а у аббатисы Агнессы из Монте-Пульчано монахини выдавливали целые кружки. Гёррес, кроме того, совершенно правильно распределяет этот процесс маслообразования по разным частям тела, так как он вообще не излагает ничего грубо и в сыром виде, а выводит все, что происходит со святыми, из высшей физиологии. В нижних прикрытых частях тела образуются нежные или жирные масла, говорит Гёррес...

— Понимаю, понимаю, нечто вроде оливкового или салатного масла,— прервал его старый барон и помахал шапкой,— а где царит настоящая святость, там зеленое прованское...

— Ах, если б и я могла источать миро! — вздохнула барышня.

— ...Дальше же в верхних частях, примерно начиная с грудобрюшной преграды, образуются главным образом летучие масла, ароматы, как говорит Гёррес. Иногда, при известном составе воздуха, эти ароматы оседают на теле в виде манны крестообразной формы; тогда верующие соскребают ее со святых и съедают. Так это было, согласно Гёрресу, с уже упомянутой аббатисой Агнессой из Монте-Пульчано.

— Мюнхгаузен! Мюнхгаузен! — воскликнул старый барон, надув щеки и выпустив струю воздуха, как он это обыкновенно делал, когда им овладевала какая-нибудь мысль.— Мы живем в великое время. Везде во всех областях знания зарождается ясность и связь. То, что случилось с сердцем Филиппо Нери, это как бы проявление в высшей области того самого, что каждодневно происходит в низшей, животной сфере.

— Если бы полностью вернулись времена герресовских чудес, то одним святым можно было бы удовлетворить почти все домашние потребности и сэкономить сотни расходов, которые теперь так удорожают жизнь. Такой гёрресовский святой протопил бы нам комнату, дал

бы масло, снизу жирное, сверху летучее, да раза два в году еще миску с манной...

— Добрый, невинный папа! — сказала Эмеренция и с жалостью поглядела на отца.

— Дойдет ли до этого, сказать не могу,— продолжал Мюнхгаузен,— но сам я испытал с этой книгой трехцветное чудо.

Учитель вышел. Такие рассказы были ему особенно в тягость, так как он был убежденный рационалист. Барон же и его дочь настоятельно попросили г-на фон Мюнхгаузена сообщить им про трехцветное чудо, и тот продолжал:

— Узнайте же, дорогие друзья и слушатели, что эта достохвальная христианско-мистическая книга стояла у меня на полке рядом с «Жизнью Иисуса» Штрауса. Мудрецам достаточно и немногих слов. Ученого учить — только портить, а потому мне незачем, достойный патриарх и хозяин, излагать вам подробно содержание последнего произведения: вам и без того известно из ваших журналов, что в то время, как христианский мистик свидетельствует о появлении стигматов еще в наши дни, Штраус отказывает Христу даже в его евангельском существовании; он утверждает, что апостолическая церковь была чем-то вроде акционерного общества, которая заказала Спасителя на общественные деньги, так как на него был спрос. Было большой неосторожностью с моей стороны поставить рядом две такие взъерепененные книги; я должен был предвидеть, что они не уживутся. Однажды ночью я просыпаюсь от удивительного шума, который раздается с библиотечной полки. Зажигаю свечу, освещаю библиотеку и вижу необычайное зрелище. Штраус и Гёррес неистово лупят друг друга переплетами, размахивая ими, как два рассвирепевших индейских петуха. Члены консистории Паулус, Штейдель, Маргейнеке, даже Толук[38], стоявшие по обеим сторонам от этих произведений, робко отступили в сторону, так что у противников оставалось достаточно пространства для развития своей переплетной полемики. При этом они издавали удивительные звуки. Из «Жизни Иисуса» исходило тонкое, хрустящее царапанье, как от грызущей мыши, тогда как толстая «Мистика» урчала и хрюкала наподобие ржавого баса. Я взял с полки моего бедного Гёрреса, который даже нагрелся,— хотя и не распалился подобно святому Петру из Алькантары,— приласкал его, утешил и, наконец, добился того, что книга оконча-

тельно успокоилась от своего ужасного волнения, в то время, как «Жизнь Иисуса» все еще продолжала размахивать одной крышкой переплета в воздухе, воюя против веры в чудеса, которая давным давно уже отошла в область преданий.

Когда же я обследовал переплет Гёрреса, чтобы посмотреть, не пострадал ли он в этой потасовке со Штраусом, то тут мне явилось трехцветное чудо. Дело в том, что я переплел Гёрреса в пурпуровый переплет, и что же вы скажете, друзья мои? От волнения на нем появились синие и белые пятна. Да, дорогие мои, «Христианская мистика» приняла старые революционные цвета 1793 г.: синий, красный, белый. Кобленц, да и только! Один специалист по краскам сказал мне впоследствии, что эта трехцветка и есть настоящая окраска автора, каковая победоносно выступает при всяком возбуждении (также и при мистическом) из-под последующих перекрашиваний[39].

Как бы то ни было, я поставил своего Гёрреса на другую полку, но, утомленный ночными происшествиями, опять выбрал для него неподходящее место, в чем я убедился на следующее утро. А именно, я поместил его рядом с «Девственницей» Вольтера. Но из борьбы с этой устаревшей сатирой христианская мистика вышла гордо и победоносно. Представьте себе, через ночь благочестивая книга обратила «Девственницу» на путь истинный, главным образом, вероятно, благодаря произошедшему в ней образованию жирных и ароматических масел. Верьте или не верьте, мне это безразлично; но это сущая правда. Фривольная поэма ушла в себя, текст исчез,и когда я туда заглянул, то оказалось, что я держу пачку невинно-белых листов в полукожаном переплете вместо кощунственных анекдотов о Карле VII, Агнессе Сорель, Дюнуа, Жанне д'Арк и ее осле. Мало того, бумага стыдилась своих прежних грехов и на ней появился чуть заметный розовый отблеск, наперекор изречению «Litterae non erubescunt». Я вам ее сейчас принесу, вы сами убедитесь.

Мюнхгаузен выбежал с быстротой трясогузки. Старый барон зашагал взад и вперед по комнате, фехтуя руками в воздухе и играя в мяч собственной шапкой.

— Чертовский парень, этот Мюнхгаузен! — воскликнул он.— Хочешь, не хочешь, а он тебя увлечет! Вначале я всегда противлюсь его рассказам, а затем не успеваю

заметить, как он уже накинул мне петлю на шею и утащил. Что ты на это скажешь, Ренцель?

На это Эмеренция отвечала:

— Я еще надеюсь пережить это особое состояние воздуха и выделить манну из своего аромата.

— Дура ты,— разбушевался старый владелец замка,— все только думаешь о себе и не хочешь расширять своего кругозора. Будь я похож на тебя, я не извлек бы из сегодняшнего вечера ничего, кроме эгоистического желания приворожить себе в петлицу Зеленого Осла. Как ты думаешь, разве твой отец не хотел бы на старости лет иметь орден, не оказав при этом Дюнкельблазенгейму ни одной из шести услуг? Но я не так ограничен: я дорожу своим образованием и сегодня же вечером спрошу Мюнхгаузена о его разных глазах и «позеленении»; мы находимся сейчас в самой гуще удивительных и невероятных комбинаций, к тому же и учитель со своей глупой, язвительной миной нам сегодня не мешает.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Самая короткая глава этой книги с примечанием автора

Чтобы понять этот последний разговор, необходимо сказать, пока Мюнхгаузен не вернулся в комнату, что из многих поразительных свойств гостя, останавливавших на себе внимание обитателей замка, два в особенности вызывали их удивление. А именно, один глаз был у него голубой, другой карий; это обстоятельство придавало его лицу необычайно характерное выражение, тем более характерное, что, когда душа его была полна смешанных ощущений, эти различные элементы его настроений отражались в его глазах порознь. Так, например, когда он испытывал радостную тоску, то радость светилась в карем глазу, а тоска трепетала в голубом. Вообще, голубой был предназначен для нежных, карий же для сильных чувств.

Лицо его, как я уже описывал, было бледно с желтоватым налетом, нечто вроде цвета пентелийского мрамора или вываренной в воске пенковой трубки, еще не нашедшей своего курильщика. Когда он переживал аффекты, от которых мы обычно краснеем, то по его лицу пробегал зеленый тон. Вот почему старый барон вполне правильно употребил выражение «позеленение», и мы собираемся им пользоваться и в дальнейшем,

когда на протяжении этой истории Мюнхгаузен будет впадать в аффекты и меняться в лице.

Вначале обитатели замка смотрели с тайным страхом на это явление. Вскоре, однако, великие достоинства гостя и его увлекательные повествования уничтожили боязнь, и осталось одно только острое любопытство в отношении игры красок. Незачем говорить, что сильнее всего любопытство проявлялось в старом бароне. Но и в этот вечер ему не суждено было его удовлетворить. После того как он вместе с дочерью прождали довольно долго возвращения Мюнхгаузена, вместо него вошел в комнату слуга Карл Буттерфогель и сказал:

— Барон приказали извиниться; они никак не могут найти книги. К тому же,— тихо и таинственно добавил он,— они взялись за свои химические средства.

— Средства? Химические средства? — спросил озабоченно старый барон.— Заболел, что ли, твой барин?

— Никак нет,— возразил Карл Буттерфогель,— но жизненный пурцесс у него ослаб и пришлось применить гасы.

— Ты, вероятно, хочешь сказать жизненный процесс и газы? — спросил барон после некоторого раздумья.— Но что все это значит?

— Не знаю,— ответил слуга с многозначительной миной.— Поживем — увидим; а с барином моим обстоит неладно. Разумный барин, ученый барин, но я предпочел бы отца с матерью.

Владелец замка тщетно убеждал малого объясниться вразумительнее.

Новая тайна, однако, не успела пустить корни в сердцах обитателей замка, так как рассказы Мюнхгаузена были в последующие дни особенно содержательны; старый барон забыл даже на некоторое время вопрос об игре красок на лице своего гостя.

В дальнейшем мы познакомим читателя с некоторыми из этих речей и рассказов.

Примечание

За сим следуют главы 11—15, которые благожелательный переплетчик поместил ради динамики рассказа в начале книги. Я обдумал наставления, которые дал мне по секрету этот человек, и решил им следовать, а потому могу гарантировать благосклонному читателю в последующих частях великолепнейший и драгоценнейший

материал. «Мюнхгаузен» обещает быть такой книгой, что нельзя понять, как господь бог, не читав ее, справился с сотворением мира.

Немецкая литература, собственно говоря, начинается только с моего Мюнхгаузена. Да поверит благосклонный читатель этим обещаниям! Я должен был бы, конечно, нанять для исполнения их какого-нибудь молодого человека из Гамбурга, Берлина или Лейпцига, но, в конце концов, я подумал: своей ли, чужой ли работы будет этот товарец, цена ему одна, а потому я сэкономил гонорар и комплименты.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Почему барон Мюнхгаузен зеленел, когда стыдился или гневался

После многих интересных вечеров старый барон снова вспомнил о вопросе, который давно хотел задать. Это был чудный дружеский час; уже несколько дней как Мюнхгаузен касался только таких тем, которые действовали на владельца замка и его дочь наиприятнейшим образом; даже недовольство учителя, казалось, несколько оттаяло.

Поэтому, когда был съеден скудный ужин, состоявший из салата и яиц, хозяин по-приятельски подсел поближе к гостю и сказал:

— Было бы очень любезно с вашей стороны, дорогой Мюнхгаузен, если бы вы угостили нас сегодня достоверной гипотезой относительно ваших разных глаз и вашего позеленения. Невозможно, чтобы вы не обратили внимание на эти чудеса природы; кроме того, вы человек, который задумывается над всем, а потому у вас, наверное, имеется и соответствующая гипотеза.

— У меня нет никакой гипотезы, а я наверняка знаю, в чем тут дело,— возразил Мюнхгаузен и приподнял брови, так что голубой и карий глаз выделились еще отчетливее, чем обыкновенно.— Что касается двухцветности моих зрительных органов, то это связано с тайной моего зачатия — не краснейте, сударыня, я больше не буду распространяться на эту тему — каковая тайна бросает черную тень на целые периоды моей жизни. Как часто завидовал я поденщику, который в поте лица дробит челюстями твердый кусок черного хлеба, но зато не лишен сладкого утешения: «Ты создан, как все люди, и уйдешь туда, где покоятся твои деды». Но я... увы!..—

Впрочем, прострем завесу над этими безднами. Они глубоки и страшны, бедный Мюнхгаузен!

Друзья мои, о моем голубом и карем глазе я могу сказать вам только следующее: соки или субстанции, или материи, или специи... Господи, как мне начать, чтобы объяснить вам это наглядно, не разоблачая моего так называемого отца?

Или ингредиенты или зелья...

Знаете ли вы, дорогие мои, что такое смеси?

— Не затрудняйтесь, дорогой учитель,— мягко и сердечно сказала барышня,— я вас вполне понимаю.

— О, Господи, какое счастье постоянно понимать друг друга без слов! — воскликнул Мюнхгаузен и по обыкновению поцеловал барышне руку.— Значит, я могу не говорить дальше об этом предмете и обращусь сейчас же к объяснению второго феномена, чтобы...

— Но мы теряем от этого! — воскликнули в один голос старый барон и учитель.— Потому что мы решительно ничего не поняли.

Мюнхгаузен откашлялся и ответил:

Римское I: 0,208 глицерина + 0,558 воды + 1,010 углекислоты, высушенной при 110° = голубой.

Римское II: 0,035 углекислого натра + 0,312 хлористо-галоидной водородной кислоты + 0,695 глицерина, высушенного при 108° = голубой, склонный к потемнению.

— Поняли?

— Да, это уже яснее! — воскликнули барон и учитель.— Тут хоть есть над чем подумать.

— Итак, довольно о голубом и карем глазе,— сказал Мюнхгаузен.— Что же касается того, что я зеленею, когда другие люди краснеют, то я приобрел это свойство в связи с ужасными, трагическими превратностями в любви. Если для вас не утомительно, то я изложу вам вкратце мои любовные приключения.

— Мюнхгаузен, вы — и любовь, это должно быть нечто величественное! — воскликнула барышня, сверкая глазами.

— Да, фрейлейн, это было исключительное зрелище,— ответил Мюнхгаузен.— И потому оно было особенно исключительным, что я занимался любовью не на авось, как прочие молодые люди, а по определенному плану. С тех пор как я мыслю, я всегда обладал ясным сознанием; все душевные силы хранились во мне порознь, как снадобья в аптечных банках; у меня бывали

дни, когда я мозгом выводил умозаключения, воображением рисовал золотые воздушные замки и в то же время отдавался неопределенным ощущениям. Так мне удалось создать в себе из отдельных составных частей тот могущественный аффект, который обычно захватывает людей врасплох, как ночной пожар, и подготовить себя окончательно для главной страсти своей жизни. Я уже становился взрослым, и мне было ясно, что любовь состоит из чувственности, одухотворенности, сентиментальности, фантазии, эгоизма и самопожертвования,— значит, из шести элементов, которые я должен был выработать в себе один за другим.

В этот период моей удивительно непоседливой юности я жил во дворце одного франконского прелата, который потерял свою епархию в связи с насильственным переворотом в тамошнем управлении, но сохранил большую часть своих доходов и потому мог проводить жизнь в полном удовольствии. Этот старый господин особенно ценил лакомый стол, и мое назначение заключалось в том, чтобы доставлять ему это наслаждение. Я растапливал огонь в очаге, полоскал предназначенные для яств сосуды, пускал в ход машину, к которой был прикреплен вертел, коротко сказать и без обиняков, я был у прелата поваренком, но поваренком философствующим.

Прелат исходил из принципа, что всякая кухарка готовит хорошо только в первые шесть месяцев своей службы, после чего она начинает распускаться. Поэтому он менял кухарку каждое полугодие, и я скоро понял, что если я выдержу у него только три года, то смогу за шесть полугодий изучить с его кухарками все шесть элементов любви. Ибо в этой кухне был установлен обычай, что кухарка должна любить поваренка. Следовательно, не могло быть никаких затруднений.

Подготовительным курсом, как само собой понятно, должна была быть чувственность.

Барышня хотела подняться, но Мюнхгаузен удержал ее и сказал:

— И теперь ничего не бойтесь, высокочтимая: я не сообщу об этом периоде моей жизни ничего такого, чего нельзя было бы выслушать даже в пансионе для благородных девиц. В то время служила на кухне старая Валли, как говорят, внебрачная дочь Люцинды Шлегель. Челядь называла ее «сомневающейся», так как, будучи безобразной и поблекшей, она сомневалась в том, что найдет мужа[40].

Если ее послушать, то можно было действительно подумать, что она вела раньше довольно свободный образ жизни, так как выражалась она в достаточной мере нагло и непристойно. Но кучер, который был в своем роде зубоскал, утверждал, что он знает ее давно, что она смолоду была уродиной и уже поэтому чиста от греха. А что до ее непристойностей, то это, как болезнь у кур, которые кукарекают, не приобретая этими голосовыми упражнениями ничего петушиного.

В наших отношениях мы соблюдали только кухонный этикет; вряд ли мы хоть раз пожали друг другу руку. Тем не менее я узнал от нее, что такое чувственность, т. е. чувство как раз обратное тому, которое я испытывал, видя и слушая скептическую старуху. Правда, она впоследствии распространяла слух, будто мы были с нею в нежных отношениях, будто она называла меня Цезарем[41], так как мое крестное имя звучало слишком прозаично, и тому подобные басни, в которых нет ни слова правды.

Чувственность я изучил, таким образом, теоретически. Валли ушла, и место кухарки заняла Серафина[42]. Она ругательски ругала свою предшественницу, а про себя говорила, что она воплощенное олицетворение женственности, на которую Валли была лишь жалкой карикатурой. Она носила серо-желтую шаль и, к сожалению, уже тоже вступила в «железный век» жизни, хотя и была взята из Молодой Германии. Удивительно женственное существо была эта серафическая Серафина. Но ею одною, так сказать, одним выстрелом, я убил сразу двух зайцев, потому что одолел одновременно и одухотворенность, и сентиментальность. Я получил от нее большую пользу, сэкономив таким образом целое полугодие. Наша связь началась так. Я шпиговал зайца с одной стороны, а она — с другой. Тут она стыдливо подняла глаза, взглянула на меня таким душевным взглядом, что сердце у меня ушло в живот, и спросила:

— Хотите ли вы меня... с позволения сказать, любить, мусье?

На что я отвечал:

— Да, с вашего разрешения, девица Серафина.

После этого мы чмокнули друг друга поверх зайца, и дошпиговали его, упоенные блаженством. Такова была форма заключения подобных союзов в прелатской кухне. Согласно этикету, должна была начать кухарка; поваренку это ни в коем случае не дозволялось; если бы

он осмелился первым сделать любовное предложение, то получил бы от своей любезной здоровенную пощечину.

Свойства Серафины чередовались по дням. А именно: один день она была полна одухотворенности, а другой — сентиментов, и так регулярно изо дня в день. От нее я научился одухотворенности и сентиментальности в любви. Дело это обстояло так. Она любила подкрепиться втихомолку, но много выпить не могла и легко пьянела. В этом состоянии ее осеняла одухотворенность, это значит, что она несла несусветную чушь. На следующий день у нее был катценъяммер; тогда она была полна сентиментов. Я подражал ей во всем, чтобы не дать угаснуть роману. К сожалению, уже в самом начале произошла ошибка. А именно, в тот день, когда у нее был катценъяммер, я основательно приложился к бутылке и одухотворился.

Назавтра, когда она была одухотворена, у меня было похмелье и сентименты, и так все шло шиворот-навыворот, мой катценъяммер совпадал с ее одухотворенностью, а моя одухотворенность с ее сентиментами. Это, разумеется, повело к ссорам, от которых страдали кухарные дела, так что прелат был вынужден рассчитать ее еще до конца полугодия. Это было счастьем. Я никогда не был очень здоровым и должен сказать, что на этом этапе любви я сильно отощал.

Следующую кухарку звали «Ребенок», потому что она сама себя так называла[43]. Почему? Право, не знаю, так как трудно поверить, чтобы она принадлежала к тем, про которых сказано: «Если не обратитесь и не будете, как дети и т. д.». Это была замысловатая штучка! Иногда она пропадала целыми часами; когда же ее бросались искать, то находили сидящей на крыше; порой она, шутя, спускалась на метле в дымовую трубу. Самый хитроумный человек не в состоянии придумать того, что мог наболтать этот Ребенок. Но ее коронный номер... Простите, сударыня, если не ошибаюсь, вас кто-то снаружи зовет.

Барышня поняла этот деликатный намек и вышла, бросив на Мюнхгаузена взгляд, исполненный величайшей благодарности. Он же продолжал:

— А именно, Ребенок мог кувыркаться и ходить колесом, не оскорбляя при этом стыдливости. Как она ухитрялась это проделывать, сказать не могу, но это факт; она переворачивалась вверх тормашками, и все знатоки и авторитеты, глядя на это, утверждали, что она

не оскорбляет женской стыдливости, более того, что ее кувыркания обогащают высшее царство духа.

С нею я изучал фантазию в любви. Наша любовь действительно была чистейшей фантазией: мы любили друг друга, как собака кошку[44], но она писала об этом самые высокопарные вещи, настоящие гимны, а втихомолку ухитрялась щипнуть меня так, что я чуть не кричал. Ходячая легенда права; она утверждает про этих Б — о, к семье которых Ребенок принадлежал, что их озорство начиналось там, где другие озорники кончали[45]. Про Ребенка написана книга, где ее называют олицетворенным средневековьем. Ну-с, середины своего века она действительно достигла, да и красота ее уже не очень обременяла, когда она по-детски отдавалась своим любовным фантазиям. Я был очень рад, когда избавился от Ребенка: вы не можете себе представить, как изнурительны такие сепаратные уроки любви.

Две следующие кухарки, Юле и Иетте, были лучше всех; это были настоящие кухарки, без одухотворенности, без сентиментов, без фантазии[46]. У них я научился эгоизму и самопожертвованию в любви. Например, у Юлии, которая обсчитывала своего хозяина, как могла, но в остальном была честнейшим и добрейшим существом на свете, я отнимал все деньги, которые она клала себе в карман при закупках провизии. Она крала только для меня; честное слово, это было так. Мне же нужны были деньги, так как я хотел купить себе новый кафтан и «Дух кулинарного искусства» Румора, чтобы пополнить свое профессиональное образование. Я всегда говорил ей:

— Давай, давай, милочка, ибо дающий испытывает больше блаженства, чем берущий; я предоставляю тебе блаженство, а сам удовольствуюсь малостью, т. е. деньгами.

Но мне тут ничего не очистилось. Моя пятая возлюбленная, Иетте, прожженная птица, слямзила у меня всю сумму, когда мы расставались, осыпая друг друга клятвами нежности. Ну-с, самопожертвование тоже необходимо; я на нее не в претензии.

Мюнхгаузен сделал передышку, чтобы отдохнуть. Барышня снова вернулась в комнату. После некоторого молчания, во время которого он метнул в небо взгляд, полный юношеской мечтательности, Мюнхгаузен продолжал:

— Ах, что такое обыкновенная, бессознательная,

грубо-неуклюжая любовь по сравнению с сознательной любовью, которая любит по принципам! Прошли годы, кухня осталась далеко позади. «Игра жизни весело смотрела на меня» с зеленого стола, когда крупно понтировали и банку везло. Мюнхгаузен стал мужчиной, мужчиной в полном смысле этого слова. Тем не менее и его подводила коварная фортуна. У меня были маленькие неприятности, которые принудили меня жить инкогнито, далеко, далеко отсюда.

Теперь, друзья мои, я должен познакомить вас с одним свойством, которое связано с моим появлением на свет. Чем старше я становился, тем сильнее развивались во мне некие минеральные или, точнее говоря, металлические реакции, так что я не мог слушать о деньгах без экстатического трепета. Во время моего инкогнито, которое было так строго, что я мог выходить только тайком, я увидел ту, которая соединила во мне все составные части любви в одно великое целое. Она была некрасива, не имела ни ума, ни каких-либо качеств, но... мне кажется, сударыня, что вас опять зовут.

Эмеренция снова встала, снова бросила на барона взгляд, полный благодарности, и произнесла:

— Мюнхгаузен, я вас всегда уважала, но с сегодняшнего дня я молюсь на вас.— После чего она вышла.

— Гром и молния! — воскликнул барон.— Почему вы все время выставляете мою дочь?

— Я щажу ее нежные чувства,— ответил Мюнхгаузен.— Ах, если бы можно было выставить всех женщин из литературы, всех этих маркиз, как крещеных, так и египетских[47], вы увидели бы, как опять зацвели у нас здоровая шутка, юмор и ирония!

Как сказано, моя возлюбленная не была ни красива, ни умна, но зато она сообщила мне, что ее ожидает богатейшее наследство. И как только прозвучали эти слова, во мне проснулись все металлические реакции; можете мне верить или нет, но я почувствовал внутренний толчок, и во мне единым разом расцвели, как шесть дамасских роз на одном стебле:

1. Чувственность
3. Сентиментальность
2. Одухотворенность } любви
4. Фантазия
5. Эгоизм
6. Самопожертвование

Я всегда впадаю в лирику, когда меня охватывает блаженное воспоминание об этих днях; но черт меня подери, если я не любил свою мнимую богачку, как еще никто никогда не любил женщины! Я был страстен, но не без сентиментальности, ибо я беспрерывно плакал, так что даже нажил себе слезную фистулу. Я расточал одухотворенность, так что любо-дорого было слушать; как часто я восклицал:

— Рука об руку с тобой я чувствую целую армию в своем кулаке! Во мне хватит героизма выбросить всю эту старую опару столетья и выгнать сов из дупел, где они, моргая глазами, все еще сидят на своих залежавшихся тухлых яйцах, из которых никогда не вылупится живая действительность.

— Мюнхгаузен! — вспылил владелец замка.— Рассказ начинает принимать неприятный оборот. Все старое хорошо, и надо уважать законные права.

После этого он тоже вышел.

— Моя история должна быть закончена, и так как никого другого нет, то я доскажу ее вам, г-н учитель,— сказал гость замка Шник-Шнак-Шнур.— Как два потока, протекали самопожертвование и эгоизм сквозь наш роман. Я отдал ей свое сердце, стоившее больше миллиона, и получил от нее не один луидор. Дивная, приятная талия жизни, в которой оба ставят свои ставки, чтобы, проигравши, выиграть. Но чтобы и фантазия не ушла с пустыми руками, я сочинил ей прелестную сказку, будто я происхожу из богатого княжеского дома, и так часто повторял ее, что, наконец, и сам в нее поверил.

Учитель закинул голову назад, точно его хватили по лбу. Его губы вздулись наподобие пузырей; вид у него был крайне недовольный.

Но Мюнхгаузен в своем увлечении не обращал внимания на это обстоятельство.

— Чудесный сон! Зачем я от него пробудился! — воскликнул он.— Ведь я бы охотно перенес все: охлаждение возлюбленной, известие, что она до меня любила других и всякие разоблачения в ней и о ней. О, зачем, судьба, ты испытала меня так жестоко? Зачем коснулась места, где я был уязвим, раз ты знала о моих внутренних металлических реакциях?

И день настал...
пускай о нем
в ночи ведут беседу духи ада.

И день настал, когда жуткие личности вступили в мою жизнь, угрожающие силы затянули меня в таинственную сеть и принудили к жестокой разлуке. В эту потрясающую минуту она сообщила мне, среди прочих мелочей, которые были последствием наших отношений, самую ужасную весть: наследства никакого не было, так как она узнала, что отец ее беден, как церковная мышь. Удар попал прямо в сердце. Я почувствовал, как соки во мне сворачиваются, как они то смешиваются, то растворяются по новым химическим законам. Я весь задрожал и хотя вскоре вернул себе внешнее самообладание, но все же почувствовал, когда должен был покраснеть, что по моим щекам пробежало нечто чуждое. Мои элементы пришли в смятение, и из этого хаоса образовались во мне затем совершенно новые гуморальные группы[48].

С того дня я всегда был бледен, а когда гнев, страх или стыд пригоняли мне кровь к лицу, я зеленел. Это позеленение произошло от того, что, благодаря страшному признанию моей шестой и главной возлюбленной, я утерял свое сродство с благородными металлами и место их у меня в крови заступил один из неблагородных, а именно медь[49]. Согласно новейшим исследованиям, медь содержится в теле каждого человека; но при моем зачатии было употреблено слишком много меди и излишек бросился мне в кровь. Когда я пускаю себе кровь, сгустки получаются совершенно зеленые. Я применял всевозможные средства, чтобы снова привести себя в норму, однако тщетно. Всякому приятнее краснеть, чем зеленеть. Благодаря купоросности моей крови я лишен многих невинных удовольствий. Так, например, мне нельзя есть ничего кислого, ни щепотки салата, а если я как-нибудь забудусь в этом отношении, то медная зелень покрывает мне все тело, как манна аббатису Агнессу из Монте Пульчано. Это очень тягостно. Берцелиус из Стокгольма, исследовавший меня много раз, предостерегал меня от оловянных и цинковых рудников, потому что олово и медь дают колокольную бронзу, а соединение цинка с медью — томпак; он рекомендовал мне избегать рудничных газов, так как они снова могли вызвать во мне металлические композиции. Вы понимаете, как неприятны были мне эти запреты при моей любознательности и страсти к путешествиям, тем более, что я тогда собирался осмотреть цинковые рудники на Раммельсберге близ Гослара, и оттуда отправиться в Корнуэльс на оловянные рудники. Я потом все же пренебрег предостереже-

нием и посетил цинковые рудники на Раммельсберге. Рудник был плохо проветрен, меня бросало в жар и в пот. Когда я вместе со штейгером снова вернулся на свет божий, он с удивлением посмотрел на меня и сказал:

— Сударь, вы, наверно, испачкались свинцовой охрой, у вас оранжевое лицо.

Он хотел обтереть меня; но мне вспомнилось предостережение, и я приказал подать себе ручное зеркало. И что же! Лицо мое действительно было оранжево-желтым, как зрелый апельсин. В цинковом руднике моя кровь стала томпаковой. Мне было стыдно перед штейгером, и я сказал ему, что не знаю, в чем тут дело, но что вытирать бесполезно. Я вышел из рудника весьма пристыженный, а штейгер вместе со всеми старыми и молодыми рабочими, крепильщиками и забойщиками, смотрели мне вслед с удивлением и насмешкой.

От легкой примеси цинка я, впрочем, благополучно избавился, проделав курс плавильного лечения, но от поездки в Корнуэльс мне пришлось, к величайшему прискорбию, отказаться. Что было бы, если бы оловянные пары превратили меня в колокольную бронзу и я начал бы звонить, не имея привилегии?

Такая металлическая игра природы в человеке всегда в высшей степени неприятна. Медь в крови — все равно, что медь в кармане. Но это роковое обстоятельство вызвало во мне такое отвращение к любви, что я и слышать о ней не хотел, хотя графинь, княгинь и принцесс мог иметь хоть отбавляй. Но дамы высшего света обладают в любви самыми странными вкусами. Может быть, поэтому весь дамский мир бегал за мной, где бы я ни появлялся. Они поворачивались спиной к прекраснейшим Адонисам в венгерках, уланских колетах и посольских фраках, когда я, скромная партикулярная персона, невзрачный ученый, появлялся со своим пентелийским колером лица и зеленел. Каких только объяснений я не наслушался, каких только намеков я не пропустил мимо ушей, сколько несчастий я натворил! В Дюнкельблазенгейме я ввел в моду зеленую косметику, так как правящая герцогиня сказала, что в моем лице явился вечнозеленый бог юности, и все придворные поняли этот намек. Дело в том, что в Дюнкельблазенгейме все порядком посерели; теперь же они вымазались в зеленый и считали, что вернули молодость. В другом месте принцесса Меццо Каммино да Наполи ди Романья валялась у меня в ногах и молила христом-богом, чтоб я дал ей малейший эспе-

ранс на мое сердце. Мне было жаль ее от всей души — это была отменная особа — но, ожегшись на молоке, дуешь на воду! Я вежливо поднял ее, подвел к софе и сказал:

— Ваша светлость, из этого ничего не выйдет. Мне раз навсегда не везет в любви, и кто знает, какие пертурбации вы во мне вызовете. Мне жаль вас, дорогая светлость, но своя рубашка ближе к телу.

Но самое большое отвращение я питаю к моей тогдашней шестой, или главной, возлюбленной. Тысячу раз я говорил себе: ведь она не виновата в том, что не была богатой наследницей, но... природы не переспоришь. А если купорос постоянно, постоянно напоминает вам о разочарованиях в ваших лучших надеждах, это тоже не шутка! Человек остается человеком. Я думаю, что, если бы я снова встретил свою главную возлюбленную, я не сумел бы сдержаться, а между тем, я недурно владею собой.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Трое обитателей замка дают барону фон Мюнхгаузену разумные советы; он же остается загадкой отчасти даже для слуги Карла Буттерфогеля

Когда Мюнхгаузен окончил свой рассказ, он спросил учителя, почему старый барон ушел и все еще не возвращается?

— Г-н фон Мюнхгаузен,— ответил учитель,— хотя вы нелюбезнейшим образом насмеялись в вашей любовной истории над самыми дорогими мне убеждениями, но таков мой душевный склад, что я не злобствую ни на кого и готов выносить несправедливости, не стремясь за них отомстить. Несмотря на ваши сатирические намеки, я хочу дать вам относительно нашего хозяина дружеский совет.

— Какие еще сатирические намеки на вас, учитель?

— Вы изволили сказать, что солгали той особе относительно вашего княжеского происхождения. Я же позволю себе заметить, что, когда я говорю то же о себе, я нисколько не лгу, тем более что я всем сердцем ненавижу ложь.

— Заверяю вас, г-н учитель, что я и в помыслах вас не имел. Великий боже, неужели и в этой пустыне рассказчик не может уйти от толкований?

— Оставим пока в покое как это, так и некоторые другие обстоятельства,— сказал учитель.— Но вот вам мой совет. Наш старый хозяин твердо и непоколебимо вбил себе в голову, что вернутся прежние порядки, а вместе с ними и его звание, которое он считает принадлежащим ему по рождению. В этом отношении он ненормален, и меня уже давно мучит опасение, что тайносоветническая идея-фикс может внезапно превратиться в ясно выраженное безумие, если мы не будем его щадить. Вы же — простите мне мою смелость, г-н барон,— слишком часто касаетесь больного места, как вы сделали и сегодня вечером. Было бы в высшей степени печально, если бы этот во всех остальных отношениях превосходный и душевно здоровый человек был сознательно доведен до безумия такими нормальными людьми, как мы.

Человеческая душа, так же как и тело, имеет определенный предел для своего развития,— продолжал учитель.— Дойдя до него, человек духовно останавливается, так же как он перестает физически расти после двадцати лет. Поэтому старость не понимает молодости, и все необычное находит отклик у тех, кто еще переживает период духовного роста. Если человек укладывается в установленную для него мерку длины и ширины, то он не сходит с ума, но останавливается у достигнутого предела, в противном же случае с ним бывает то же, что с тем, кого задержали в его развитии: избыток сил отдает внутрь, и придурь ударяет ему в голову. Наш старый хозяин был безусловно предназначен сделаться тайным советником в Верховной коллегии; там бы он остановился или, вернее, уселся и, как вполне разумный человек, творил бы дело своих дедов. Но так как он туда не попал, то тайносоветническое звание стянуло ему, так сказать, душу узлом; если оставить этот узел в покое, то барон, вероятно, проживет спокойно свою старость, если же его дергать, то может возникнуть неугасимый пожар, который перебросится и на здоровую часть мозга.

Барон Мюнхгаузен подивился мудрости учителя и обещал следовать его совету. После этого Агезилай зажег ручной фонарь и направился на Тайгет, убежденный в том, что сделал благое дело.

Мюнхгаузен разыскал старого барона, который разгуливал при луне позади замка. Он хотел попросить у него извинения, но тот предупредил его и сказал:

— Оставьте глупости; я давно простил вам обиду, так

как знаю, что вы не хотели меня оскорбить. К тому же, все вы прочие и не в состоянии понять, что значит быть предназначенным по рождению к такой чести, или к такому преимуществу, или к такому званию, как пост тайного советника. Вы говорите об этом, как слепой о красках, и потому нельзя обижаться на вашу болтовню. Я остался в парке, потому что, по правде говоря, я не большой любитель романических дел; я надеюсь, что вы будете так любезны и объясните мне ваше позеленение как-нибудь с глазу на глаз, и вообще, милейший Мюнхгаузен, было бы хорошо, если бы вы, ради моей дочери, поменьше или даже совсем не касались любовных тем.

У моей дочери в этом отношении не хватает одного винтика,— продолжал старый барон, понижая голос и придвигаясь к Мюнхгаузену.— Вообще нехорошо, когда женщины не выходят замуж или не имеют детей: ведь, в конце концов, эти бедные существа предназначены только для ласки, и при безбрачии это чувство выливается у них в писание скучных, душещипательных романов или в возню с попугаями и мопсами, что невыносимо для окружающих. Моя дочь не держит ни попугаев, ни мопсов, но зато завела себе мысленного возлюбленного, с которым общается так, как с живым мужчиной. В особенности при луне, вот как сегодня, она бывает до крайности возбуждена, и потому, дорогой мой, не обостряйте этого состояния; подумайте только, каким бы это было горем для меня, старика, если бы ее болезнь превратилась из этих тихих и в общем безвредных бредней в буйное помешательство.

Мюнхгаузен не успел дать отцу успокоительного заверения, так как в тисовой беседке за Гением Молчания раздался шорох, и оттуда появилась фрейлейн Эмеренция, слышавшая весь разговор.

— Ах ты, черт! — воскликнул старый барон.— Вот это чисто! — и быстро удалился в замок.

Эмеренция подошла к Мюнхгаузену и сказала мягким голосом:

— Это обычное явление, что высшие натуры принимаются окружающими за сумасшедших, и слова моего отца не могут меня обидеть. Да простится ему, и да будет от меня далека мысль воспользоваться своим правом возмездия и обратить ваше внимание на его фантазии.

Но все же я у вас в долгу, дорогой учитель, за ту ни с чем не сравнимую деликатность, с которой вы сегодня два раза удалили меня из комнаты. Обходительное об-

ращение так ласкает душу. Свою благодарность я выражу вам предупреждением. Берегитесь учителя, не раздражайте его безумия замечаниями, которые он может отнести к себе или к своей навязчивой идее. Я имею основания думать, что болезнь этого человека прогрессирует, так как он уже варит так называемый черный суп без всякой нужды и спит под открытым небом на своем шутовском Тайгете — все это признаки внутреннего брожения. Какое несчастье, если бы он, неожиданно взбесившись (что весьма мыслимо), заразил отца, и в них проявилась бы исполинская сила сумасшедших. Мы, нормальные, не только не смогли бы справиться с ними, но даже спастись от них.

Барышня продолжала:

— В часы, когда я не предавалась чувствительности, я много думала о безумии и вот к каким выводам я пришла. Всякое безумие есть, в сущности, болезненная попытка природы расширить возможности индивидуума до безграничности и дать ему блага, чувства и наслаждения выше тех пределов, которые ставят ему самоотречение и покорность судьбе. Поэтому умопомешательство встречается относительно чаще среди низших сословий, которые многого лишены, и заставляет их воображать себя королями, императорами, самим господом богом, или обладателями несметных богатств. Даже боязнь врагов и преследователей, которая часто принимает формы сумасшествия и которая, на первый взгляд, противоречит моему определению, на самом деле только подтверждает его. Такие бедные, невзрачные людишки нередко испытывают скрытое, гнетущее чувство собственной незначительности; достаточно, чтобы какой-нибудь случай или несчастье потрясло их душу, и они начинают приписывать себе воображаемую значительность, оспариваемую кучей тайных врагов, которых рисует им блуждающая фантазия. Поэтому, когда князья или знатные персоны теряют рассудок, они, наоборот, впадают в тупоумие и апатию или воображают какую-нибудь глупость, например, что они из стекла, что у них воробей в голове и т. п. Это вполне понятно: они уже обладают всем, что может пожелать себе человеческое сердце, поэтому заболевшая душа должна сосредоточиться на неоформленном или питаться представлениями необычайными, далекими от желаний и потребностей.

Применить эти общие замечания к учителю очень легко. Природа одарила его самосознанием, не вязав-

шимся с его ничтожным служебным положением, и эту связь он воссоздал наподобие воздушного замка при помощи тщеславных мечтаний о спартанском происхождении.

Эти речи еще больше удивили Мюнхгаузена, чем остальные, слышанные им в тот вечер. Он отправился к себе в комнату, понюхал воздух, что он часто делал, чтоб узнать, пригоден ли он по своему составу для его целей, сел на кровать и позволил разуть себя слуге Карлу Буттерфогелю, который принес между тем воду для умывания и успел надеть на своего господина ночной колпак.

— Карл,— сказал Мюнхгаузен,— мы попали с тобой в сумасшедший дом. И старый барон, и барышня, и учитель — все свихнулись. Каждый из них каким-то чудодейственным образом имеет ясное представление о положении остальных; но особенно удивительно то, что они отлично рассуждают о безумии. Все же будь осторожен, потому что такие душевные состояния могут обостриться при малейшем поводе.

— Буду,— ответил Карл Буттерфогель, снимая брюки со своего господина.— За барышней я давно приметил; она иногда так замысловато стреляет в меня глазами. Но почему, ваша милость, мы ушли оттуда, где эти три барина содержали нас в такой холе и делать вам ничего не надо было, как только позволять себя изучать? И зачем мы залезли в этот проклятый замок, где и мышь досыта не наестся. Я валяюсь в темной дыре, куда не светит ни луна, ни солнце, и будь я мазуриком, если я за эти три дня хоть раз мяса понюхал! Да еще клопы у меня в логове; каждое утро встаю такой искусанный, точно меня шесть охотничьих собак теребило. Уедемте отсюда, ваша милость, и чем раньше, тем лучше, как ни охотно я вам служу, а долго я здесь не выдержу.

— Я останусь здесь до тех пор, пока того потребует причина, которая меня сюда привела,— с достоинством изрек барон.

— Причина это та, что вы упали с лошади,— сказал Карл Буттерфогель,— ну а теперь она кончилась.

— О, глупец и слепец! — воскликнул гневно Мюнхгаузен,— ты только и видишь, что падение с лошади, и не замечаешь...

— Чего, ваша милость?

— Ничего! — сердито возразил барон, бросился на кровать, так что сколоченные учителем козлы затрещали, и тотчас же заснул.

Карл Буттерфогель стоял посреди комнаты с платьем своего господина на руках и сказал, когда услышал его храп:

— Очень нехорошо, что барин не хочет мне сказать, зачем мы торчим в этой распроклятой дыре? Жалованья не видать: жди, говорит, пока я сгущу воздух, как они там в Париже делают. И при этом даже полного доверия тебе нет! Я ведь уже знаю, что с рожденьем у него нечисто; так почему же он не говорит мне, что он здесь затевает?

ВТОРАЯ КНИГА

ДИКИЙ ОХОТНИК

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Старшина

Во дворе между амбарами и прочими службами стоял с засученными рукавами пожилой Старшина и внимательно смотрел на весело пылавший костер, разложенный на земле между камнями и колодами. Он поправил стоявшую рядом маленькую наковальню, приготовил молот и клещи, пощупал концы больших колесных гвоздей, вынутых им перед тем из кармана кожаного передника, и положил их на дно повозки, колесо которой собирался чинить; затем он аккуратно повернул колесо вверх тем местом, где оторвался обод, и укрепил его в этом положении, подставив для устойчивости несколько камней.

Посмотрев еще несколько мгновений на пламя — причем его светлые и острые глаза ни разу не моргнули,— он быстро въехал клещами в огонь, вытащил оттуда раскаленный докрасна кусок железа, положил его на наковальню и хватил по нему молотом так, что искры засверкали; затем он приложил все еще красный кусок к колесу там, где не хватило обода, прижал его двумя могучими ударами и вбил гвозди в надлежащие места податливого от накала железа.

Еще несколько сильных и метких ударов придали приложенному куску надлежащую форму. Старшина оттолкнул ногой подставленные под колеса камни, ухватил повозку за дышло, чтобы испытать исправленное колесо,

и, несмотря на тяжесть, потащил ее без всякого напряжения поперек двора, от чего куры, гуси и утки, спокойно гревшиеся на солнце, с шумом разлетелись перед дребезжащей повозкой, а несколько свиней, хрюкая, выскочили из вырытых ям.

Два человека, из которых один был лошадиным барышником, а другой рендантом, т. е. сборщиком податей, сидели за столом под большой липой перед домом, потягивая из стаканов и наблюдая за работой крепкого старика.

— Право, Старшина,— воскликнул барышник,— из вас вышел бы отличный кузнец.

Старшина вымыл руки и лицо в ведре, стоявшем подле маленькой наковальни, затем залил огонь и сказал:

— Дурак, кто платит кузнецу то, что может заработать сам.

Он поднял наковальню, как перышко, и отнес ее вместе с молотом и клещами под маленький навес между домом и амбаром, где висели, лежали и стояли верстак, пила, стамеска и прочие инструменты плотничьего и столярного ремесла, а также дерево и доски всякого рода.

Пока старик возился под навесом, барышник сказал сборщику:

— Поверите ли вы, что он собственноручно чинит все стропила, двери, пороги, ящики и сундуки в доме, а при случае изготовляет и заново. Я думаю, что при желании он мог бы сойти за столяра и справить настоящий шкап.

— В этом вы ошибаетесь,— сказал Старшина, который между тем, сняв передник, вышел из-под навеса в белой полотняной блузе и услыхал конец фразы. Он подсел к столу; служанка принесла ему стакан, и, налив гостям, он продолжал:

— Для балки, для двери, для порога достаточно пары здоровых глаз и крепкого кулака; но столяру этого мало. Однажды я позволил высокомерию соблазнить себя и захотел, как вы сказали, справить настоящий шкап на том основании, что, плотничая, я держал в руках рубанок, долото и линейку. Я мерил, рисовал и резал дерево; пригнал все одно к одному, а когда захотел составить и склеить, вышло шиворот-навыворот. Стенки косились и разлезались, отверстие спереди было слишком велико, а ящики болтались в гнездах. Вы можете видеть эту штуковину, если хотите; я поставил ее на чердаке,

чтобы она предостерегала меня от искушения, так как человеку всегда полезно иметь перед глазами напоминание о собственных слабостях.

В это время из находившейся напротив конюшни раздалось веселое ржание. Барышник откашлялся, сплюнул, выбил огонь, пустил облако дыма в лицо сборщику, с затаенным желаньем посмотрел в сторону конюшни и задумчиво опустил глаза. Затем он снова сплюнул, снял с головы лакированную шляпу, вытер рукавом лоб и сказал:

— Все еще душно.

После этого он отцепил от пояса кожаный кошелек, бросил его на стол, так что монеты в нем забряцали и зазвенели, отстегнул ремешки и отсчитал двадцать золотых, при виде которых глаза сборщика засверкали; Старшина даже не взглянул на них.

— Вот деньги! — крикнул барышник, ударив кулаком о стол.— Получу я за это гнедую кобылу? Видит бог, она не стоит ни одного геллера больше.

— В таком случае оставьте деньги при себе, чтобы не иметь убытка,— спокойно возразил Старшина.— Двадцать шесть, как я сказал, и ни одного штивера меньше. Мы с вами давненько знакомы, г-н Маркс, и вы могли бы знать, что настаивать и торговаться со мной бесполезно, так как я не отступаюсь от своего слова. Я назначаю свою цену и никогда не запрашиваю; пусть хоть ангел с трубой сойдет с неба, он не получит гнедой дешевле двадцати шести.

— Тьфу, пропади пропадом! — воскликнул барышник со злобой.— Да что такое торговля, если не запрос и уступка? Я собственного брата три раза переспрошу; не будь запроса на свете, то и всякому делу конец.

— Напротив,— возразил Старшина,— дело потребует меньше времени и уже по одному этому будет выгоднее; вообще от торговли без запроса обе стороны только выигрывают. Я всегда замечал, что при запросе люди горячатся и под конец никто уже не знает, что говорит и делает. Нередко, чтобы положить конец грызне, продавец уступает товар ниже той цены, которую он про себя наметил, да и покупатель иной раз попадает впросак в разгаре надбавок. Если же об уступке не может быть речи, то оба сохраняют спокойствие и оберегают себя от убытка.

— Вы только что рассуждали так благоразумно, что теперь, наверное, лучше взвесите мое предложение,—

вмешался в разговор сборщик.— Как сказано, правительство хочет перевести зерновой сбор со здешних дворов на деньги. Весь убыток ляжет на него; ведь зерно остается зерном, а деньги сегодня стоят столько, а завтра столько; но такова уж его воля: оно хочет избавиться от возни со складами. Поэтому не откажитесь подписать новый, выписанный в деньгах документ, который я привез для этой цели.

— Ни в коем случае,— с живостью ответил Старшина.— У нас существует здесь старое поверье, что, кто отягчит свой двор каким-либо новым бременем, тот в наказание будет бродить по этому двору после смерти. Сбывается ли это, сказать не могу, но одно я знаю наверняка: много столетий Обергоф вносил зерно в божью обитель, так пусть удовольствуется этим и казначейство, как довольствовался монастырь. Разве у меня на ниве деньги растут? Хлеб растет. Так откуда же я вам возьму деньги?

— Вы же на этом не пострадаете! — воскликнул сборщик.

— Все должно остаться по-старому,— торжественно сказал Старшина.— Хорошее было время, когда в церкви еще висели таблицы со списками крестьянских повинностей и налогов. Тогда все стояло крепко, и никогда не бывало никакой грызни, как теперь случается чаще, чем нужно. А после стало считаться, что таблицы с курами, яйцами, мерами и кулями нарушают благолепие. Напротив, они вросли в службу и в проповедь, как аминь и благословение; а что до меня, то, когда я смотрел на них, в особенности в третьей части, при поучении, мне приходили в голову самые назидательные мысли, например: «Не превозносись, ибо здесь сказано, сколько ты должен ржи по оброку и сколько овса для замка» или: «Если в миру ты несешь тягло, то здесь, в доме божьем, ты свободен» и т. п. А когда место опустело, то мысли стали разбегаться врозь в поисках таблицы, и проходит порядочно времени, покуда люди снова начнут как следует слушать пастора!

Он встал и направился в дом.

— Старый живодер! — воскликнул барышник, когда его контрагент исчез из виду, и нахлобучил на голову лакированную шляпу.— Если он чего не захочет, то сам черт его не заставит. Хуже всего то, что у него лучшие лошади в округе и что, по правде говоря, он ими недорого торгует!

— Косный, упорный народ в этой местности,— сказал сборщик.— Я только недавно перевелся сюда из Саксонии и чувствую всю разницу. Там люди живут вместе и уже поэтому должны быть учтивы, уступчивы и предупредительны друг с другом. А здесь каждый сидит на своем клочке, у каждого свой лес, свое поле, свой луг, точно кроме него никого и нет на свете. Поэтому они и держатся так крепко за свои старые причуды и дурачества, которые везде давно уже отжили. Сколько я возился здесь с мужиками из-за этого глупейшего перевода податей на деньги, но этот, пожалуй, будет похуже всех.

— Это оттого, г-н рендант, что он самый богатый,— заметил барышник.— Меня удивляет, что вам удалось поладить с мужиками без него, потому что он у них и генерал, и стряпчий, и что хотите; они во всех делах следуют за ним. Он ни перед кем шеи не гнет. Тут как-то проезжал один принц; как он перед ним шляпу снял! Можно было подумать, что он хочет сказать: «Ты такой-то, а я такой-то». Сукин сын! Двадцать шесть пистолей за кобылу! Это несчастье, когда мужик разбогатеет. Когда вы пересечете дубовую рощу, вы с добрых полчаса идете его полями. И все обработано на славу. Позавчера я ехал со своим табуном мимо его ржи и пшеницы, так, накажи меня бог, только головы лошадей торчали из колосьев! Я думал, что утону.

— Откуда у него все это? — поинтересовался сборщик.

— Да здесь много таких дворов! — воскликнул барышник.— Их называют обергофами; не будь я Маркс, если они не заткнут за пояс иного дворянина. Земля здесь издревле не дробилась. Трудолюбив и бережлив он всегда был; в этом нельзя отказать старому негодяю. Вы видели, как он потел, лишь бы отнять у кузнеца пару грошей. Теперь дочь его тоже выходит за молодого толстосума; а сколько за ней приданого! Я проходил мимо горницы, где оно сложено: льна, пряжи, простынь, белья и всяких финтифлюшек — до потолка. Да еще старый сквалыга дает ей шесть тысяч талеров в придачу. Да вы только взгляните вокруг, прямо точно у графа.

Говоря это, недовольный барышник незаметно запустил руку в кошелек и с мнимым равнодушием прибавил к двадцати золотым еще шесть. Старшина снова появился в дверях, и тот, не глядя на него, пробурчал:

— Вот они, ваши двадцать шесть, раз уж иначе ничего не выходит.

Старый крестьянин лукаво улыбнулся и сказал:

— Я знал, что вы купите лошадь, потому что вы подыскиваете для ротмистра в Унне коня за тридцать пистолей, а моя гнедая для вас точно заказана. Я и в дом-то ходил только за весами, так как предвидел, что вы за это время одумаетесь.

Старик, движения которого бывали то очень быстры, то очень выдержанны, в зависимости от того, что он делал, присел к столу, медленно и тщательно вытер очки, надел их на нос и принялся аккуратно взвешивать монеты. Две или три из них оказались, по его мнению, слишком легкими, по поводу чего барышник поднял неистовый крик. Но Старшина с весами в руках спокойно и невозмутимо выслушал его, пока тот не заменил забракованные монеты полноценными. Наконец дело было покончено, продавец тщательно завернул деньги в бумагу и отправился вместе с барышником в конюшню, чтобы передать ему лошадь.

Сборщик не стал дожидаться их возвращения. «С таким чурбаном ничего не поделаешь,— сказал он про себя,— но попробуй только не заплатить нам в срок, мы тебя...» Он пощупал документы в кармане, удостоверился по их хрусту, что они на месте, и удалился со двора.

Из конюшни вышли барышник, хозяин и работник, который вел за собой лошадь покупателя и гнедую кобылу. Лаская последнюю на прощание, Старшина сказал:

— Всегда бывает жалко, когда продаешь животное, которое сам выходил; да что поделаешь? Ну, а теперь держись хорошо, гнедко! — воскликнул он, в шутку ударяя лошадь по округлым, лоснящимся бедрам.

Барышник между тем уселся верхом. Благодаря длинной фигуре, короткой куртке, широкополой лакированной шляпе, желто-гороховым штанам на худых чреслах и высоким кожаным гетрам, а также фунтовым шпорам и хлысту, он выглядел, как грабитель с большой дороги. Он ускакал, не прощаясь, с ругательствами и проклятиями таща за собою гнедую на веревке. Он ни разу не обернулся на двор, но зато кобыла часто поворачивала голову и жалобно ржала, как бы жалуясь на то, что хорошие дни для нее миновали. Упершись руками в бока, Старшина постоял вместе с работником, пока всадник и лошади не исчезли за фруктовым садом. Тогда работник сказал:

— Скотина сокрушается.

— А почему бы и нет,— ответил Старшина,— ведь мы тоже сокрушаемся. Пойдем в закром, отмерим овес.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Совет и участие

Когда он вместе с работником направился к дому, он увидел, что место под липами было занято новыми посетителями. Но эти выглядели совсем иначе, так как там сидело трое-четверо крестьян, его ближайших соседей, а рядом с ними девушка, прелестная, как картинка. Эта прелестная, как картинка, девушка была белокурая Лизбет, которая переночевала в Обергофе.

Я не возьму на себя смелости описывать ее красоту: ведь это свелось бы к розовым щекам и голубым глазам, а эти прелестные вещицы, как бы свежи они ни были в действительности, выглядят довольно затасканными на бумаге. Поэтому пусть каждый читатель вообразит себе свою прежнюю или теперешнюю возлюбленную, а каждая читательница взглянет в зеркало или вспомнит, как она выглядела под венцом, и тогда Лизбет, как живая, предстанет перед всеми.

Не обращая внимания на длинноволосых соседей в блузах, Старшина прямо направился к своей цветущей гостье и сказал:

— Хорошо ли выспались, мамзель?

— Дивно! — ответила Лизбет.

— А что у вас с пальцем? Он у вас завязан? — спросил старик.

— Ничего,— ответила молодая девушка и покраснела. Ей хотелось переменить разговор.

Но Старшина не дал себя провести, он взял руку с перевязанным пальцем и воскликнул:

— Ничего страшного?

— Не стоит и разговаривать,— возразила Лизбет.— Когда я вчера помогала вашей дочери шить, я заехала булавкой в палец, и пошла кровь, вот и все.

— Эге! — сказал старик, улыбаясь.— И, как я вижу, это безымянный палец. Хороший признак. Знаете ли вы, что, когда девица помогает невесте шить приданое и при этом уколет безымянный палец, это означает, что она еще в том же году сама станет невестой? Ну, что же, от души поздравляю с красивым женихом.

Крестьяне рассмеялись, но белокурая Лизбет не смутилась, а весело воскликнула:

— А знаете ли вы стих о разборчивой невесте?

Везде, где бог цветы лелеет
И голых птенчиков жалеет,
Там вотчина моя и дом.
Кто хочет быть моим дружком,
Пусть едет свататься к Лизбете
Четверкой цугом и в карете.

— И,— вставил Старшина,—

Пусть словит он меня, как мышь,
Пусть в сеть поймает, как леща,
Пускай подстрелит, словно лань...

Вблизи раздался выстрел.

— Слышите, мамзель, как совпало! — воскликнул старик.

— Бросьте пустяки болтать, Старшина! — сказала девушка.— Я пришла к вам за советом относительно недоимок, так дайте мне его без шуток и смешков.

Старшина уселся поудобнее, чтобы слушать и отвечать, а Лизбет вынула памятный листок и прочла имена крестьян, которых она обошла в предыдущие дни, чтобы взыскать недоимки в пользу своего приемного отца. При этом она рассказала Старшине, под какими предлогами они уклонялись от уплаты долга. Один утверждал, что давно заплатил, другой, что он здесь новый человек, третий ни о чем не знал, четвертый сделал вид, что не слышит, и т. д., так что бедная девочка ушла отовсюду с пустыми руками, как птичка, которая зимой летает за кормом и не находит ни семечка. Тот же, кто подумает, что эти напрасные старания привели ее в огорчение, ошибется; она нисколько не была подавлена и весело рассказывала про свои тяжелые странствования.

Старшина записал мелом на столе несколько названных ею имен и сказал, когда она закончила чтение:

— Что касается остальных, то они живут не у нас и над ними я не имею власти; если это такие дурные люди, что они отрекаются от своих долгов и обязанностей, то просто вычеркните этих мошенников, ибо судом вы с мужика ничего не возьмете. Что же до тех, которые живут в нашем округе, то тут я помогу вам вернуть свое; для этого у нас еще есть средства.

— Ого! — сказал ему один из крестьян вполголоса.— Вы говорите так, точно вы все еще держите веревку в рукаве[1]. Когда на «тайность» позовете?

— Молчите, Баумшульте[2], смотрите, как бы эти неуважительные слова вам не повредили,— серьезно заметил старик.

Тот смутился, опустил глаза и не возразил ни слова. Лизбет поблагодарила Старшину за обещанную помощь и спросила про дороги и тропинки к остальным, записанным в ее памятке крестьянам. Старшина указал ей тропинку к ближайшему двору через Пасторский Луг, мимо трех мельниц, за Голленские горы. Когда она надела соломенную шляпку, взяла трость, поблагодарила за гостеприимство и собралась пуститься в дорогу, он попросил ее устроиться так на обратном пути, чтобы вернуться к свадьбе и остаться еще на денек; тогда он надеется заручиться обещанием на уплату недоимок, а может быть, дать ей на руки и самые деньги.

Когда стройная и благородная фигура молодой девушки исчезла за последними ореховыми кустами фруктового сада, один из крестьян сказал:

— Если бы старый барон держал ее раньше в управительницах, он не обеднел бы так и не боялся бы, что крыша ему на голову свалится. Нехорошо, однако, что они позволяют девочке бегать одной по дорогам.

— Не вижу ничего нехорошего,— возразил Старшина.— Я еще не видел, чтобы с порядочной девушкой случилось что-нибудь негожее. Честная девица может попасть к разбойникам и убийцам, к бродягам и пьяницам, они ей ничего не сделают. Прошлой осенью, когда здесь солдаты стояли лагерем, моя дочь наткнулась в полях на марширующий полк. Никто ее пальцем не тронул; а когда она устала, они ее вежливо подвезли на тележке и ссадили у самого двора. А женщина, к которой мужчины привязываются, и сама, должно быть, доступный товарец.

После этого крестьяне заговорили о предмете, который привел их к Старшине. Новая дорога, проектируемая для соединения с большим шоссе, грозила им потерей нескольких маленьких лугов, через которые она должна была проходить, если бы намерение осуществилось. Хотя эта постройка и была на пользу всем окрестным дворам, однако крестьяне стремились всячески ей воспрепятствовать и пришли посоветоваться с владельцем Обергофа, как от нее избавиться. Старшина действительно принял это обстоятельство близко к сердцу и указал им наилучшие средства и пути, как, опираясь на точные предписания закона, отвертеться от требований государства или,

по крайней мере, оттянуть время. Они должны были сказать, что не могут обойтись без этих участков, так как это грозит им полным разорением, и назначить за них непомерную цену; кроме того, он советовал им ткнуться к тому и другому, от кого дело зависело: если они поведут себя с ними умело, то те могут заявить, что дорогу следует провести в другом месте. Все это, казалось, носило совсем другой характер, чем тот, который мы отметили за Старшиной в его обращении с людьми. Между прочим, из его разговора с соседями выяснилось, что в отношении мероприятий общественной пользы эти крестьяне и государство находились как бы в постоянном состоянии войны, которая, как известно, оправдывает все средства, ведущие к цели.

— Мы уберем свой урожай и свезем его на базар, как прежде, без всяких больших дорог, а до остального нам дела нет,— сказал Старшина во время беседы.— Пусть строят и роют, сколько хотят, но нас они должны оставить в покое. Если их послушать, то мы скоро зубы на полку положим из-за ихней «общественной пользы» или как она там называется,— добавил он.

— Добрый день, как поживаете? — раздался знакомый всем голос. Пешеход, прилично одетый, но запыленный от серых гамаш до зеленой фуражки с козырьком, прошел в ворота и приблизился к столу, не замеченный сперва никем из собеседников.

— А, г-н Шмиц, опять вы в наших краях! — сказал любезно хозяин и приказал работнику принести уставшему гостю все, что было лучшего в погребе.

Крестьяне вежливо потеснились для нового пришельца. Его пригласили присесть и обставили эту процедуру разными предосторожностями, чтобы не сломать то, что он нес на себе. Такие меры были действительно необходимы, так как этот человек был нагружен, как телега, и контуры его фигуры напоминали пук связанных шаров. Не только непомерно пузырились карманы кафтана, набитые разными круглыми, четырехугольными и продолговатыми предметами, но нагрудные и боковые карманы, использованные для той же цели, образовывали множество выпуклостей и возвышений; они выступали особенно резко, так как, несмотря на жару, собиратель застегнул кафтан доверху, чтобы не потерять ни одного из своих сокровищ. Для хранения вещей была приспособлена даже внутренность фуражки, которая благодаря этому походила на тыкву. Он потягивал поставленное

перед ним доброе вино с нескрываемым удовольствием; его старообразное, вздутое и красное от ходьбы и жары лицо постепенно начинало принимать свою естественную расцветку и форму.

— По всей видимости, дела идут хорошо, г-н Шмиц? — спросил Старшина, улыбаясь.

— Пока ничего,— ответил коллекционер.— Мать-земля еще полна благодати. Она не устает родить зерно и злаки, а старательный исследователь продолжает снимать с нее урожай старинными вещами, сколько ни рылись и ни ковырялись в ней. Я опять сделал маленькую прогулку по стране и дошел на этот раз до границы Зигена. Теперь я возвращаюсь домой; хочу еще сегодня попасть в город, но принужден немного передохнуть у вас, Старшина, так как устать я действительно устал.

— Что же вы несете с собой? — спросил Старшина.

Коллекционер похлопал бережно и любовно по всем выпуклостям и возвышениям своих многочисленных карманов и сказал:

— Да всякую всячинку, разные милые вещицы. Секиру, парочку громовых стрел, чудные хаттские кольца, покрытые патиной, зольники, слезницы, три идола и несколько драгоценных светильников.

Затем он хлопнул себя ладонью по спине и продолжал:

— А здесь у меня под кафтаном привязан целый вполне сохранившийся кусок коринфской бронзы: больше девать было некуда. Ну что же, все это будет очень недурно, когда вычистится и станет по местам.

Крестьяне заинтересовались некоторыми вещами, но старый Шмиц заявил, что не может удовлетворить их любопытства, потому что все древности так тщательно упакованы и распределены с таким точным расчетом всякого свободного вершка, что, распаковавшись, ему было бы трудно снова разместить свою поклажу. Старшина сказал что-то на ухо работнику, и тот отправился в дом. Между тем собиратель подробно описал места своих находок и затем, подсев ближе к хозяину, сказал ему дружески:

— Но вот самое важное открытие, которое я сделал во время своего путешествия: я нашел настоящее, подлинное место, где Герман разбил Вара.

— Ну, ну! — произнес Старшина и несколько раз подвинул шапку со лба на затылок и обратно.

— Все они были на ложном пути — и Клостер-

мейер, и Шмид, и все прочие, кто писал об этом! — воскликнул с жаром коллекционер.— Всем им хотелось, чтобы Вар отступил по направлению к Ализо, о котором ни один черт не знает, где он находится — хотя, во всяком случае, гораздо севернее,— и согласно этому битва должна была происходить между истоками Липы и Эмса возле Детмольда, Липшпринге, Падерборна и еще бог весть где...

— Я думаю,— сказал Старшина,— что Вар всячески стремился пробраться к Рейну, а это он мог сделать, только проникнув в открытую местность. Баталия длилась якобы три дня, а за это время можно пройти большой кусок, так что я держусь мнения, что нападение произошло в горах, окружающих нашу долину, и, следовательно, очень недалеко отсюда.

— Неверно! Неверно, Старшина! — воскликнул коллекционер.— Здесь, внизу, все было занято и переполнено херусками, хаттами и сикамбрами. Нет, битва произошла гораздо южнее, возле Рурской области, недалеко от Аренсберга. Вар должен был протиснуться через горы, у него не было выхода ни с какой стороны, и его целью было пробраться к Среднему Рейну, куда путь вел прямо через Зауерланд. Я всегда предполагал, что это так, но теперь я имею неоспоримое доказательство. У самого Рура я нашел коринфскую бронзу и трех идолов, и там же мне сказал один поселянин, что в лесу между горами на расстоянии менее часа ходьбы имеется одно место, где навалено вместе с песком и щебнем неисчислимое количество костей. «Ура,— воскликнул я,— и на нашей улице праздник!» Я отправился туда с несколькими крестьянами, велел копать — и что же? Мы нашли такие кости, что лучших и пожелать нельзя. Значит, это то самое место, где через шесть лет после Тевтобургской битвы Германик приказал похоронить останки римских легионов во время его последних походов против Германа, и, следовательно, я открыл там настоящее место сражения.

— Кости не могут сохраняться в течение тысячи с лишком лет,— сказал Старшина и с сомнением покачал головой.

— Они окаменели среди минералов,— сказал коллекционер, готовый рассердиться.— Я заставлю вас убедиться воочию; вот что я принес оттуда.— Он вынул из-за пазухи огромную кость и поднес ее своему оппоненту.— Ну, что это такое? — спросил он, торжествуя.

Крестьяне с недоумением уставились на кость. Внимательно рассмотрев ее, Старшина сказал:

— Коровья кость, г-н Шмиц. Вы натолкнулись на живодерню, а не на Тевтобургское поле битвы.

Собиратель свирепо сунул поруганную древность на прежнее место и разразился несколькими резкими замечаниями, на которые старик отвечал в том же тоне. Дело начинало походить на ссору, но на самом деле это не имело никакого значения, потому что между ними так уже было заведено, что они при встрече ругались по таким и подобным поводам, продолжая, однако, и после этих стычек оставаться лучшими друзьями. Собиратель, который вырывал у себя кусок изо рта, чтобы удовлетворить свою страсть, кормился иногда по целым неделям за обильным столом в Обергофе и, в свою очередь, помогал хозяину, составляя разные бумаги по его делам, так как он в свое время был присяжным, имматрикулированным, имперским нотариусом. Наконец после долгих и бесполезных препирательств с обеих сторон Старшина сказал:

— Не стану спорить с вами о месте битвы, хотя и остаюсь при своем мнении, что Герман разбил Вара где-то в нашей местности. Вообще это меня мало трогает, так как это — дело господ ученых; но если шесть лет спустя, как вы мне часто рассказывали, другой римский генерал снова стоял здесь со своей армией, то вся битва имеет мало значения.

— В этом вы ничего не понимаете, Старшина! — вспылил собиратель.— Все германское бытие зиждется на битве в Тевтобургском лесу. Не будь Германа-освободителя, вы не расселись бы здесь так широко на ваших полях и лугах. Но все вы живете здесь изо дня в день, и вам нет никакого дела до истории и древностей.

— Ого, г-н Шмиц, вы несправедливы ко мне! — гордо возразил старый крестьянин.— Видит бог, с каким удовольствием я читаю в зимние вечера хроники и истории, и вы знаете, что я берегу как зеницу ока меч Карла Великого, который вот уже тысячу с лишним лет хранится в Обергофе, следовательно...

— Меч Карла Великого! — иронически воскликнул собиратель.— Неужели, друг мой, невозможно выбить эти бредни из вашей головы. Послушайте только...

— А я говорю и утверждаю, что это настоящий и подлинный меч Карла Великого, которым он учредил и ввел здесь свободное судилище! Меч и теперь продол-

жает служить своему назначению, хотя этого и не следует распространять дальше.— Старик сказал это с выражением и жестом, в которых было что-то торжественное.

— А я говорю и утверждаю, что все это сущие глупости,— сердился антиквар.— Я раз сто рассматривал эту старую жабоколку; ей и пятисот лет нет, и, вероятнее всего, она относится к осаде Зоста, когда какой-нибудь архиепископский ландскнехт оставил его, прячась в здешних кустах.

— Чтоб тебя! — воскликнул Старшина и ударил кулаком по столу. Затем он пробормотал про себя:

— Подожди! Я тебя сегодня проучу.

Работник вышел из дверей дома. Он нес сосуд из обожженной глины значительных размеров и необычайной формы, который он нескладно и бережно держал обеими руками за ушки.

— Господи! — воскликнул антиквар, присмотревшись к нему.— Да ведь это большая прекрасная амфора! Откуда она?

— Восемь дней тому назад,— равнодушно ответил Старшина,— я нашел этот старый горшок в яме, когда рыли межу. Там было еще много этого добра, но мои люди разбили его заступами. Этот один уцелел. Я хотел, чтобы вы его посмотрели, раз уже вы здесь.

Влажными глазами рассматривал собиратель этот прекрасно сохранившийся сосуд. Наконец он пробормотал:

— А нельзя ли на чем-нибудь сторговаться?

— Нет,— холодно ответил старик,— я хочу оставить горшок себе.— Он махнул работнику, и тот хотел отнести амфору в дом, но собиратель, который не мог оторвать от нее глаз, воспрепятствовал ему в этом, стараясь самыми разнообразными и убедительными доводами уговорить владельца, чтобы тот уступил ему желанный сосуд. Но все было напрасно. Старшина сохранял полнейшее равнодушие по отношению к самым настойчивым молениям. В этот момент он представлял неподвижный стержень группы, в которой крестьяне, следившие, разинув рты, за этим торгом, работник, ухвативший сосуд за ручки и устремившийся к дому, и антиквар, крепко уцепившийся за низ амфоры, играли роль второстепенных и боковых фигур. Наконец Старшина сказал, что он собирался подарить горшок гостю, как он раньше делал с разными найденными предметами, так как ему и самому приятно смотреть на древности, аккуратно расставлен-

ные на полках вдоль стен, но что его раздражают постоянные нападки на меч Карла Великого, и потому он хочет настоять на своем в отношении горшка.

На это антиквар заявил вполголоса, что человеку свойственно ошибаться, что трудно точно определить годы средневекового оружия, что он в этом меньше понимает, чем в римских древностях, и что во всяком случае многие детали меча указывают на более раннюю эпоху, чем осада Зоста. На это Старшина возразил, что от таких общих фраз ему ни тепло ни холодно, что он хочет раз навсегда покончить со всякими спорами и сомнениями относительно меча и что есть только одно средство приобрести старый горшок, а именно чтобы господин Шмиц сейчас же на месте выдал формальное удостоверение, что признает меч, находящийся в Обергофе, за подлинный меч Карла Великого.

После этого заявления коллекционеру пришлось выдержать поистине тяжелую борьбу между собирательской совестью и собирательской страстью. Он нахмурился и забарабанил пальцами по тому месту, где у него хранилась кость с Тевтобургского поля битвы. На лице его явственно отражалась борьба с искушением, соблазнявшим его на ложь. Наконец, как это всегда бывает, страсть одержала верх. Он торопливо потребовал перо и бумагу и, от времени до времени косясь на амфору, поспешно написал безоговорочное удостоверение, что после неоднократного осмотра меча, находящегося в Обергофе, он признает его мечом Карла Великого.

Старшина попросил двух крестьян скрепить этот документ свидетельскими подписями и, сложив его несколько раз, сунул в карман. Старик Шмиц схватил амфору, купленную ценою лучших убеждений. Старшина предложил послать ему горшок на следующий день в город. Но как может коллекционер хотя бы на мгновение отказаться от физического обладания предметом, так дорого ему доставшимся? Наш антиквар решительно отказался от всякой отсрочки, попросил веревку и, протянув ее сквозь ушки, взвалил огромный сосуд на плечи. После этого он и Старшина расстались в наилучшем согласии, причем антиквар получил приглашение на свадьбу. Пускаясь в путь, он со своими горбами, пузато оттопыривающимися полами и качающейся на левом плече амфорой представлял весьма фантастическое зрелище.

Крестьяне распрощались со своим советчиком, обе-

щали руководиться его указаниями и разошлись по дворам. Старшина, которому удалось добиться всего, чего он хотел, от посетивших его в течение часа людей, отнес прежде всего удостоверение в комнату, где хранился меч Карла Великого, а затем отправился с работником в закром, чтоб отмерить овес для лошадей.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Обергоф

Вестфалия состояла из отдельных дворов, из которых каждый был собственностью свободного владельца. Несколько таких дворов составляли крестьянскую общину, обычно носившую название самого старого и значительного двора. Еще при образовании этих общин вошло в обычай, что старейший двор стал считаться первым по рангу и важнейшим. Выделившиеся из него дети, внуки и домочадцы собирались туда от времени до времени, чтобы в течение нескольких дней попировать и пображничать. Обычно это происходило в начале и в конце лета, и каждый владелец двора приносил на крестьянский пир кое-что из собранных им плодов или даже молодую скотинку. Там велись переговоры и совещания о разных предметах, заключались браки, сообщалось о смертях, и, конечно, сын, только что ставший главою отцовского наследства, являлся с более полными руками и более отборной скотиной. Разумеется, на этих празднествах не было и недостатка в раздорах, но тогда отец, как глава старейшего двора, выступал на середину и прекращал спор с согласия остальных. Если в течение года возникали какие-нибудь разногласия между владельцами дворов, то они приносили свои жалобы на ближайшее собрание и покорялись тому, что решали их собратья. Когда все было съедено и предназначенное для торжества дерево сожжено, то празднество кончалось, и собрание расходилось. Каждый возвращался к себе, передавал поджидавшим его домочадцам происшествия празднества и становился вместе с ними живой и неумирающей хроникой всех событий общины.

Подобное сборище называлось «языком», «крестьянским языком», потому что там собирались для переговоров все владельцы дворов какой-либо общины, а также «крестьянским судом», так как там разрешались в ту или другую сторону споры крестьян, уже нелегально

сплотившихся в некий общественный союз. Ввиду того, что крестьянские языки и суды отправлялись на самом древнем и важном дворе, то таковой назывался «судебным двором», а крестьянские языки и суды — «дворовыми языками и судами», еще окончательно не вымершими и в наше время. Старейший двор, он же судебный, именовался, в почтительном смысле, просто «двором»; его считали Обергофом, т. е. Главным Двором данной общины, а его владельца признавали главой, или старшиной.

В таком виде возникли первые объединения и первые суды вестфальских дворов, или крестьянских общин. Мы не будем удивляться этому, если вспомним, что прежняя Вестфалия заселялась медленно и отстраивалась постепенно и что этот постепенный рост создал такие же простые и однообразные порядки, как просты и однообразны кругозор, нравы и привычки, которые мы и посейчас наблюдаем у коренных жителей Вестфалии...

Это место из «Мюнстерских материалов» Киндлингера выводит нас на арену действия нашего рассказа. Оно уясняет нам личность его героя, Старшины. Он был владельцем одного из крупнейших и богатейших главных дворов, или обергофов, которые (правда, теперь уже в незначительном количестве) расположены в тамошней местности.

Над этими старыми обычаями свободных людей пронеслось дыхание времени, сдвигая границы и уничтожая права. Первоначальная германская община, в которую каждый вступал, чтобы сохранить живот и добро, давно уничтожена; вассальная повинность потрясла свободу, потряс ее министериал, и, наконец, осколки своеобразной самодеятельности были унесены в спасительную гавань современного государства. В ней — говоря теми же образами — эти осколки плавают, сталкиваются и отскакивают друг от друга, или их выбрасывает на берег. Там, покрытые водорослями, илом и ракушками, они постепенно выветриваются, причем этот покров создает видимость нового образования.

Но, странное дело, в отношении первичных племенных традиций народы обладают такою же прочной памятью, как и отдельные индивидуумы, которые обычно сохраняют до поздней старости впечатления раннего детства. Если принять во внимание, что человеческая

жизнь длится девяносто лет и больше, а народы насчитывают столетия, то не приходится удивляться, что в той местности, в которой происходят события нашего рассказа, подчас выплывают черты, относящиеся ко времени, когда великий франкский король обратил огнем и мечом упрямых саксов.

Если же там, за еще различимыми пограничными рвами, где некогда жил верховный судья и вотчинник данной местности, природа вложила в одного человека особенные качества, то на почве тысячелетних воспоминаний может вырасти такая личность, как наш Старшина,— личность, значение которой, правда, не будет признано современными властями, но которая на некоторое время восстановит для себя и себе подобных давным-давно исчезнувший строй.

Это звучит несколько слишком серьезно для нашей повести в арабесках.

Лучше приглядимся к самому Обергофу. Если похвала друзей всегда бывает двусмысленной, то зато можно довериться зависти врагов и наибольшего доверия достоин маклак, превозносящий состояние крестьянина, с которым он не мог сойтись в цене. Правда, нельзя было сказать про двор, как утверждал барышник Маркс, что там «все, как у графа», но зато всюду, куда ни взглянешь, можно было отметить крестьянский достаток и изобилие, которые как бы кричали голодному пришельцу: «Здесь ты наешься досыта, здесь миска всегда полна!»

Двор лежал в стороне, у границы плодородной равнины, там, где она переходит в холмистую и лесистую местность. Последние поля Старшины уже тихонько ползли вверх по склону, а на милю дальше начинались горы. Ближайший сосед жил в расстоянии четверти часа ходьбы от двора. Вокруг последнего было расположено все, что необходимо для крупного сельского хозяйства: поле, лес, луг, составлявшие единое целое, без чересполосицы.

Со склона в равнину сбегали поля, возделанные на славу. Это было время, когда цвела рожь; пар подымался от колосьев, как жертвоприношение земли, и разносился в теплом летнем воздухе. Отдельные ряды высокоствольных ясеней или узловатых вязов, посаженных по обеим сторонам старых межевых рвов, охватывали часть ржаных полей и уже издали указывали границу вотчины отчетливее всяких камней и столбов. Дорога, лежавшая глубоко между взрытыми краями, пересекала

поле, разбиваясь в разных местах на проселки, и вела в густую дубовую рощицу, где угощались желудями зарывшиеся в землю свиньи и где тень листвы доставляла усладу не только им, но и людям. Этот лесок, поставлявший Старшине дрова, не доходил только нескольких шагов до усадьбы, охватывал ее с двух сторон и служил таким образом защитой одновременно от восточного и северного ветров.

Дом в два этажа со стенами, выкрашенными в белый и желтый цвет, был крыт всего-навсего соломой, но так как эта крыша содержалась всегда в отличном порядке, то в ней не было ничего жалкого, напротив, она усиливала уютное впечатление, производимое усадьбой. С внутренним убранством мы познакомимся при случае; теперь же скажем только, что вокруг двора по обе стороны дома шли конюшни и риги, на стенах и крышах которых даже самый острый взгляд не мог бы найти никакого изъяна. У ворот стояли высокие липы, а на противоположной от леса стороне были устроены, как мы уже сказали, скамьи, так как Старшина и во время отдыха не желал выпускать из виду своего хозяйства.

Прямо против дома виднелся сквозь решетчатые ворота плодовый сад. Большие и здоровые фруктовые деревья расстилали густую листву над свежими всходами трав, овощей и салата; то здесь, то там росли на узких грядках красные розы и желтые лилии. Но таких клумб было немного. В настоящем крестьянском хозяйстве земля посвящена практическим потребностям, даже когда обстоятельства позволяют собственнику пользоваться роскошествами природы. Поэтому мы испытываем в таких дворах приятное успокоение всех чувств, которого не могут нам дать ни пышные сады, ни виллы. Ибо эстетическое чувство ландшафта уже есть продукт утонченности, почему оно никогда и не появляется в действительно здоровые эпохи. Эти последние питают больше склонности к матери-земле, как ко всеобщей кормилице, хотят и требуют от нее только даров поля, пастбища, пруда и дубравы.

Позади фруктового сада, как далеко ни смотри, была видна одна только зелень. Ибо по ту его сторону лежали обширные луга Обергофа, где паслись и кормились хозяйские кони. Коннозаводство, которому посвящалось много стараний, принадлежало к доходнейшим статьям вотчины. Эти покрытые зелеными травами пространства были обнесены частоколом и рвами; на одном из них

был садок, в котором плавали гуськом откормленные карпы.

На этом богатом дворе, между полными житницами, полными закромами и конюшнями, хозяйничал старый, уважаемый всей округой Старшина. Если же взойти на самый высокий холм, к которому тянулись его поля, то открывался вид на башни трех самых старых городов Вестфалии.

В то время, когда происходит мой рассказ, часы приближались к одиннадцати и на всем обширном дворе было так тихо, что слышно было только шуршание воздуха в листве дубовой рощи. Старшина отсыпал работнику овес, с которым тот, взвалив мешок на плечи, медленно направился в конюшню; дочь пересчитывала приданое в горнице; служанка стряпала. Кто еще был на дворе, лежал и спал, так как дело шло к сбору урожая, а в это время у крестьян меньше всего дела и работники стараются использовать каждую минуту, чтобы выспаться в счет приближающейся страдной поры. Вообще поселяне могут спать, как собаки, во всякое время дня и ночи, когда захотят.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА,

в которой охотник посылает своего спутника вслед некоему человеку по имени Шримбс или Пеппель, а сам направляется в Обергоф

С холмов, окаймлявших поля Старшины, спустились два человека, весьма различные по внешности и возрасту. Один из них в зеленом охотничьем колете, маленькой шапочке на вьющихся волосах и с легким люттихским ружьем в руке был цветущий, красивый юноша; другой, одетый в более скромные тона,— пожилой человек с прямодушным лицом. Юноша шел быстро впереди своего спутника, как благородный олень, тогда как более медленная походка другого напоминала отслужившую, но все еще преданно плетущуюся за своим господином охотничью собаку. Дойдя до открытого места перед холмами, они присели на один из лежавших там больших камней в тени огромной липы. Юноша передал старику деньги и бумаги, указал направление, по которому тот должен был продолжать путь, и сказал:

— Ну, Иохем, теперь ступай и действуй толково, чтоб нам изловить этого распроклятого Шримбса или Пеппеля, который выдумал такую отвратительную ложь. Как только ты его разыщешь, извести немедленно.

— Я буду действовать толково,— сказал старый Иохем.— Я буду осторожно и незаметно расспрашивать в местечках и городах о человеке, который выдает себя за Шримбса или Пеппеля, и разыщу этого мошенника, разве только черт впутается в это дело. А вы скройтесь куда-нибудь на время, пока я не извещу вас о дальнейшем.

— Отлично,— сказал молодой человек,— но только веди себя очень осторожно и предусмотрительно, так как мы здесь уже больше не в нашей милой Швабии, а на чужой стороне среди саксов и франков.

— Проклятое отродье! — ответил Иохем.— Они много говорят о швабских проделках, так пусть узнают, какая шваб тонкая птица, когда нужно.

— Держись все время направо, дорогой Иохем, потому что туда указывают последние следы этого Шримбса или Пеппеля,— сказал молодой человек, вставая и сердечно пожимая на прощание руку старика.

— Понял, все время вправо,— согласился тот, передал юноше битком набитый ягдташ, который он перед тем нес, приподнял шляпу и пустился направо через ржаное поле по тропинке, ведшей к той местности, где возвышалась одна из упомянутых в предыдущей главе башен.

Молодой же человек с охотничьим ружьем направился вниз прямо к Обергофу. Он не отошел и ста шагов, как услышал, что кто-то идет за ним, тяжело дыша, и, обернувшись, увидел нагонявшего его старого слугу.

— Об одном я вас прошу и умоляю,— крикнул ему тот,— так как вы останетесь теперь одни и будете предоставлены самому себе, отдайте мне, пожалуйста, ружье, а то, не приведи господь, натворите вы еще каких-нибудь бед, как на днях, когда вы метили в зайца, а чуть не попали в ребенка.

— Да, это какое-то проклятье, вечно целиться и никогда не попадать! — воскликнул молодой человек.— Как мне ни трудно, а я постараюсь себя пересилить; ты же знаешь, что это у меня от покойной матушки. Но, как сказано, я буду сдерживаться, и ни одна дробинка не вылетит из этого ствола, пока мы будем с тобой врозь.

Старик попросил отдать ему ружье. Но молодой человек воспротивился этому, сказав, что без ружья ему не будет стоить никаких усилий бросить стрельбу и что это лишит его поступок всякой заслуги.

— Тоже правда,— согласился старик и направился обратно, не простившись вторично, так как первое прощание еще оставалось в силе.

Молодой человек постоял немного, поставил ружье на землю, заткнул ствол шомполом и сказал:

— Ну, теперь будет трудно выпустить заряд, а жаль, если он там останется.

Затем он снова перебросил ружье через плечо и направился к дубовой роще Обергофа.

Перед самым леском с узкой опушки вылетела с громким шумом крыльев и криком стая серых куропаток. С радостным восклицанием сорвал юноша ружье с плеча и крикнул:

— Вот я и покончу с зарядами!

Он прицелился и выстрелил из обоих стволов; птицы невредимо полетели дальше, а охотник, озадаченный, посмотрел им вслед и сказал:

— На этот раз я думал, что попаду, но теперь я действительно постараюсь себя пересилить,— и он продолжал свой путь через рощу по направлению к Обергофу.

Войдя в двери, он увидел в просторной, высокой горнице, занимавшей всю середину дома, Старшину, сидевшего за обедом вместе с дочерью, работниками и служанками. Он любезно поздоровался своим звонким приятным голосом. Старшина посмотрел на него внимательно, дочь с удивлением, а что касается работников и служанок, то они совсем не взглянули на него, а продолжали есть, не поднимая глаз. Охотник подошел к хозяину и спросил его, как далеко до ближайшего города и как туда пройти. Сначала Старшина не понял странного выговора незнакомца, но дочь, которая не спускала глаз с юноши, помогла ему расшифровать смысл, и тогда Старшина дал точные указания. В свою очередь охотник понял его только после троекратного переспрашивания и, таким образом, выяснил, что до города ведет тропинка, которую нелегко найти, и что ходьбы туда будет добрых два часа.

Полуденная жара, вид чисто накрытого стола и голод побудили охотника спросить, не может ли он за деньги или за спасибо получить здесь еды и питья, а также приют до наступления прохлады.

— За деньги — нет,— ответил Старшина,— а за спасибо — обед и ужин и ночлег, покуда господину не прискучит.

Он приказал подать блестящую, как зеркало, оловян-

ную тарелку, не менее блестящие нож, вилку и ложку и пригласил гостя сесть. Последний принялся за крутой вареный окорок, крупные бобы, яйца и колбасы со всем аппетитом, свойственным молодости, и нашел, что местные блюда, ославленные на весь мир как варварские, были вовсе не так плохи.

Хозяин был молчалив, так как крестьянин неохотно говорит за едой; все же юноша узнал из расспросов, что человек по имени Шримбс или Пеппель был неизвестен в этой местности. Работники и служанки, сидевшие отдельно от хозяев на другом конце длинного стола, хранили молчание и только смотрели в тарелки, из которых черпали ложками пищу.

Когда они поели и вытерли рты, они стали подходить к хозяину один за другим и каждый спрашивал:

— Хозяин, мое изречение!

Старшина наделял каждого из них поговоркой или цитатой из Библии. Так, он сказал рыжему работнику, подошедшему к нему первым:

— Скорый на свару зажжет пожар, а скорый на руку прольет кровь.

Второму, толстому, медлительному человеку:

— Ступай к муравьям, ленивец, посмотри, как они живут, и учись.

Третьему же, черноглазому парню с дерзким взглядом:

— Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Первой служанке досталось изречение:

— Если у тебя есть скот, то смотри за ним, а если он приносит прибыль, то оставь его себе.

А второй он сказал:

— Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

После того как каждый был наделен таким образом, все отправились на работу, одни с равнодушным, другие с ошеломленным видом. Вторая служанка покраснела, как рак, от доставшегося ей изречения. Охотник, начинавший постепенно привыкать к местному диалекту, с удивлением внимал этим поучениям и, когда они кончились, спросил, какова их цель.

— А пусть поразмыслят над ними,— сказал Старшина.— Когда они вновь соберутся здесь сегодня вечером, они скажут мне, как они поняли мои поучения. Большинство деревенских работ таково, что люди могут думать при этом о чем угодно; тут им и приходят в голову дурные мысли, которые потом порождают распутство,

ложь и обман. Кормя лошадей, они думают, как бы стащить овес, а когда служанка доит корову, у нее милый вертится перед глазами. Если же человек получает такое изречение, то он не успокоится, пока не выжмет из него морали, а тут и время прошло, и он не успел подумать ничего дурного.

— Да вы истинный мудрец и пастырь! — воскликнул молодой человек, удивление которого росло с каждым мгновением.

— Многое можно сделать с человеком, если привить ему мораль,— сказал глубокомысленно Старшина.— Но мораль больше действует в коротких изречениях, чем в длинных речах и проповедях. Люди живут у меня гораздо дольше с тех пор, как я напал на эти поучения. Правда, весь год нельзя пробавляться поговорками; во время пахоты и сбора урожая кончаются всякие обдумывания. Но тогда в них и нет нужды, так как у людей не хватает времени для дурных поступков.

— Вы, значит, делаете перерыв в ваших поучениях? — спросил охотник.

— Зимой они обычно начинаются после молотьбы и длятся до посева,— ответил Старшина.— Летом же они происходят от Вальпургиева дня до каникул. Это — время, когда у крестьян меньше всего дела.

Охотник спросил, почему девушка так покраснела, и получил ответ:

— У нее есть что-то на совести, а в таких случаях я поставил себе за правило приводить какое-нибудь изречение, из которого паршивая овца видела бы, что я знаю про ее грех. Подождем, не выяснится ли что к вечеру.

Он оставил юношу одного, и тот осмотрел дом, двор, фруктовый сад и луга. Охотник провел за этим занятием много часов, так как каждая вещь в отдельности его заинтересовала. Сельская тишина, зелень лугов, зажиточность, которой дышал весь двор, производили на него приятное впечатление и пробуждали в нем охоту лучше провести неделю или две, которые могли протечь до получения известия от Иохема, среди этой шири природы, чем в узких улицах маленького города. То, что было у него на уме, то было и на языке, а потому он тотчас же отправился к Старшине, выбиравшему в дубовой роще деревья для рубки, и высказал ему свое желание. Взамен он изъявил готовность помочь хозяину во всем, чем мог быть ему полезен.

Красота — отличное приданое. Она, как тот золотой ключик, который чудодейственно отворяет семь различных замков. Она — паспорт, с которым владелец может свободно гулять по миру, не нуждаясь в пропуске у караулов. В романах и новеллах красота переносится через все пропасти бездны, как семицветный мост Ириды.

Не будь охотник так красив, какие обстоятельные мотивы пришлось бы мне придумать и развернуть, чтоб Старшина захотел предоставить ему ночлег! А теперь мне достаточно будет сказать, что Старшина некоторое время рассматривал стройную и сильную фигуру, честное и благородно прекрасное лицо юноши, сначала долго качал головой, а затем, сделавшись любезнее, кивнул и согласился на его просьбу. Он предоставил охотнику боковую комнатушку в верхнем этаже, откуда с одной стороны были видны за дубовой рощей холмы и горы, а с другой луга и ржаные поля.

Правда, гость должен был взамен платы за приют обещать, что выполнит одно удивительное условие, потому что Старшина даже красоте неохотно давал что-либо даром.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Охотник нанимается в браконьеры, а вечером работники и служанки рассказывают результаты своих размышлений над нравственными поучениями

А именно перед тем, как разрешить молодому человеку остаться в доме, Старшина спросил его, не любит ли он охоты, как можно предположить по зеленому колету, ружью и ягдташу. Тот ответил, что с тех пор, как он себя помнит, он обожает охоту до страсти, до бешенства, умолчав при этом, что, кроме воробья, вороны и кошки, ни одна божья тварь не погибла от его дроби.

Действительно, так оно и было.

Он не мог дня прожить, чтобы не пострелять из ружья, но регулярно давал промах и только на восемнадцатом году убил воробья, на двадцатом ворону, а на двадцать четвертом — кошку; и это было все. Удивительное происшествие накануне его рождения наделило его, точно родинкой, этой непонятной при столь жалких результатах склонностью. По крайней мере, он сам связывал с этим роковым событием страсть, которая весьма огорчала его, когда он задумывался над ней в минуты благоразумия.

Получив утвердительный ответ, Старшина сделал ему предложение, заключавшееся в том, чтобы охотник ежедневно по нескольку часов подстерегал в поле крупную дичь, которая производила на его посевах, в особенности на расположенных вдоль склона, большие опустошения.

— Там в горах,— объяснил старик,— находятся дворянские лесные угодья; звери потравили и помяли мне достаточно зерна еще в прошлые годы, но в этом году стало совсем плохо, так как молодой граф тут по соседству — рьяный охотник и развел множество дичи: олени и лоси, как овцы, выходят из леса и губят все плоды моей работы. Сам я на это дело не мастер, а работникам поручать неохота, так как под предлогом хождения на тягу они могут легко от рук отбиться; поэтому животные там так нахозяйничали, что сердце кровью обливается. Вы попались мне как раз кстати, и если в течение двух недель до урожая вы будете держать этих рогатых чертей на почтительном расстоянии от ржи, то этим вполне оплатите ваши харчи.

— Ха-ха-ха! Я браконьер? Я ворую дичь? — воскликнул молодой человек и расхохотался так звонко и весело, что заразил Старшину.

Продолжая смеяться, Старшина провел рукой по тонкому сукну, из которого был сшит колет его гостя, и сказал:

— Именно потому, что вам не грозит особенной беды, если вас изловят. Вам легче отвертеться, чем какому-нибудь несчастному работнику. Мухи застревают в паутине, осы прорываются насквозь. Да и какое тут преступление — защищать свое добро от бестий, которые жрут его и уничтожают? — воскликнул он, причем смеющееся выражение его лица внезапно сменилось яростным гневом. Жилы на лбу вздулись, лицо раскраснелось, белки налились кровью; старик был страшен.

— Вы правы, отец. Нет ничего неразумнее так называемых охотничьих привилегий,— сказал юноша, чтобы его успокоить.— Поэтому я согласен взять на себя грех и нарушить охотничьи права здешних дворян для защиты вашего добра, хотя тем самым...

Он хотел что-то добавить, но быстро оборвал фразу и перешел на другие незначительные предметы.

Но если кто подумает, что беседа вестфальского Старшины и швабского охотника текла так же гладко, как ее изложило мое авторское перо, то он ошибется. Потребовались неоднократные повторения для того, что-

бы они сколько-нибудь поняли друг друга. От времени до времени приходилось даже прибегать к помощи пальцев и знаков. Ибо Старшина никогда в жизни не слыхал о *«х»*, поставленных перед *«с»*, а сам выводил все звуки из горла, или, если хотите, из зева. Наоборот, божественный дар, отличающий нас от скотов, был вложен у охотника между губами и передними зубами, так что вылетавшие оттуда звуки обладали удивительной густотой и шипящим присвистом. Но сквозь эту отчуждающую внешнюю скорлупу старик и юноша быстро прониклись взаимной симпатией. Оба они были люди хорошего, здорового закала и потому не могли не раскусить друг друга.

Но и в своей угловой комнатушке охотник нашел скорлупку, которая заставила его помечтать о ядре. А именно после того, как он вынул из ягдташа свои легкие пожитки и тяжелые свертки золота, чтобы устроиться по-домашнему, он узрел в углу комнаты ночной чепчик, косынку и юбочку, аккуратно повешенные на спинку стула. Все эти вещи, по-видимому, были уже ношены, но тем не менее сверкали снежной белизной.

— Эге! — воскликнул охотник.— Не жила ли здесь до меня какая-нибудь красивая девушка? Это принесет мне счастье.

Под влиянием внезапного каприза он хотел примерить чепчик, но тот оказался слишком мал для его головы. Он определил по складкам на банте овал лица и нашел его безукоризненным. Юбочка свидетельствовала о грациозной талии, а складки и сгибы косынки позволяли предполагать, что под нею вздымалась юная, округлая грудь.

Но тут он внезапно покраснел до самых висков и ему стало стыдно за эту забаву, которая показалась ему кощунственной; он отставил стул с платьем за ширму, чтобы его не видеть, и сел писать, желая привести в порядок блуждающие мысли.

Когда он вечером спустился в горницу, то застал работников и служанок, уже успевших отужинать и столпившихся вокруг Старшины, в разгаре беседы.

Старшина, тоже уже покончивший с салатом, слушал, подтверждал или оспаривал то, что говорили собравшиеся вокруг него ученики. Рыжий работник, получивший предостережение относительно ссор, сказал:

— Истинное счастье, что вы как раз нынче сказали мне это поучение, потому что, выгоняя лошадей в ноч-

ное, я встретил Питтера из Бандкоттена, на которого я уже давно точу зуб, и расквасил ему морду в синяки и в кровь.

— Но ведь это как раз шиворот-навыворот! — воскликнул Старшина.

— Боже упаси! — ответил рыжий.— Так что был у меня, к примеру, кол, чтобы загонять лошадей; а как я увидел Питтера и повалил его, так и подумал: задай ему теперь, собаке, этим колом, чтобы ему по гроб жизни было довольно. Потому что он вокруг всех девчонок увивается, так что другому и приступа нет. Да, как вспомнил, что я так много раздумывал про это самое: «скорый на свару зажжет пожар, а скорый на руку прольет кровь»,— и хватил его всего только по носу, да еще пнул ногой в поясницу и пустил на все четыре стороны.

— Ну, на этот раз ладно, только впредь воздержись от пинков и от мордобоя, если ты как следует обдумал поучение,— заметил Старшина.

Маленький черноглазый смельчак сказал:

— Истинный бог, это правда: лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Потому я и вышиб из головы Гертруду — уж очень она спесива — и сговорился на св. Михаила с Гельмеровой девушкой, которую за меня охотно выдадут.

— А ты ее любишь? — спросил Старшина.

— Нет,— ответил черномазый,— но сживется, слюбится.

Ленивый толстяк, которого Старшина направил к муравьям посмотреть, как они живут, заявил, что он ничего не вынес из поучения, так как не повстречал ни одного муравья.

Напротив, первая служанка сказала:

— Ваша притча, хозяин, мне ни к чему; «если у тебя есть скот, то ходи за ним, а если он принесет прибыль, то оставь его себе». Я сегодня к вечеру как следует выдоила коров и поухаживала за ними, и прибыль бы они мне тоже принесли, да оставить их себе я не могу.

— Притча касается собственного хозяйства, и когда оно у тебя будет, то и притча подойдет,— ответил Старшина.

— Но у вас, хозяин, собственное хозяйство, и скот вам приносит прибыль, а ходить вы за ним не ходите.

— Эта притча для женщин, а не для мужчин,— ответил довольно резко Старшина.— А теперь прекрати вопросы и запри молочный чулан.

Служанка, которая днем покраснела от изречения «нет ничего тайного, что не стало бы явным», сидела все время в стороне, теребила фартук и сосредоточенно смотрела в землю.

Когда остальные работники и служанки удалились, она тихо подошла к хозяину, дернула его украдкой за полу и вышла с ним вместе за дверь. Спустя некоторое время хозяин вернулся один и сказал дочери:

— Так оно и есть: Гита мне только что призналась, что она согрешила с Матвеем. Поговори теперь с ней сама и скажи ей, что если она вообще будет вести себя хорошо, то я позабочусь о том, чтобы парень поступил с ней по чести.

— Я так и думала,— ответила дочь, нисколько не смутившись от сообщенной новости и от данного ей поручения.

Когда она удалилась, охотник выразил удивление по поводу той власти, которую проявил хозяин в данном случае.

— Это очень просто,— возразил Старшина.— Всякий знает, что он лишится места, если я на него осержусь, а он не признается и не повинится. Если же он это сделает, то я его прощу и позабочусь о нем. Так как мои обстоятельства позволяют мне платить на талер больше, чем соседи, то никто не хочет уходить из Обергофа. Чуть я что почую, я в это и мечу каким-нибудь поучением, и обычно все являются с повинной, так как грешник знает, что в противном случае он распрощается с местом.

Они пожелали друг другу спокойной ночи, и охотник отправился в свою комнату. Он разделся, откинул одеяло и заметил по маленьким складкам на, впрочем, ослепительно белых простынях, что владельцы не нашли нужным сменить белье после последнего гостя, ночевавшего в этой комнате. Его охватило удивительное ощущение. Он уже совсем забыл про девушку, которая спала здесь до него; теперь же он снова вспомнил про ночной чепчик, снял его со стула, измерил на загибах банта овал лица, прижал чепчик к щеке, чтобы ее охладить, и внезапно разразился слезами. Ибо в этой молодой, полной сил натуре были еще хаотически перемешаны серьезность и безрассудство и все противоречия, которые жизнь впоследствии сглаживает до полного бесстрастья.

Когда он вытянулся под одеялом, беспокойство его

еще возросло, так как он внезапно вспомнил, что, прощаясь со старым Иохемом, не сказал ему, где он будет жить во время его поисков.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Охотник пишет в Шварцвальд своему другу Эрнсту

«Ментор, милый Ментор (которому, к сожалению, не хватает понятливого юноши Телемаха), что ты скажешь, когда увидишь мой почерк и штемпель на письме? Ты среди своих елей и часовщиков, вероятно, мнишь меня после всякого рода путешествий и скитаний мирно и тихо сидящим на горе в замке моих в бозе почивших предков, но, прочтя нижеследующее, воскликнешь: «Наше знание есть суета сует!» Ты думаешь и с удовольствием (о верный друг!) говоришь себе, переводя дела, номер за номером, из папки «К производству» в папку «Решенных дел»: «Наконец-то он угомонился, занялся сельским хозяйством или какой-нибудь полезной постройкой, вроде бумажной фабрики, и тешит горячую кровь разве только на кабанах и оленях в своих дубравах». И во всем этом не будет ни чуточки правды, хотя я здесь, господи прости, хожу на охоту, служа у вестфальского мужика, и стреляю дичь в качестве браконьера у своего же брата помещика.

Прошу тебя, не теряй терпения, ибо, когда нужно облегчить душу удивительными признаньями, грешник имеет право несколько запинаться и медлить, а исповедник должен примириться с тем, что ему придется долго прикрывать лицо платком. А при исповеди на ухо я, несмотря на свой добрый тюбингенский протестантизм[3], всегда воображаю тебя перед собою, когда натворил что-нибудь из ряда вон выходящее. Греха я не отрицаю, но раз он совершен, то я, как любой правоверный католик, испытываю в душе искреннее желание очищения, а мой моральный очиститель — это ты. Сотни раз ты отпускал мне мои прегрешения — ах, нет, этого ты не делал! Напротив, ты горько бранил и укорял меня. Но уже такова моя судьба, я не могу хранить это бремя в себе, я кладу его у порога храма Афины, т. е. у известного нам дома окружного начальника близ Донауэшингена, у самого «Ада»[4], и после этого я чувствую новый прилив сил и новое мужество для добрых, а равно и для недобрых поступков. Итак: iterum confiteor, не надеясь на absolvo.

Исповедуюсь... но в чем?

Отправившись четырнадцать дней тому назад из Швабии, я уже восемь из них нахожусь на так называемом Обергофе, недалеко от...

Я принужден был вчера прервать свое послание, так как, написав, где я нахожусь, я вдруг утерял связь с рассказом о том, как и почему я сюда попал. Я должен поэтому начать повествование с другого конца. Несмотря на хаотическое изложение, которое, быть может, не исправится и в дальнейшем, я чувствую, что мои мысли ясны, серьезны и сосредоточенны. Поэтому я тебе открою обстоятельства, о которых, по крайней мере, в такой определенной форме ты никогда от меня не слыхал.

Историки имеют обыкновение приводить в начале своих произведений общие рассуждения, долженствующие выразить внутренний смысл тех событий, которые они хотят изложить. Несколько таких наблюдений я предпошлю и своему историческому рассказу, чтобы он был тебе понятен.

Согласно остроумной и плодотворной гипотезе одного глубокомысленного естествоиспытателя, инстинкты зверей происходят из туманных представлений о вещах, на которые инстинкт направлен[5]. Перелетные птицы мечтают о далеких местностях, по которым они блуждают: сибирский вальдшнеп видит в смутных очертаниях немецкие болота, ласточка — берега Африки. Точно сон, витают перед пауком очертания и радиусы его сетки, перед пчелой — шестиугольник улья. Это — гипотеза, но я назвал ее остроумной и плодотворной, потому что она переносит живую тварь, вернее, ее важнейшие функции из области механического в область, просветленную божественным началом.

Мы, бедные, сознательные люди, как будто лишены этой божественной уверенности восприятия и понимания. Но это только так кажется. Ведь гений и талант не что иное, как инстинкт. Назови мне художника или поэта, который не стал бы тем или другим, благодаря так называемому внутреннему призванию. Правда, нам, прочим смертным, не даны столь ясные знамения, но тем не менее почти каждому, а может быть, и каждому человеку от природы свойственны определенные направления, прочные вехи, которые наружно проявляются в настроениях, капризах, странностях, вкусах, но суть,

вероятно, лишь проявления самого основного психического закона. Это не так называемые убеждения, принципы, привычки, навыки, которые могут быть приобретены или привиты,— нет! Я разумею нечто совсем иное, хотя и трудно поддающееся описанию.

Такие знамения внутри человека — это полусны инстинкта. Вспугнутые отравляющим дневным светом рассудка, развороченные шарящими пальцами самоанализа, они действуют не так победоносно, как непреодолимый внутренний приказ перелетных птиц и пчелы,— но счастлив тот, кто внимает тем снам и следует им!

Говорят, гении родятся, и все с этим согласны. Я добавляю: не каждый рождается гением, но каждому дано от рождения направить свою судьбу. Даже кажущиеся случайными причуды порою указывают твердые пути к счастью. Помнишь ли ты еще того поденщика в Людвигсбурге, вообще говоря, весьма понятливого и трудолюбивого субъекта, но который вообразил, что в парке спрятаны гранаты, и в свободные часы искал их по аллеям, поднимая и рассматривая булыжники и кварц? Люди считали его сумасшедшим, а в один прекрасный вечер, разыскивая свои гранаты, он нашел в одной из самых темных аллей туго набитый бумажник, который он честно вернул потерявшему. Тот вознаградил его так щедро, что это исправило его обстоятельства на всю жизнь. Самое странное это то, что после находки его страсть к поискам окончательно исчезла.

Так вот, и я тоже ношу в себе вполне определенные инстинкты, и так и буду их называть. О моей страсти к охоте я не говорю, ибо в отношении фантастической стороны описанной мною области ощущений не все еще достаточно ясно, но не стану скрывать: не могу отделаться от мысли, что моя постоянная стрельба и промахи должны иметь какую-то, хотя, правда, и непонятную цель. Но оставим пока в покое этот охотничий инстинкт, который заслужил мне у вас прозвище «Дикого охотника».

Есть, однако, во мне нечто другое, более серьезное; это не склонность, не убеждение, не страсть — это настоящий инстинкт. Это неописуемое чувство к женщинам. Оно жило во мне с тех пор, как я себя помню. В сущности, я не могу тебе этого объяснить. Но стоит мне увидеть женщину, как меня пронизывает ощущение бесконечно сладостного облегчения от всех страданий,

предчувствие самого безмерного удовлетворения и осуществления желаний. Но не только молодость и красота, привлекательность и грация погружают меня в эти волны наслаждений, нет, даже в самой незаметной женщине, которую я встречаю, я вижу что-то божественное. Часто такая случайная и незначащая встреча излечивала меня, точно прикосновение магической палочки от мутных, чувственных волнений; часто я сам робко бежал всякого женского общества, так как во мне происходило нечто такое, что я считал недопустимым обнаруживать при женщинах. С некоторого времени я начал обращать внимание на нелепости нашей эпохи. И я должен тебе сознаться, что из всех вещей, о возврате которых мечтает человечество, восстановление правдивых и одухотворяющих отношений между полами будет служить наградой тем эпохам, которые сумеют добиться мира в других областях.

Эти признания тебя удивят, так как ты не так уж редко видел меня неестественным и нескладным в обращении с женщинами; к тому же я никогда не был влюблен. Но несправедливее всего ты отнесся бы ко мне, если бы подумал, что из меня может выйти слащавый любезник. Нет, для этого мы, швабы, не подходим. Понимай мои слова так, как они написаны — они лепечут об одной из великих тайн природы.

Но довольно рассуждений, перехожу к безыскусственному рассказу. Вернувшись в свои поместья, я познакомился со своей соседкой и родственницей, баронессой Клелией, которая до этого жила в Вене. Я обходился с ней, как полагается швабскому кузену, а она относилась ко мне, как милая кузиночка. Никто из нас не помышлял о браке; но родственничкам он показался, по-видимому, весьма подходящим, так как из нескольких любезных взглядов, обычных в обществе знаков внимания и двух-трех непринужденных и благожелательных рукопожатий они скоро сплели для нас сеть, сквозь которую мы неизбежно должны были выглядеть, как жених и невеста; и даже старый дядя однажды простодушно спросил меня, когда состоится официальное оповещение?

Мы были страшно потрясены, и как другие люди прилагают все старания, чтобы овладеть друг другом, так мы по взаимному дружескому соглашению делали все от нас зависящее, чтобы в глазах родни симулировать размолвку. Но кузиночка Клелия была еще больше

заинтересована в этих усилиях, чем я, так как вскоре выяснилось, что ее сердечко последовало за ней в Швабию, привязанное на ниточке, другой конец которой держал некий прекрасный кавалер в имперских австрийских землях.

Эти наши старанья приводили иногда к очень курьезным сценам, в особенности с моей стороны, так как я совершенно не приспособлен к таким хитроумным комбинациям отношений. Я хотел принять на себя всю вину в том, что создалась такая видимость склонности, запутался при этом в глупейших объяснениях, признался, что я уже помолвлен с кем-то за границей, тут же отрекся от этой лжи — словом, я вел себя в этом деле, как герой довольно комической новеллы.

Между тем вся эта история возникла бы и угасла в кругу ближайших знакомых, если бы не вмешался некий посторонний интриган и не злоупотребил бы ею в целях своего дрянненького остроумия.

С некоторых пор поселился в наших краях один человек по имени Шримбс (или Пеппель, как он называл себя в других местах). Один бог ведает, сколько имен он носил и еще носит на этом свете! Уже самая внешность этого человека была в высшей степени удивительна: лицо у него было потасканное, но, тем не менее, нельзя было точно установить его возраст, так как, несмотря на морщины щек и лба, у него не было ни одного седого волоса; держался он совершенно прямо, мускулатуру имел плотную, а движения юношески бойкие. Я не знаю, как тебе описать этого Шримбса, или Пеппеля; он был всем на свете. Как угорь, ускользал его дух при малейшем стремлении удержать его в определенном положении; как ртуть, дробилось это холодное, тяжелое и все же бесконечно текучее и делимое существо на маленькие блестящие шарики, которые под конец всегда соединялись в один большой шар. Ты, вероятно, слышал о нем, так как он в разное время перебывал во многих городах под самыми различными видами. Быть может, он был и в твоих краях. В Тюбингене он фигурировал в качестве магистра и вел богословские споры, в Штуттарте был попеременно политиком и лирическим поэтом, в Вейнсберге он помогал нашему старому Юстину узреть еще больше духов, чем тот уже видел собственными глазами.

У этого человека был такой дар сочинять и разглагольствовать, какого я никогда ни у кого не встречал.

Он обладал аристофановским юмором, фантасмагорической силой воображения и неисчерпаемым подъемом духа, но главным образом страстью и любовью к вранью, которое было прямо-таки гениально. Никто его не уважал, и в то же время он был повсюду принят. Наше замкнутое общество раскрыло перед ним двери; он был украшением наших семейных, холостых и прочих кружков, ибо ты знаешь, что, как мы ни чопорны и ни тяжелы на подъем, все же испокон веку все шарлатаны делали с нами и у нас все, что им было угодно. Его считали чем-то вроде честного проходимца и в то же время с нетерпением поджидали, если ему случалось опоздать. Я все же убежден, что скверных поступков за ним не было, иначе он держался бы тише, скрытнее, искусственнее. Некая теоретическая неправдоподобность сделалась его второй натурой, но против законов он, вероятно, не погрешил.

Ты спросишь: «Чем же он вас обворожил?» Да, чем? Несуразными сказками, которые он нам рассказывал, сарказмами, фокусами. В своих сказках он с невероятной дерзостью хватал какое-нибудь ближайшее явление или общественное лицо и вертел, и крутил, и манипулировал им так, что оно превращалось в его руках в фантастического паяца, который, если посмотреть ему поближе в лицо, лопался, как мыльный пузырь. Во время его рассказов я часто чувствовал себя так, точно передо мной возникает, движется и распадается смерч. Легкое облако парит над океаном, протягивает длинный тонкий палец в бесконечные глуби, навстречу ему вскипает, вертится и пляшет вздыбившаяся вода, она свистит и шипит; туман и пена кругом, и молнии без грома! Так прыжками продвигается вперед призрак, который уже больше не пар и не волна, пока с плеском не разорвется.

И когда я говорил себе: господь всемогущий собрал в этом архиветрогоне все поветрия нашей эпохи, насмешку без убеждений, холодную иронию, бездушную фантастику, экзальтированный ум, чтобы, когда этот тип сдохнет, одним ударом избавить от них мир, хотя бы на время.

Этот Шримбс, или Пеппель, этот остроумный сатирик, этот враль и юмористически усложненный всемирный скоморох, это — дух эпохи in persona, не дух времени или, вернее говоря, Вечности, творящий свое тайное дело в тихих глубинах, а пестрый гаер, которого хитрая Старуха послала в толпу, чтобы отвлеченная им

и его карнавальными дурачествами и сикофантскими декламациями толпа не мешала своим дурацки-наглым глазением и цапаньем рождению Будущего. У этого бродяги были две замечательные особенности: во-первых, он не рассказывал чистейших сказок, но преподносил вам самые гротескные выдумки и фигуры с таким спокойствием, убеждением и серьезностью, так они въелись ему в плоть и кровь, что вы не получали во время рассказа художественного наслаждения, но либо должны были считать его сумасшедшим, либо хоть на час поверить в его басни, как бы нелепы они ни были. Во-вторых, если он в своих милетских рассказах и продергивал глупцов и злодеев нашего времени, то скоро вы убеждались — по крайней мере, у меня было такое ощущение после недолгого знакомства,— что насмешка не исходила от возмутившейся добродетели, а от мозга, которому была мила и нужна извращенность и для которого она являлась потребностью и субстанцией. Ты знаешь мои принципы в этом отношении. Я стремлюсь к положительным ценностям: воодушевление и любовь — единственная пища, достойная благородных душ. Шутку я признаю. Но мне глубоко противны издевки, брюзжание и хихикание, вертящиеся вокруг мусорной ямы, которой мы делаем слишком много чести, упоминая о ней.

Вернувшись домой, я уже застал его вполне акклиматизировавшимся в нашем обществе. Все старые дяди и кузены надрывали животы от его выдумок или разевали рты, насколько позволяли мускулы, когда он показывал им их собственные доморощенные персоны, отображенные в удивительных гротесках. Я тоже слушал его и бывал попеременно то одурманен его речами, то неприятно отрезвлен. Возможно, что я не сблизился бы так с Клелией, если бы эта запутанная околесина не усилила бы во мне потребности в простом, искреннем общении. У этого Шримбса, или Пеппеля, была еще одна странность: регулярно каждый день он запирался на три часа с тремя молодыми людьми, прибывшими спустя некоторое время после него и носившими прозвище «неудовлетворенных».

Они говорили только о том, что они не удовлетворены: при этом они тупо и странно смотрели перед собой. Никто не знал, откуда они явились, но так как они жили тихо и трезво, то они никому не казались подозрительными.

Как я уже сказал, Шримбс запирался с «неудов-

летворенными» ежедневно на три часа. Чем они там занимались, так и осталось неизвестным. Но ни дело, ни приглашение в гости, ни прогулка с восторженными слушателями, ни что бы то ни было другое не могли удержать его — едва наступал назначенный час,— чтобы не бросить все и не отправиться в дом, где происходили таинственные встречи. Когда его пытались расспрашивать об этом, он отвечал со своим отвратительным спокойствием и достоинством, что «неудовлетворенные» его изучают; когда же кто-либо хотел проникнуть в смысл этого загадочного объяснения, то он обычно заявлял, что они изучают его в связи со своими занятиями, а если его спрашивали, какие же это занятия, то ответ гласил: те, ради которых они меня изучают.

Но теперь перейдем к концу этой истории. Он присутствовал во время всей моей нелюбовной новеллы с Клелией, но, казалось, не обращал на нее особенного внимания. Когда же все постепенно вошло в колею, мой друг Пфлейдерер приносит мне в полном замешательстве — это было в городе, где я тогда гостил,— литографированный листок; на этом листке была изложена вся наша история, все уловки и способы удалиться друг от друга, не привлекая к себе внимания, и все это было превращено в самую дикую бамбоччиаду[6]. Она называлась «Рассказ о Гусенке и Гусыне, которые не поняли своего сердца».

Он сказал мне, что это произведение исходит от авантюриста Шримбса, о чем, впрочем, можно было догадаться по первым же фразам. Шримбс якобы рассказал эту историю в одном обществе, где ее нашли очень милой; какой-то проворный борзописец зафиксировал ее на бумаге и затем по общему желанию литографировал, злорадства ради, для членов этого общества. Каждый передавал ее по секрету близкому знакомому, и так она успела обежать полгорода.

Я читал и читал и, пожалуй, стерпел бы все, касавшееся меня; мало того, я признаюсь, что в отдельных местах и сам невольно смеялся. Но, конечно, он там не пощадил и Клелию.

Это привело меня в такое бешенство, что я окончательно озверел. Я поклялся отомстить плуту страшной местью. Чтобы осуществить эту последнюю, мне следовало подкараулить Шримбса в его квартире. Но, вот видишь, все та же глупость всегда замешивается в мои поступки!

Я положил в конверт литографированный листок и написал автору, что я в такой-то и такой-то час явлюсь к нему и потребую удовлетворения, словом, форменный вызов. Когда в назначенный час я явился на его квартиру, гнездо оказалось пустым; он удрал, сломя голову. Я счел это за уловку и бросился в дом, где происходили таинственные встречи, так как думал его там найти, но тут сидели трое «неудовлетворенных» и сокрушались над исчезновением учителя — так они называли этого шута. Усиленные расспросы навели меня наконец на след беглеца, указывавший сюда, на север, в Нижнюю Германию. Я сел в коляску со старым Иохемом, который принимает это еще ближе к сердцу, чем я, и поскакал вдогонку из города в город, пока наконец не бросил здесь якорь. Я, видишь ли, послал Иохема на дальнейшие поиски, так как если мы хотим поймать Шримбса, то, прежде всего, необходимо соблюдать инкогнито: меня же люди повсюду примечали, куда бы я ни приезжал; бог ведает, почему это происходило, хотя я прилагал все усилия, чтобы скрыть свое истинное звание. Ради инкогнито мы и коляску оставили в Кобленце. Оттуда мы ехали на почтовых или шли пешком.

Я радуюсь, как дитя, что исповедь сняла у меня с сердца эту историю, так как теперь я могу писать о более приятных вещах. Я не в силах описать, как хорошо у меня стало на душе в тишине холмистой вестфальской долины, где я вот уже восемь дней квартирую среди людей и скота. Именно среди людей и скота, так как коровы помещаются в доме по обе стороны сеней. Но в этом нет ничего неприятного и нечистоплотного; напротив, это усиливает впечатление патриархальности. Против моего окна шелестят верхушки дубов, а по бокам от них я вижу длинные, длинные луга, колышущиеся ржаные поля и между ними то здесь, то там дубовые рощи с одинокими хуторами. Ибо здесь все еще обстоит так, как во времена Тацита. «Они живут отдельно и разбросанно там, где им полюбился источник или поле или лес». Поэтому каждый такой двор — это маленькое обособленное государство, и хозяин его такой же государь, как сам король.

Мой хозяин отличный старик. Его зовут Старшина, но, конечно, у него есть и другое имя; прозвание же Старшины принадлежит ему только как владельцу данного двора. Я слыхал, что здесь это принято повсюду.

По большей части только двор имеет название, имя же владельца вполне им покрывается. Отсюда эта связь с почвой, эта жилистость, эта живучесть здешних людей. Моему Старшине лет шестьдесят, но свое сильное, крупное, костистое тело он носит, не сгибаясь. На его желто-красном лице отложился загар пятидесяти жатв, через которые он прошел; большой нос торчит, как башня; и над блестящими глазами свисают, точно соломенная крыша, взъерошенные брови. Он напоминает мне библейского патриарха, который ставит алтарь из неотесанного камня богу своих отцов, льет на него жертвенное вино и масло, вскармливает своих жеребят, жнет свою жатву, а потому неограниченно властвует над своими и судит их. Я никогда не видал более компактной смеси благородства и хитрости, ума и упрямства. Это настоящий свободный крестьянин прежних времен в полном смысле этого слова; я думаю, что этот тип людей можно встретить только здесь, где, благодаря древнесаксонскому упорству, разбросанности жилищ и отсутствию больших городов, сохранился характер первобытной Германии. Всякие правительства и власти пронеслись над ней, они скосили верхушки растения, но корней его не выкорчевали, так что оно продолжает пускать свежие ростки, которые, однако, уже не могут образовать густых вершин и макушек.

Местность никак нельзя назвать красивой, так как она состоит из одних волнистых подъемов и спусков, а горы видны только в отдалении; к тому же последние более похожи на мрачный кряж, чем на красивую вытянувшуюся цепь.

Но самая непритязательность этой местности, то, что она не лезет тебе в глаза своей нарядностью и не спрашивает: «как я тебе нравлюсь?», а, как смиренная домоправительница, помогает до последних мелочей строительству рук человеческих, делает ее мне особенно любезной, и я провел там много хороших часов во время одиноких блужданий. Может быть, этому способствовало то обстоятельство, что маятник моего сердца опять получил свободу раскачиваться как ему угодно и никакие благоразумные люди не крутят и не дергают механизм.

Я даже стал поэтом; что ты на это скажешь, дорогой Эрнст?

Я набросал сказку, на которую вдохновило меня одно божественное прекрасное воскресенье, проведенное

мною когда-то в дубровах Шпессарта. Она называется «чудо в Шпессарте».

Охотнее всего я сижу на холме в одном тихом местечке между ржаными полями Старшины, которые там кончаются. Передо мною просторный склон, поросший травой и кустами ежевики. Вокруг разбросаны большие камни; самый крупный из них лежит против поля, и над ним сплели свои ветви три старые липы. Позади шуршит лес. Место это бесконечно уединенно, закрыто и спокойно, в особенности сейчас, когда его загораживает рожь в рост человека.

Там я бываю часто; правда, не всегда для сентиментальных наблюдений над природой, ибо это мой обычный вечерний пост, откуда я стреляю в оленей и лосей, покушающихся на рожь Старшины.

Они называют это место Тайным Судилищем. Вероятно, во время оно суд высиживал здесь среди ужасов ночи свои вердикты. Когда я как-то похвалил Старшине это Судилище, лицо его приняло любезное выражение. Спустя некоторое время он без всякого повода повел меня в одну комнату на втором этаже, открыл окованный железом сундук и показал лежавший там старый, заржавленный меч.

При этом он торжественно сказал:

— Этот меч — величайшая редкость; это меч Карла Великого, хранящийся в Обергофе свыше тысячи лет и не утерявший своей власти и силы.

Затем он захлопнул крышку без дальнейших объяснений.

Я не смог бы ничем разрушить его веры в эту святыню, хотя беглый взгляд и показал мне, что эта широкая рыцарская шпага не могла быть старше нескольких столетий. Но он показал мне форменный аттестат, подтверждавший подлинность оружия и выданный каким-то услужливым провинциальным ученым.

Я собираюсь остаться здесь среди мужиков, пока старый Иохем не принесет мне известий о Шримбсе, или Пеппеле. Правда, отмахав восемьдесят миль, я несколько остыл, и нельзя не остыть, когда между намерением и исполнением проходит две недели; к тому же еще остается под вопросом, каким именно образом я должен ему отомстить; но, впрочем, там видно будет.

Когда я перечитываю свое письмо, оно кажется мне довольно курьезным. Вначале прелестные рассуждения, которых мне нечего стыдиться, в конце то же самое, а в

середине — точно глупый мальчик рассказывает свои проказы.

Надеюсь, Ментор, ты вскоре еще услышишь о своем Не-Телемахе.

Но прошу тебя, побрани его как следует».

СЕДЬМАЯ ГЛАВА,

в которой охотник рассказывает Старшине старую историю про своих родителей

Прошло несколько дней в обычном для Обергофа спокойствии и однообразии. Старый Иохем все еще не давал знать ни о себе, ни о сбежавшем авантюристе, и его молодого господина уже начинало одолевать некоторое беспокойство. Ибо так нас всех оплела наша урегулированная эпоха, что никто, как бы необуздан он ни был, не может долго прожить, не примостившись к какому-нибудь делу или занятию.

Правда, со Старшиной юноша общался, когда только представлялась возможность, и оригинальные свойства этого человека действовали на него все с той же притягательной силой, как и в первый день их знакомства, но старик то возился по хозяйству, то подолгу разговаривал с людьми, которые ежедневно приходили на двор, чтобы просить у него совета или помощи. При этом охотник заметил, что Старшина никогда не делал ничего безвозмездно в полном смысле этого слова. Он был готов на все для соседей, кумовьев и друзей, но всегда они должны были отплатить ему чем-нибудь, будь то исполнением самого незначительного поручения где-нибудь по соседству или другой подобной же услугой.

Ежедневно шла пальба, но всегда мимо, так что старик, который попадал в цель, во что бы он ни метил, только диву давался, глядя на эти бесцельные потуги.

К счастью для нашего охотника, владелец ближайшего поместья находился в то время в отъезде вместе с семьей и челядью, а то графские охотники изловили бы его около Судилища.

Юный шваб охотно разузнал бы о некоторых вещах, которые были ему непонятны. Так, работник однажды спросил Старшину, не скосить ли ему созревшую рожь вокруг Судилища, и услыхал в ответ, что ее скосят после свадьбы.

Охотник не обратил бы внимания на эти слова,

если бы он невольно не связал их с содержанием одного разговора, незримым свидетелем которого он оказался незадолго перед тем.

А именно: охотник слышал, как два соседних хозяина, посетившие Старшину, спросили его: «Когда собрание?» — и получили ответ: «На второй день после свадьбы», с добавлением, что тогда же и зятю дано будет посвящение. Молодой человек связал этот разговор с приказанием работнику не трогать ржи возле Тайного Судилища, не уясняя себе, однако, полного значения всего этого.

В свою очередь, Старшина спросил однажды охотника, когда тот опять вернулся домой с пустой пороховницей и пустым ягдташем:

— Скажите, молодой господин, почему вы никогда не попадаете?

Охотник был в тот день в дурном настроении, что иногда способствует откровенности. Поэтому он ответил кратко:

— Что я не попадаю, это не моя вина, а что, несмотря на это, не могу не стрелять, это у меня от рождения.

— От рождения? — переспросил Старшина.

— Я не могу этого иначе назвать,— ответил охотник.— Вы такой рассудительный человек, что у меня нет никаких оснований не рассказать вам истории, могущей объяснить мою неудачную охоту, по поводу которой вы с некоторого времени, как я вижу, покачиваете головой. Встречаются родинки в форме звезд, крестов, корон, мечей; их связывают с тем, что женщина, будучи в положении, взволновалась при виде ордена, крестного хода, коронования или находилась в то время среди военной сутолоки. Почему бы человеку не быть охотником от рождения?

Старшина предложил юному гостю присесть за стол под липами перед дверью, приказал подать бутылку вполне пристойного вина, и тогда охотник рассказал следующее:

— Мать повенчалась с отцом после того, как долго прогрустила и проплакала в невестах: родственники и разные обстоятельства мешали этому браку, но, наконец, любовь, которую они питали друг к другу, победила, и они обменялись кольцами. Последствием этих длительных задержек и препятствий вовсе не было быстрое охлаждение после достижения цели, как это нередко бывает: напротив, это был в высшей степени нежный

брак, так что в этом случае любовь доказала свою правоту. Еще теперь пожилые люди, видевшие моих родителей в первые годы супружества, рассказывают о прекрасной чете; они обходились друг с другом, как влюбленные. Нежность моей матери выражалась в заботах о жизни и здоровье отца, которые нередко бывали преувеличены. Если он задерживался на прогулке или в гостях по соседству на несколько минут против назначенного времени, то она в испуге посылала за ним; если почему-либо цвет его лица был бледнее обыкновенного, то она тотчас же начинала опасаться тяжелой болезни и собиралась послать за врачом. Ни за что на свете не позволила бы она ему путешествовать ночью, и где бы он ни находился, он должен был оберегаться сквозняка. Оставаясь твердой, беззаботной и смелой в отношении себя, она видела во всем, что окружало отца, только ужас и гибель.

— Да, да,— пробормотал про себя Старшина,— у благородных господ есть досуг для таких вещей. У нас, мужиков, тумак в счет не идет.

— Особенно настоятельно мать просила отца воздержаться от охоты. В первые годы брака ей приснился какой-то путаный сон; проснувшись, она помнила только красивый зеленый мундир, виденный ею на муже, и то, что в этом мундире с ним случилось несчастье. Тут ей пришли в голову всякие происшествия, бывающие на охоте: испугавшиеся лошади, шальные пули, кабаны, бросающиеся на охотника, и т. п., и она заставила отца дать ей слово, что он никогда больше не станет предаваться этому роковому удовольствию. Тот согласился, так как видел ее любовь к себе и вообще не питал особой страсти к охоте, хотя и занимался ею, как это пристало его положению.

Много лет брак оставался бездетен. Наконец матушка почувствовала, что господь благословил ее лоно. Обычно, как мне говорили, склонность жены к мужу слабеет в этом состоянии и обращается на созревающий плод; но мать моя составляла исключение из этого правила. Ее любовь к отцу еще возросла, если только вообще это было возможно. Одновременно она снова вспомнила о старом и почти забытом сне, детали которого, однако, не хотели проясниться, хотя она целыми часами старалась вызвать их в памяти. Отец должен был повторить прежнюю клятву.

Между тем приближался день св. Губерта, когда

князь, от которого отец мой зависел, обычно устраивал большую охоту. Среди его приближенных много раз болтали о том, почему мой отец за последние годы уклонялся от участия в этом развлечении; наконец как-то узнали настоящую причину, и это не слишком деликатное, ветреное общество потешалось над покорным супругом.

Князь, резкий и настойчивый, решил нарушить это супружеское послушание. Вошло в обычай устраивать накануне св. Губерта веселый банкет в Охотничьем замке. Стены зала, в котором он имел место, были убраны оленьими рогами, арбалетами и старинными рогатинами. Там, как у нас говорят, основательно «наводили лоск», т. е. выпивали, и тот, кто присутствовал на банкете, не мог, разумеется, отказаться от охоты.

Отец ни за что не принял бы участия в пиршестве, если бы князь не завлек его хитростью в Охотничий замок. А именно: он вызвал его туда под предлогом какого-то дела и задержал продолжительным разговором до момента, когда лакей доложил, что кушать подано. Тогда отец хотел ускакать обратно, но другой лакей, посланный вниз, вернулся и сообщил, будто конюх с лошадьми уехал до вечера домой, так как понял, что барин останется к столу.

— Ну, раз это так, тебе придется удовольствоваться нашим обществом и остаться здесь,— сказал князь.

Что было делать отцу? Как ему ни претило, но пришлось остаться. Когда за столом стало уже довольно шумно, один из присутствовавших бросил ему вопрос, будет ли он завтра на охоте.

Не дожидаясь его ответа, другой воскликнул:

— Нет, он не смеет: ему жена строго-настрого запретила.

— Правда ли,— спросил князь через весь стол,— что жена приказала тебе не дотрагиваться до курка? Если так, то ты образец мужа на всю округу.

Громкий смех последовал за этими словами, хотя в них не было ничего особенно потешного. Отец рассердился, но взял себя в руки и ответил, что это не так, что вообще нельзя думать, будто жена приказала ему нечто подобное, и сказал все, что можно было сказать в его положении и в таком расходившемся обществе.

— Стой! — воскликнул князь.— Отлично! Значит, ты поможешь нам завтра доказать нашу преданность св. Губерту.

А когда отец стал отнекиваться под предлогом поездки, гостей, нездоровья, то тот ответил:

— Ого! Значит, супруга здесь все-таки замешана. Мы должны выяснить это дело. Напомните мне в следующий раз, когда я увижу строжайшую повелительницу, чтобы я серьезно расспросил ее об этом.

В эту минуту отец решился. Он счел нужным избавить мать от неприятного разговора, которого, ввиду неделикатности князя, всегда приходилось опасаться, и сказал поэтому:

— Для того чтобы рассеять ваши подозрения, я приму завтра участие в охоте.

Раздались рукоплескания, и все с шумом поднялись из-за стола; князь сказал несколько отяжелевшим языком:

— Но если завтра тебя не будет в шесть часов на месте сбора, мы все in corpore поедем поднимать тебя с постели.

Отец коротко и сухо откланялся, накричал в передней на совравшего лакея, который, хитро улыбаясь, спросил, не прикажет ли он подать лошадей, и сам направился через двор в конюшню, где нашел конюха, и не думавшего никуда уезжать из Охотничьего замка.

Из этого отец заключил, что все было подстроено по заранее подготовленному плану. На обратном пути он обдумал свой собственный план. Отступиться от данного слова было невозможно, так как на следующее утро вся компания, к ужасу матери, действительно была бы перед домом. Поэтому он решил принять участие в охоте, но удалиться, как только это будет возможно; для того же, чтобы скрыть от других свое отсутствие, он хотел просить своего друга обер-егермейстера, по мрачному лицу которого он угадал его отрицательное отношение к этой шутке, чтобы тот назначил ему самое отдаленное место, откуда он при благоприятных условиях мог удалиться. Дабы, однако, на будущее время внушить князю и всему обществу уважение к себе, он надумал послать самым ярым из вчерашних крикунов письменный вызов, который принудит их либо заткнуть рты, либо взяться за пистолеты.

Дома он посвятил в тайну старого испытанного слугу и приказал вынуть из шкапа роскошный охотничий мундир, в котором каждый кавалер должен был являться на парадные придворные охоты; при этом, несмотря на свое раздражение, он испытал — как он рассказывал

много лет спустя, вспоминая эту историю,— тайное удовольствие, когда увидал зеленый, сверкающий колет с блестящими пуговицами, богатое золотое шитье, аксельбанты, тяжелые эполеты, завернутые в папиросную бумагу, и роскошный, хранившийся в футляре, охотничий нож со сверкающими каменьями в рукоятке — предметы, которые ему давно не приходилось видеть. Для матери он придумал какой-то незначительный повод, якобы заставлявший его уехать из дому на весь следующий день. Ему удалось ее обмануть; она спокойно легла спать рядом с ним.

Ночью она опять видела тот же сон, подробности которого не могла вспомнить в бодрствующем состоянии. Ей снилось, что отец поднялся с постели и, бросив на нее озабоченный взгляд, вышел на цыпочках из комнаты. Затем сон повел ее в гардеробную. Там отец надевал, одну за другой, все части роскошной зеленой формы. Она не могла вдосталь на него насмотреться, так он казался ей хорош, но все же она настоятельно и в великом страхе упрашивала его оставить свое намерение. Он же не внял ей, опоясался охотничьим ножом, и в эту минуту заржала лошадь. Тут видение молниеносно оборвалось, и она с ужасом увидела моего отца лежащим на плитах двора с окровавленной головой. Прежде чем она успела наклониться, чтобы ему помочь, лошадь, которую она почему-то не видела, заржала во второй раз — и тут она проснулась, как ей показалось, от настоящего ржания. Полусонная, пощупала она вокруг себя, чтобы для успокоения погладить отца по щеке, беспокойная дремота уступила место испуганному воображению, так как соседняя кровать была пуста и одеяло откинуто. Она позвонила камеристке и спросила, где барин. Та видела, как отец, крадучись, проскользнул мимо нее, и ответила, не без колебаний, что он в гардеробной. Тут ее уже ничто не могло удержать, она быстро накинула пеньюар и скорее побежала, чем пошла в гардеробную. Когда дверь раскрылась, оба родителя очутились друг перед другом, одинаково испуганные, и думали, что они сейчас упадут в обморок. Отец стоял таким, каким он ей приснился, во всем своем блеске, освещенный розовым светом зари, и опоясывался охотничьим ножом. Последовали оживленные вопросы и объяснения, пока он не доказал ей самым настойчивым образом, что на этот раз отменить поездку было невозможно. Пока они спорили, оседланная лошадь отца в третий раз

заржала во дворе. Мать бросилась к окну, увидела, как горячий скакун бьет копытами землю и становится на дыбы, ужасный конец сна встал перед ее глазами, и она принялась умолять отца во имя младенца, трепетавшего у нее под сердцем, по крайней мере не ехать верхом, а воспользоваться легким экипажем, так как у нее было твердое предчувствие, что на лошади с ним случится несчастье. Сильно расстроенный, он крикнул слуге:

— Так прикажи запрягать! — ласково вывел мать за дверь и попросил ее, ради создателя, снова лечь в постель, так как в легком пеньюаре и при утренней стуже она могла тяжело заболеть; увидев, что она наконец направилась в спальню, он быстро сбежал по главной лестнице, чтобы вскочить на лошадь, как можно скорее вернуться с охоты и закончить этот проклятый день.

Но мать, уже начавшая питать подозрения, проскользнула во двор по маленькой боковой лестнице, чтобы удостовериться в том, что отец действительно поехал в коляске. Когда она добралась вниз, то увидела, что отец уже сидит верхом и еле справляется с лошадью, которую он в своем раздражении еще больше нервировал резким обращением. С громким криком бросилась она во двор; лошадь, приведенная в бешенство этой внезапно появившейся белой фигурой, повернулась, обезумев, на задних ногах, попала на скользкое покатое место, поскользнулась и рухнула на землю. Отец действительно лежал на плитах двора с окровавленной головой, а мать не могла ему помочь, так как сама упала в обморок у дверей.

Охотник остановился, переведя дыхание, сам взволнованный своим рассказом, подробности которого, как он сообщил после небольшой паузы, потому так живо стояли у него перед глазами, что происшествие было ему раз сто пересказано очевидцами во всех деталях. Оно вошло в историю их семьи и замка.

Его слушатель задумчиво откинул волосы со лба и спустя некоторое время сказал:

— Что происшествие не имело грустных последствий, это ясно, так как вы, сударь, сидите передо мной здравы и невредимы.

— К счастью, все свелось к испугу,— возразил охотник.— Отец сумел быстро бросить поводья, его эполет оторвался от резкого движения, попал ему под голову и защитил от слишком сильного удара; он отделался легкой раной. Матери, в отношении которой можно

было опасаться самого худшего, помогла ее исключительно крепкая натура. Она оправилась и дождалась положенного времени, хотя мысли об этом утре не покидали ее ни на одно мгновение.

— И вы полагаете, что отсюда происходит ваша страсть к охоте? — спросил Старшина.

— Я появился на свет несколько месяцев спустя после этого события с родинкой под сердцем в форме охотничьего ножа. Когда я стал мальчиком, никакие увещевания и наказания не могли удержать меня от того, чтобы я не бегал за охотниками. И так оно продолжается и по сей день, хотя меня, как вы, к сожалению, успели заметить, не поощряет к этому занятию ни добыча, ни успех.

— Но если ваша матушка питала такой страх перед охотой, то вы скорее должны были бы чувствовать к ней отвращение,— сказал Старшина.

— Нет! — воскликнул молодой человек, и глаза его засветились темными огнями, как с ним обычно бывало, когда речь заходила об этом предмете.— В этом вы ничего не понимаете, Старшина. Если человеческое существо может невольно влиять на другое через кровь, через душу или симпатически, то это влияние падает в самые темные глубины, где силы властвуют и бушуют по своему усмотрению, ткут и создают наклонности, которых никто не в состоянии ни предвидеть, ни угадать. Омерзение может вызвать желание, страх — мужество, любовь — отвращение, и никому не дано восстановить родословное дерево таких новообразований.

— В этом я действительно ничего не понимаю, и мне нет до этого никакого дела,— сказал Старшина.— Но из истории, которую вы так занятно рассказали, я вывожу тройную мораль.

— Вы, по-видимому, высоко цените мораль?

— Мораль отличает нас от скота,— торжественно заявил Старшина.— В сущности, скоту во всем живется лучше, чем человеку; он вернее находит дорогу, у него есть определенный корм, он не боится смерти, не предается бесплодному сладострастию; но морали у скота нет; мораль есть только у человека.

— Так, значит, из моей истории вытекают три моральных вывода?

— Да, три. И я не стану их скрывать от вас, г-н охотник.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА,

в которой Старшина извлекает из истории охотника тройную пользу

— Во-первых,— сказал Старшина,— история учит вот чему: если действительно ваша страсть ведет свое происхождение от вашей матушки, то это значит, что поныне еще нерушимо слово господне: «Я господь, бог твой, наказующий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Ибо сама по себе охота дозволенное и веселое дело. Но человек всегда грешит, когда он идет наперекор тому, что в обычае среди равных ему; тогда неважное становится важным и тянет за собой разные разности, подобно тому, как настала моровая язва, когда Давид приказал сосчитать народ, что не было в обычае у иудеев. Ваша матушка впала в грех, так как она не хотела пустить супруга на охоту, как ему полагалось по его званию, и потому дано вам это безумство: стрелять и не попадать. Но вам бы следовало отделаться от него силой, так как такие наклонности происходят не от «темных глубин», не от «усмотрения сил», как вы говорите, а только от дурости, из-за которой вы можете натворить много бед. И у детей порою бывает искушение поджечь дом, но они воздерживаются, если их крепко приструнить. А человек, над которым никто не поставлен, может и должен быть сам себе господином и наставником.

Во-вторых, ваша история учит, что слишком большая любовь в брачной жизни тоже не годится. Ибо ваш родитель не упал бы с лошади, если бы ваша матушка в таком волнении не выскочила на двор. Она хотела оборонить его от опасности и тем самым ввергла его в беду.. Как легко мог бы застрелить его кто-нибудь из тех господ, кому он собрался написать после охоты.

В браке все должно быть умеренно, и любовь тоже: брак — дело долгое, пылу и жару на век не хватит. Холостой человек может делать что хочет: беды от того не будет; но после брака — стой! Возьми себя в руки и подавай другим пример. На мужа и жену все смотрят, и от них соблазн — двойной соблазн. С холостым мало кто имеет дело, но на хозяйстве и семье стоит все житье-бытье: соседство и подмога, христианская вера, церковь и школа, двор и дом, чада и говяда; и как тут быть закону и порядку, если супруги ведут себя как сумасброды? У нас, крестьян, этот порок попадается реже, но у городских — я их много видывал и здесь, и в других местах

и обычаи их хорошо знаю — мне многое не по вкусу. Если муж бьет или ругает жену без нужды, то создает соблазн, ибо апостол Павел сказал: «Мужья, любите жен своих, как и Христос возлюбил Церковь», но если жена так заполонит мужа ласками и сладкими речами, что он боится посидеть с приятелями после положенного часу или воздерживается от всего, что веселит сердце, то она опять-таки создает соблазн, ибо апостол Павел паки написал: «Жены, повинуйтесь мужьям своим». Но страх состоит не в таких повадках, а в том, чтобы с мужа воли не снимать, так как брак должен возвышать мужчину, а не втаптывать в землю, ибо все тот же самый апостол Павел писал к коринфянам: «Не муж от жены, а жена от мужа».

От времени до времени при хорошей погоде у меня здесь собираются большие компании из горожан, которые плезиру ради проводят день на свежем воздухе, а к вечеру уезжают. И тут я наблюдаю, между прочим, что молодожены, которые только год или два как поженились — после уж этого не бывает,— переглядываются, перемигиваются, лижутся и амурятся, точно они одни-одинешеньки и никого ни кругом, ни около. В этом опять кроются три соблазна.

— Жаль, Старшина,— со смехом прервал его охотник,— что вас не слушает профессиональный философ. Он похвалил бы архитектоническую симметрию вашего строя мысли. Три соблазна, соответствующие трем моральным выводам.

Старшина, не обращая на него внимания, продолжал:

— Во-первых, в компании всегда есть люди, которые хотели бы посвататься, да не могут, и у них такое любезничание при народе ведет к тайной зависти и недоброхотству, от чего человек да оберегает ближнего своего. Это первый соблазн. Во-вторых, когда проделывают такое при людях, что надлежит хранить в тайности, то всякий подумает: уж, верно, они дома пылают в таких страстях, от которых можно вконец известись. В-третьих, иной и решит: что одному хорошо, то и другому ладно; вы не стыдитесь, так и мне ни к чему; вам можно лапать, а мне царапать; он и выпустит всех змей, которых носил в сердце и до этого сдерживал,— все дурные, насмешливые речи, издевки и поклепы; заденет этим других, а те ему ответят, так что всякому согласию конец. Я уже видел, как из-за такой нежничающей парочки поднялся в ком-

пании спор и раздор, который тем больше разгорался, чем больше они миловались.

Напротив, это одно удовольствие, когда порой встречаешь молодых людей, которые ведут себя скромно и прилично; женушка сидит здесь, а муженек там, каждый вежливо беседует со своим соседом, один как будто на другого и не глядит, за руку друг друга не возьмут, а о поцелуях и речи нет, и все-таки каждый видит по их бодрым, розовым лицам, что дома у них счастье и благодать; как два яблочка на одном суку, которые хоть и не оглядываются друг на друга, а все же цветут, растут и зреют вместе. Брак — божье благословение; но он требует, чтобы с ним обращались разумно, ловко и деликатно, иначе он, как вино, выпитое не в меру, делает человека пьяным, глупым и больным. Он, как зеленый сук яблони: если плод хочет на нем созреть, пусть спокойно и тихо держится за него и в дождь, и в вёдро.

— Мораль у вас хотя и довольно доморощенная, но какая-то правда в ней есть,— сказал охотник.— Здравый смысл всегда оказывается прав, хотя сам по себе он не является высшей истиной. Что касается моих родителей, то их дальнейшие отношения до известной степени подтверждают вашу теорию. Мою мать точно подменили после того ужасного испуга; он подействовал на нее, как душ. Отец мог после этого приходить, уходить, одеваться, поступать как хотел, и с тех пор, как я себя помню, брак родителей представляется мне хотя и ласковым, но все же свободным и спокойным союзом.

— Да, да,— сказал Старшина,— так оно и должно было случиться. Где тонко, там и рвется; перетянешь лук, он сломается; после солнышка — дождь. Во всяком случае я хочу дать вам добрый совет, молодой господин. Если вы хотите сохранить свое инкогнито и сойти за сына горожанина, за которого вы себя выдаете, то не рассказывайте мне историй про охотничьи замки, княжеские банкеты, золотые камзолы, лакеев и конюхов.

— Совет пришел слишком поздно,— весело воскликнул молодой человек.— Я вижу, что из моего притворства ничего не выходит; даже если я спрячу голову, как страус, меня все равно узнают. Только не выдавайте меня; у меня есть особые основания для этой просьбы, и вы можете исполнить ее с чистой совестью, так как преступления я не совершил.

— Надо полагать, что нет: на преступника вы не похожи,— сказал, улыбаясь, Старшина.

— А теперь примите и от меня совет. Вы старый, положительный человек, которому важнее скрыть свои намерения, чем мне. Если вы хотите уберечь от меня и моего любопытства секреты, которые, безусловно, у вас есть, то вы не должны сами возбуждать мое внимание, показывая мне меч Карла Великого с такой торжественной и таинственной речью.

Старшина выпрямился. Его высокая фигура, казалось, еще выросла, и появившаяся луна бросала от него длинную тень на двор. Он произнес низким голосом и с выражением, от которого у охотника пробежали мурашки по телу:

— Горе тому, кто увидит или услышит тайны меча Карла Великого, если таковые существуют.— После этого он снова сел, налил гостю последний стакан вина и сделал вид, точно ничего не случилось.

Тот смущенно молчал. Он понял, что относительно некоторых вещей со стариком не следовало шутить. Чтобы снова завязать разговор, он наконец сказал:

— Вы обещали мне три моральных поучения, а сообщили только два.

— Третье,— ответил Старшина,— скажется не в словах, но в действиях или поступках.

После этих слов, смысла которых он не пояснил, Старшина вошел в дом.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Охотник возобновляет старое знакомство

На следующий день, в обеденный час, охотник услышал шум под своим окном, выглянул и заметил толпу людей, стоявшую перед домом. Старшина в праздничной одежде как раз выходил из дверей; напротив, у дубовой рощи, стояла парная повозка, на которой среди нескольких корзин сидел человек в черном одеянии, по-видимому, духовное лицо. В некоторых из этих корзин трепыхалась домашняя птица. В задней части повозки он увидел женщину в одежде горожанки, тоже державшую корзину на коленях. Возле лошадей стоял крестьянин, сжимая в одной руке кнут, а другой обхватив шею одного из животных. Подле него находилась служанка, опять-таки держа под мышкой корзину, прикрытую белой салфеткой.

Человек в широком коричневом сюртуке, степенная походка и торжественное выражение лица которого

позволяли безошибочно угадать в нем причетника, направился с достоинством от повозки к дому, остановился перед Старшиной, приподнял шляпу и произнес следующий стишок:

Мы все явились к вам на двор,
Причетник и отец пастор,
Пономариха и служанка,
Чтоб с Обергофа спозаранку
Собрать все дани и дары:
Курей, яички и сыры.
Итак, готово ли все это,
Что надлежит собрать за лето?

Старшина прослушал этот стих с непокрытой головой. Когда тот кончил, он подошел к повозке, поклонился священнику, почтительно помог ему сойти и остановился с ним в стороне для беседы, которую охотник не мог расслышать; в это время женщина с корзиной тоже слезла, и все они, причетник, мужик и служанка, выстроились позади двух главных персонажей для торжественного шествия. Охотник спустился вниз, чтобы уяснить себе суть этой сцены, и увидел, что сени посыпаны белым песком и что соседняя с ними горница украшена зелеными ветками. Там сидела хозяйская дочь, тоже разодетая по-воскресному, и пряла с таким усердием, точно еще сегодня хотела сдать целую кипу. Она вся раскраснелась и не отводила глаз от веретена. Он вошел в горницу и только что собрался ее расспросить, как шествие незнакомцев вместе со Старшиной появилось в сенях. Впереди шел священник, за ним причетник, затем мужик, затем жена причетника, затем служанка и, наконец, Старшина — все поодиночке. Священник направился к прявшей дочке, которая все еще не поднимала глаз, любезно поздоровался с ней и сказал:

— Так и надо, милая девушка, чтобы невеста усердно крутила прялку; тогда суженый может быть уверен, что у него дом будет как полная чаша. Когда же свадьба?

— Через неделю в четверг, с вашего позволения, господин пастор,— ответила она, покраснев еще больше, если только это было возможно; затем она смиренно поцеловала руку пастора, который был еще сравнительно молодым человеком, взяла у него шляпу и трость и подала ему с приветствием освежительный напиток.

Остальные, пожав по очереди руку невесте и высказав ей свои пожелания, тоже усладили себя напитком, а затем покинули горницу и направились в сени; пастор же остался поговорить о приходских делах со Старшиной,

который продолжал стоять в почтительной позе со шляпой в руках.

Молодой охотник, не замеченный никем и наблюдавший эту сцену из угла горницы, охотно еще раньше поздоровался бы с пастором, если бы он не счел неприличным вмешаться в диалог между приезжими и хозяевами, в котором, несмотря на крестьянскую обстановку, было что-то церемониальное. Ибо в пасторе он с удивлением и радостью узнал прежнего знакомого по университету. Тут Старшина на минуту покинул комнату, и тогда охотник подошел к пастору и приветствовал его, назвав по имени. Тот был ошарашен, провел рукой по глазам, но тотчас же узнал охотника и обрадовался не меньше его.

— Однако,— добавил он после первых приветствий,— сейчас не место и не время для разговора, подойдите ко мне после, когда я уеду со двора, тогда мы поболтаем; здесь я — официальное лицо и нахожусь под властью строгого церемониала. Мы не должны обращать друг на друга никакого внимания; подчинитесь и вы пассивно этому ритуалу. А главное, не смейтесь над тем, что увидите: иначе вы сильно обидите этих добрых людей. Впрочем, как ни странны на вид эти старинные крепкие обычаи, они не лишены известной величественности.

— Не беспокойтесь,— ответил охотник,— но я все же хотел бы знать...

— Все потом,— шепнул пастор, косясь на дверь, в которую снова входил Старшина. Затем он отошел от охотника, как от чужого.

Старшина с дочерью сами ставили блюда на стол, накрытый в этой горнице. Тут были и суп из курицы, и миска зеленых бобов с рождественской колбасой, и свинина со сливами, и хлеб, и масло, и сыр, а также бутылка вина. Все это было поставлено на стол одновременно. Крестьянин, стерегший лошадей, тоже пришел. Когда кушанье было подано и дымилось на столе, Старшина вежливо пригласил пастора откушать на здоровье.

Было накрыто только на два лица. Пастор, прочитав молитву, уселся, а несколько поодаль от него поместился крестьянин.

— А я не здесь обедаю? — спросил охотник.

— Боже сохрани,— ответил Старшина, а невеста удивленно покосилась на него.— Здесь кушают только господин пастор и колон[7], а вы садитесь вместе с причетником.

Охотник направился в другую, противоположную комнату, успев заметить, к своему изумлению, что Старшина и дочка сами обслуживали парадный стол.

В другой горнице тоже было уже накрыто, и охотник застал там причетника, его жену и служанку, которые, казалось, с нетерпением ждали своего четвертого компаньона. На этом столе дымились те же блюда, не хватало только масла и сыра, а вино было заменено пивом. Причетник с достоинством подошел к верхнему концу стола и, глядя на миски, произнес следующий стих:

Все, что ползет по земле и летает по небу,
Сделал Господь человекам на потребу.
Куриный суп, бобы, свинина, сливы и колбасы
Да будут благословенны от Господа-спаса.

После этого общество уселось с причетником во главе. Последний не расставался со своей важностью, как и причетница со своей корзиной, которую она поместила возле себя. Напротив, пасторская служанка скромно поставила свою поодаль. Во время трапезы, состоявшей из целых гор провизии, наваленных в миски, соблюдалось полное молчание; причетник с самой серьезной миной поглощал чудовищные порции, да и жена не отставала от него; опять-таки и в этом отношении скромнее всех держала себя служанка. Что касается охотника, то он ограничивался почти исключительно наблюдением: сегодняшний церемониальный обед был ему не по вкусу.

Покончив с едой, причетник обратился с торжественной улыбкой к двум служанкам, прислуживавшим за этим столом:

— А теперь, с благословения господня, примем причитающиеся с сего места повинности и доброхотные даяния.

В ответ на это служанки, успевшие убрать со стола, удалились, причетник уселся на стул посреди горницы, а по бокам от него поместились обе женщины, т. е. причетница и служанка, поставив перед собой открытые корзины. После того как ожидание, отражавшееся на лицах сидевших, продлилось несколько минут, в горницу вернулись обе служанки в сопровождении своего хозяина, Старшины. Первая несла корзину с редким плетением, в которой испуганно кудахтали и бились куры. Она поставила ее перед причетником, и тот, заглянув внутрь, сказал:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть; правильно.

Затем вторая вынула из большого платка копу яиц,

а также шесть круглых сыров и, сосчитав их, положила в корзину пасторской служанки не без проверки со стороны причетника. После этого он сказал:

— Ну-с, поелику господин пастор получили свое, теперь очередь за причетником.

Ему отсчитали в корзину его дражайшей половины тринадцать яиц и один сыр. Супруга проверяла свежесть каждого яйца потряхиванием и на запах и забраковала две штуки. После этой процедуры причетник встал и обратился к Старшине:

— Как будет, господин Старшина, со вторым сыром, который причетнику надлежит получить от сего двора?

— Вы сами знаете, причетник, что Обергоф никогда не признавал этого второго сыра,— ответил Старшина.— Этот второй сыр ложится на Бауманову вотчину, которая более ста лет тому назад была в одних руках с Обергофом. С тех пор как произошел раздел, на здешний двор ложится только один сыр.

На буро-красном лице причетника появилось столько глубоких морщин, сколько оно могло вместить, от чего оно разграфилось на множество четырехугольников, кругов и углов. Он сказал:

— Где теперь Бауманова вотчина? Раздроблена, растерзана и разделена в смутные времена! Должен ли причт страдать от этого? Отнюдь! Однако же, неукоснительно сохраняя за собой все и всяческие права на оный, оспариваемый свыше ста лет и лежащий на Обергофе второй сыр, я беру и приемлю этот один сыр. Сим мы покончим с повинностями для пастора и причетника, и да начнутся доброхотные даяния.

Эти последние состояли из свежеиспеченных пирогов, из коих шесть пошли в пасторскую, а два в причетническую корзину. На этом закончилась церемония подношений. Причетник подошел к Старшине и произнес нижеследующий третий стих:

Все шесть куриц были чудесны,
И сыры тоже полновесны.
Яйца оказались свежими на славу,
И угостили нас тоже по уставу.
Посему да спасет господь ваш двор,
Да минут его огонь, и глад, и мор.
И богу, и людям будет мил,
Кто дары приносит по мере сил.

На это Старшина отвесил благодарственный поклон. Причетница и служанка забрали корзины и погрузили

их на повозку. Одновременно охотник увидел, что служанка вынесла из горницы, где трапезовал пастор, миски и тарелки в сени и принялась мыть их на глазах у пастора, который вышел и стоял на пороге. Покончив с мытьем, она подошла к нему, а он вынул завернутую в бумагу мелкую монету и, развернув, отдал ей.

В это время причетник смаковал кофе, а так как и охотнику была подана чашка, то он подсел к нему.

— Я здесь чужой,— сказал молодой человек,— и не вполне понял обряды, которые сегодня видел. Не согласитесь ли вы объяснить их мне, господин причетник? Разве на крестьянах лежит повинность снабжать господина пастора припасами?

— Повинность — в отношении кур, яиц и сыра, но не пирогов, каковые суть доброхотные даяния, однако же беспрекословно подносятся испокон веку,— вполне серьезно ответствовал причетник.— К диаконату, или соборному приходу в городе, приписаны для кормления три крестьянские общины, и часть пасторских и причетнических доходов составляют повинности, которые ежегодно несут отдельные дворы. Для того чтобы их собрать, мы совершаем, как повелось с незапамятных времен, ежегодно два обхода или объезда, а именно: нынешний летний, или малый, объезд, а затем зимний, или большой, после рождественского поста. На летний объезд падает куриная, яичная и сырная повинности, с одного двора столько-то, с другого — столько-то; первая же рубрика, а именно куры, относится pro diaconatu, причт же должен удовольствоваться яйцами и сыром. На зиму приходится зерновая повинность: ячмень, овес и рожь; тогда мы приезжаем на двух повозках, потому что одна не может забрать всех мешков. Так совершаем мы двукратно в год круговые объезды по общинам.

— А куда вы направляетесь отсюда? — спросил охотник.

— Прямо домой,— ответил причетник, расстегивая сюртук и вытягивая из-под него пуховую подушечку, которой он согревал свое чрево, несмотря на теплую погоду; однако после основательной трапезы она, по-видимому, показалась ему в тягость.— Сия крестьянская община — последняя, а сей Главный Двор — последний двор, где свершается положенная трапеза,— сказал он.

Охотник заметил, что в отношении трапезы, приветствий, принятия припасов и даже мытья посуды, по-ви-

димому, соблюдался заранее установленный порядок, на что достойный причетник возразил следующее:

— Безусловно. Для каждого из таких объездов установлен особый чин и твердый порядок, от коего не полагается отступать. В шесть утра мы выезжаем из города: господин пастор, я, моя жена и пасторская служанка. Рейманов хутор поставляет повозку для частных приношений, однако только после вежливого обращения и просьбы; с повозкой идет и сам колон и не отступает от господина пастора ни на шаг; он же один садится с ним за стол, как вы, вероятно, изволили заметить. Первую корзину для кур мы берем с собой из города, но так как она наполняется на первом же дворе, то этот последний одалживает нам другую для следующего и так далее до сего места. Колон кормит лошадь овсом, каковой мы взимаем с Бальструпа в размере одного шефеля и возим с собой; а служанка, которая должна вымыть тарелки на глазах у господина пастора, получает за это три с половиной штивера, для сей цели и на сей предмет взысканные и полученные с Малого Бека в общине Брандстедде.

— А вирши, господин причетник, которые вы так громко и внятно читали, они тоже старинные? — спросил охотник.

— Разумеется,— ответил тот.— Однако,— охотно продолжал он,— кой-какие места, напоминавшие о темных временах, я выпустил или исправил, как того требует современность. Например, старый текст благодарственной речи кончается так:

Попробуйте только нас обмерьте:
Всех вас вместе задушат черти.
А если в сырах не полная мера,
Так пусть поразят вас чума и холера.

Эти непристойные стихи я мало-помалу выкинул, опуская каждый год по одному, а то делал вид, будто закашлялся, или еще что-нибудь в этом роде, так как в отношении новшеств с крестьянами нельзя спешить. Все же это вызвало нарекания; нашлись деревенские тупицы, которые ни за что не хотят выпустить эти грубости, так как, говорят они, им здесь и быть надлежит. Они не внесут повинностей, если я не посулю им черта и холеры; Старшина в этом отношении благоразумнее.

Причетника позвали, так как повозка была уже заложена и пастор с сердечными рукопожатиями и пожеланиями прощался со Старшиной и его дочкой, которые

стояли перед ним так же почтительно и вежливо, как во время всех остальных обрядностей этого дня. Наконец шествие тронулось между ржаными полями и высокими изгородями, направляясь по другой дороге, чем та, откуда оно пришло. Колон с кнутом — впереди лошадей, за ними — медленно двигающаяся повозка, а на ней кроме двух женщин теперь еще и причетник, восседавший между корзинами и здоровья ради снова подсунувший под кафтан пуховую подушечку.

При прощании охотник скромно держался в стороне, но когда пасторская повозка удалилась на некоторое расстояние, он пустился за ней быстрыми шагами и нашел пастора, который отстал от своего воза, сидящим в уютном местечке под сенью деревьев. Здесь, свободные от обергофского церемониала, они крепко обнялись и пастор, смеясь, воскликнул:

— Вам бы никогда в голову не пришло, что вы встретите вашего старого знакомца, который так бережно водил юного швабского графа по скользкому паркету науки и элегантной жизни большого города, в роли какого-то Лопеса из «Испанского священника» Флетчера.

— Хотя ваш причетник и не веселый Диего, но зато он цельная натура,— ответил охотник.— Он объяснил мне ритуал повинности как настоящий церемониймейстер и вел себя с таким достоинством и умом при принятии, упаковке даров и произнесении виршей, что я могу его отрекомендовать в качестве образца любому полномочному министру, которому предстоит выполнить важное поручение своего правительства.

— Да,— сказал пастор,— сегодня его праздник, которому он радуется еще недель за шесть. Вообще между причетниками сохранилось довольно много комических фигур, которые теперь вымирают. По должности им приходится выслушивать много возвышенных и поучительных слов, колокольный звон, оглашение рождений и смертей; все это придает их существу какую-то удивительную высокопарность, с которой страшно контрастирует их счастливый аппетит или, вернее, безграничное обжорство. Правда, дома у них не очень-то сытно, и вот они обеспечивают себя на целые недели вперед во время крестин, свадеб, поминок и пожирают чудовищные порции, все это с елейностью или со слезой радостного сочувствия или горестного соболезнования в глазах. У моего причетника кроме профессиональных особенностей имеется еще и личная: он отчаянный трус, и во

время наших ночных хождений по больным и умирающим я пережил с ним немало комических сцен.

Но оставим причетника и его глупости. Что касается процедуры, свидетелем которой вы сегодня были, то необходимо, чтобы я участвовал в ней персонально; мои добрые отношения с этими людьми были бы нарушены, если бы я из чувства брезгливости отказался от выполнения подобных обрядностей. Мой предшественник по должности, который был не из здешних мест, стыдился этих периодических объездов и просто не хотел иметь с ними ничего общего. Чем же это кончилось? У него возникли крупнейшие нелады с крестьянством, от которых даже пострадали церковь и школа. В конце концов он вынужден был просить о переводе, и когда я получил этот приход, я тотчас же принял за правило следовать во всем местным обычаям. Благодаря этому я чувствовал себя до сих пор очень хорошо, и та видимость материальной зависимости, которая связана с этими объездами, не только не вредила моему престижу, а напротив, он от этого только повышался и укреплялся.

— Иначе оно и быть не могло,— воскликнул охотник.— Я должен признаться, что, несмотря на весь комизм, который сумел внести в эти обряды ваш причетник, меня все время не покидало какое-то чувство умиления. Я видел в этом принятии простых даров природы благочестивейший и смиреннейший лик церкви, нуждающейся для существования в хлебе насущном, а в почтительных дарителях — олицетворение верующих, подносящих ей земные блага в смиренном убеждении, что получат взамен их вечное; таким образом, ни для той, ни для другой стороны не возникает никакой рабской зависимости, а, наоборот, создается искренность полного взаимного общения.

— Очень рад,— воскликнул пастор и пожал руку охотнику,— что вы воспринимаете это таким образом; другой, может быть, стал бы издеваться над этим; я должен вам сознаться поэтому, что в первую минуту мне было неприятно увидеть вас неожиданным свидетелем этой сцены.

— Упаси меня господь издеваться над чем бы то ни было, что я видел в этих местах,— возразил охотник.— Я теперь искренне рад, что некий сумасшедший поступок забросил меня в здешние поля и леса; иначе я бы никогда не познакомился с этим краем, так как он не пользуется никакой известностью и действительно содер-

жит мало привлекательного для утомленных и издерганных туристов. Но еще сильнее, чем на родине, я почувствовал: вот земля, которую более тысячелетий попирает несмешанная раса. И идея бессмертного народа, я сказал бы, почти физически предстала передо мной в шуршании этих дубов и в окружающем нас изобилии плодов земных.

После этого заявления между пастором и охотником последовал разговор, который они вели, медленно шагая за повозкой.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

О народе и высших сословиях

— Бессмертный народ! — воскликнул пастор.— Да, это вы правильно сказали. Уверяю вас, что я возвышаюсь духом, когда думаю о неослабной памяти, непоколебимом добродушии и богатых творческих силах, благодаря которым издревле сохранялся и укреплялся наш народ. Говоря о народе, я имею в виду лучших из свободных граждан, т. е. почтенное, деятельное, мудрое и трудолюбивое среднее сословие.

Именно их я имею в виду в настоящий момент, и никого другого. От них, от всей этой массы веет, как от взрытого весной чернозема, и во мне пробуждается надежда на вечное созревание, рост и расцвет, исходящий из темного благостного лона. Из него снова и снова родятся истинная слава, могущество и великолепие нации, которые зиждятся на ее обычаях, на сокровищнице ее мысли и искусства и на героизме, проявляющемся порывами, когда обстоятельства приводят ее к отвесному краю гибельной пропасти. Этот народ, как ребенок в сказке, постоянно находит жемчуга и драгоценные камни, но не обращает на них внимания, а продолжает довольствоваться своим убогим достатком; этот народ — исполин, который позволяет вести себя на шелковом шнурке доброго слова; он глубокомыслен, наивен, предан, храбр и сохранил все эти качества при обстоятельствах, которые сделали другие народы поверхностными, наглыми, вероломными и трусливыми.

Я не стану разыгрывать, подобно Ле-Вайану, превозносившему добродетели готтентотов в ущерб европейской цивилизации, апологета мужицкой идиллии и мещанской узости; я отлично чувствую, что в связи с изменившимися

временами мы рождаемся со склонностью к блестящим, изысканным предметам, к своего рода аристократизму существования, выходящему за пределы средних возможностей, и от которого мы уже не можем отделаться без ущерба для своего естества; тем не менее я должен рассказать следующее из своей биографии. В то время как я руководил молодым шведским графом, еще сам весьма нуждаясь в руководстве, я сделался под влиянием тех остроумных, элегантных, блестящих и шикарных личностей, с которыми я сталкивался по тогдашней моей должности, таким же остроумным, половинчатым, критизирующим и ироничным, как многие; гениальный в своих требованиях к жизни, но не в своей деятельности, я был недоволен всем происходящим и всегда стремился в голубую даль; словом, уступая худшей части моего существа, я сделался одним из «новых», страдал мировой скорбью, мечтал о новой Библии, новом христианстве, новом государстве, новой семье и о том, чтобы самому перемениться с головы до пят. Коротко говоря, я был на пути к сумасшедшему дому или к самому невыносимому филистерству, ибо это два конечных пункта, куда большей частью приходят современные Чайльд Гарольды. И только здесь, среди удивительных, но достойных уважения оригиналов этого маленького города и среди окружных хуторян, я вернулся к самому себе, обрел твердую почву под ногами, почувствовал, как с меня сходит пена эпохи, и нашел мужество основать уютный домашний очаг. Ибо в народе еще живы основы человеческого общежития; там отчетливо выступает отношение между полами, там болтовня не имеет веса, а только ремесло или профессия; там за работой регулярно следует отдых, и удовольствие еще не изгнано из развлечений. Присмотритесь к ликованию в городе и в деревне на воскресных танцах, на свадьбах, на состязаниях стрелков и судите сами, так ли скоро вымрет веселье, как это думают современные юноши печального образа. И в городе, и в деревне есть тунеядцы, плохие браки и злые бабы, но их называют своими именами, не прибегая к изысканным парафразам. Наконец, совершенно неизвестна народу эта помесь скуки и восторженности — как удачно выразился один мой приятель,— которая порождает в утонченном обществе всякие извращения и из которой тот же приятель выводил катастрофу одной красивой, достойной сожаления молодой дамы; все ее несчастье заключалось в том, что она вышла замуж за посредственного поэта, но великого

эгоиста[8]. Весь этот потенцированный и дистиллированный жанр, этот гермафродитизм духа и характера, порожденный досугом длительного мира, навсегда останется чужд основному ядру нашего народа.

Эти прямые и нормальные отношения явились для меня ортопедической лечебницей, в которой выправились мои слегка искривленные члены. Правда, в тишине и отрешенности от бушующих течений нашей эпохи надлежит следить за собой, так как нас подстерегает опасность омужичиться. Между тем я еще связан скрытыми, но прочными нитями со вселенной, с той только разницей, что теперь эти нити цепляются за предметы, на которые указывают мне мои духовные потребности, в то время как раньше я придумывал себе немало духовных потребностей, как это делают многие из наших современников.

После этой речи охотник шел некоторое время молча и опустив голову.

— Что с вами? — спросил пастор, немного повременив.

— Ах,— ответил тот,— вы дали правильную характеристику немецкого народа, но мне грустно, что верхушка не соответствует основанию. Этот способный народ мог бы создать гораздо больше, мог бы расширить свою деятельность, если бы высшие слои отличались такими же качествами. Ужасно, что я сам должен сказать: да, это не так.

— К сожалению, говоря коротко и ясно, наши высшие сословия отстали от народа,— ответил пастор.— Кто станет спорить, что имеется много весьма почтенных исключений из этого правила. Но они только его подтверждают. Благородное сословие, как таковое, не окунулось в волны движения, которое началось с Лессинга и повлекло за собой безмерное расширение всего германского мышления, науки и литературы. Вместо того чтобы быть прирожденными покровителями всего выдающегося и талантливого, многие среди знати смотрят на талант как на своего естественного врага или как на нечто тягостное и неудобное, и, во всяком случае, лишнее. Есть целые местности в нашем отечестве, где дворянство все еще считает чтение книг недостойным своего ранга, и вместо этого проводит дни буйно и бессодержательно, как во времена бюргеровской баллады о парфорсной охоте. Самое удивительное во всем этом то, что после всех серьезных уроков, которые дала привилегированным мировая

война, они не убедились, что пустому блеску навсегда пришел конец и что первое сословие неизбежно должно основательно взяться за себя и за свое преобразование. Понять это было его первой обязанностью; для него было вопросом жизни и смерти тесно сплотиться со святыней немецкой мысли и немецкого быта, оказать защиту всякой исходящей из правдивого источника духовной жизни, дабы ее чудодейственные воды омолодили его одряхлевшие члены. Оно не поняло ни своего положения, ни самого вопроса; оно прибегло для оздоровления ко всевозможным мелким домашним средствам и благодаря им пришло в полную негодность. Никогда и ни в какие времена ни одно сословие не существовало иначе, как благодаря идее. Также и первое сословие создали и укрепили идеи, сначала храбрость в бою и вассальная верность, затем идея сословной чести. В настоящее время, благодаря спасению отечества, в котором участвовали все сословия, высшая честь стала всеобщим достоянием; поэтому первенствующие сословия, если они опять хотят получить преобладающее значение, должны принять на себя протекторат над духовной жизнью.

— В одной высокопоставленной и знатной семье,— сказал вполголоса охотник,— с которой я встретился недавно во время странствий, мне пришлось, попросту сказать, познакомить двадцатилетних барышень с «Ифигенией». Они не имели о ней никакого понятия, так как родители считали Гёте писателем, совращающим молодежь.

— А кто знает, не является ли глава этой семьи,— сказал пастор,— одной из тех персон, которым поручают или поручат руководить культурой страны. Непредубежденный наблюдатель порою наталкивается в этой области на самые ужасные нелепости. При этом вы должны учитывать, что французский маркиз или герцог, которому приписали бы такое варварство по отношению к какому-нибудь национальному классику, потерял бы на всю жизнь свою репутацию в парижском обществе.

— Пример Франции сам собой наводит на вопрос,— сказал охотник.— Почему там так естественно произошло то, что у нас никак не может осуществиться: постоянный контакт знати с великими людьми и духом нации, уважение к духовной славе нации и бесспорный взгляд на литературу как на достояние нации?

— Французская нация, ее дух и литература насквозь проникнуты тем, что называется esprit, остроумие,—

ответил пастор.— Остроумие — это флюид, которым природа при благоприятных условиях может наделить целые страны и народы. Во Франции таким образом перекинут естественный мост от народного духа и литературы к духу высших сословий; последние в своих интересах и без всякого усилия воспринимают только то, что им родственно.

У нас нет такого esprit. Наша литература — это продукт умозрения, свободной фантазии, разума, мистического элемента в человеке. Воспринять эту исходящую из глубин работу духа может только дух, закаленный работой. При поверхностном отношении нельзя постичь немецкого национального характера. Дворяне же, как известно, не любят работать и предпочитают пожинать то, чего не посеяли. Поэтому естественно, что высшее сословие — если даже отрешиться от огульного обвинения его в варварстве — мало связано с немецким духом; для более тесной связи ему пришлось бы сделать чрезмерное усилие.

— Нельзя, однако, отрицать,— сказал охотник,— что, не будучи затронут пагубным дыханьем высшего общества, немецкий дух именно потому сохранил много ценных качеств, например свежесть, упрямую, суровую девственность, неудержимое стремление вширь и вдаль. Ибо всякие порывы творческой души, которые постоянно должны опасаться столкновения с требованиями общества, неизбежно механизируются. Наша наука, наша философия, наша литература суть дочери Бога и Природы, и своего родословного древа они никому не уступят.

Тут разговор был прерван страшным криком или, вернее, ревом, раздавшимся с повозки. Подбежав, они увидели причетника в испуганной позе: руки раскинуты, как перекладины верстового столба, лицо в бурых и белых пятнах, рот раскрыт, как у Лаокоона. Вокруг него стояли женщины и колон, остановивший повозку. Причетница колотила мужа в спину, служанка наполовину расстегнула ему сюртук, из которого угрожающе торчала пуховая подушечка. Пастор осведомился о причине этого явления и узнал от служанки — так как пациент все еще не был в состоянии говорить,— что причетник сошел с повозки, чтобы пройтись, как он сказал, для приятного пищеварения; тут мимо него прямо через дорогу пробежала большая черная собака, и причетник поднял такой крик и рев, что лошадь чуть было не понесла.

В эту минуту причетница, видя, что удары не помогают, воскликнула:

— Ну, если судорога не проходит, то поможет это,— и она изо всех сил закатила мужу пощечину.

Тотчас же челюсти испуганного причетника сомкнулись, как дверцы ворот, он отер слезы с глаз и сказал жене:

— Благодарю тебя, Гертруда, за эту оплеуху, которою ты избавила меня от тяжких страданий.

И, обратившись к пастору, продолжал:

— Да, господин пастор, страшный, бешеный пес. Хвост между ногами, красные и при этом слезящиеся глаза, морда в пене, синий язык высунут, шатающаяся походка — словом, все признаки бешенства.

— Ради создателя, куда же он вас укусил? — бледнея, воскликнул пастор.

— Никуда, господин пастор,— торжественно ответил причетник,— никуда, благодарение всемогущему. Но сколь легко он мог бы меня укусить. Как другие прогоняют страшного волка игрой на скрипице, так и я отогнал чудовище звуком голоса, данного мне богом, в тот момент, когда оно собралось броситься на меня. Оно оторопело, кинулось в сторону и перескочило через изгородь. Но от нечеловеческого напряжения, сделанного мною ради того спасительного крика, судорога развела мне челюсти, которые моя добрая супруга вправила мне, как вы видели, при помощи благодетельной оплеухи. Да, этот объезд будет мне памятен.

Пастор и охотник с трудом удержались от смеха. Служанка же сказала, что, по ее мнению, собака не была бешеной, а, вероятно, потеряла хозяина, в каких случаях эти твари всегда ведут себя несуразно. Действительно, несколько поодаль все увидели собаку, которая спокойно, виляя хвостом, шла по полевой тропинке за человеком, несшим какую-то поклажу. Причетник нисколько от этого не смутился, но сказал совершенно серьезно:

— А сколь легко собака могла быть бешеной.

Пастор приказал трогаться и расстался на этом месте с охотником, заявив, что беседа их все равно нарушена и что колон может обидеться, если он будет избегать его общества во время всего обратного пути. На прощание молодой шваб должен был обещать пастору, что он погостит несколько дней у него в городе. Затем они разошлись по разным направлениям.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Странный цветок и красивая девушка. Ученое общество

Солнце еще высоко стояло на небе, и охотнику не хотелось так рано возвращаться в Обергоф. Он взобрался на одну из самых высоких земляных изгородей, огляделся кругом и решил, что он успеет еще побродить по кряжу холмов, курчавые верхушки которых виднелись неподалеку, и все же засветло вернуться восвояси. Встреча с пастором и их разговор оживили в нем разные воспоминания прежних дней; он испытывал беспокойство, и под влиянием этого настроения его тянуло на незнакомые тропинки, к горам и деревьям, к виду которых он еще не успел привыкнуть. Да, глубоко, глубоко окунуть горячую душу в прохладу лесного мрака, в сырой туман мшистых скал, в одухотворенную пену прыгающего ручья — вот чего ему хотелось! Об этом мечтал он среди палящего жара ржаных полей.

От встречи с пастором стало и радостно, и грустно; их первое знакомство было отмечено той безбоязненной гимнастикой ума, в которой любит упражнять молодежь свои бьющие через край силы. Тот, хотя и был старше и, как сказано, сопровождал знатного молодого шваба, все же охотно вступал в споры и оппонировал студентам, и не один полуночный час охотник провел с ним в жаркой борьбе и препирательствах.

— Да! — воскликнул он, направляясь к холмам.— Ты, мое отечество, вечно будешь благословенным очагом, местом рождения священного огня. Везде на каждом твоем клочке приносятся жертвы Невидимому, и немец — это Авраам, воздвигающий алтарь своему Господину повсюду, где он проспал хотя бы одну ночь.

Он вспомнил речи своего знакомого и ситуацию, в которой они произносились.

— Только у нас может случиться, чтобы бедный пастор, плетущийся за своей телегой с курами, вдохновлялся бессмертной идеей нации,— сказал он.— Смешно и величественно! Смешно, потому что величественное проглядывает у нас даже сквозь бедное и жалкое и победоносно ломает формы ничтожного. О, как ты богато, мое отечество!

Нога его вступила на свежую, сырую зелень лужайки, окаймленной кустами, под которыми струился прозрачный ручей. Эта богатая, здоровая, юная душа еще нуждалась в символических поступках, чтобы дать выход

натиску чувств. Неподалеку виднелись небольшие утесы, между которыми пробегала узкая, скользкая тропинка. Он направился туда, пролез между камнями, отвернул рукав и расцарапал кожу на руке; кровь каплями стала стекать в воду, в то время как он без слов произносил тихий, благочестивый обет. Он сунул руку в воду; поток приятным холодком остудил горячую кровь. Так, полусидя, полустоя на коленях в этом сыром, темном, скалистом углу, смотрел он в сторону на открытое пространство, и тут взгляд его был зачарован роскошной картиной. На траве виднелись старые высохшие пни, торчавшие черными пятнами среди окружавшей их свежей зелени. Один из них был совершенно полый; внутри его сгнившая древесина превратилась в коричневую землю, и из этого пня, как из кратера, выглядывал роскошнейший цветок. Из венка мягких, круглых листьев вырастал стройный стебель, увенчанный чашечками несказанно красивого красного цвета. В глубине чашечек виднелась нежная волнистая белизна, откуда к краям сбегали тонкие зеленые жилки. Очевидно, это был нездешний, чужой цветок, семя которого бог весть какими судьбами занесло на уготованную разлагающими силами природы почву и которому благоприятное солнце дало возможность взрасти и расцвесть.

Охотник наслаждался очаровательным зрелищем, как бы вознаграждавшим его за данный им обет принадлежать родине душой и телом и до самой смерти не признавать никаких богов, кроме отечественных. Опьяненный магией природы, он отклонился назад и закрыл глаза, отдаваясь сладостной грезе. Когда он их снова открыл, вся сцена переменилась.

Прелестная девушка в скромном платьице с соломенной шляпой, свисавшей с руки, стояла на коленях перед цветком; она обнимала стебель пальчиками так нежно, точно шею возлюбленного, и глаза ее, устремленные в глубь чашечки, отражали светлую и неожиданную радость. Вероятно, она тихо подошла, пока охотник запрокинул голову. Его она не видела: скалы скрывали его, а сам он опасался сделать какое-либо движение, чтобы не вспугнуть видения. Но когда она, спустя несколько мгновений, подняла голову, вдыхая воздух, взгляд ее скользнул в сторону на воду и она заметила тень человека. Он увидел, как она побледнела и выпустила стебель из рук, продолжая, впрочем, по-прежнему стоять на коленях. Тогда он приподнялся на полтуловища из-за скал, и четыре

юных, невинных глаза скрестили пламенные лучи. Но только на мгновение, потому что девушка тотчас же встала с пылающим лицом, набросила шляпу на голову и в три прыжка исчезла за кустами.

Он тоже вышел из-за скалы и протянул окровавленную руку в сторону кустов. Что это было? Не ожил ли дух цветка? Он снова взглянул на него, но цветок уже не казался ему таким красивым, как за несколько мгновений до этого.

— Амариллис,— сказал он холодно,— теперь я его узнал; у меня есть такие в оранжерее.

Не побежать ли ему за девушкой? Он хотел это сделать, но скрытая робость сковала ему ноги. Он схватился за лоб; он знал, что это не было сном.

— К тому же во всем происшествии нет ничего такого необыкновенного, чтобы его нужно было принимать за сон,— воскликнул он наконец с некоторым напряжением.— Хорошенькая девушка идет по дороге и залюбовалась на красивый цветок — вот и все.

Он блуждал по незнакомым местам, по горам и долинам, пока ноги соглашались носить его. Наконец, пора было подумать о возвращении. Поздно, в темноте и только с помощью случайно подвернувшегося прохожего, достиг он Обергофа.

Во дворе мычали коровы, Старшина сидел в сенях за столом с дочерью, работниками и служанками и собирался приступить к поучительной беседе. Но охотник был не в состоянии принять в этом участие; все казалось ему изменившимся, грубым и неуклюжим. Он быстро направился в свою комнату, не уверенный в том, сможет ли он выдержать здесь еще бог знает сколько времени. Письмо от друга Эрнста из Шварцвальда, которое он нашел наверху, только усилило его досаду.

Это настроение испортило ему часть ночи и не прошло даже на следующее утро, так что он был очень доволен, когда пастор прислал маленькую коляску, чтобы отвезти его в город.

Башни, высокие стены и бастионы уже издали показывали, что город, некогда могущественный член Ганзейского союза, знал великие, доблестные времена. Еще был налицо глубокий ров, теперь, правда, используемый под огороды и насаждения.

Миновав темные готические ворота, коляска молодого охотника продвигалась с некоторым трудом по выбоинам каменной мостовой и остановилась наконец перед при-

ветливым домиком, на пороге которого его уже поджидал пастор.

Он вошел в веселое, уютное жилище, оживляемое бодрой, красивой хозяйкой и двумя бойкими мальчуганами, которых она подарила своему супругу.

После завтрака они совершили прогулку по городу. Улицы были довольно безлюдны. Между старинными арками, башенками, кригштейнами и остатками статуй встречались болотца, группы деревьев и лужайки. Вокруг старого здания с четырьмя изящными обелисками по углам и гирляндой трав и роз из песчаника бежал шаловливый ручеек; плющ и дикий виноград приютились в трещинах стен. Везде вокруг — глубочайшая тишина.

— Точно видишь воочию, как дух истории прядет и ткет свою нить,— сказал охотник в одном из таких мест.

— Да,— ответил пастор,— здесь как-то сам собой окунаешься в старину, и реминисценции начинают овладевать твоей душой. Это усугубляется еще тем, что половина населения состоит из человеческих руин.

— Как так? — спросил охотник.

— Из-за дешевизны жизни, из-за тишины и, может быть, из-за того, что физиономия города напоминает человеческую старость, сюда стекаются пожилые люди, когда оставляют службу или дела, чтобы провести остаток дней за этими выветрившимися стенами,— сказал пастор.— Здесь целая куча престарелых чиновников и военных, проедающих свою пенсию, и пожилых рантье, передавших свои конторы в более молодые руки. Если среди этих ушедших на покой есть много скучных олухов, то встречаются также и такие люди, которые побывали в разных переделках, накопили целую сокровищницу опыта и от которых можно услышать далеко не общеизвестные вещи. Так каменные развалины повествуют историю, а человеческие развалины, ковыляющие между ними, сообщают мемуары. Вот, вы сейчас познакомитесь с таким осколком прошлого, с одним старым капитаном; только, прошу вас, не спорьте с ним: он не выносит никаких противоречий.

Пастор позвонил у дверей довольно хорошего дома, стоявшего в тени каштанов; слуга с военной выправкой открыл дверь и проводил гостей в комнату, сверкавшую чистотой. Затем он отправился звать своего господина, который, как он сообщил, кормил кур. Пастор окинул взглядом комнату и быстро сказал охотнику:

— Капитан настроен сегодня на французский лад,

поэтому, ради бога, никаких патриотических выступлений, что бы он ни говорил.

Охотник тоже осмотрелся в комнате. Все дышало воспоминаниями о временах империи. На секретере стояла фигура Наполеона в знакомом мундире со скрещенными руками; кроме того, он фигурировал в многочисленных бюстах и на медалях. По стенам висели Мюрат на лошади в своем театральном костюме, Евгений, Ней и Рапп[9]. Был тут и генерал, навещающий прокаженных в Яффе, и первый консул, и император, прощающийся с гвардией в Фонтенбло. Кроме того, висело еще много других картин в том же духе. В одном из углов охотник увидел книжную полку с произведениями Сегюра, Гурго, Фена, Лас Каза[10] и других, принадлежавших к той же плеяде.

Все же охотник не вполне понял предупреждение своего провожатого и уже собрался просить некоторых разъяснений, когда капитан вошел в комнату. Это был пожилой господин в синем сюртуке с красным бантом в петлице. Его худое лицо было изборождено бесчисленными морщинами и несколькими рубцами. Он вежливо, но сухо поздоровался со своими гостями, пригласил их сесть и попросил сказать ему фамилию охотника, что пастор и сделал, прежде чем ее носитель успел ему в этом помешать.

— Я встречал,— сказал, подумав, капитан,— одного вашего однофамильца среди вюртембергцев в России. Судьба сводила нас несколько раз; под Смоленском мы оба попали в плен, но затем вскоре выкарабкались.

— То был мой дядя,— ответил охотник.

Это открытие тотчас же сблизило его с капитаном, все лицо которого оживилось. Он пожал руку племяннику своего старого товарища и разразился потоком военных воспоминаний, вплоть до Лейпцигской битвы. Но тут они оборвались, как бы остановились перед шлагбаумом, через который не могли перескочить. Под конец своего рассказа капитан заявил:

— С великой личностью дело обстоит особо, и человечество непременно выкопает ее образ из-под обломков, как бы ни была велика куча, наваленная на нее несчастьем. Что дали победителям в смысле посмертной славы все эти победы, дважды приведшие их в Париж? Ничего. Они остались фактами, которые мир холодно выслушивает и передает дальше, но император, император остается единственным героем этих дней. Он мучил людей,

и все-таки они его боготворили; да, да, немножко мучений полезнее для человеческого рода, чем слишком вялое благоденствие. Истинно, истинно говорю вам: у чугунных монументов под шатровыми крышами будут стоять на часах инвалиды и раскрывать решетки перед путешествующими англичанами[11], но только у подножья Вандомской колонны будут лежать каждое пятое мая свежие иммортели.

Пастор поднялся; капитан спросил, встретится ли он еще со своим новым знакомцем; на это пастор ответил, что его молодой друг хотел сделать ему удовольствие и присутствовать на заседании ученого общества.

— Мы сильно рассчитываем на вас, дорогой капитан, для этого заседания,— сказал он.

— Я познакомлю вас с отрывком из бумаг моего покойного друга, который покажет вам, какие желторотые птенцы утверждают, что побили великого императора,— ответил тот иронически.

— Да ведь это отчаянный бонапартист,— заметил охотник пастору, когда они вышли в переднюю.

— Как в какой день,— ответил тот.— Иоганн, не можете ли вы показать нам прусскую комнату,— обратился он к провожавшему их слуге.

Тот оглянулся кругом и после некоторого молчания сказал:

— Барин сейчас, наверно, уйдут; извольте тихонько войти сюда, я постерегу.

Пастор направился через переднюю вместе с гостем на другую половину дома и отворил дверь в комнату, перед окном которой дикий виноград создавал зеленоватое освещение и откуда открывался приятный вид на цветущие клумбы. Первое, что бросилось охотнику в глаза — так как находилось против самой двери,— было собрание трофеев на высоком постаменте, состоявшее из пушек, оружия, знамен и военных доспехов. На постаменте сверкали золотыми цифрами года 1813, 1814, 1815, а на стене над трофеями выделялись на белом фоне в обрамлении из золотых звезд названия освободительных боев. Стены этой комнаты были украшены бюстами союзных властителей и их полководцев. Тут можно было видеть прощание добровольцев, Блюхера и Гнейзенау в дождевых плащах, едущих верхом через поляну после битвы при Кацбахе, вступление в Париж, планы Лейпцига и Бель-Алианса. И чтобы симметрически дополнить контраст с французской комнатой, здесь имелось

маленькое собрание военных книг, но написанных немцами и в немецком духе.

— Ну-с, скажите, что все это значит? — спросил охотник, с удивлением разглядывая окружавшие его предметы.— Что ваш капитан, амфибия, что ли?

— В этом роде,— ответил пастор.— Но я слышу: хлопнула дверь; по-видимому, он ушел из дому, и я могу спокойно объяснить вам контрасты, которые вас поражают.

Он усадил гостя на кушетку и после непродолжительной паузы продолжал:

— Наш капитан — это прямая, крутая и цельная личность. Поэтому воспоминания его разложились на две математические фигуры. Он с большим отличием служил у французов; вы видели, что под наполеоновскими орлами он удостоился красного банта. После Лейпцигской битвы его корпус был расформирован; как немец, он был возвращен самому себе и судьбам родины. Между тем пушки продолжали грохотать, и весь мир воевал против Франции; было бы странно, если бы этот старый рубака остался дома, а потому он поступил на прусскую службу и воевал в числе многих тысяч других на той стороне, которую еще несколько месяцев перед тем старался уничтожить. Он отличился и под этими знаменами; говорят, он дрался как лев в кровопролитных нидерландских сражениях. К кресту почетного легиона прибавился железный крест, столь враждебный первому.

После заключения мира он не долго оставался в армии; труды и раны сломили его. Он удалился сюда с пенсией, которая дает ему возможность прилично существовать. В то время как все вокруг него сумели справиться со своими чувствами в этой отвоеванной обратно западной части нашего отечества, амальгамировали или, по крайней мере, спаяли симпатии к разрушенной Империи и немецкий национализм, нашему бедному неподатливому капитану это как-то не удалось. С саблей в руках он, не задумываясь, рубил и за, и против; но досуг и размышления мирного времени вызвали в нем раздвоение и смятение, которые едва не свели его с ума. Он не мог освоиться с тем, что в течение одного года был и храбрым французом, и храбрым пруссаком, что до октября он хотел покарать „la perfidie du cabinet de Berlin», а после октября помогал спасать отечество. С удивлением разглядывал он оба ордена, этих враждующих львов, которые, как ягнята, мирно покоились на

его груди. Он стал говорить и делать вещи, заставившие его знакомых опасаться за него.

Я узнал об этом от других, так как меня в то время еще здесь не было. Возможно, что это состояние было вызвано ранением в голову и русскими льдами, но я уверен, что причина лежала в духовной области, в прямолинейности его благородного характера. Наконец лихорадка сжалилась над ним и освободила тело и душу. Сейчас же после выздоровления он устроил себе тот удивительный образ жизни, особенности которого вас так поразили; я застал его уже в этой стадии.

А именно: он установил в своих воспоминаниях военный порядок и разделил их, так сказать, на два корпуса, действующих самостоятельно. То он — француз и утопает в великолепии наполеоновской эры, то он на время становится коренным пруссаком и апологетом великой эпохи национального движения. Эти фазы наступают у него попеременно, в зависимости от преобладания впечатлений первого или второго порядка, и длятся до тех пор, покуда очередное впечатление не выветрится. Понятно, что он носит всегда только один орден, либо прусский, либо французский. В соответствии с этими состояниями он устроил два отдельных помещения, и при каждом из них по спальне. Он живет среди маршалов, когда он француз, а возле трофеев в свои прусские дни. Не правда ли, в нашей местности имеются порядочные оригиналы?

— Действительно,— ответил охотник,— у вас чувствуешь себя, точно попал в мир Тристрама Шенди[12]. Впрочем, как ни странны чудачества славного капитана, но я должен сказать, что они не кажутся мне такими глупыми. Многие немцы, долгое время не знавшие, кто они собственно такие, немцы или французы, сохранили бы таким путем свою индивидуальность в более чистом и непосредственном виде. Но какую шутку сыграло с ними подсознательное чувство! Для отечественной комнаты он выбрал лучше расположенное помещение с приятным видом на зелень, в то время как французская комната выходит на голую, пустынную улицу.

— В одном отношении,— сказал пастор,— капитан достоин всякого уважения, а именно в том, что, хотя фантазия его прикована по целым дням и неделям к иноземным воспоминаниям, в нем никогда не зарождается желание вернуть это время всеобщего бедствия. Для нашего ученого общества он в высшей степени полезен,

так как у него имеется настоящая сокровищница в виде рукописи мемуаров одного умершего друга-офицера, с которым он был связан искренней приязнью.

Из этих мемуаров узнаешь будни войны, то, чего не содержат настоящие исторические книги, а также описания битв и военные сообщения, и так как эти безыскусственные заметки написаны человеком с яркими чувствами и безошибочной наблюдательностью, то у меня в отдельных местах бывало ощущение, что передо мной развертывается новая Илиада и Одиссея. По крайней мере, несмотря на пассивную субординацию и механизацию войны в наше время, индивидуумы действуют там наподобие гомеровских героев. Отрывки из этих воспоминаний капитан иногда читает в нашем обществе.

Охотник спросил пастора про ученое общество, о существовании которого в этом городе он не подозревал; тот, продолжая водить его по улицам, рассказал ему с улыбкой про его своеобразную организацию и устав, а также о наиболее деятельных членах, среди которых был один поэт, один коллекционер и один профессиональный путешественник. Он сообщил ему, что послал за ним коляску еще с утра, для того чтобы он мог присутствовать на заседании, назначенном на вечер, где он, быть может, проведет несколько занимательных часов.

За этим разговором они дошли до просторной лужайки, которая находилась еще по сю сторону городских стен. На ней возвышалась церковь, такая же зеленая, как и лужайка. Охотник не мог оторвать от нее глаз. С одной стороны, самый цвет песчаника был весьма своеобразен, а с другой — природа начудила над пористым и податливым материалом и при помощи дождя и сырости придала колоннам, богатой резьбе, краям и углам совершенно новые конфигурации, так что, по крайней мере в отдельных местах, здание выглядело, точно оно создано ею самой, а не человеческими руками.

— Какие странные символы порой создаются вокруг нас! — воскликнул охотник.— Вот стоит церковь, где, во всяком случае, хотя бы в орнаментике нельзя отличить, что хотел архитектор, а что добавили время и погода. А вот вчера мне подле лесного цветка явилась прекрасная девушка.

Пастор расспросил его, и охотник рассказал ему со сверкающими глазами и волнением в голосе про свое лесное приключение.

— Судя по вашему описанию, вы встретили бело-

курую Лизбет,— сказал пастор.— Это милое дитя бродит теперь по округе, чтобы достать денег для своего старого приемного отца, у которого не все дома; она была и у меня несколько дней тому назад, но не хотела остаться. Если это была Лизбет, то природа вам действительно показала символ, так как эта девушка расцвела из плесени и трухи, как ваш чудесный цветок из старого пня. Ангел-хранитель оберегает ее. Это милейшая из Золушек, и я от души желаю ей принца, который бы влюбился в ее крохотный башмачок.

На обратном пути им предстояло посетить коллекционера и путешественника, но ни того, ни другого не оказалось дома. Зато у пасторши собралось несколько приятельниц, как бы случайно, но на самом деле чтобы посмотреть на молодого красивого гостя. Его живой, сердечный характер быстро создал наивную близость между ним и всеми женщинами, среди которых не было ни одной некрасивой; ему даже не повредило то, что они изредка посмеивались над его шипящим произношением.

За столом он похвастался своей скрытностью. Когда все встали, хозяйка быстро отвела его в сторону и шепнула ему:

— Не говорите им обеим,— она указала на двух приятельниц, оставшихся к обеду,— про сегодняшний вечер: им готовится сюрприз.

— Вы имеете в виду ученое заседание?

— Да,— лукаво ответила пасторша,— и умолчите по крайней мере о месте собрания, если вы все-таки проболтаетесь; да, кстати, где оно будет?

Он, ничего не подозревая, назвал ей место, которое случайно узнал от пастора.

— Да, да, верно! — воскликнула она и поспешила к своим приятельницам, после чего все три, смеясь и перешептываясь, покинули комнату.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Письмо и ответ

Окружной начальник Эрнст охотнику

«Если ты называешь меня Ментором, то во мне сидит Афина Паллада, и если я, несмотря на свою божественность, все еще чувствую привязанность к непослушному Телемаху, то в этом повинен рок, перед которым склоняются и боги и люди.

Скажи мне: кто ты такой? Где у тебя, о гибридное существо, начинается разум и где прекращается безумие? Собираешься ли ты навеки остаться ребенком? Неужели ты все время будешь только цвести, никогда не принося плодов? Я думал, что все надоедает, в особенности глупые проказы, и что ты уже преодолел в этой области интерес новизны.

Во всяком случае, я согласен с тем, что человеку приходится кое-что терпеть от темных инстинктов, и, в частности, возможно, что романтическая и преувеличенная нежность твоих родителей, коим ты обязан жизнью, привила тебе этот зуд постоянного перескакивания от приключения к приключению. Но если ты думаешь, что эти инстинктивные порывы заключают в себе нечто великое или что из них может выйти хоть что-нибудь хорошее и разумное, то ты жестоко ошибаешься; я наблюдал, что поступки настоящих людей начинаются тогда, когда эта пора туманного произвола уже осталась позади. Ты забыл конец твоей истории о людвигсбургском искателе гранат. После своей счастливой находки он приучился пить и однажды вечером, бродя, или, точнее сказать, шатаясь по окрестностям, свалился в Неккар, откуда на следующее утро вытащили его труп. Вы, рыцари темных сторон природы, выхватываете всегда из фактов то, что льет воду на вашу мельницу и чем вы можете по-капуцински подтвердить ваши притчи.

Твои блуждания отняли у тебя много прекрасных часов и не одну тысячу гульденов; с твоей проклятой стрельбой ты когда-нибудь попадешь в беду. Что касается твоего благоговения перед женщинами, то это для меня новость; я раньше не замечал в тебе ничего особенного в этом отношении. Я чуть не заболел от твоего письма, так как нет ничего опаснее, чем когда человек в твоем возрасте и положении выкидывает штуки, которые с трудом прощают даже бродячему студенту. Люди не верят в безумства, они ищут и находят в таких эуленшпигилиадах основания и намерения. О последствиях твоей проделки я расскажу тебе коротко и просто. Здесь вспомнили однажды сделанный тобой намек на то, что ты обручен за границей; твою поездку ставят в связь с этой болтовней и говорят, что ты просто воспользовался предлогом, чтобы удрать, и вернешься неожиданно со старой студенческой зазнобой. Фрейлейн Клелия страшно скомпрометирована твоим рыцарством и совершенно безутешна. Это рассказал мне Пфлейдерер, который был

здесь проездом из Штутгарта. Кроме того, вся история в приукрашенном виде была напечатана в «Меркурии»[13], а что знает «Меркурий», то, как известно, знает вся Швабия.

Я решился в один миг. Твоей покойной матери я обещал, что буду заботиться о тебе при всех эксцессах, на которые толкает тебя твой безудержный темперамент,— и, как настоящий деловой человек, я сдержу свое слово. Летние каникулы стоят у дверей, моцион после вечного писания мне тоже необходим, раздражение при виде тебя еще усилит циркуляцию крови,— словом, через неделю я запираю свое управление, спускаюсь по Рейну, сворачиваю к твоей тацитовской Германии, где ты проводишь столь блаженные дни среди бобов, свиней и мужиков, хватаю тебя, где б я тебя ни поймал, и посмотрим, уеду ли я один.

Пребываю, впрочем, твоим неизменным другом.

Эрнст».

Охотник окружному начальнику Эрнсту

«Посылаю тебе эти строки навстречу в Штутгарт, где они будут храниться для тебя у Вильгельма, ибо, как истинно верующий, ты, наверно, сначала совершишь молитву в нашей национальной Каабе, прежде чем пуститься в полную опасностей лживую чужбину.

Только сейчас мне стало легко. Ты отчитал меня, и теперь все в порядке. Ты бежишь за мной! Это приводит меня в восторг! Это доказывает, что безумство заразительно и что оно сильнее рассудительности. Когда ты приедешь, я последую за тобой, как покорная овечка, если только в промежутке не найдется этот Шримбс, или Пеппель, на что мало надежды. Как бы мне только раздобыть моего старого Иохема. Кто знает, где блуждает этот несчастный. Я справлялся о нем через разные правительственные листки, но все напрасно.

Я уже несколько дней пребываю в этом старинном городе у одного хорошего знакомого, с которым случайно встретился. Меня окружает семейный уют и приятное общество. И здесь тоже я нашел странных чудаков, которые тем не менее остаются хорошими, достойными, образованными людьми, так что можно одновременно и посмеиваться над ними, и относиться к ним самым серьезным образом. Какая бездна образования, учености и своеобразия рассеяна у нас повсюду. Если эта поездка не принесет в дальнейшем никакой пользы, то она уже тем

будет для меня ценна, что укрепила во мне это убеждение.

Но гвоздем наших развлечений был позавчерашний вечер, когда заседало (не вздумай смеяться) местное ученое общество. Здесь создалась академия, в которой читаются самые разнообразные доклады. Согласно статуту, эти доклады ни в коем случае не подлежат опубликованию. Каждый, кто для поддержки своего мнения сошлется на листок или газету, платит штраф, и женщины исключены из собраний. В этом обществе я провел настоящий платоновский вечер, и хотя мы говорили и не так красноречиво, как греки, все же было проявлено столько остроумия и веселости и высказано столько мнений и наблюдений, что ты бы удивился. По утрам я записываю для тебя историю этого вечера под заглавием: «Пир». Дело приняло неожиданное направление, так как я по наивности выдал дамам место сборища, а те подстроили фантастический и юмористический финал.

Ах, дорогой мой, у меня сейчас так сладко на душе, мне кажется, что поэзия жизни мне так близка, как будто я смогу схватить ее руками за каждым кустом, высосать из каждой цветочной чашечки. Здесь, там — повсюду выглядывает эльфа и смотрит на меня влюбленными глазами. Разве всякая жизнь непременно должна давать, наподобие запутанных алгебраических уравнений, только приблизительную аналогию решения и разве нет скромных, ровных существований, которые из желания и осуществления выводят чистый итог? А каково твое мнение об этих витиеватых словах, которые непроизвольно выскочили из-под моего пера?

Я в такой же степени поэт, как ты шварцвальдский часовщик, но порой поэзия прорывается в каждом из нас, как весною слеза из виноградных лоз. Это бывает в чреватые судьбами моменты, в моменты, когда шевелятся наши созвездия и тем самым шевелят и движут наши крохотные «я». Я писал тебе про шпессартскую сказку, которую я набросал; но, странное дело: отдельные моменты этой фантазии — неожиданная встреча с другом и курьезное лесное приключение — фактически осуществились, правда, в несколько других формах, чем в моем поэтическом опыте, но все-таки настолько близко по внутреннему смыслу, что кажется, точно мои сказочные фигуры захотели подразнить меня действительностью.

При этом ты не должен воображать ничего особенного; просто бывают такие удивительные настроения, когда больше живешь своими мыслями, чем своею

жизнью. Так, меня не покидает ощущение леса; оно течет сквозь душу, зеленое, прохладное, напоенное свежим запахом лета, и желтые искры прорезывают его тихое, утешительное мерцание.

Остаюсь, мой старый Эрнст, на жизнь
и на смерть *твой безумец.*

Искренно жалею бедную Клелию. Как нехорошо, что я только сейчас вспомнил о ней. Что касается меня, то они могут болтать сколько им угодно».

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Охотник стреляет и попадает

Все время разные внешние впечатления, приносившие с собой что-нибудь новое, отвлекали молодого шваба от его мечтательного настроения. Так, через несколько дней после письма к приятелю он посетил коллекционера, с которым мы познакомились в Обергофе. Уже несколько раз при встрече с охотником лицо Шмица принимало кислое выражение, так как тот все не удосуживался осмотреть его сокровища, но наконец и оно оживилось, когда гость, задавая соответствующие вопросы, бродил с ним по его маленькой, тесной и темной квартире среди старинного оружия, икон, кучи пергаментов, урн и сосудов и внимательно прислушивался к рассуждениям о том, где Герман побил Вара. Охотник увидал много для себя нового и получил бы от осмотра еще больше пользы, если бы его провожатый дал ему время подробнее осмотреть отдельные вещи. Но не успевал он задержаться несколько секунд на каком-нибудь предмете, как нетерпеливый хозяин, громко разглагольствуя, тянул его к другому из боязни, что что-нибудь останется неосмотренным.

Он жил, как большинство собирателей, совершенно одиноко, всецело преданный своим раритетам. Большой черный кот, прочно к нему привязавшийся, составлял все его семейство. И на этот раз, следуя своему обыкновению, он серьезно ходил по комнатам за обоими обозревателями, точно и сам был любителем старины.

Старик сделался коллекционером, в сущности, из-за несчастной любви. В молодости он влюбился в одну красивую девушку, которая, став слишком рано сиротой, жила на попечении или, вернее, в небрежении у слабого нерачительного опекуна и была при своем легкомыслии

слишком независима, чтобы образумиться. После того как она многократно огорчала своего верного поклонника капризами и двуличными поступками, она увенчала свое поведение явной изменой. Небо вдвойне покарало ее за это: оно заставило ее отдать сердце недостойному, а затем заболеть тяжкой болезнью, от которой она больше не встала. На смертном одре раскаяние обуяло ее неустойчивую душу; она послала за покинутым; последовало примирение, и она сделала его своим наследником. Это наследство, между прочим, состояло из множества золотых, серебряных, эмалированных, шелковых безделушек, которые эта бойкая особа скупила, выпросила, собрала, так как глаза ее, как у сороки, не могли видеть равнодушно ничего блестящего, а руки тянулись к тому, что нравилось глазам. Из этого наследник составил себе маленькую, очень аккуратную коллекцию. Но вскоре имевшиеся у него вещи перестали его удовлетворять; медали, фигурки, разрисованные портфели и бювары требовали общества, и он прибавил к ним монеты, металлические предметы, футляры для печатей, дивно исписанные пергаменты. Но такие вещи становятся все требовательнее, они как бы магнетически притягивают однородные предметы, и не успел он оглянуться, как его жизнь и окружение приняли свою теперешнюю форму. Так как его мания была сентиментального происхождения, то она и не придала ему того отпечатка, который обычно вещи накладывают на собирателей; напротив, он сохранил общительный и мягкий характер.

Наравне с несколькими хорошими вещами охотнику пришлось осмотреть и много посредственного. Тут взгляд его упал на знакомую нам амфору, которая не столько стояла, сколько была спрятана в одном из углов.

— Как? А этот чудный сосуд вы не хотите мне показать? Ведь это чуть ли не самое лучшее в вашей коллекции! — воскликнул он с удивлением.

Грусть омрачила лицо собирателя, многоречивый язык его запнулся, он направился в угол, погладил амфору, как отец больного ребенка, и доверчиво рассказал охотнику всю историю ее приобретения.

— С тех пор как я против совести выдал Старшине аттестат на фальшивый меч Карла Великого и приобрел амфору ценой этой лжи, вся моя коллекция уже не доставляет мне настоящей радости. Потому что в старинных вещах все покоится на правде, и кто соврал относительно чужой вещи, тот легко может потерять веру в

свои. Это уже начало со мной случаться; я иногда с подозрением смотрю на свои громовые стрелы, и раз мне даже снилось, что мои прекрасные брактеаты[14] просто поддельный хлам. Конец песни, вероятно, будет таков, что я верну амфору и потребую обратно свой фальшивый аттестат, хотя я, честное слово, не знаю, как я перенесу потерю этого великолепного сосуда.

Охотник не мог сдержать улыбки, несмотря на огорчение, написанное на лице его собеседника, и сказал:

— С вашей честностью нельзя было бы составить ни одного музея в мире. Но скажите, пожалуйста, что это за меч, которому Старшина придает такое значение?

На это собиратель дал охотнику следующее удивительное разъяснение:

— Вы, конечно, знаете, что наша красная земля — это родная почва вольных судов, которые крайне неудачно окрестили «тайными судилищами»,— сказал он.— Вольными судами они были и вольными судами они остались, несмотря на все позднейшие извращения и злоупотребления, а именно судами первоначально свободных землевладельцев одной местности, которые так же независимо сидели на своей крестьянской земле, как король в своем дворце. Но вы, вероятно, не знаете, что во многих округах, а также здесь поблизости ряд дворов, имевших право суда шеффенов, все еще сохраняет традицию этого права и что таковое продолжает переходить от отца к сыну и от сына к внуку. Разумеется, все это выродилось в простую забаву. Но посвященные все еще существуют; от времени до времени они собираются на старых местах тайных судилищ и путем передачи условных знаков и ритуала создают новых посвященных. Сначала кое-где власти пронюхали про эти фокусы, захотели проникнуть в таинства, но это им не удалось; крестьяне стали еще осторожнее и не поддались ни на какие подговоры выдать смысл лозунгов. С тех пор никто этим не интересуется.

Обергоф — как раз такой типичный шеффенский двор. По крестьянскому поверью, эти суды были введены Карлом Великим, а оружие, хранящееся на дворе,— это меч правосудия, который император якобы вручил первому владельцу в знак инвеституры. Чтобы увеличить свой престиж, Старшина, эта хитрая бестия, использовал поверье и разыгрывает из себя нечто вроде фрейграфа. Он, по-видимому, нередко собирает шеффенов крупных окружных дворов на тайное судилище. Говорят даже, что благодаря ему эти старые фокусы получили опять

некоторое значение и что по иным делам вольные суды действительно выносят тайные решения. Во всяком случае несомненно то, что судебные органы сами удивляются незначительному количеству тяжб в этой местности, хотя наш край был всегда родиной сутяг.

— Но как это мыслимо, когда у них нет никакой исполнительной власти? — удивился охотник, которого это странное разоблачение настроило на мечтательный лад.

— Вздернуть непокорного на сук, как это раньше делалось, они действительно больше не могут,— сказал собиратель,— но если они откажут ему в помощи, поддержке, ссуде или, пользуясь своим влиянием в качестве местных богатеев, доведут до того, что и другие начнут его избегать, никто не выпьет с ним в харчевне, а работники и работницы его бросят,— что тогда? Разве это не будет принуждением, и довольно внушительным? Какой только власти не имеет общество над человеком! Иной крестьянин внезапно лишается друзей и товарищей; так длится некоторое время, затем все опять с ним сходятся. Про такого говорят, что он опальный, и только покорность освобождает его двор от отлучения.

Охотник привел этот рассказ в связь с тем, что до сих пор оставалось ему непонятным. Он сообщил собирателю свое предположение относительно того, что вскоре что-то должно произойти на месте Тайного Судилища, и спросил его с жаром, нельзя ли устроить как-нибудь так, чтоб посмотреть на это собрание из потаенного места. Но коллекционер категорически отказался принять какое-либо участие в этой опасной затее.

Вошел возница, который должен был доставить охотника на Обергоф, и сообщил, что коляска ждет у дверей. Дело в том, что охотник обещал пастору поселиться в городе, но считал долгом вежливости лично поблагодарить своего старого хозяина и проститься с ним. В начале пути он не обращал внимания ни на дорогу, ни на коляску, так как мысли его вертелись вокруг Судилища и его тайн, которые, как тени, продолжали витать над этой местностью. «Удивительная страна,— воскликнул он про себя,— где ничто, по-видимому, не умирает! Как могло случиться, что отсюда не вышло еще ни одного великого поэта? Эти воспоминания, не желающие расстаться с почвой, эти старинные права и обычаи должны были воспламенить чью-нибудь фантазию». Он упустил из виду, что талант не полевой злак, а, как манна в пустыне, падает с неба.

Когда он снова стал обращать внимание на окружающие предметы, он заметил, что его маленькая коляска двигалась по-черепашьи, так как одна из лошадей сильно хромала. Он тотчас же решил отослать коляску обратно и проделать остальную часть пути пешком. Правда, теперь уже он не мог, как намеревался, вернуться в тот же день в город и принужден был переночевать на Главном Дворе.

Он застал Старшину за починкой дверей в амбаре. Когда старик поднял от работы свои сверкающие из-под седых бровей глаза, он напомнил ему после всех слышанных рассказов старца с Горы[15]. Охотник сообщил ему о своем предстоящем отъезде.

— Это как раз кстати,— сказал тот,— так как женщина, которая жила раньше в вашей комнате, велела мне передать, что она вернется сегодня или завтра; ей вам пришлось бы уступить, а другого удобного помещения у меня сейчас не найдется.

Весь двор тонул в красном освещении наступающего вечера. Чистое летнее тепло пропитывало воздух, не отягченный никакими испарениями. Между службами было безлюдно, по-видимому, работники и работницы еще находились в поле. Но и в доме тоже никого не было, как охотник успел заметить, проходя к себе в комнату. Там он привел в порядок свои разбросанные записи, уложил немногочисленные пожитки и стал искать ружье.

Но последнее исчезло. Он не понимал, кто мог его взять, и направился по коридору к лестнице, чтобы справиться о нем у Старшины. Тут ему послышался шорох в одной из боковых горниц. «Нет ли там какой-нибудь служанки; может быть, она знает»,— подумал он и нажал ручку. Но он попал в спальню дочери и с ужасом увидел совсем недвусмысленную сцену. Он с сердцебиением поспешно вернулся в свою комнату; жених, молодой, здоровый парень, последовал туда за ним.

— Не обессудьте,— сказал он.— Уж второе оглашение было, и в четверг на той неделе — свадьба, а раз дело зашло так далеко, то это уж никого не касается, ни пастор, ни родной отец слова не скажут. Сегодня вечером на нашем дворе зерно ссыпают, а потому пришлось еще днем зайти к невесте.

— Меня это не касается,— ответил охотник в смущении.— Я только хотел узнать, куда девалось мое ружье.

— Это я вам скажу,— ответил парень.— Тесть за-

брал его тайком и спрятал за большой шкап; он говорит, что третья хораль вашей истории...

— Какая хораль? Вы, вероятно, хотите сказать мораль?

— Ну да, значит, третья хораль вашей истории та, что стрелку, который промахивается от рождения, нельзя давать ружья в руки. Если кто просто пуделяет, так это наплевать, но кто пуделяет от рождения, тот может натворить больших бед.

Охотник не стал слушать дальше, а, перекинув ягдташ через плечо, поспешил к шкапу, достал ружье, зарядил его и быстрыми шагами вышел из усадьбы по направлению к Тайному Судилищу; ему хотелось стрельбой из ружья освободить душу от беспокойно метавшихся в ней образов. Уже в ароматных золотистых сумерках дубовой рощи он обрел нормальное самочувствие.

— По-видимому, это правда,— воскликнул он,— идиллические писаки (как пастушески-нежные, так и корявые картофельные поэты)[16] здорово исказили крестьянский мир. Наравне с грубостью этот мир заключает в себе традиции и церемонии; но он не лишен также приятности и изящества; только искать их надо не там, где их обыкновенно ищут. Разве парень только из невоздержанностей преждевременно вступил в свои права? Конечно, нет. Это такой порядок, милый, веселый обычай, и девушка, быть может, сочла бы себя обиженной, если бы жених им пренебрег.

На холме у Тайного Судилища ему стало хорошо на душе.

Шуршала рожь, колыша благодатные колосья, большой раскаленный диск луны поднимался на восточном краю неба, а с запада все еще притекали отсветы уходящего солнца. Воздух был так чист, что эти отсветы казались желто-зелеными. Охотник ощутил свою молодость, свое здоровье, свои надежды. Он стал на опушке за большим деревом.

— Сегодня попробую, можно ли пересилить судьбу,— сказал он.— Я выстрелю, только если зверь будет в трех шагах от дула; а если я и тут не попаду, то, значит, я заколдован.

За спиной у него был лес, перед ним спускался склон с большими камнями и деревьями вокруг Тайного Судилища, а желтые ржаные поля опоясывали это пустынное место. Над ним в верхушках деревьев раздавалось еще осторожно глухое воркование горлинки, а в ветвях над

Судилищем принимались шуршать зелено-красными крыльями дикие бражники. Мало-помалу начинала оживать и земля в лесу. Сонно прополз еж сквозь кустарник; ласочка протиснула свое гибкое тельце в расщелину камня, узкую, как игольное ушко. Кролики выскочили осторожными прыжками, останавливаясь после каждого, приседая и прижимая уши, пока, осмелев, не вылезли из межи на ржаное поле и не стали приплясывать, играть и в шутку драться передними лапками.

Охотник старался не спугнуть этого кроличьего веселья. Наконец из леса вышла стройная лань. Умно направляя нос по ветру, оглядываясь направо и налево большими карими глазами, зверь с легкой грацией шел на своих тонких ногах. Теперь это хрупкое, дикое, увертливое животное находилось против дула притаившегося охотника. Оно было так близко, что нельзя было промахнуться. Он хотел нажать курок, но тут лань чего-то испугалась, прыгнула в сторону прямо на дерево, за которым он стоял; грянул выстрел, зверь крупными прыжками невредимо ускакал, а во ржи раздался крик, и несколько секунд спустя оттуда по тропинке, находившейся в направлении выстрела, появилась, покачиваясь, женская фигура.

Охотник отшвырнул ружье, бросился к женщине и думал, что он умрет на месте, когда узнал ее. Это была прекрасная девушка, ласкавшая лесной цветок. Он попал в нее вместо лани. Она держала руку между левым плечом и грудью, и оттуда из-под платка обильно текла кровь. Ее побледневшее лицо не было искажено болью, но все же на нем отражалось страдание. Она глубоко вздохнула три раза и сказала мягким и усталым голосом:

— Слава богу, кажется, ничего опасного, я могу дышать, хотя мне и больно. Попробую дойти до Обергофа, куда я и шла, когда со мной случилось это несчастье. Дайте мне вашу руку.

Он провел ее несколько шагов, но она вздрогнула и сказала:

— Нет, не могу, слишком больно, я еще упаду в обморок по дороге. Придется подождать, пока не придут люди и не раздобудут носилок.

Несмотря на рану, она не выпускала пакетика из левой руки; но тут она передала его охотнику и сказала:

— Сохраните его, это деньги, которые я собрала для господина барона; я боюсь их потерять. Нам, вероятно, придется пробыть здесь довольно долго,— добавила

она.— Если бы вы могли мне устроить подстилку и прикрыть меня чем-нибудь, чтобы не простудить раны.

Так у нее хватило присутствия духа за двоих. Ибо он стоял безмолвный, бледный и неподвижный, как статуя; отчаяние разрывало ему сердце и сковывало слова на губах. Но тут ее просьба вдохнула в него жизнь, он бросился к дереву, за которым лежала его охотничья сумка. Там же он увидел злосчастное ружье. Он схватил его в бешенстве и ударил им о камень с такой силой, что приклад расщепился, ствол погнулся и затвор соскочил с винтов. Он проклял этот день, себя, свою руку. Бросившись обратно к девушке, которая уселась на одном из камней, он упал к ее ногам и с горючими слезами, потоком хлынувшими у него из глаз, целовал край ее платья и молил о прощении. Она попросила его встать; ведь он был не виноват; рана, вероятно, пустяковая, пусть он только теперь ей поможет. Он устроил ей сиденье на камне, положив на него ягдташ, повязал ей шею платком и осторожно прикрыл ей плечи своим колетом. Она села на камень; он поместился рядом с ней и попросил ее для облегчения прислонить голову к его груди. Так она и сделала.

Луна во всем своем блеске приближалась к середине неба и освещала почти что дневным светом этих двух сближенных игрою сурового случая людей. Два совершенно чужих человека сидели доверчиво друг подле друга; она изредка тихо стонала на его груди, а у него по щекам неудержимо текли слезы. Вокруг них мало-помалу воцарялось одиночество и молчание ночи.

Наконец судьбе захотелось, чтобы какой-то запоздалый прохожий пересек ржаные поля. Зов охотника достиг его ушей, он поспешно подошел и был отправлен с поручением в Обергоф. Вскоре раздались шаги поднимавшихся по склону людей; это были работники с носилками, на которых лежали подушки. Охотник бережно уложил раненую, и, таким образом, она поздно ночью прибыла под кров своего старого гостеприимного хозяина, который был крайне удивлен, увидев поджидаемую им гостью в таком состоянии.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ



ТРЕТЬЯ КНИГА

ШНИК-ШНАК-ШНУРСКИЕ СОБЫТИЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Взаимные откровенности

— Эти козы на Геликоне...

— Вы хотите сказать — на Эте...

— Нет, я хочу сказать — на Геликоне; я в прошлый раз оговорился. Итак, эти козы на Геликоне, к которым я попал крошечным мальчиком, учредили союз для утончения своей шерсти,— сказал Мюнхгаузен.

— Я рад, что мы, наконец, переходим к скоту,— воскликнул старый барон.— Я все время ждал этого момента в ваших историях, ибо остальное, что вы нам с тех пор рассказывали, стало мне казаться менее занимательным. Не сердитесь на меня, человече, но между друзьями должна царить откровенность.

— Безусловно,— торжественно подтвердил Мюнхгаузен.— Значит, козы...

— Добрый учитель, можешь ли ты заверить, что в этом рассказе не встретится ничего такого, что бы могло задеть мою деликатность? — перебила его барышня. Она перешла с Мюнхгаузеном на «ты» после одной возвышающей душу сцены, происшедшей между ними за несколько дней до этого.

— Решительно ничего, Диотима-Эмеренция[1],— ответил г-н фон Мюнхгаузен.— Правда, согласно законам природы, этому виду животных полагается иметь и козлов, и они встречаются в моем рассказе, но я буду деликатен и не премину называть их супругами коз. Кроме того, там выступает навозный жук; он будет именоваться у меня Конем Тригея[2]; затем вплетется в рассказ мясная муха — ты поймешь, о ком я говорю, всякий раз, когда речь зайдет о Голубой Мечтательнице.

— Я до конца пойму тебя, учитель,— ответила баронесса с одним из своих неописуемых взглядов.

— Да,— сказал г-н фон Мюнхгаузен,— в этом отношении ты — это ты и подобна всем своим сестрам. Стоит

назвать козла супругом козы, и вы можете выслушать все что угодно.

— Послушайте, дети,— воскликнул старый барон полушутя, полусердито: — Это «ты» да «ты», и опять «ты» да «ты» звучат, точно кто-то тычет тебя под ложечку. Я думаю, что вам лучше опять перейти на «вы», это более тонкая, изысканная форма обращения. Я люблю тебя, Ренцель, и ценю вас, Мюнхгаузен, а потому я буду умным за вас обоих: марьяж в ваши годы — это уже не дело.

— Марьяж! — воскликнула барышня и покраснела.— Ах, отец, вы меня опять глубоко, глубоко не понимаете! — и она вышла из комнаты.

— Марьяж! — воскликнул барон и позеленел.

— Нет, достойный старец, не бойтесь никакого марьяжа. Я мог бы тысячу лет говорить вашей бесценной дочери «ты» и все-таки не думать о марьяже. Для марьяжа нужны амуры, а я не чувствую никаких амуров к моей Диотиме-Эмеренции. Сейчас и место и время, чтобы сделать вам это важное признание. Я чувствую такое уважение к этому чистому женскому существу, которое стремится в беспредельность, что его можно сравнить разве только с восторгом Кюне перед Теодором Мундтом[3].

Когда Эмеренция чихает, это для меня поэма; но в то же время мои чувства держатся особняком; они как бы застывают, не касаются моего уважения к ней и живут, так сказать, своим домком. Короче говоря (ибо между друзьями, как вы сами прямодушно и сердечно заявили, должна царить откровенность), ваша божественная дочь, несмотря на все уважение, которое я к ней питаю, мне глубоко отвратительна.

— В сущности, как отец, я должен был бы на это обидеться,— сказал старый барон.— Но мне, главным образом, важно, чтобы между вами не вышло марьяжа, и потому я рад, что вы терпеть не можете Ренцель. Бог с вами, говорите ей «ты» сколько вам угодно. Разумеется, между нами, а не при учителе. Сначала я решил, что в качестве зятя вы были бы для меня желанной опорой в старости, но после того как обнаружились в вас эти странные игры природы, дело изменилось. Правда, меня в вас уже больше ничего не пугает. Когда после ваших таинственных экспериментов вы издаете чертовски минеральный запах, точно Нендорф, Пуон и Ахен, вместе взятые[4], то я говорю себе: «Ничего не значит: великие

люди имеют свои странности» — и беру двойную понюшку доппельмопса. Я действительно считаю вас великим человеком, но... да будет это сказано в третий раз: между друзьями должна царить откровенность... и... и хотя я признаю все ваши достоинства... вы стали для меня субъектом, к которому я питаю прямо-таки внутреннее отвращение.

Щеки Мюнхгаузена сделались изумрудными, разноцветные глаза и щурились и сверкали от слез. Он с глубоким волнением схватил руку барона, прижал ее к сердцу и воскликнул:

— Как я вам благодарен за это откровенное признание! Разве мужественная манера высказывать свободно все, что у тебя на сердце, не стоит выше, чем подгнившая чувствительность и вежливая робость, у которой в груди — змеи, а на устах — соловьи?

— Разве истинный немец не может сказать истинному немцу: «Ты олух» — и в то же время жить с ним душа в душу? — горячо воскликнул старый барон.

— Разве я не могу считать вас старым простофилей и тем не менее любить вас от всего сердца? — крикнул Мюнхгаузен.

— Брат! — зарыдал старый барон и бросился гостю на шею.— Разрази меня господь, если твое общество не опротивело мне хуже горькой редьки. Я думал, что ты заменишь мне журналы, но от раза до раза ты кажешься мне вздорнее всякого журнала.

— Неужели ты думаешь, брат,— возразил г-н фон Мюнхгаузен и поцеловал хозяина,— что я хоть час остался бы с тобой и твоей прокисшей дочерью, если бы у меня было где преклонить голову и что пожевать?

Взволнованные приятели долго лежали друг у друга в объятиях. Первым до известной степени овладел собой хозяин и пробормотал:

— Итак — мой брат?

— Твой брат! — прошептал гость.

— И в самом дерзновенном смысле слова!

Вошел учитель. Новоиспеченные друзья отерли слезы, а учитель произнес:

— Баронесса послала меня спросить, придется ли ей выслушать еще какие-нибудь неприятные намеки, если она вернется?

Барон отправил посланца обратно с успокоительными заверениями, а также с сообщением, что в комнате царит величайшая взаимная откровенность.

Когда барышня появилась, все еще с легким румянцем на щеках, Мюнхгаузен пошел ей навстречу, поцеловал у нее по своему обыкновению руку и серьезно сказал:

— Никакого марьяжа, моя Диотима-Эмеренция!

— Никакого марьяжа, учитель,— с достоинством ответила барышня.

Так стояли эти молодые люди, взявшись за руки, без всяких любовных или брачных намерений. Отец подошел к ним, положил десницу, как бы благословляя, на их сплетенные руки, взглянул на небо и воскликнул:

— Никогда в жизни, никакого марьяжа!

Умиление, царившее в этот вечер, не имело границ. Козы на Геликоне были позабыты. Никто из трех лиц, так близко подошедших друг к другу по пути откровенности, не смог проглотить ни куска. Учитель, ничего не понимавший во всем происшествии, один уплел весь ужин.

Из глубокомысленных замечаний, сделанных в этот вечер Мюнхгаузеном, история сохранила следующие:

— Наша эпоха требует правды, всей правды, ничего, кроме правды. Дойдет до того, что никто не будет обижаться на другого за пощечину, если таковая дана с искренним убеждением. Долой тайну корреспонденции, долой фамильные секреты! Все эти устаревшие понятия должны отпасть. Все должно стать публичным. Столбцы газет не должны быть закрыты даже для известий из того места, куда сам Карл Пятый, к своему сожалению, не мог послать никого в неурочный час.

— Что это за место? — спросила барышня.

— По-еврейски это называется: геенна,— ответил г-н фон Мюнхгаузен.

— Ах, так,— заметила барышня и сделала вид, что она вполне поняла Мюнхгаузена.

Тот продолжал:

— Все должно стать публичным для нового поколения жрецов правды! Конечно, господь бог скрыл мозг и сердце под покровом костей, кожи и мяса, и потому человечество долгое время считало нужным утаивать многое из того, что занимало мозг и сердце, но это была ошибка: при сотворении мира просто была допущена оплошность. По идее, грудь и голова должны были быть снабжены стеклянными заслонками, но их забыли сделать при тогдашней спешке. Я знаю это от Нострадамуса, с которым я недавно беседовал, а ему сказал сам господь.

— Кто такой Нострадамус?[5] — спросил старый барон.

— Отставной профессор естественной истории в Лейдене,— ответил г-н фон Мюнхгаузен, взял свечу и откланялся.

После ухода Мюнхгаузена барышня обратилась к барону:

— Отец! Чтобы намеки, заставившие меня сегодня удалиться из комнаты, никогда больше не повторялись, я хочу, как только г-н учитель удалится, сделать вам одно важное признание.

Учитель вышел, пробормотав:

— Сегодня я приму окончательное решение.

Но старый барон, погруженный в свои мысли, не слыхал слов дочери и сказал:

— Перегородка упала, теперь я все себе уясню,— после чего покинул комнату.

Эмеренция, собираясь сделать свое важное признание, повернулась лицом к стене, чтобы избежать взглядов отца, или, как она говорила, из женской стыдливости. Поэтому она не заметила его ухода и долгое время выкладывала свои интимнейшие сердечные тайны перед глухой стеной, пока в горячем порыве внезапно не обернулась и не увидела, что у нее нет, да,по-видимому, и не было, слушателя. Слово застряло у нее на губах, а остаток признания — в сердце; молча и обиженно отыскала она свое ложе.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Автор дает несколько необходимых разъяснений

Чтобы не делать тайн замка, который я и в дальнейшем буду называть Шник-Шнак-Шнур (ибо я и многое другое, что встречается в этой истории, не могу назвать своим именем),— словом, чтобы не делать тайн означенного замка чрезмерно непроницаемыми, я должен здесь частично сообщить, что эти три действующих лица имели в виду в своих речах.

Не успел еще Мюнхгаузен как следует обжиться в родовом замке Шнук-Пуккелиг-Эрбсеншейхеров из Дубравы у Варцентроста, как его присутствие заметно и самым различным образом отразилось на настроении барона, его дочери и учителя, ибо вообще выдающаяся личность никогда не вступает в какую-нибудь среду без того, чтобы не изменить царящих в ней отношений. До

прибытия Мюнхгаузена кружок нашего замка тихо питался своими бесстрастными фантазиями; но с тех пор это идиллическое состояние нарушилось, или, вернее, трое академиков Шник-Шнак-Шнура пребывали в восторженных сердцебиениях, жгучем любопытстве и серьезном самонаблюдении.

На долю Эмеренции выпали восторженные сердцебиения. Она узнала Руччопуччо, бирмана из Сиены (в сущности, претендента на гехелькрамский престол), сквозь все покровы, в которые каприз или глубокий расчет заставили его облечься. Женское сердце — это непогрешимый указатель во всех таких случаях. Дамаянти тотчас же узнала в вознице царя Ритупарны своего супруга Наля, а Теодолинда Баварская, поднося кубок своему мнимому свату, не преминула опознать в нем предназначенного ей жениха Аутхарита, короля лангобардов,— и не много времени понадобилось, чтобы Эмеренция сообразила, как обстоит дело... со слугой Карлом Буттерфогелем.

Не пугайтесь, дорогие! Все произошло самым естественным путем, а именно так: сначала образ долгожданного возлюбленного витал перед ней, как во сне; постепенно сон принимал определенные черты; и, наконец, всякое сомнение исчезло и уступило место увереннейшей уверенности.

Вспомните волнение Эмеренции, когда оба незнакомца вступили в замок ее предков, когда из уст слуги раздались роковые слова: «шляпа с цветами и передник скорохода» — и когда он сам предстал перед ней в импровизированной шляпе с цветами и переднике скорохода! Ведь столько лет ей рисовался такой скороход, как вестник князя гехелькрамского! А тут он встал перед ней с пестрым носовым платком на бедрах вместо передника, с букетом полевых цветов на шляпе, не какой-нибудь обыкновенный, нарочито сооруженный скороход, а естественно образовавшийся роковой скороход!

Сердце ее содрогнулось. Если бы она в этот миг не поняла указания небесных сил, она стала бы презирать самое себя.

— Смотри, Эмеренция,— прошептала она бьющемуся сердцу,— смотри, как бы последнее разочарование не было самым ужасным!

Она задала Мюнхгаузену те глубокомысленно испытующие вопросы, которые он так же мало понял, как несчастный читатель первой части этой истории. Теперь

она была убеждена, что через посредство шляпы с цветами и передника ей было возвещено появление князя гехелькрамского. «Где же, где же ты?» — спрашивало ее тоскующее сердце.

Мюнхгаузен все рассказывал и рассказывал, день за днем проходил, а Руччопуччо оставался невидим. Душа ее страдала от беспокойного ожидания. Наконец она собралась с духом (на что не отважится любящая женщина!) и однажды робко обратилась к слуге Карлу Буттерфогелю, когда тот выколачивал сюртук Мюнхгаузена:

— Карл, будьте откровенны со мной. Где пребывает тот великий и высокий, на чьей службе вы в действительности находитесь?

Карл Буттерфогель опустил выбивалку, широко раскрыл глаза, сплюнул, как делает простонародье в минуты недоумения, и сказал:

— Черт меня подери, если мой хозяин выше меня; а еще выше я никого не знаю, да и вообще довольно с меня этой службы.

— Как? — спросила барышня с живейшим любопытством.

— Мне эта кондиция не по нутру: я скоро устроюсь сам по себе,— продолжал Карл Буттерфогель.

— Что? — воскликнула барышня, испуганная внезапной мыслью. Она покачнулась и была близка к обмороку. В это время Мюнхгаузен, которому надоело дожидаться сюртука, спускался в одном камзоле с лестницы и подхватил свою приятельницу под руки.

— Бездельник! Ты опять канителишься? Беги сейчас же за уксусом для баронессы! — крикнул он Карлу. Но тот дерзко ответил:

— Я не бездельник, так как вы мне не платите жалованья, а за уксусом я пойду из милосердия.

— Мюнхгаузен,— прошептала Эмеренция на руках у барона,— ты, видя скорбь мою сердечну, явил мне сердце человечно[6]. Я называю скорбью эти ощущения, так как избыток счастья может причинить боль. Я в невыразимом состоянии и умоляю вас сказать мне: вы и Карл чьи-нибудь предшественники? Или вы сами...

Мюнхгаузен странно передернулся, ноздри его задрожали, он робко оглянулся по сторонам и, не дав Эмеренции договорить, быстро залепетал:

— Какие там предшественники? Выбросьте это из головы, моя Диотима. Не дай бог, чтобы кто-нибудь шествовал за нами! Мы — здесь, я и мой негодяй-слуга, и нас

надо брать такими, какими вы нас видите, и не думать, что кто-то гонится за нами и приедет сюда в замок.

— Значит, все решено, все ясно, о, мое счастье! — воскликнула баронесса.

Карл Буттерфогель вернулся с уксусом.

Пусть теперь Эмеренция сама выскажется о себе и своем счастье.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Страницы из дневника Эмеренции

«Какие там предшественники? За нами никто не шествует» и «я не знаю никого более высокого, эта кондиция мне не по нутру, я скоро устроюсь сам по себе». Значит, верны указания судьбы! Шляпа с цветами и передник скорохода не указуют куда-то вдаль; нет! Вблизи от меня находится тот, кого моя душа будет любить вечно, мой князь, мой друг, мой бирман из Ниццы! После долгих лет испытания пробил час воссоединения, глаза моего друга ищут меня среди дщерей Сиона, и не спит Суламифь, голубица. Никого не посылал он вперед, сейчас он явится сам, он — в замке, «ибо никто не шествует за ним»,— он здесь, «ибо он не знает никого более высокого». Счастливая Эмеренция!!

Но кто из двух? Барон или ты, Карл? Теперь наблюдай, теперь будь осторожно, теперь прояви всю свою прозорливость, о сердце!

Ах, сердце молчит! И Мюнхгаузен, и Карл мне безразличны. Это прекрасно для дальнейших намерений рока, ибо я хочу быть князю подругой в самом чистом смысле этого слова, но для настоящего момента это нехорошо.

Я узнаю претендента на престол гехелькрамский. Под чужим одеянием хочет он испытать свою Эмеренцию, и как прекрасно решила бы она свою задачу, если бы внезапно подошла к нему, к настоящему, и сказала:

— Князь, вы узнаны! Страсть зорка непостижимо: всюду видит верных слуг. Лишь кивок главы любимой — и желанный узнан друг.

Но почему оба мне так безразличны? Странная мука, удивительная путаница чувств, крепко стянутый узел!

Я думаю, это — барон. Мы стояли сегодня у утиного прудка; мирно хватали птицы зеленую ряску у наших ног; освежающий дождь мягко падал с серого неба; барон рассказывал мне одну из своих глубокомысленных историй, как он когда-то давно положил на голову горчичник, и тот так натянул, что вправил ему вывихнутую ногу... Грудь моя расширилась, и мне было так хорошо и так больно, так... так...

Глупая помеха! Меня зовут, чтобы выдать сало. Куда пропала Лизбет, эта бродяжка, эта бездельница! Я ей задам, когда она вернется.

Нет! нет! нет! Тайна прояснилась, Карл — это Руччопуччо! Вот я сижу в глубокой полуночной тишине и доверяю вам, безмолвные страницы, эту удивительную весть. Да, удивительным должна я назвать предопределение, которое вторично предоставляет щелкунчику решающую роль в моей жизни.

Я сегодня поднялась рано с постели, уже полная предчувствий. Чулки смотрели на меня так многозначительно, в туфлях чувствовалась какая-то тихая жизнь и движение, нагар догоревшей свечи свисал выразительными фигурами. Неужели мне предопределено, чтобы ничто вокруг меня не происходило по-обыкновенному, чтобы я всю жизнь была игрушкой великих и темных сил?

В голове у меня все спуталось и перепуталось! Я раскрыла окно, чтобы охладить пылающие щеки. Ночью мне снились Ницца, море, Альпы. На самой высокой вершине я увидела двух евреев, отнесших меня к родителям после ужасной катастрофы. Они стояли в ореоле солнечных лучей, со скорбными лицами, и я слышала, как один сказал другому:

— То, что нас сделали оседлыми гражданами, вот, горе сынов наших в нынешние дни, через что они себе стали писать стихи и малевать картины. Старое время, реб Янкель, старое время было лучше, когда мы шатались повсюду, как наши деды в пустыне Син, что между Елимом и между Синаем.

Многозначительный сон, пророческий сон! Слыхала ли я когда-либо о пустыне Син, что между Елимом и между Синаем? Сон выучил меня этим иудейским названиям; верховная рука пожелала подать мне знак: «Смотри, я здесь и сотворю чудо перед лицом твоим».

Я взглянула в окно.

Во дворе появился Карл.

— Сто пятьдесят тысяч чертей собачьих! Опять мне нынче жрать не дадут? — воскликнул он.

Ужасные выражения для дневника нежной девушки! Но я должна заносить все точно и с мельчайшими подробностями.

Звук этих слов пробудил во мне старые воспоминания. Точно из глубокой дали донесся он до моего слуха, подобный голосу, который некогда был мне так дорог! Это удивительное сходство тона, эти проклятья — князь тоже изредка имел это обыкновение, но он больше пользовался так называемой «холерой в бок» — мой сон в Ницце, скорбящие евреи, пустыня Син, фигуры свечного нагара, ожившие туфли, многозначительные чулки...

Карл присел на камень во дворе и сказал:

— Надо поискать в карманах,— пощупал левый карман куртки и воскликнул: — Слава богу, хоть пара старых орехов, а то сдохнешь с голодухи,— полез в другой карман, вытащил оттуда...

Я схватилась за сердце обеими руками, отправилась в столовую и нарезала для Карла бутерброд...

Я не в силах писать дальше — воспоминания одолевают меня — пульс клокочет...

Я несколько успокоилась. Вчера снизошедшая на меня благодать всплыла перед глазами пестрой фантасмагорией красок, сегодня она превратилась в чарующий ландшафт, где каждое деревце говорит: «Моя тень принадлежит тебе» — и живописный источник шепчет: «Сестра, отдохни на моих берегах».

Я незаметно подошла со своим бутербродом к Карлу Буттерфогелю. В последний раз стоит это имя на страницах дневника! Он не заметил моего появления и продолжал спокойно щелкать орехи инструментом, который он вынул из правого кармана...

Я посмотрела ему через плечо. Ах! Тут мои колени подкосились, я уронила бутерброд, Карл уронил щелкунчика, я подняла щелкунчика, Карл поднял бутерброд! Я прижала щелкунчика к губам. Это был он! Он! Старый, верный щелкунчик! Первая любовь, предвестница Руччопуччо! Тебя, тебя я узнала сразу! И как я могла не узнать?.. Лица и тела людей, к сожалению, меняются с годами, но щелкунчик остается тем, чем он был.

И все же горька и мучительна была эта встреча!

Милая святыня моей юности выглядела развалиной. Яркий блеск сполз с красного мундира, цвет продолжения едва можно было узнать, потухли прекрасные ярко-голубые глаза, рот потерял свою силу благодаря постоянному щелканию, шляпы на нем почти что не было; только усы оказались пощаженными немилостью времени: черные и густые, свисали они, как в золотые дни, над старыми утомленными губами.

Поток слез облегчил душу. После этого я оправилась и подумала о себе и своей участи. Карл съел бутерброд и смотрел на меня с удивлением.

— Ишь ты,— воскликнул он,— ведь вот дурацкая морда (я должна повторять его собственные выражения)! Тому много лет я нашел этого негодяя на помойке за домом в одной итальянской дыре. Я сунул его в карман и с тех пор ношу постоянно с собой, а мерзавец (я чуть не умираю от муки, когда пишу такие слова) все еще цел. В то время я служил у четырнадцати берлинских дворян, которые там лечились и держали все вместе одного слугу.

— Князь,— сказала я серьезно и сдержанно,— не притворяйтесь более! Меня не введут в заблуждение ни ваша лакейская куртка, ни те ужасные выражения, к которым вы принуждаете ваши благородные уста, чтобы остаться неузнанным. «Какие там предшественники? За нами никто не шествует» и «я не знаю никого более высокого», многозначительные чулки, ожившие туфли, фигуры свечного нагара, мой сон о Ницце, скорбящие евреи, пустыня Син, что лежит между Елимом и между Синаем,— все это были символы, не могущие обмануть. Затем мелодия вашего голоса, ваши проклятья, мой любимый щелкунчик в ваших руках и, наконец, то, что вы знаете про помойку и про недоброе дело моей покойной матери, ввергшей щелкунчика в несчастье... все это... Господи, не отрицайте больше, не подвергайте излишним мукам бедную девушку, которая осталась достойной вас! Будьте ласковы и добры со мной, скиньте маску и скажите: «Эмеренция, я — это он».

— Кем я должен быть? — воскликнул он.— Я вовсе не он, я сам по себе!

Его суровое упорство все-таки на минуту меня поколебало.

— Если это не вы,— сказала я решительно,— то это — ваш господин! Во всяком случае, кто-нибудь из вас двоих.

— Я вижу,— сказал он,— что для вас важно, чтобы это был я. Поэтому я хотел вас спросить, что из этого выйдет, если я буду он?

— Если вы — он,— ответила я,— то я буду вашей подругой в самом чистом смысле этого слова. Вся моя предшествующая жизнь была лишь подготовкой к этому великому мгновению. Ваша светлость! В расцвете молодости мы принесли жертву страсти на алтаре наших сердец! Для таких жертвоприношений у нас теперь не стало фимиама. Но алтарь еще стоит. Принесем же теперь на нем жертву дружбе, запас которой у меня для вас неиссякаем.

Карл почесал голову (чудовище, он это сделал!) и сказал:

— Я все еще думаю, что вы это все в насмешку. Но все же я попробую, и черт побери того, кто вздумает меня провести. Значит, вы моя подруга, а если, значит, вы моя подруга, то вы должны позаботиться, чтобы мне побольше поесть и выпить. Если вы хотите быть моей подругой на этот манер, то я готов. А коли так, то вы уже сегодня последите, чтобы мне был порядочный кусок мяса.

Он ужасно играл мною. Даже в этот великий момент он не оставил своего дикого юмора. О, мужчины, мужчины, как вы с нами обращаетесь! Веселье отчаяния охватило меня, и, устремившись за ним по следам его необузданного настроения, я воскликнула:

— Вы получите сегодня два фунта говядины!

Это потрясло его. Он угадал мое страданье сквозь судорогу шутки. Слезы выступили на его глазах, он сказал:

— А раз вы такая добрая, то, стало быть, по рукам: я — это он.

Карл ушел, подавленный благородным и гуманным умилением.

Душа моя узнала его по этим слезам, как уже прежде узнал мой разум. В остальном он остался верен своей роли. В полдень он пришел за двумя фунтами говядины. Я отдала их ему и приготовила для нас оладьи, сказав отцу, что кошка украла мясо. Карл съел их целиком; его притворство, вероятно, досталось ему нелегко.

Куда только девалась эта глупая золушка Лизбет? С такой бурей в груди я должна стоять теперь у печки! Правда, оладьи были пересолены и совершенно несъедобны.

Сегодня между нами произошло окончательное объяснение. Я напомнила ему про наши прогулки в Ницце, про изготовление векселей, про шестой слоновый полк и про козни бирманского царя. Я напомнила ему про Гехелькрам и его право на престол. Я назвала ему сладкозвучное имя: Руччопуччо. Я спросила его, думает ли он еще об этом. Он на все ответил мне: да.

Но и в этот час откровенных излияний он остался лакеем в речах, движениях и манерах. Я горячо просила его сбросить по отношению ко мне эту безобразную личину и стать князем. Он отвечал, что это невозможно и чтобы я, ради создателя, оставила его в покое. Я не буду больше настаивать: по-видимому, он боится, что, обнаружив себя передо мной, он забудется при других. Какие ужасные усилия должна делать над собой эта возвышенная душа, чтобы носить такой низменный облик!

Его инкогнито, по-видимому, преследует двойную цель. Он хочет испытать меня, не будучи узнанным, и, кроме того, намерен выждать в укромном месте, какие результаты будет иметь его обращение к могущественным придворным по поводу гехелькрамского престола. Я сказала ему в лицо мои предположения, и он ответил, что все обстоит так, как я думаю.

Как ему удалось отыскать меня, когда я в Ницце носила имя Марсебиллы фон Шнурренбург-Микспиккель? Об этом я спрошу его в следующий же раз.

Надлежит терпеливо ждать дальнейшего хода наших дел. Если его признают князем, то и для меня найдется тихая обитель. Я выполняю свое предназначение, и я спокойна.

Но одна мысль преследует меня все время. У него нет супруги! От этого отчасти меркнет ореол моего положения. Я хотела быть ангелом-хранителем его дома, хотела примирить супругов. Это теперь отпадает. Итак, жизнь не выполняет до конца данных нам обещаний.

Но он совершенно не похож на Руччопуччо! Тщетно я ищу в его лице хоть одну черточку прошлого. Правда, прошло уже несколько лет, как мы расстались...

...Дурища Лизбет засунула куда-то перед уходом все мои бюварные принадлежности; я принуждена пользоваться такими перьями, которые страшно затрудняют письменные излияния. Это ужасное существо...

...И, кроме того, он много перенес. Ему приходилось

даже порой терпеть побои от своего господина. Разумеется! Ведь индусские цари такие варвары!

Я разгадала теперь и Мюнхгаузена. Этот великий ум, этот новый пророк природы и истории, вероятно, камергер князя, или его адъютант, или его статс-секретарь, или еще кто-нибудь из этих чистых идеальных фигур! И ему тоже притворство дается нелегко; я это вижу. Взять хотя бы его болезненные подергивания, когда он должен для вида накричать на своего повелителя. Недавно он притворился, что бьет его палкой, а князь притворился, что кричит.

Теперь мне ясны рассказы Мюнхгаузена! Отец понимает их буквально и отчасти верит им. Я сейчас же почуяла в них скрытое значение и не ошиблась. Изумрудно-зеленое нагорье Апапурин... и т. д., это — наша молодость; на нем пасутся золотисто-желтые телята чувств; мысли девушки нежны, как персик, а все проявления ее существа терпки и целомудренны, как простокваша; затем ее внутренний мир раскалывается, это расщепление с его подрасщеплениями олицетворены шестью братьями Пипмейерами, схожими до неразличимости, как расщепления наших душ; затем идет проза жизни в лице полкового цирюльника Гирзевенцеля и затягивает узел противоборствующих отношений, символизированных крысиным королем смешанных ощущений.

Правда, отдельные стороны этой символики еще покрыты для меня мраком. Так, например, какой момент женской жизни олицетворен последствиями единственной лжи Мюнхгаузена?

Что за роскошное ощущение — наблюдать, как возвышенное и божественное победоносно прорывается для посвященного глаза сквозь личину слуги, в которую оно вынуждено облекаться от времени до времени. Хотя мой августейший друг изображает лакея до ужаса реально, но скрыть свою княжескую кровь он все же не может, и в этом я сегодня убедилась.

Претендент на гехелькрамский престол чистил сапоги своего так называемого господина. Я вообще замечала, что слуги, исполняющие эту работу, делают ее в какой-то неблагородной позе, согнувшись и с отвратительными отрывистыми, быстрыми, резкими движениями — неприятное зрелище!

Совсем иначе выглядело то, что я видела сегодня.

Карл сидел. Он отклонился назад в благородной и небрежной позе; на сапоги он почти что не глядел; медленно водил он щеткой взад и вперед по предмету, столь ниже его стоящему, и только для виду касался презренной кожи.

Правда, сапог не слишком блестел, и Мюнхгаузен, притворившись сердитым, обругал Карла ленивой скотиной. Одно из самых тяжких испытаний, наложенных на меня всем этим обстоятельством,— это необходимость в угоду полной истине навязывать тебе, о мой чистый дневник, столько проклятий и ругательств!

Князь обладает невероятным аппетитом. Сегодня он опять скушал целую жареную колбасу, а она была одной из самых крупных в кругу своих сестер. Вероятно, индийский климат истощил его. Лишь бы только она ему не повредила!

У меня в ушах жужжит старая песнь:

Ты щелкунчика прежде любила,
А после любила меня...

Я помню ее до этого места, а дальше, сколько раз ни пела, не могу восстановить. Между тем в страшный час, когда нас разъединили евреи, мы дали священную клятву узнать по ней друг друга. Я напомнила об этом князю, но он тоже не знает остальных стихов.

Я больше не в состоянии выносить грубой насмешки, связанной с именем «Карл Буттерфогель»[7]. Разве я не женщина, т. е. существо, не понимающее иронии, склонное к одной только простой, тихой серьезности? Чтобы не удаляться от образа, избранного князем, я называю его при других Карлос Мотылек. Отец расхохотался, когда в первый раз услышал это имя. Он никогда меня не понимает. Зато Мюнхгаузен опять меня понял вполне, понял, хотя мы не обменялись ни единым словом.

Он сказал: «Лишь бы осел не возгордился!» (Боже, как я страдаю от таких выражений!) Конечно, его родовая гордость проявится во всем своем великолепии, когда над нами мало-помалу взойдет заря новых просветляющих отношений и именований.

О, Мюнхгаузен, Мюнхгаузен, великий знаток сердец!

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Страницы из дневника слуги

Карл Буттерфогель тоже вел дневник. Так как он много таскался по свету и служил у тысячи господ, то у него вошло в привычку заносить в записную книжку краткие заметки вперемежку с записями разных расходов. У книжки была покрышка с карманами из некогда красного сафьяна. Грубый кулак времени постепенно стер этот цвет, так что она выглядела теперь пепельно-серой. Туда было вплетено четыре настолько использованных пергаментных листка, что карандаш почти отказывался оставлять на них след; в кармане книжки хранились: рисунок цветка со стихом под ним, вечный календарь и расческа.

Этот почтенный манускрипт заключал следующие сердечные излияния Карлоса Мотылька:

Первый листок

Шестнадцатое июня: удрали из Штутгарта.

Оставил, что для чистки, в харчевне.

С Рикой не прощевался. Уж очень спешили.

Двадцать второго июня: остались в замке через падение с лошади.

Много страдал от голода и жажды. Блохи, клопы и прочие напасти.

Здесь совсем не нравится.

За сургуч	3 штивера.
За водку	1 штивер.
За вещи из аптеки	18 штиверов.
За письмо	12 штиверов.
За барина на благотворительное подаяние	3 геллера

Что мне барин должен: со Сретения не получал жалованья. Составляет три гульдена шесть крейцеров в месяц, всего двенадцать гульденов двадцать четыре крейцера.

Двадцать шестое июня: три дня не жрамши. Тужур непрестанно скучал по Рикхен. Невозможно выдержать. Явственно отощал.

О, Рика, здесь твой раб,
Баварец или шваб,
Ему не суждено,
Когда уже темно,
К груди тебя прижать
И крепко целовать.

Означенные вирши сочинил ночью, что двадцать восьмого июня, потому что не мог спать через голодуху и блохов.

Второй листок

Пятое июля: давно ничего не записывал в памятку. Был очень занят. Сильно себя улучшил во всеёй жизни и кондиции. Барышня втюримшись. Как вышло — не знамо не ведомо. Сперва тормошила и выпытывала, и поклялась головой, что я и есть тот самый.

Не мог увильнуть и наконец заверил, что согласен быть тем самым, если и поскольку будут харчи как полагается.

Отняла у меня старого щелкуна и притом ревела. Полагаю — рехнувшись.

Тотчас же, в тот же день съел два фунта говядины. Очень приятное чувствие имел после того. В первый раз опять спокойно думал о Рикхен.

Седьмое июля: спрашивала про всякую всячину, к примеру про князя и Гехелькрам и счастливые прогулки в Ницце и о Рутшепутше. Ни словечка не понял, но все терпел и на все говорил: да.

Восьмое июля: совесть совсем сгрызла за Рикхен. Ел колбасу, после чего полегчало. Я не виноват, что свалился в такой малер.

Третий листок

Девятое июля: очень приятное чувство имел через новую любовь. Очень польщен любовью благородной персоны. Совсем не чувствовал себя лакеем от новой любви. С этим чувством чистил сапоги. Барин наорал и вздул опосля за то, что сапог не блестел. Все стерпел через чувствительную любовь.

Вечером съел двенадцать крутых яиц. Лег спать в полном блаженствии.

Пятна с сукна сводить берут табак, варят и втирают в сукно. Затем щеткой прочистить, просушить на солнышке, и как не бывало.

Четвертый листок

Двенадцатое июля: сегодня решился после долгой борьбы. Ризалюция: вечно любить Рикхен и жениться на барышне, если и впредь будет добрый харч.

Сжег все памятки от Рикхен, чтобы не страдать через борьбу.

Все-таки очень боюсь старого барина, ради наложения в загривок, ежели что выйдет наружу.

От барышни гостинец — четыре штивера на удовольствие.

Сегодня издалека намекнул на дальнейший добрый харч, если хочет, чтоб была свадьба. Не поняла. Решился в другой раз сказать яснее.

Четырнадцатое июля: сегодня с будущего тестя для плезиру снял сапоги. При этом смотрел на него многозначительно, чтобы подготовить к открытию. Тоже не понял. Одна жуть.

Совсем никакой охоты служить у Мюнхгаузена. Слишком много знаю про его секреты и никогда настоящего решпекта не имел от химически препарированного человека.

Через новую любовь совсем стал гордый. Чувствую себя униженным через однообразное выколачивание сюртука и прочее, что по должности. Хочу быть гехелькрамским князем, раз уж на то пошло и барышне приспичило. Пусть скажет, где лежит княжество; начну хлопотать.

Того же числа: мой барин опять взялся за свою мазню и тем мне совсем опротивел. Решился нагрубить при первом же случае, чтобы ловким манером избавиться от рабства.

Очень мне здесь теперь нравится. А все-таки положение того... и пес его знает, как обернется.

В такое удивительное положение попала фрейлен Эмеренция со своими мыслями, сновидениями и чувствами. Поэтому можно себе представить, как ее должно было оскорбить, когда отец выразил опасения относительно марьяжа с Мюнхгаузеном.

Впрочем, она вообще не знала, ходит ли она еще по земле. Она думала и видела только гехелькрамского претендента, алтарь дружбы и вдали наперсный крест. Правда, маленькое хозяйство страшно страдало от этого счастливого разрешения тяжелых обстоятельств. От супа постепенно пришлось отказаться, так как его нельзя было взять в рот, разве только учитель выручит своей черной похлебкой. Мясо же регулярно крала кошка, так как переодетый князь был ненасытен. Старый барон сердился и раз сто на день мечтал о возвращении Лизбет. Где ему ни попадалась кошка, он бил предполагаемую воровку чем попало; ах! он не знал, что Карлос Мотылек — это та змея, которую он вскормил у своей груди! Когда дочь произносила это имя (а после великого открытия она иначе и не звала Буттерфогеля), он вначале несколько раз посмеялся над этим цветистым тропом, но потом едва не впал в отчаяние, так как стал опасаться, что его бедное дитя быстрыми шагами приближается к сумасшествию.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Автор продолжает давать необходимые разъяснения

Но у старика была еще и другая неприятность. Давным-давно доказано, что деликатесы, например икра или паштет из гусиных печенок, скоро приедаются человеку,

тогда как простые кушанья, скажем хлеб, он всегда ест охотно. Так же обстоит дело и с нервами духовного нёба. Они быстро притупляются в отношении острых раздражителей; потрясение и удивление становятся для них тривиальными. Кто любил слушать сказки, тоскует потом по самой сухой газете; из чего следует, что всякий, кто хочет действовать на человека чудесами, должен обращаться с ними экономно.

Каким великим казался барону его гость! Как отдыхала душа от его рассказов и как быстро угасло наслаждение! Не пронеслось над замком и четырнадцати дней, а уже барон фон Шнук-Пуккелиг-Эрбсеншейхер из Дубравы у Варцентроста чувствовал неудовлетворенность, как тогда, когда, устав от ожиданий, ухватился за журналы, и как тогда, когда, устав от журналов, он тосковал по одинаково мыслящему другу, и как тогда, когда, устав от одинаково мыслящего друга, а именно учителя, стремился к чему-то, чего он сам не знал. Сначала он думал, что причиной всему желудок, и принял рвотное. Средство подействовало, но состояние не изменилось. Наконец он понял, в чем суть — Мюнхгаузен наскучил ему, как наскучили ожидания, журналы, учитель.

Его рассказы уже не казались ему такими удивительными; самые невероятные приключения звучали бесцветно. Теперь после какого-нибудь сообщения Мюнхгаузена он обыкновенно говорил:

— Пустяки, дражайший, пустяки, со мною еще не то бывало.

После чего он в свою очередь пытался перещеголять чем-нибудь невероятным, но редко шел дальше первого разбега.

Вслед за новеллой о шести возлюбленных г-н фон Мюнхгаузен рассказал много всякой всячины, что, к сожалению, просыпалось сквозь решето истории. Кое-что, однако, сохранилось.

Мюнхгаузен рассказал, как однажды в княжестве Шпренкель решили, что им нужны сословные представители, и заказали их из слоеного теста. Эти слоеные представители совершили много полезных государственных реформ, пока трон не унаследовал новый правитель, который съел их и приказал выпечь представителей из сдобного теста.

Старый барон возразил:

— Пустяки, всякий может съесть слоеное тесто. Однажды я видел...

Мюнхгаузен рассказал про Малый Китай, лежащий в Океане за Формозой на восток от Великого Китая, где патриотизм был в мирное время так силен, что в день рождения Великой Золотой Рыбы — так по-восточному обычно назывался царь Малого Китая — у мандаринов первых трех классов кожа естественно принимала национальные цвета, а именно коричневый и синий.

Старый барон возразил:

— Пустяки, окраска кожи могла произойти от сыпи, например, от крапивницы; такие явления обыкновенно быстро проходят. Однажды я видел...

Мюнхгаузен рассказал про глубокомысленного польского старосту, который написал глубокомысленную книгу о современном искусстве[8] и от художественного восторга сам впал в такое глубокомыслие, что вообразил себя тряпкой для палитры, а именно тряпкой своего любимого живописца. Действительно было приятно и интересно слушать эту историю, ибо дальше она повествовала, что глубокомысленный поляк, или польский глубокомысл, поступал и выражался в качестве тряпки, совсем как раньше, так что между прежним воеводой и теперешней тряпкой нельзя было найти никакой разницы. Мюнхгаузен заявил, что заимствовал эти данные от камердинера поляка, мрачного Гагена из страны Нибелунгов, который за прибавку к годовому жалованью в шесть польских гульденов сделал глубокомысленную книгу своего работодателя доступной для немцев.

Старый барон возразил:

— Это пустяки, если человек вообразил себя тряпкой, раз есть столько тряпок, которые воображают себя людьми. Однажды я видел...

Мюнхгаузен сказал, что если эта история не вызывает в нем удивления, то его несомненно поразит одно доказательство его собственного гения. А именно при теперешнем общем расцвете художественных талантов он почувствовал в себе дарование к пластическим искусствам и потому сделался учеником одной знаменитой академии. Метод обучения и влияние мастеров подействовали на него самым изумительным образом, ибо, согласно отзывам печати, он уже на первой неделе сделался Леонардо да Винчи, на второй — Микеланджело, на третьей — Рафаэлем. На четвертой он превратился в комбинацию Винчи-Анджело-Рафаэль. Позднее он перебросился на

голландское искусство, и через двадцать четыре часа его звали маленьким Рембрандтом.

— Но мне надоела живопись,— продолжал Мюнхгаузен,— я решил сделаться скульптором, и, для начала, Фидием; разумеется, не без указания, предначертания и просветления свыше. Однажды вечером я лег спать с этой мыслью в погребе у торговца маслом. Как я туда попал — к делу не относится; словом, я заснул в погребе. Ночью мне снились сказания о богах и героях; я, правда, почувствовал, что работаю руками и туда и сюда, но не знал, что я делаю, потому что все-таки наполовину спал. На следующее утро лавочник пришел в погреб с фонарем, посветил вокруг и воскликнул:

— Батюшки светы! Что ж это сталось с маслом!

Тут я проснулся и смотрю: оказывается, я вылепил во сне из масла группу Кентавров и Лапифов[9] в самом серьезном, строгом и благородном стиле. Я так похозяйничал в кадках, что все они были пусты. Мой лавочник начал было ругаться, но успокоился, сообразив, что на этом произведении он может заработать немалую толику денег. Мы осторожно вынесли наверх масляную группу и поставили ее на солнце, чтобы дать ей надлежащее освещение. Но это оказалось неблагоразумно, так как фигуры растаяли на солнце, сначала Лапифы, потом Кентавры. Разве это не удивительно?

— Что именно? То, что вы сделали Кентавров и Лапифов из масла, или то, что эта скульптура растаяла, когда вы захотели дать ей надлежащее освещение? — спросил старый барон.

— Последнее,— возразил Мюнхгаузен.— Ради такого произведения небо могло на один раз изменить действие законов природы. То, что это масло растаяло на солнце, что не случилось никакого чуда, это-то я и нахожу чудесным.

Но старый барон сказал:

— Это уже совсем ерунда, потому что слишком субтильно.

Так ни один рассказ не приходился больше по вкусу владельцу замка. Гений Мюнхгаузена выветрился во мнении барона быстрее любого министерства июльской монархии.

— Разве он не может рассказывать мне про какие-нибудь настоящие достопримечательности? — в сердцах восклицал старик после ухода Мюнхгаузена.— Что-нибудь такое... что-нибудь такое... чего вообще нельзя рассказать!

Только два приключения еще до известной степени возбуждали любопытство старого барона: это жизнь Мюнхгаузена среди скота, в особенности среди коз на Геликоне, и еще то, как он недавно познакомился в Швабии с духами и демонами. Барон неоднократно выражал желание узнать эти приключения, но каждый раз случайные обстоятельства отодвигали рассказ, как было, например, с первой главой этой книги, которая не могла выполнить то, что обещали ее начальные строки.

В этом тоскливом настроении старый барон взглянул на особу г-на фон Мюнхгаузена с пытливым раздражением или с раздраженной пытливостью и обнаружил в ней многое, достойное удивления. На позеленение щек и разноцветные глаза можно было после разъяснений Мюнхгаузена пока не обращать внимания, но зато в этом удивительном человеке обнаружилась масса новых феноменов. Странно было то, что Мюнхгаузен всегда говорил с грустью и как-то туманно о своем появлении на свет; сюда прибавлялись еще и непонятные отношения между господином и слугой, которые вскоре бросились в глаза обитателям замка.

Общеизвестен упрек, брошенный нашему времени, что вместе с прогрессом возросла и наглость прислуги. Среди многих дрянных слуг, порожденных современностью, Карл Буттерфогель — для нас он сохраняет это имя — был безусловно одним из самых дрянных. Когда барин ему что-нибудь приказывал, то на первый раз он вовсе не слушался, на второй раз — тоже, а на третий — слушался, но как бы из милосердия. Платье он выколачивал, когда у него была охота, а прочие обязанности исполнял, поскольку вздумается. Если барин ругал его или грозил прибить, то этот тип разражался таким потоком ехидных, наглых и странных намеков, что даже самый непредубежденный человек пришел бы в недоумение.

Однажды старый барон был свидетелем подобной сцены; при этом Карл Буттерфогель крикнул Мюнхгаузену, чтобы он поберегся, так как он знает, что... Тогда барон сказал Мюнхгаузену:

— На вашем месте, милейший, я вышвырнул бы этого наглеца за дверь.

— Не могу,— простонал Мюнхгаузен, с болью глядя на небо,— потому что...

— Что?.. Потому что?.. Что означает это «не могу»? И что означает это «потому что»? — пробормотал старый барон.

В другой раз разгневанный Мюнхгаузен действительно прогулялся палкой по спине неслуха. Тот убежал, ругаясь, как извозчик, и беспрестанно повторяя:

— Как! Меня бить? Этакий мункул!

— Мункул? — спросил старый барон.— Что такое мункул?

Очевидно, слуга знал нечто такое, что годилось не для всех ушей.

Но верхом всех мюнхгаузеновских тайн были его загадочные эксперименты. Каждую неделю посылал он Карла в аптеку соседнего города, затем отбирал у него снадобья, запирался у себя в комнате, закрывал окна и за семью замками и кисейными занавесками делал вещи, которые видел один только бог. Во время этих опытов по дому носились тонкие минеральные пары, прорывавшиеся сквозь замочную скважину. То, что после этого от самого Мюнхгаузена пахло, как от серного источника, мы уже слышали из уст старого барона. Однажды во время такого эксперимента обитатели замка испытали страшный испуг. А именно: в комнате раздался оглушительный взрыв. Мюнхгаузен сильно толкнул дверь, оттуда вырвался пар, комната была полна пара, и в парах стоял Мюнхгаузен, бледный и испуганный. Стол был уставлен всевозможными бутылками и аппаратами, наполненными странными переливчатыми жидкостями. Все это Мюнхгаузен впопыхах убрал, когда несколько мгновений спустя пришел в себя.

Этот инцидент довел до высшего предела напряженное любопытство барона. Весь интерес, который он питал к рассказам гостя, он перенес теперь на его личность. Таким образом, то значение, которое наш герой утерял в одном отношении, он выиграл в другом благодаря грубостям слуги, серному запаху, парам и взрыву.

— Скучный рассказчик, но замечательная историческая личность, быть может, единственная в своем роде! — сказал старый владелец замка.

К сожалению, жгучее любопытство барона оставалось неудовлетворенным, так как никто не мог пролить свет на человека, который, казалось, не имел подобного себе на земле. Мюнхгаузен победоносно ускользал от всех попыток проникнуть в его тайны дальше известного предела. Расспросить слугу о его господине — эту мысль, как-то мимолетно явившуюся ему, старый барон отбросил от себя. Несмотря на любопытство, барон фон Шнук был человеком старогерманского уклада и

обходительности. Ни одной минуты не забывал он своего долга по отношению к гостю. Так носило его между желанием и невозможностью сорвать завесу, и сердце его наполнялось до краев беспокойством и раздражением.

Что же касается учителя, то он был погружен в серьезное самонаблюдение. Он еще больше, чем раньше, держался вдали от прочих обитателей замка и целыми днями одиноко сидел на горе Тайгет, разглядывая кончик своего носа наподобие индусского йога.

Если он и появлялся среди остальных, то очень ненадолго, так как никто не обращал на него внимания: Мюнхгаузен потому, что потомок царя Агезилая был ему не нужен, барышня потому, что вообще, как мы знаем, была далека от всего земного, старый барон потому, что ломал себе голову над мункулом.

Что касается Мюнхгаузена, то этот удивительный человек сохранял внешне всю свою выдержку; но и его грудь терзали разные огорчения. Что он наскучил владельцу замка своими рассказами — это он уже давно заметил; теперь же он обнаружил другое опасное явление, а именно, что тот копается в его личности. Это ему было неприятно. Ему было важно пользоваться еще некоторое время приютом и столом в замке в качестве безобидного (хотя и весьма остроумного и многоопытного) частного лица. Он решил поэтому развернуть героическую энергию в деле рассказывания, отвлечь этим по возможности внимание барона и таким образом еще раз подставить судьбе свой независимый и мужественный лоб, который не смог еще разнести ни один удар.

В то время как обитатели замка приближались таким путем к решительным событиям и характеры их все более определялись, Карл Буттерфогель был единственным счастливцем. Он поедал столько мяса, колбасы и яиц, сколько барышня могла ему подсунуть, служил своему барину с убеждением, что теперь от него только зависит спихнуть тирана, и переживал все чары тайной и возвышенной любви.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

События одного вечера и одной ночи

В тот вечер, когда Мюнхгаузен и владелец замка обменялись откровенными признаниями, Карл Буттер-

фогель заставил пять раз звать себя, прежде чем явился к своему барину, который собирался раздеться. Когда он наконец показался, барин встретил его со словами: «Мошенник! Бестия!» После чего слуга схватил стул, прикрылся им для защиты и стал кричать, точно его посадили на вертел. На этот крик прибежал по лестнице старый барон в халате. Эмеренция же, глубоко погруженная в свой мир, ничего не слыхала, продолжая изливать стенке сердечные тайны. Старый барон, державший ночник в руке, спросил:

— Что здесь опять происходит? На что Мюнхгаузен ответил:

— С этим мерзавцем нет больше никакого сладу, с каждым днем он становится ленивей. Понять не могу, что у этого чучела в голове!

— Любовь у чучела в голове! — злобно крикнул слуга.— Любовь вполне благородной особы, и есть тестюшки, которые ничего не знают и будут очень даже удивляться, если и впредь будет добрый харч.

— С ума он спятил, что ли? — изумился старый барон.

— А служба мне вообще больше не по нутру, и меньше всего я стану служить у такого мункула, который к тому же вздумал меня колотить! — крикнул Карл Буттерфогель.— Я требую жалованье за четыре месяца, двенадцать гульденов двадцать четыре крейцера, и что я выложил, тоже составляет сорок два штивера и три геллера, и это я хочу и я требую, и после этого я сейчас же ухожу, так как я через мои связи получу еду и питье, и если мне еще скажут какое-нибудь эдакое слово, то я все выложу своему тестю и про неестественное рождение, и про химическую мазню...

Мюнхгаузен в изнеможении присел на кровати. Ноздри его по обыкновению дрожали, все лицо выражало страдание.

— Ужасный рок, отдавший меня в руки подлеца,— простонал он.— Почему, чудовище, я не был скрытен с тобой, как с другими? Я открыл тебе сердце... Я нуждался в душе, которую бы мог посылать в аптеку, а теперь ты пойдешь и предашь меня!..

— Не изводись, брат,— сказал владелец замка.— Этот индивид всегда останется лакеем; люди нашего происхождения не должны раздражаться из-за такой сволочи. Правда, что касается неестественного рожденья и химикалий, то я очень хотел бы...

Мюнхгаузен сделал величественный жест.

— Не требуй этого, брат,— сказал он с достоинством.— Я знаю тебя, барон Шнук, ты слаб; ты можешь перенести откровенность, ты можешь перенести, чтобы немец сказал немцу: «ты олух!», но этого ты не сможешь снести. Ты держишься за идеи, которые всосал с молоком кормилицы, ты требуешь, чтобы человек родился по-человечески. Открытие, к которому влечет тебя твое злосчастное любопытство, будет тебе стоить друга!

Он со страстной горячностью сбросил с себя всю одежду и в одной сорочке стал смотреть в окно, повернувшись к присутствующим спиной.

Карл Буттерфогель, нисколько не смущаясь, кричал во время этой рацеи:

— Это стыдно для такого барина, когда такой барин постоянно врет! Вранье это для нас, для простых людей, нам часто без этого не обойтись, и господь прощает нас, потому что без того у нас хлеба не будет, и как только у меня будет благородный тесть и я смогу рассчитывать и впредь на надлежащий добрый харч, я тоже брошу; а для такого господина, как господин фон Мюнхгаузен, нехорошо, и всем людям он врет, и везде он врал, а они так глупы, что постоянно верят ему, хотя он не говорит ни слова правды.

— Довольно, Карл, остальное можешь досказать за дверью,— сказал, обернувшись, Мюнхгаузен. Тон его голоса был мягкий, но решительный. Он повязал голову желто-красным шелковым платком наподобие ночного колпака, так что узлы спадали ему на уши.

— Покойной ночи, брат Шнук. Ты прав, не стоит раздражаться из-за таких людей. Я сумею обойтись без слуги. Можешь идти, Карл, завтра ты получишь свои двенадцать гульденов двадцать четыре крейцера. Ступай, Карл, следуй предначертанию твоей судьбы, ты обойдешься и без пая Акционерного общества по сгущению воздуха, который я тебе предназначал.

Лицо у Карла вытянулось, он опустил стул, который все еще держал для самозащиты, и столь же трусливо, насколько раньше нагло, произнес:

— Как же это так, барин?

— Акционерное общество по сгущению воздуха? — спросил старый барон.

— Да,— ответствовал г-н фон Мюнхгаузен и сдернул чулок с левой ноги.— Новейшие химики открыли в Париже средство уплотнять воздух, придавать ему твердую форму.

— Уплотнять? Твердую форму?

— Ну да, они делают из него массу, нечто среднее между снегом и льдом, что-то вроде крутой каши. Когда я узнал об этом открытии, я познакомился с ним ближе и скоро убедился, что воздух, сгущенный и уплотненный при помощи преципитации, кальцинации, оксидации и некоторых других средств, пока составляющих мой секрет, может достигнуть такой густоты, твердости и веса, что ничем не будет отличаться от камня.

— Не будет отличаться от камня?

— Не будет. Почему это тебя удивляет, Шнук? Что стало кашей, может стать и камнем. Хочешь посмотреть? Карл, окажи мне любезность,— ибо я уже не могу тебе больше приказывать,— и принеси мне из дорожной сумки зеленую коробку № 14.

Карл Буттерфогель, обнаруживший после разговора об Акционерном обществе по сгущению воздуха смиренную покорность, стремительно бросился к дорожной сумке и достал зеленую коробку № 14, откуда Мюнхгаузен извлек камень величиной с кулак. Он показал его старому барону и спросил, что это такое, по его мнению.

Барон подержал его перед ночником, присмотрелся к нему, прищурившись, и сказал:

— По-моему, это булыжник!

— Это сгущенный, преципитированный, оксидированный и при помощи других секретных способов уплотненный воздух,— сказал, зевая, г-н фон Мюнхгаузен и положил камень обратно. Он снял чулок с правой ноги и продолжал: — Ты видишь теперь своими глазами; ударь его топором, он даст огонь; так велика крепость этого воздушного камня!

— Это же огромное, невероятное, неоценимое открытие! — воскликнул старый барон.

— Во всяком случае, довольно важное,— хладнокровно сказал г-н фон Мюнхгаузен.— Сейчас в мирное время везде строят здания, мосты, улицы, дворцы, дома умалишенных, памятники. Но в некоторых местностях строительный материл слишком дорог. Вот на такие-то бедные камнем местности я и хочу поставлять окаменелый воздух. Воздух можно иметь везде. Производственные расходы не так велики; самое главное при процедуре — это состав самого воздуха, и мне кажется, что я напал здесь на верный след хорошо каменеющей атмосферы. Поэтому я так и нюхаю воздух. Я хотел заложить

здесь фабрику, главную фабрику, после которой в подходящих местах будут открыты дочерние предприятия. Это будет акционерное общество; утвержденный устав уже у меня в кармане. Если вести это дело с некоторым размахом, то уже в первом году оно должно дать, по самому худому расчету, сто тридцать и три восьмых процента. Это и есть Акционерное общество по сгущению воздуха, о котором ты спрашивал. Будет назначено два директора с полной доверенностью, двенадцать членов правления на жалованье; секретарей и прочих служащих пока предполагается человек сорок с лишним. Карла, моего бывшего слугу, я хотел сделать техническим содиректором. Ну-с, из этого теперь ничего не выходит: мне придется подыскать кого-нибудь другого.

Тут Карл Буттерфогель испустил такой вздох, что комната загудела. Барон же надул щеки, подбросил ночной колпак к потолку и сделал шаг, скорей походивший на прыжок, от которого свеча у него в руках ярко вспыхнула.

— Есть у тебя еще акции? — спросил он Мюнхгаузена, который равнодушно укладывался спать.

— Все расписано,— отвечал тот, натягивая одеяло на голову,— стоят уже выше номинала. Но я все-таки хочу отблагодарить тебя за твое гостеприимство, Шнук. Твой замок несколько обветшал; как только моя фабрика и Акционерное общество осуществятся, я построю тебе новый из моего материала.

Старый барон стремительно поставил свечу на стол, бросился к лежащему Мюнхгаузену, взял его обеими руками за голову и воскликнул:

— Значит, я буду жить как бы в воздушном замке? Ну и анафемский же ты парень!

— Называй это так, если хочешь, старый дружище,— ответил Мюнхгаузен,— только не обрывай мне ушей. Видишь ли, в этом и состоит величие современности, что многое, изобретенное наивной фантазией первых времен и долго считавшееся сказкой, образом, или символом, оказалось, благодаря научным исследованиям, исторической реальностью. Таким же образом и старинная поговорка о воздушных замках получает, благодаря моему Акционерному обществу, конкретное существование. Понятие воздушных построек перестает быть пустой фразеологией, и люди действительно будут вкладывать в них деньги. А теперь, голубчик, ступай отдохни, я устал, и мне хочется спать.

Мюнхгаузен повернулся и заснул. Старый барон пробормотал:

— Гм-да, это получает теперь совсем другое освещение, мы переходим на практическую почву. Он должен... он должен...— Старик ушел настолько погруженный в мысли, что даже забыл взять с собой ночник...

Освещенный мрачным светом этого ночника, Карл Буттерфогель остался подле кровати. Лицо его от замешательства даже вздулось, по временам крупная слеза катилась по носу; он стоял наподвижно, как статуя, и не вытирал капавших слез. Виновник огорчения преспокойно храпел. Простояв так с добрый час, опечаленный слуга принялся бережно собирать платье барона, валявшееся на полу и на стульях. Он осторожно положил его на обычное место, приблизился на цыпочках к кровати, подергал барона за сорочку и прошептал:

— Ваша милость!

Мюнхгаузен приподнялся, протер глаза и спросил:

— Зачем ты меня будишь, нахал?

— Я не хотел вас будить,— робко ответил Карл Буттерфогель,— я только хотел спросить, когда прикажете завтра вас разбудить?

— Вот как! — воскликнул Мюнхгаузен.— Ты хочешь остаться у меня, скотина? Нет, сын мой, держись крепко своих намерений, уходи от вруна, не будь так глуп, не верь ему, ему, который не говорит ни слова правды; короче говоря, проваливай, мерзавец!

Карл Буттерфогель упал на колени перед кроватью, схватил руку барона, целовал ее, выл и рыдал так, что камень бы прослезился,— даже воздушный камень; при этом он воскликнул:

— Ваша милость, я знаю, что я был мерзавцем. Но я никогда в жизни больше не буду. Ах, простите мне только на сей раз, чтобы я мог остаться техническим содиректором, я так уже рассчитывал на эту должность и на хороший кусок хлеба, и я был бы конченый человек, если бы это от меня ускользнуло; а с господином тестем это еще дело далекое, и кто его знает, будет ли впредь отпускаться добрый харч, из-за которого я все это проделываю, и никогда больше я не стану болтать о неестественном рождении, и о мункуле, и о химической мазне, потому что я вижу, что это вас огорчает; и о жалованье, и о том, что я выложил, тоже не будет больше речи. Нет! Все даром: и одевание, и раздевание, и хождение за водой, лишь бы мне остаться у вас на службе.

— Только отвратительный эгоизм побуждает тебя к этим горячим мольбам,— серьезно сказал Мюнхгаузен.— Техническое содиректорство, видно, засело тебе в голову. Но утешься, мой друг, ты ничего не потеряешь, уйдя от меня. Как может врун когда-либо сказать правду? И Акционерное общество по сгущению воздуха я тоже выдумал!

— Нет, нет, нет! — громко и восторженно воскликнул Карл Буттерфогель.— Меня не проведешь! Бывает, конечно, что ваша милость из любви к искусству малость зальет, но на сей раз это истинная правда. Я уж вижу, что ваша милость меня только испытывают и уже шутят-с; значит, я остаюсь у вас.

— Ладно,— сказал г-н фон Мюнхгаузен,— на сей раз я тебя прощаю; но это уже в последний. Будешь ли ты техническим содиректором, засисит исключительно от твоего дальнейшего поведения. А теперь, мошенник, тащи сюда палку, так как новый контракт, который мы заключаем, должен быть подтвержден и скреплен задатком.

Карл Буттерфогель принес палку, стоявшую неподалеку от постели. Мюнхгаузен вытянул его ею несколько раз по спине так называемым охотничьим ударом; слуга, правда, покряхтел от боли, но затем отряхнулся и сказал, утешенный:

— Сейчас же становится легче на душе, когда опять поступишь на прочное место.

После его ухода барон остался сидеть на постели и сказал:

— Удивительно, какой властью я пользуюсь над окружающими!

Он опустился на подушки, повернулся на бок и снова заснул. Однако в эту ночь ему не суждено было воспользоваться длительным покоем. Не успел он подремать с полчаса, как его снова разбудил какой-то шум за окном. В первый момент он подумал, что это лезут воры, выскочил спросонья из постели к окну, но, окончательно разбуженный прохладным ночным ветром, увидел во дворе темную фигуру с длиннейшим шестом в руках.

— Кто там? Что это значит? — крикнул Мюнхгаузен, обращаясь к фигуре.

Та отвечала:

— Это я, учитель, именуемый также Агезилаем, а этим длинным шестом, составленным из нескольких огородных жердочек, я стучал в окно, чтобы привлечь

ваше внимание, г-н фон Мюнхгаузен, так как вы не откликались, когда я тихо и скромно произнес несколько раз ваше уважаемое имя. Увидев свет в вашей комнате, я решил, что не погрешу против вежливости, попросив вас побеседовать со мной, что я настоящим и делаю. Я страстно хочу поговорить с вами об одном для меня весьма важном предмете. Не будете ли вы столь любезны открыть мне тихо дверь, так, чтобы не разбудить никого из обитателей дома, и разрешить мне доступ в ваши покои?

— К черту, сударь! Этого мне еще не хватало!— воскликнул с раздражением г-н фон Мюнхгаузен.— Как вы смеете будить людей по ночам? То, что вы имеете мне сказать, вы можете сказать снизу.

— Конечно,— спокойно согласилась фигура с шестом.— Но наша беседа во всяком случае должна состояться, чтобы я сегодня же мог принять решение. Краткость, ядреная спартанская краткость да послужит мне образцом, так как здесь довольно сильно дует из-за угла. Г-н фон Мюнхгаузен, существо, которое достойно имени человека, обладает мыслями. Мысли обладают содержанием, а содержание может быть правдивым или лживым. Оно лживо, если оно противоречит действительности, и правдиво, если ей соответствует. Что такое правда, действительно трудно сказать, но пока не раскрыта эта великая тайна, мы должны довольствоваться тем, что другие люди думают о наших мыслях. Нам поэтому столь важно узнать их мнение, что хотя мы таким путем и не постигаем действительности как таковой, но все же получаем некое на нее указание. Такого указания в настоящую минуту я и жду от вас, г-н фон Мюнхгаузен.

— К делу, сударь! Эти обиняки вы называете краткостью? — вскрикнул Мюнхгаузен, так как совсем замерз у окна.

— Итак, к делу. Я хочу знать ваши мысли о моих мыслях. Я все еще считаю, что веду свое происхождение от лакедемонян, и в частности от их великого царя. Что вы думаете об этой моей мысли?

У Мюнхгаузена лопнуло терпение.

— Я думаю, что вы идиот, сударь! — крикнул он и хотел захлопнуть окно.

— Уделите мне, пожалуйста, еще минуту. Из ваших слов я усматриваю, что вы не разделяете убеждения, которое было для меня до сих пор самым доро-

гим. Не будете ли вы столь любезны привести мне доказательство моей неправоты и объяснить, почему Агезели не могут происходить от этого греческого племени?

— Нет. Будьте чем хотите, афинянином или спартанцем, мне это совершенно безразлично!

Мюнхгаузен захлопнул окно и проворчал:

— Ну и ночка сегодня выдалась!

Затем он бросился на кровать, в третий раз повернулся на бок и в третий раз заснул.

Но на сей раз дух, бродивший в эту ночь, не дал ему отдохнуть и четверти часа. Не успел он заснуть, как почувствовал, что кто-то крепко трясет его за руку. Вскочив со словами: «Черт подери, что это еще такое?» — он, к величайшему изумлению, увидел при свете ночника старого барона, снова стоявшего у его постели в прежнем одеянии, а именно в желтых туфлях и красном миткалевом халате, вышитом зелеными виноградными листьями.

— Брат Мюнхгаузен,— сказал владелец замка и уселся на стул возле постели,— не сердись на меня за то, что я тебя тревожу, но я не могу сомкнуть глаз. Ты так взбудоражил мне кровь своим воздушным предприятием, что я не нахожу себе покоя в комнате. Посмотри мне прямо в глаза и скажи как кавалер кавалеру: здесь ничего не наврано?

— Шнук...

— Прошу тебя, пусть на этот раз ничего не будет наврано! Я охотно верю тебе; было бы ужасно, если бы ты соврал, так как я уже душой отдался предприятию и единственное утешение моей старости пропадет, если из этого дела ничего не выйдет. Само по себе оно не заключает ничего невероятного, поскольку за последнее время было сделано столько удивительных открытий; добывают же, например, свет из нечистот, уксус из дерева, лимонную кислоту из картофеля и сахар из урины. Почему нельзя было бы делать камни из воздуха? Ведь он же нередко давит нам грудь. Поэтому с меня будет достаточно твоего слова, кавалерского слова, что тут ничего не наврано.

Но тот в рубашке и в ушастом платке посмотрел в упор на своего хозяина и торжественно произнес:

— Акционерное общество по сгущению воздуха так же верно осуществится, как и то, что ты будешь тайным советником в Верховной коллегии.

— Так,— сказал другой в красном миткалевом халате, вышитом зелеными виноградными листьями,— теперь я успокоился.

Г-н фон Мюнхгаузен попросил своего хозяина дать ему, ради бога, отдохнуть, но старик был вне себя и все сидел на стуле, не переставая возбужденно разговаривать.

— Ты должен сделать мне одно одолжение, Мюнхгаузен,— воскликнул он.— Я не допущу, чтобы ты устранил меня от твоего Акционерного общества, так как времена теперь тугие и сто тридцать шесть с восьмой процентов за первый год — это не кот наплакал. Если Лизбет принесет мне недоимки, у меня будет круглая сумма и я смогу заплатить за одну акцию. Я хочу, хочу и хочу иметь одну акцию.

— Будь она проклята, эта биржевая лихорадка!— воскликнул г-н фон Мюнхгаузен.— Я же тебе сказал, что все расписано. Иди же спать, ради всех святых!..

— Не пойду спать! — хрипел возбужденный старик.— Если ты не дашь мне воздушной акции, я велю завтра выбросить тебя из дому.

— Однако ты обнаруживаешь себя с приятной стороны! — сказал г-н фон Мюнхгаузен и устало отклонился назад.— С тех пор как мы с тобой перешли на ты, между нами происходят одни только грубости. По-видимому, правильно, что есть такие дружбы, которые настроены исключительно на «вы» и не могут без ущерба отбросить эту формулу обращения.

Старый барон, придя в себя, извинился перед гостем и сказал, чтобы тот не принимал этих слов всерьез. Затем он попросил его дать ему хотя бы платное место в Обществе, чтобы и он тоже мог извлечь пользу из предприятия.

— Что же мне с тобой делать? — спросил г-н фон Мюнхгаузен.— Директорские посты заняты, членов правления полный комплект, должности секретарей и рассыльных тебе не подходят; остается еще арбитражный отдел, должность синдика для разрешения споров между воздушными акционерами; она свободна — хочешь ее занять?

— Эге! — воскликнул старый барон.— Это мне подойдет. Я буду считать это промежуточным занятием, хорошей подготовкой к тому времени, когда вернутся старые порядки и я займу свой пост прирожденного тайного советника в Верховной коллегии. Принимаю.

— По рукам! — воскликнул Мюнхгаузен.— Ты будешь судьей между сгустителями воздуха и получишь ежегодный оклад в шестьсот тысяч фунтов воздушных камней. Ибо, по примеру Китая, где расплачиваются рисом как самым ходким сельскохозяйственным продуктом, мы постановили платить жалованье только нашим продуктом, а именно окаменевшим воздухом.

— Очень благоразумно,— согласился барон.— Вы сберегаете таким способом наличные деньги. Я согласен; только я просил бы выдавать мне воздушные камни с пробой и обусловливаю право не принимать брака и лома.

После этого Мюнхгаузен принужден был долго и подробно объяснять новому синдику приготовление твердого воздуха, причем он, разумеется, умолчал о главных фабричных секретах.

Но его слушатель этим не удовольствовался, а расспросил его основательно о структуре Общества, об акционерах с правом и без права голоса, об акционерном капитале, об управлении, об общих, генеральных, обыкновенных и чрезвычайных собраниях, для того чтобы, как он говорил, вовремя ознакомиться со всем, что касалось его должности.

Мюнхгаузен, хотя ему больше всего хотелось спать, поневоле дал барону самые точные разъяснения по всем этим пунктам, так что договорился до хрипоты. Наконец старик ушел.

Ночь протекла в этих происшествиях и разговорах. Златокудрый Феб заглянул в окно. Обессиленный Мюнхгаузен еще раз прилег, чтобы насладиться утренним покоем хотя бы на час.

— Нельзя пробуждать в людях слишком много идей,— сказал он, засыпая.

Но вскоре под его окном раздался звук упорно работавшей пилы; этот звук, регулярно переходящий от нестерпимого скрипа к необработанному сопрано и затем нисniспадающий от ужасающего жужжания до испорченного альта, в состоянии, как известно, разбудить даже глухого. «Это галлюцинация,— подумал сначала Мюнхгаузен и уткнулся головой в подушку.— Это не галлюцинация,— сказал он себе минуту спустя,— но я все-таки постараюсь отвлечь себя абстракцией от чувственного впечатления».

Он действительно принялся отвлекать мысли от скрипа и жужжания, и с присущей ему огромной силой воли

ему бы, наверное, удалось справиться с чувственными восприятиями, если бы одновременно с визгом пилы над его головой не началась невероятная возня. Действительно, над потолком раздавался такой грохот, точно весь чердак вверх дном переворачивали. Зажатый между шипением пилы и чердачным шумом, он уже больше не мог выдержать.

— Даже сколько-нибудь поспать не удастся! — воскликнул он и соскочил обеими ногами сразу с беспокойного ложа. Он позвонил и приказал своему техническому содиректору — он же претендент на гехелькрамский престол, он же Карлюс Мотылек — одеть себя.

От бессонной ночи он выглядел совсем желто-зеленым, и глаза его были мутны.

Визг пилы же исходил от учителя, а чердачный шум от старого барона.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Почему учитель пилил, а старый барон шумел

После того как Мюнхгаузен захлопнул окно, учитель тяжело вздохнул и, воскликнув: «Не удостоил даже опровержения», отправился к себе на гору Тайгет. Там, поставив на стол маленький потайной фонарь, он просидел несколько часов, покачивая головой и размышляя. Упершись руками в колени, он, не отворачиваясь, смотрел в огонь фонаря. Спустя некоторое время он встал, медленно провел рукой по подбородку и сказал:

— Да, теперь мне все совершенно ясно, и я принял решение.

Он направился в угол, где помещалось его ложе, и промолвил:

— Это просто солома, и к тому же мятая, а вовсе не тростник.

Он взял фонарь, вышел наружу, обвел светом площадку перед беседкой и произнес:

— Обыкновенный холм, а то, что журчит внизу,— это просто безымянный ручеек.

Он вынес из своего жилища кубок — он же котон, а попросту говоря, глиняный горшок — и разбил его изо всей силы со словами:

— Ты меня больше смущать не будешь!

После этого он опустился на соломенное ложе и погрузился в крепкий, освежающий сон. Он проснулся несколько часов спустя, когда забрезжил свет, так как вооб-

ще спал мало, достал свои старые письменные принадлежности, нашел, к счастью, кусок бумаги и написал члену училищного совета Томазиусу.

С этим письмом в руках учитель вышел навстречу утру. Он порадовался восходящему солнцу и воскликнул:

— Совсем другое дело это милое божье солнце, не то что давно похороненный идол Гелиос!

— Добрый день, Агезель! — крикнул чей-то голос снизу.

«Счастливое предзнаменование! — подумал учитель.— Кто-то назвал меня христианским именем, и, значит, с Агезилаем покончено навсегда». Взглянув вниз, он увидел письмоносца с коричневой палкой и черной кожаной сумкой, который совершал свой обход, пробираясь через терновник вдоль изгороди.

— Постойте, Риттершпорн, захватите по дружбе это письмо к г-ну Томазиусу,— крикнул учитель и сбросил свое послание.

Он пошел в замок, где застал барышню уже на ногах, так как она мало спала в эту ночь.

— Нет ли какого-нибудь полезного дела? — спросил он.

— Есть,— ответила она,— надо распилить дерево и наколоть дров.

Учитель весело направился в дровяной сарай, расставил козлы под окном барона Мюнхгаузена и принялся старательно и настойчиво за ту работу, о которой была речь в предыдущей главе, уже заранее радуясь колке, когда распилка будет окончена.

Этим объясняется первая часть происшествия. Со стуком же дело обстояло так. В связи с промышленными проектами этой ночи старого барона обуяло неудержимое рвение. Он уже видел перед собой мосты, шоссейные дороги, дворцы, даже целые города из окаменелого воздуха. Правда, покинув во второй раз Мюнхгаузена, он снова прилег, но заснуть ему опять не удалось; он переворачивался со стороны на сторону, и перед его воспаленными глазами неслись воздушные постройки. При свойственной ему живости он недолго улежал на своей неудобной кровати и, вскочив, направился на чердак с нелепым, но твердым планом.

А именно ему пришло в голову, что разногласия между воздушными акционерами будут носить сложный и острый характер, а потому ему надлежит для добросовестного выполнения обязанностей синдика навост-

риться в вынесении справедливых решений. Он задумал поэтому устроить себе предварительную судебную камеру, притом вдали от всякого мешающего шума, на чердаке, в том самом чулане, где Лизбет нашла записи о недоимках. Мюнхгаузен должен был — таков был его план — предлагать ему вымышленные юридические казусы, как делают со студентами на семинариях по пандектам; он же собирался выносить решения согласно воздушному праву.

Едва забрезжила заря, он отпер чулан. У покатой кровли, где лучи изломами пробивались сквозь щели между черепицей и тесом, стоял на трех ножках вышедший из употребления ломберный стол с наборным рисунком; барон окрестил его судейским столом. Чтобы добраться до него, он должен был убрать несколько рядов пустых бутылок из-под шампанского, три разбитые японские вазы, медную клетку для попугая и изогнутый охотничий рог — все свидетели и памятники прежних счастливых дней. После этого уже было легко перенести стол на середину чулана и подпереть его в качестве четвертой ноги геридоном из пожелтевшего алебастра, случайно нашедшимся там же. В другом углу стояло вольтеровское кресло, обитое оранжевым плюшем; его он пододвинул к столу в качестве судейского кресла. Теперь недоставало только актов, книг и судейской мантии, чтобы придать всему надлежащий импозантный вид. Акты и книги быстро нашлись, так как на полу валялись связки старых бумаг и кучи книг в свиных переплетах. Он взял несколько пачек оставшихся без ответа напоминаний о долгах и покрыл ими судейский стол. По краям он поставил в качестве юридических справочников и пособий аббата де ля Плюш, «Путешествия Шельмуфского», «Курьезный Театр Вселенной» и «Азиатскую Банизу», а также «Житье пресловутой госпожи Нейберши»[10]. Отыскать судейское облачение оказалось труднее, но в конце концов ему и здесь повезло. Ибо, когда он отодвинул ширму с пастушками из геснеровской «Идиллии», стоявшую у противоположной стены, то он обнаружил разное старое платье, висевшее на гвоздях. Среди этих костюмов барон увидел черное домино, которое, как ему вспомнилось, он носил на маскараде по случаю бракосочетания последнего князя гехелькрамского, затем бархатный берет, в котором его супруга некогда очаровала одного английского герцога, и поношенные кружевные брыжи, история коих вы-

скользнула у него из памяти. Он взял эти три предмета, долженствовавшие заменять ему судейскую мантию, берет и воротник и повесил их на кольшке против судейского стола.

После того как владелец замка, произведя вышеописанный шум, устроил зал суда, он уселся в дедовское кресло, обитое желтым бархатом, положил руки на стол и порадовался делу рук своих.

— Этого мне не хватало! — воскликнул он.— Мне была необходима какая-нибудь практическая деятельность. Поэтому, несмотря на свои научные занятия, я чувствовал мучительную пустоту. Махровые цветы кажутся красивее, но они менее выносливы и скорее отмирают, чем простые; так и незанятый человек: как бы роскошно он ни украсил свой дух, в лучшем случае он будет подобен махровому цветку. Он растрачивает силы души на суетное размножение лепестков, и не только остается бесплодным, но и сам скоро гибнет от избытка ложно направленных соков. Напротив, практическая деятельность устремляет силы, питающие жизнь, по верным трубам и каналам, откуда они выливаются в здоровые и приятные формы в виде стройных стеблей, свежих листьев, душистых цветов. Все праздные люди, даже самые лучшие, имеют или приобретают наклонность огорчать других, лишь бы чем-нибудь наполнить дни, в то время как труд, выполняемый по повелению судьбы или по собственному желанию, облагораживает даже самые ничтожные души. Можно сказать, что он как магнит становится сильным от постоянного притягивания тяжестей, в то время как праздность — это сталь в футляре, которую в конце концов разъедает ржавчина. И еще можно добавить, что хотя природа наделила трудолюбивых пчел колючим ядовитым жалом, но жалят они только обидчиков, а необидчика пропускают нетронутым через рой, в то время как бездельницы-осы злобно нападают на всякого, даже на самого миролюбивого человека. Поэтому прилежание — друг и себе и другим, а леность — враг и себе и всякому. И я очень рад, что вместо праздных мечтаний, высушивавших и подтачивавших меня, я проведу свои последние дни в почетной деятельности, занимаясь которой, я могу с чистой совестью и ясным сознанием терпеливо ждать возвращения прежних порядков и вступления в Верховную коллегию. Разумеется, нельзя недооценивать и того, что и благосостояние тоже подымется. Шестьсот тысяч воздушных

камней — прекрасный доход; если я даже буду считать по десять талеров на тысячу, то это составит годовой заработок в шесть тысяч талеров. Из них я буду проживать четыре тысячи, а остальное откладывать: половину для дочери, половину на приданое моей Лизбет.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Юридические казусы и объяснения

Когда новоявленный синдик и сгуститель воздуха закончил эти размышления, он услышал, что кто-то поднимается на чердак; он окликнул пришельца и увидел, что это был Карл Буттерфогель. Тот, узнав голос барона, поспешно спрятал в карман куртки колбасу, которая предназначалась ему на завтрак. Дело в том, что облагодетельствованный слуга имел обыкновение совершать свои тайные трапезы на чердаке, потому что барышня предписала ему это самым категорическим образом, пока будет длиться его инкогнито.

— Эге, мой друг! — воскликнул старый барон, глаз которого навострился на все съедобное, с тех пор как его кормили впроголодь.— Что это у тебя там такое? Так рано тебя уже тянет на жирные кусочки?

— Я отнял колбасу у кошки; она с ней из кухни выскочила,— ответил Буттерфогель.

— В таком случае она твоя,— сказал старый барон,— я рад, что бестия хоть раз почувствует, как приятно, когда у тебя выхватывают кусок изо рта.

Карлу вовсе не улыбалось, чтобы чердак перестал быть укромным местом. Он стоял, чесал затылок, вздыхал и наконец спросил:

— Что, ваша милость теперь часто будет здесь сидеть?

Получив утвердительный ответ, до сих пор столь отлично харчившийся претендент на престол вздохнул еще громче, так что возбудил во владельце замка желание узнать причину такой печали; но он не мог вытянуть из слуги ничего, кроме разговоров о спокойной жизни, взаимной помехе, хлебе насущном, благородной любви и согласии жениться, если и впредь будет отпускаться добрый харч,— словом, мешанина, в которой барон никак не мог разобраться.

— Что тебе, собственно, нужно и почему ты всегда так странно на меня смотришь? — спросил он Карла, не сводившего с него глаз.

— Ваша милость,— сказал Мотылек с колбасой в кармане,— не могут два ремесла ужиться в одной горнице. Где стоит веретено, там не место верстаку. Поскольку вы здесь будете сидеть, конец всей моей радости в Шник-Шнак-Шнуре; а у людей тесть кое в чем потрафляет зятьям, в особенности ежели зятья ведут себя с должным решпектом, и я могу сказать, что ни одна скверная мысль против вас не вошла в это мое сердце, и на днях вы меня опять не поняли, когда я снимал с вас сапоги и смотрел на вас выразительно, и сегодня тоже между нами все будет покедова темно, но на это наплевать, лишь бы сердце было хорошее, и господь судит не по кафтану, а по человеку, и я очень хочу уважить вас предварительно, как отца родного, и потому прошу вас, дайте мне ручку вашу поцеловать и сделайте мне такое одолжение, не сидите больше на чердаке.

— Из всей твоей болтовни я только понял то, что ты охотно спровадил бы меня отсюда, причину такового желания я, однако, не усматриваю,— сказал старый барон.— Но вот тебе пока что моя рука. Ты, по-видимому, все-таки хороший парень, а мелешь вздор, вероятно, потому, что тоже не спал в эту тревожную ночь.

Старик протянул слуге руку; тот схватил ее со вздохом и, пробормотав вполголоса: «Что мне рука, если чердак пропадает», поцеловал ее, отчего старый барон растрогался и даже пролил слезу. Затем он послал своего почитателя за Мюнхгаузеном, с которым ему якобы необходимо было поговорить, и велел самому тоже вернуться обратно. Спускаясь по чердачной лестнице, Карл Буттерфогель ворчал:

— Известное дело! Как улыбнется мне счастье, так черт его хвостом и смахнет! Где мне теперь поесть на покое?

Он поискал барина в комнате и во дворе и нашел его, наконец, в саду в тисовой беседке позади Гения Молчания. Мюнхгаузен выпил там свой кофе, чтобы укрыться от неутомимой пилы учителя, и после этого слегка прикорнул на скамейке. Снова разбуженный, он сделал достойное жалости лицо и даже не имел силы выругать слугу. Он совершенно не выносил ночных бдений; сон был его единственной потребностью, других у него почти не было. Узнав о поручении, он воскликнул:

— Что? Осатанел, что ли, старый хрыч? — и с пе-

чальным слугой печально отправился к владельцу замка. По дороге они прошли мимо козел, где учитель орудовал в поте лица. Он окинул г-на фон Мюнхгаузена растроганным взглядом, приостановил свою работу и сказал:

— Хотя вы меня не любите, г-н фон Мюнхгаузен, но сегодня ночью вы оказали мне величайшее благодеяние. Я обязан вам жизнью.

— Понятия не имею! — ответил тот, пораженный.

В сенях барышня крошила стручки. Она опустила нож и сказала Мюнхгаузену:

— Понимаешь ли ты меня в это мгновение, учитель?

— Нет! — невольно вырвалось у барона.

— Как? — громко воскликнула барышня и выронила миску с бобами, которая разлетелась вдребезги.

На площадке чердачной лестницы г-н фон Мюнхгаузен оперся в изнеможении на слугу и сказал:

— Карл, я боюсь, что все это кончится катастрофой. Один, которого я ночью обозвал идиотом, говорит, что обязан мне жизнью; другая падает в обморок, когда я ее не понимаю, а в старика вселился дьявол спекуляции. Я начинаю выпускать нити из рук.

— Вы слегка ослабли, барин,— возразил Карл Буттерфогель.— Вы давно не мазались, и мне бы опять надо сбегать в аптеку. А впрочем, мне все безразлично, лишь бы мне стать техническим содиректором.

— Садись напротив меня, Мюнхгаузен, и сейчас же предложи мне несколько судебных казусов по делам воздушной компании, а ты, Буттерфогель, можешь вести протокол в качестве актуария! — воскликнул старый барон навстречу входящим.

Г-н фон Мюнхгаузен с удивлением оглядел обстановку чулана, отныне зала суда. Он захотел придать себе престижу и серьезно сказал хозяину, что он не любит такой поспешности, что фабрики строятся с большой осмотрительностью, что торопливость и излишнее рвение могут привести к тем печальным последствиям, которые именуются дефицитом. Карл же Буттерфогель, стосковавшийся по своей колбасе, скромно вставил, что он пишет недостаточно быстро и потому не достоин предложенной должности.

Но старый барон не сдавался.

— Что! — воскликнул он лихорадочно.— Ты, молокосос, пасуешь раньше, чем я со своими сединами? Стыдись! Бодрее, не хлопай глазами! А что тебя касается, Буттерфогель, то ты только делай вид, что пи-

шешь, если не умеешь быстро справиться с пером. Ты сидишь здесь только для комплекта.

Мюнхгаузен принужден был подчиниться и занял место против старого барона на деревянном табурете. Слуга с пером в руке поместился на узкой стороне стола. Мюнхгаузен собрал остатки душевных сил и предложил старому барону следующий юридический казус:

«Акционерное общество по сгущению воздуха не могло быть организовано вследствие неблагоприятных обстоятельств.

Вопрос: Как быть с поступившими взносами?»

РЕЗОЛЮЦИЯ СТАРОГО БАРОНА

«Принимая во внимание, что неблагоприятные обстоятельства суть неблагоприятные обстоятельства, за которые никто не отвечает;

принимая во внимание, что прежде всего надлежит вознаградить труд и старания, дабы никто и впредь не терял мужества создавать общественно полезные проекты:

директора, члены правления и синдик удерживают взносы и делят их между собой соответственно окладам. Синдик получает двойную долю.

Во имя закона и т. д.»

— Превосходно! — воскликнул Мюнхгаузен. — Ты удивительно быстро постиг все тонкости юридической практики. Это вечная истина: место красит человека.

— Как технический содиректор, я тоже одобряю это решение,— сказал Карл Буттерфогель.

— Ну-с, а теперь второй, несколько запутанный случай,— предложил г-н фон Мюнхгаузен.

— Давай его сюда! — воскликнул старый барон.— Нет такого ореха, которого бы я не разгрыз.

«Требац взялся построить Мэву дом. В договоре значатся камни. Требац строит дом из обыкновенного камня, добытого в карьерах. Мэв отказывается платить, так как он имел в виду воздушные камни.

Вопрос: Кто прав?»

РЕЗОЛЮЦИЯ СТАРОГО БАРОНА

«Прав — Мэв. Определение «камень» неясно. В сомнительных делах сумма иска должна быть сведена к минимуму. Минимум — это воздух. Поэтому при строительных контрактах впредь убы-

ток понесет тот, кто будет строить из раньше принятого, так называемого солидного материала. Требацу в иске отказать и возложить на него судебные издержки.

Во имя закона и т. д.»

— Твоя мудрость приводит меня в изумление, брат Шнук,— сказал Мюнхгаузен.— Но теперь соберись с силами, потому что третий казус затрагивает до некоторой степени законы об акционерных обществах и уголовный кодекс.

«Два воздушных акционера затеяли ссору, и один назвал другого: ветрогон.

Вопрос: является ли это оскорблением?»

РЕЗОЛЮЦИЯ БАРОНА

«Принимая во внимание, что ветер — это воздух, но только воздух в движении;

принимая во внимание, что воздух, в том числе и ветер, относится как основной материал к специальности Акционерного общества;

принимая во внимание, что никто не может быть оскорблен тем, что относится к его профессии, а окончание «гон» лишено всякого значения:

суд постановил, что акционеры могут называть друг друга ветрогонами без права требовать удовлетворения.

Во имя закона и т. д.»

— Это несправедливо,— сказал Карл Буттерфогель,— и кто меня, технического содиректора, назовет таким словом, тому я закачу затрещину.

— Актуарий ведет себя слишком шумно,— заметил старый барон.— Ступай отсюда, Буттерфогель; к тому же я хочу задать один вопрос твоему барину, при котором твое присутствие мне нежелательно.

Карл поспешно удалился.

Владелец замка достал из угла три старых запыленных фамильных портрета, а именно: мужчину в латах, шляпе с позументом и с фельдмаршальским жезлом в руке, другого в черном плаще и белом воротнике и третьего в голубом придворном наряде; он поставил их перед г-ном фон Мюнхгаузеном и сказал:

— Это мои предки: Ательстан, Флорестан и Нерестан фон Шнук-Пуккелиг. Ательстан был генерал-фельд-

маршалом, Флорестан — канцлером, Нерестан — обер-церемониймейстером. Отвечаю ли я перед ними за то, что, будучи дворянином древнего рода, я становлюсь деятельным членом предприятия, которое при ближайшем рассмотрении не имеет другой цели, кроме торговли и наживы, и в котором примут участие различные люди низкого происхождения, а лакей даже избран в технические содиректора? Не нарушаются ли этим сословные принципы, которые вообще требуют, чтобы дворянство не занималось ни коммерцией, ни ремеслами? Это сомнение, видишь ли, обуяло меня во время судоговорения.

Г-н фон Мюнхгаузен возразил, что дворянство пошло в этом отношении за временем и что граф, барон и князь ныне торгуют, как самые последние лавочники, без всякого ущерба для сословных принципов. Дворянское достоинство неотъемлемо, как святость у духовного сана: граф может спекулировать на бирже и отбивать хлеб у евреев, и тем не менее он останется христианином и графом чистой воды, и если бы затеялся новый крестовый поход на Иерусалим, то никто из наших не стал бы устранять его от участия в этом предприятии.

— Все-таки,— добавил г-н фон Мюнхгаузен,— если ты в этом отношении так деликатен, то следуй своему прекрасному чувству, потому что в наших воздушных делах нам действительно приходится иметь дело со всякой сволочью, к тому же «блажен муж иже...»

— Нет! — воскликнул старый барон.— Что другим разрешается, то и мне не запрещено. В таких делах у меня нет личной, а есть только сословная совесть. Таким образом, все в порядке, и будем думать теперь только о том, как развернуть предприятие с наибольшим размахом.

Он взял фамильные портреты и отнес их обратно в угол. Этим моментом, когда старый энтузиаст повернулся к нему спиной, и воспользовался Мюнхгаузен, чтобы улизнуть. Он быстро спустился с лестницы в свою комнату, нахлобучил соломенный шлем на бессонную, пылающую голову, пересек сени и двор и, миновав обоих геральдических львов, стоячего и лежачего, выбежал из усадьбы; затем он стал искать какую-нибудь уединенную крестьянскую хижину или даже отдаленное место в лесу или в поле, чтобы, наконец, найти покой вдали от замка, в котором он по неосторожности зажег промышленный энтузиазм.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Барон фон Мюнхгаузен принимается рассказывать с истинно героической энергией

Владелец замка подождал некоторое время его возвращения, но когда такового не последовало, он направился в свою комнату, снял халат и надел свой обычный дневной костюм, т. е. короткий польский кунтуш из зеленого летнего сукна, короткие брюки цвета соломы и черные гамаши. К этому барон добавил морскую шапочку в желтых и черных крапинках, и так как волнение не давало ему усидеть, то, захватив камышовую трость с фарфоровым набалдашником, он вышел за ограду замка, чтобы обдумать на месте расположение фабричных построек.

Запах воздуха показался ему теперь совсем другим, чем раньше, когда он еще не знал о его каменистом составе. Понюхав и посопев, он обнаружил в нем что-то известковое и гипсовое. Где только был его нос, что он раньше этого не замечал? Крестьянин, проходивший мимо замка и увидевший барона, который стоял у геральдических львов, задрав нос к облакам, вежливо поклонился и сказал:

— Чертовски воняет.

— Вы тоже чувствуете? — радостно осведомился старый барон.

— Как же не чувствовать? — воскликнул тот.— Вон там, на руднике, жгут известь, а ветер разносит вонь по всей округе.

Синдик Акционерного общества по сгущению воздуха проникся величайшим презрением к жалкому объяснению этого недалекого мужика и направился прямо через терновник по лугу к открытому месту, которое казалось ему исключительно пригодным для возведения фабрики, так как воздух там был особенно чист и свеж. Он смерил шагами длину и ширину, отметил размеры в записной книжке и прикинул, где должна будет стоять лаборатория, где склад воздушных камней и где контора. После этого он набросал на бумаге рисунок, который показался ему очень удачным и на котором склад имел форму нуля. Он остался весьма доволен такой подготовительной работой и сердился только на то, что Мюнхгаузен не помогал ему в этом деле. Посмотрев случайно вниз по склону, поросшему дикими каштанами и карликовыми дубами, барон заметил человека, выскочившего из-под дерева,

где он, видимо, отдыхал, и бросившегося бежать. Хотя он видел беглеца только сзади, ему показалось, что это Мюнхгаузен. Он закричал ему вслед, но тот не откликнулся, а помчался еще быстрее поперек поля.

Действительно, это был Мюнхгаузен, которому разгневанный рок и здесь не хотел дать покоя.

Но я обещаю читателям дать ему выспаться где-нибудь в другом месте и не показывать его до вечера.

В этот день у старого барона было еще много дел и он бегал взад и вперед по окрестностям. Особенно много хлопот было с проведением шоссе, по которому воздушные камни должны были доставляться на большую дорогу, ибо местность кругом была исключительно неровная и ухабистая. Основательно исследовав в разных местах тропинки, ведшие к большой дороге, он остановился на постройке железнодорожной ветки приблизительно с двенадцатью туннелями и пятнадцатью сводчатыми мостами. «Ибо,— сказал он,— кто хочет нажить, не должен отступать перед первоначальными издержками». Он прикинул, что пассажирское сообщение поможет окупить затраты, «так как несомненно, что много тысяч путешественников пожелает посмотреть на эту удивительную фабрику, не говоря уже о достопримечательностях замка Шник-Шнак-Шнур».

Особенно он досадовал на то, что фабрика еще не стоит на месте. Только под вечер вернулся он в замок своих предков, усталый, обливающийся потом, но с сердцем, преисполненным радости. В течение всего дня он не думал ни о пище, ни о питье и теперь должен был довольствоваться довольно небрежно приготовленной яичницей и половиной переваренной щучки. «Если бы кто-нибудь увидел меня среди голых стен, за дрянным сосновым столом перед переваренной рыбешкой и пригорелой яичницей, он принял бы меня за разоренного и голодающего человека,— улыбнулся барон.— В чем бы такой наблюдатель мог усмотреть хоть малейшую надежду на счастье? А между тем счастье совсем близко, ибо шестьсот тысяч воздушных камней не получал еще ни один Шнук. Поистине странная вещь человеческая судьба. Доведенный невзгодами до отчаяния человек может заряжать у себя в комнате пистолет, чтобы покончить с собой, в то время как в дверь уже стучится письмоносец с известием о богатом наследстве, которое осталось ему от неизвестного кузена в Суринаме. В теперешние времена таким суринамским

кузеном является изобретательность человеческого духа, которая может в одно мгновение превратить страдание в радость и печаль в восторг. Однако эта щука действительно какая-то безвкусная и больше всего напоминает подошву».

Несколько времени спустя вернулся домой и Мюнхгаузен, выспавшийся, бодрый, с ясными, сверкающими глазами. Он чувствовал в себе силу и мужество встретиться с бароном лицом к лицу, решив не дать ему открыть рта за весь вечер и просто доконать его своими рассказами. Он с удовольствием узнал, что барышне нездоровится и что поэтому она не примет участия в беседе. Таким образом он был огражден от ее вопросов и замечаний. Но так как при чтении легче удержать нить повествования, чем при устной передаче, то, выходя из комнаты, он запихал в боковой карман сюртука несколько тетрадей, полных самых несуразных историй, и в таком вооружении предстал перед владельцем замка, который только что приказал Карлу Буттерфогелю убрать со стола почти нетронутую половину щуки.

— Ага! — воскликнул старый барон навстречу Мюнхгаузену.— Вернулся, беглец! Теперь мы сведем счеты! Оставить своего доверенного и компаньона одного на работе в такую жару! Если подобные предприятия требуют спокойного отношения к делу, то без трудолюбия они тоже вперед не двинутся. Разреши мне напомнить тебе об этом. А теперь садись, взгляни на чертеж, который я составил, и обсудим его обстоятельно, чтобы можно было приступить к постройке.

Мюнхгаузен давно уже вытащил тетрадь из-за пазухи, развернул ее и только ждал удобного момента. Как только старый барон сделал паузу, чтобы перевести дух, он тотчас же приступил к выполнению своего намерения и прочел следующее быстро и безостановочно.

Я

ОТРЫВОК ИЗ ИСТОРИИ ВОСПИТАНИЯ

Мой так называемый отец, не будучи в силах выносить семейные неурядицы, невольной причиной которых я был, сказал моей так называемой матери: «Дездемона, развод неизбежен. Я терпел, когда ты мне раз тридцать на день повторяла, что ты вышла за меня не по любви, а из почтения к моему покойному отцу, вра-

лю Мюнхгаузену. Я терпел шестнадцать лет и девять месяцев, но то, что ты щиплешь этого несчастного клопа (который мне так солоно достался), где бы ты его ни увидела,— вот что оскорбляет мои чувства сверх всякой меры. Прощай, Дездемона! Мы не станем проклинать друг друга, мы будем писать друг другу, но жить вместе мы уже не можем».

Он подманил меня обсахаренным сухарем, сунул меня в левый карман кафтана, так как я не мог еще ни стоять, ни ходить, хотя был уже умнее иного тридцатилетнего, и бросился из комнаты, в то время как покинутая супруга с чувством женского достоинства села за фортепьяно и запела: «После стольких мук...»[11].

Отец побежал по деревенской улице и выбежал на брауншвейгскую дорогу. Я просил его замедлить шаг, так как его резкие движения причиняли мне боль. Действительно, я чуть было не расшиб себе носа об его ногу, о которую, развеваясь, ударялась левая пола. Но он не слушал меня, а летел все быстрее, восклицая сквозь слезы: «Чтобы ты, столь солоно доставшийся мне клоп, сделался жертвой этой злющей бабы! Этому не бывать! Ты — произведение моих глубоких изысканий, мое драгоценнейшее сокровище, мой неоценимый клад!» Я невыносимо страдал от этих проявлений пламенной нежности и от вызываемых ими бурных движений кармана. Тут-то я впервые познакомился с той истиной, что, когда люди очень сильно любят, они способны отравить жизнь любимому существу.

К счастью, на полпути нам повстречался ямщик, возвращавшийся из Брауншвейга с пустой почтовой каретой. Мой так называемый отец подкупил его: тот за деньги нарушил свой священнейший долг, позволил нам сесть, повернул обратно и высадил, не доезжая Брауншвейга. Там отец взял наемный экипаж, который через Шеппенштет, Магдебург и Валахию доставил нас в Салоники. В Шеппенштете как раз в это время учреждали общегерманскую академию, в Магдебурге был национальный траур, так как клецки в этом году никак не удавались, в Валахии рождались одни только вахлаки, а в Салониках уже попадаешь в Туретчину.

Ах, если бы я не должен был все время торчать в кармане! Я испытывал жгучую жажду самостоятельных и широких наблюдений, но принужден был проводить время в обществе окорока, булки и тушеной говядины, так как отец имел обыкновение носить завтрак в том же

левом кармане. Мне оставалось только выглядывать из отверстия. На каждой ночевке я говорил отцу:

— Папа, я уже вырос из кармана, посадите меня рядом с собой.

Но он только дарил меня отеческим поцелуем и отказывал в моей просьбе, так как, по его словам, боялся меня потерять. Моя юношеская веселость исчезла, я чувствовал, что сам должен объявить себя совершеннолетним, и только ждал первого подходящего случая, чтобы привести это намерение в исполнение.

В Салониках мы остановились и отец расплатился за экипаж. Вознице достался выгодный обратный груз, а именно чувствительный и либеральный русский барин с четырьмя свежезакупленными рабынями-черкешенками. В Салониках, как уже сказано, начинается Туретчина. Отец хотел разузнать там о средстве против женской эмансипации, а я должен был сделаться кадетом у янычар, как только сумею стоять и ходить. У нас были из Ганновера рекомендательные письма в Турцию[12]. Но судьба перевернула все вверх дном.

Отец (в дальнейшем я не буду прибавлять «так называемый», ибо это должно подразумеваться само собой) много гулял, главным образом ради меня, чтобы, как он говорил, привить мне с ранних лет любовь к красотам природы. При этом он упустил из виду, что, сидя в его левом кармане, я мало что видел из красот природы и должен был в темноте верить ему на слово, когда он, остановившись или глядя между ног — в этой позе, как известно, ландшафт кажется особенно прелестным,— восхищался божественным видом, голубой ароматной далью и золотым восходом или закатом. Совершенно превратное воспитание! Я умолял его сунуть меня хотя бы в сапог, как это делают самоеды,— отец носил сапоги с отворотами и кистями,— но все напрасно. Он боялся выронить меня оттуда. Мое положение постепенно становилось невыносимым, и нередко весь левый карман был влажен от слез моих.

Однажды отец сидел, прислонившись к оливковому дереву, смотрел на закат и был вне себя от его пурпурного отражения в Салоникском заливе. Обычно он даже в минуты восторга держал руки в карманах, так что улизнуть было невозможно. Но на этот раз энтузиазм пересилил, он закинул руки за голову, и я воспользовался этим моментом, чтобы выскользнуть из кармана. Тут я оглянулся, вздохнул полной грудью, и мне стало так хорошо

после долгого заключения... Я полз, шел, спотыкался, немного бежал, насколько мне это удавалось, пока отец продолжал держать речь к морю и солнцу. Я уже собирался обратно в карман из страха перед побоями — ибо отец, несмотря на любовь, сек меня самым чувствительным образом,— как судьба начала со мной удивительную игру, которая продолжалась очень долго и заставила меня испытать самые своеобразные приключения.

Внезапно я чувствую над собой большую темную тень, слышу шум, точно треснуло и упало дерево, ощущаю прикосновение грубых перьев и двух когтистых лап, кто-то хватает меня и молниеносно уносит в облака. С ужасом познал я свою судьбу и воскликнул, обращаясь к самому себе: «Бедный, столь солоно доставшийся своему отцу клоп, ты в когтях ягнятника! Зачем, несчастный, покинул ты отцовский карман?» Положение было ужасающее. Надо мной золотисто-желтое брюхо и коралловокрасные горящие глаза чудовища, вокруг меня воздух и облака и стаи гонящихся за нами и каркающих птиц, завидующих добыче коршуна, внизу, на головокружительной глубине,— море и земля в темных и светлых полосах. Коршун летит и летит. Он путешествует и захватил провизию на дорогу. Чудовище орет беспрерывно: «Фи! фи!» Я кричу ему с остроумием отчаяния:

— Если ты можешь кричать «фи», то скажи это прежде всего самому себе, отвратительный Франц Моор воздушных пространств, фи на твой бесчестный поступок! Согласно естественным наукам, ты в исключительных случаях нападаешь на подпасков. Разве же я подпасок? Разве я не образованный ребенок образованных родителей? Разве, варвар, у тебя самого нет детей? Разве не жаль тебе отца, который сидит там спиной к оливковому дереву, вероятно, все еще смотрит на заход солнца и думает, что сын у него в кармане?

Я был, как читатель видит, умен не по летам. Но коршун не обращал никакого внимания на мои протесты, а все летел и летел.

Блеск, выстрел, падение! Я лечу с неизмеримой высоты и лишаюсь чувств. Придя в себя от оглушения, оказываюсь на чем-то мягком и нигде не чувствую боли. Оглядываюсь на свое ложе. Это — карбонарский плащ из синего сукна, натянутый между двумя тамарисками. Под деревьями стоит высокий бледный человек с разряженным ружьем в руке; тут же валяется страшный коршун, истекая кровью, бьется крыльями о землю, корчится в су-

дорогах и ловит воздух. Несколько поодаль пасется невзнузданная верховая лошадь.

— Я убил коршуна,— сказал великодушный британец, снял меня с карбонарского плаща, сунул мне руку для поцелуя и равнодушно добавил: — Вы будете у меня в долгу за это всю вашу жизнь, сэр. До свидания.

Он взнуздал лошадь, живописно перекинул плащ через плечо, сел на коня и уехал.

— Ради бога, милорд, неужели вы спасли меня для того, чтобы оставить среди этой пустыни в жертву голоду, жажде и диким зверям! — воскликнул я.— Заклинаю вас милостью неба, возьмите меня с собой на лошадь!

— Вы лишите меня комфорта,— холодно возразил великодушный англичанин и действительно ускакал, так что я скоро утерял его из виду.

— Жалкий человек,— сказал я глухо,— неужели таково великодушие Альбиона? Когда ты стрелял, ты думал об удовольствиях охоты, а не об образованном ребенке образованных родителей, о клопе, который так солоно достался своему отцу. Ступай, фальшивый, лицемерный брит, мы с тобой квиты! Вооружись всей своей английской надменностью. Я, немецкий мальчик, презираю тебя!

Этот монолог возвысил и укрепил мою душу. Я осознал долг чести по отношению к проклятому коршуну, который все еще ловил воздух и задыхался. Поэтому я подошел к нему и сказал:

— Смотрите в другой раз лучше, с кем имеете дело, пернатая скотина! Естественная история позволяет вам в исключительных случаях хватать подпасков, но не образованных детей образованных родителей.

Коршун вяло повернул ко мне мохнатый клюв и испустил дух, как мне показалось, с некоторым раскаянием в глазах.

Я оглядел местность. Ничего, кроме скал и утесов, нагроможденных друг на друга, а вдали еще более высокие кряжи. Лишайник, мох, вереск покрывали камни; альпийские розы высовывали красные головки; дикий лавр, тамариски, стручечник стояли кругом легкими, тонкими, живописными группами. Я находился на значительной высоте, где воздух был резок и прохладен, вероятнее всего, на одной из знаменитых греческих гор, так как коршун полетел со мною на юго-запад. Но на какой горе? Я пребывал в самой мучительной неизвестно-

сти относительно этого пункта, ибо понимал необходимость ориентироваться на месте, чтобы отыскать правильную дорогу в Салоники и левый карман, который, ввиду тяжелого опыта, полученного мной за короткое время от встречи с коршуном и англичанином, казался мне теперь потерянным раем.

Но как это узнать? Местность выглядит пустынной, и на ней нигде не видно ни одного животного, не то что человека. Сначала я хотел спросить судьбу, гадая по пуговицам мундира, нахожусь ли я на Этне, Парнасе, Олимпе, Пинде или Геликоне, но отбросил это средство информации как слишком детское и недостойное меня.

Наступала темнота, горные кряжи сделались фиолетовыми, голод и жажда начали меня мучить, а я все еще стоял один наверху. Я и мертвый коршун были единственными существами среди этой пустыни. Я мерз в легкой форме янычарского кадета, которую отец уже успел мне заказать. Она состояла из белых шаровар, скроенного по европейскому образцу красного колета с желтым галуном и тюрбана, который тогда еще не был упразднен. Маленькая жестяная сабля позвякивала у меня на боку, и, кроме того, я носил усы, разумеется, намалеванные углем.

Чтобы, по крайней мере, избавиться от жажды — так как для утоления голода там не было ничего, кроме стеблей и альпийских роз,— я подполз к источнику, вырывавшемуся из-под зеленоватых камней и окруженному здесь, у истоков, лавровыми деревьями. Я угадывал в этом источнике нечто необыкновенное: он являл такое соединение силы и прозрачности, которой не могло быть в обыкновенном ручье. Шипя и пенясь, вылетала струя к свету из-под мшистых камней, точно кипела, а на шаг дальше уже текла спокойно по своему руслу прозрачнейшая бериллово-зеленая влага, без пены и водоворотов.

Я нагнулся к воде и пригубил... Но что тут со мной стало! Во внутренностях я почувствовал рези, в крови волнение, в членах жар, в сердце биение, в голове брожение. Самые удивительные фантазии начали роиться у меня в мозгу. Мой красный янычарский колет превратился в Красное море, мои белые шаровары засверкали как альпийские снега, а жестяная сабелька показалась мне мечом Александра Великого. Я раскрыл губы, и они невольно продекламировали:

Таскаемый в кармане многодневно,
К самостоятельности тяготея,
Ты хищником был в когти схвачен гневно,
Но Альбион сломил башку злодея.
Когда ж ты после духом пал плачевно,
То вдруг узнал, в кипенье, в буре рдея,
Как сердце тает наподобье пены
Весенних смол в потоке Гиппокрены.

Да, я нечаянно испил воды из Гиппокрены и, следовательно, находился на Геликоне! Губы снова раскрылись и непроизвольно скандировали:

Горько доставшийся клоп добрейшего папы,
Взятый в кадетский сераль благого султана,
Отрок, жестяным мечом вооруженный,
Сбрось свой багряный колет, и штаны из батиста
Белые с тела стянув, просияй наготою
Строго античной!

Действительно, я скинул саблю, колет, тюрбан, шаровары — словом, все и вся, и как безумный валялся и крутился на траве, вдохновленный водою Муз. Уже в душу мне рвались новые образы, а на уста новые напевы. Я пел:

Мой свет, коль ищешь ты меня,
Трала!
Меня найдешь ты без огня,
Заза!
Сижу при лампе за столом
И в альманах строчу псалом.
Мой светик, будет этот том,
Трала!
Весь полон Господом Христом
Заза!
И цветиками, о и ах!
То будет «Музен-альманах».

Я немедленно принял решение написать Альманах Муз, написать весь альманах, чтобы заработать на хлеб насущный, ибо — воскликнул я —

Зачем нам музыканты и все их инструменты?
Заставит чистый гений звучать все инструменты.
Играет он губою и всею пятернею
На губосладкотонном на флейтоинструменте.
Пиликает он тут же смычком, пришитым к локтю,
На струнами снабженном на скрипкоинструменте
И задом выбивает в то время на звенящем,
Для деток припасенном цимбалоинструменте.
А палки-колотушки у ляжек с хлястом пляшут
На брюхоотягченном литавроинструменте.
А голова артиста красуется красиво
В бунчужно-многозвонном турецком инструменте.

Так с шумом, стуком, треском, дутьем и перезвоном
Играл на пентафонном и сборном инструменте
Недавно некий мастер на рынке, упражняясь
На свистостукостонном гремящем инструменте...

Но этим мое вдохновение еще не было исчерпано. Образы и стихи, напевы и рифмы, лайхи, майстерзингеровские стансы, ассонансы, диссонансы, децимы, канцоны, терцины, песенки подмастерьев, поговорки, «африканское», «мадагаскарское», к такому-то, стихи на торжественные случаи, на память, послания, «рунические палочки», «в латах и кольчуге», «цветы и листья», «всякая всячина»[13] — все это и многое другое слетало с моих губ, неутомимо вдохновляемых чудодейственной водой. Мне кажется, что я, бедный, голый ребенок, воспел лирически в тот вечер на Геликоне свое детство по крайней мере на шесть дюжин разных образов и ладов. Я не знаю, не докричался ли бы я до смерти и не сделался ли бы жертвой лирики, если бы рок, спасший меня из когтей коршуна, не освободил бы также и от действия гиппокренского минерального источника.

Внезапно, в тот момент, когда я собирался излить свои ощущения в стиле обезглавленного готтентота, я почувствовал, что на меня налетают со всех сторон, через меня перебегают, меня обнюхивают, облизывают, толкают, топчут. Сбитый с ног, я не видел над собой и вокруг себя ничего, кроме желтых глаз, тонких ног, косматых и бородатых рож. Это было стадо диких коз с козлятками, забредшее сюда и встретившее меня довольно бурными приветствиями. Но мой первоначальный страх длился всего несколько мгновений. Я очень скоро сообразил, что попал в лапы добродушных существ, которые только в силу своей природы принуждены были столь нескладным способом выражать радость по поводу обретения маленького лирика. То были уже не кровожадные ягнятники, а ласковые, добрые козы с прекрасными сердцами. Все они воскликнули хором:

— Ах, бедный, покинутый малыш! Вот лежит его шкура! Вероятно, она сошла от какой-нибудь странной болезни, он выглядит, точно с него содрали кожу. Оближем же этого несчастного!

Я смеялся про себя над простушками-козами, принимавшими мою янычарскую форму за снятую шкуру, а мое здоровое белое тело за ободранную тушу, однако же решил уважить народное мнение и не повредить себе в глазах коз, поспешив с раскрытием высшей истины.

Между тем я вскоре принужден был запротестовать, потому что все козы, полные благих намерений, лизали меня так усердно, что я больше не мог выдержать щекотки. Поэтому я схватил правую ногу козы, показавшейся мне самой старой и благоразумной, прижал оную своими ручками к сердцу и сказал:

— Благодарю вас, достойная мать! Довольно лизанья! Доверьтесь природе и предоставьте ей долечить мою, по вашему мнению, израненную и ободранную кожу.

Услышав мое желание, добродушные козы действительно тотчас же прекратили лизательное лечение.

Козочки, обступавшие эту сцену милосердия с комическими рожами и жестами, прижались теперь, испуганно оглядываясь, к своим матерям, как младшая из Ниобид к материнскому лону, все же не сумевшему спасти ее от ужасных стрел. Они мемекали:

— Коршун! Злой коршун! — и дрожали и трепетали, точно мертвый хищник был еще в состоянии их съесть. Сначала и матери содрогнулись при виде трупа, однако вскоре оправились и успокоили козочек выразительным меканием.

— О, как мы должны быть благодарны этому маленькому найденышу! — воскликнула одна из коз.— Без него нам, вероятно, пришлось бы оплакивать потерю одного из вас, дорогие детки! Коршун увидел его и унес на воздух вместо козленка!

Но тут пробудилась вся моя гордость и, рискуя поссориться с этим козлиным народом на пороге нашего знакомства, я сказал:

— Mesdames, вы ошибаетесь. Уже достаточно непростительно со стороны этого разбойника то, что он принял меня за подпаска, на которого он, согласно законам природы, имеет право нападать в исключительных случаях, но чтобы он спутал меня с козленком, для этого я считаю его слишком умным.

— Он схватил травматическую лихорадку! — воскликнули козы.— Он не понимает, что говорит! Сестра,— сказала старшая из них,— наш козий долг требует, чтобы мы позаботились об этом бедном, покинутом существе, тем более что он стал жертвой взамен одного из наших детенышей. Дадим же ему прежде всего приют, а затем подумаем, что еще мы можем для него сделать.

Стадо двинулось, матери спереди, козочки сзади. Матери толкали меня головами; я плакал и кричал, что хочу сначала надеть свою янычарскую форму, так как

я мерзну от классической наготы, но козы не пожелали и слышать об этом, принимая за новую лихорадочную фантазию то, что я хотел напялить больную шкуру. Я принужден был поэтому подчиниться, схватился руками за мохнатые шубы двух наиболее солидных коз и кое-как стал двигаться вперед вместе со стадом.

Мимо пропастей, по крутым тропинкам, по которым уверенно шла моя звериная компания, мы добрались до огромной пещеры в скале, естественного хлева, созданного природой для этих диких коз. Просторно и приятно было в пещере; теплое веяние неслось из глубины сводов навстречу моему замерзшему тельцу; земля и стены были покрыты мягким мхом, как я убедился еще при входе. Сладкий, ароматный запах тимиана, цветущего повсюду на этих горах, проникал в пещеру; словом, трудно было придумать более утешительное местопребывание для того, кому суждено было быть изгнанным из левого сюртучного кармана своего отца.

Козы расположились на мягком мху и принялись за жвачку, козочки прильнули к вымени и сосали; но что мне было делать, чужеземцу, без семейных связей в этом кругу? Грустно сидел я в углу на мшистой кочке, голодал и мучился жаждой. Наконец я скромно попросил уделить и мне немножко молочной пищи, когда дети насытятся...

— Неужели ты думаешь,— воскликнула самая старая коза, которую остальные звали Зизи,— что мы давным-давно не допустили бы тебя к нашему источнику пищи, если бы не знали, что при травматической лихорадке переполнение желудка может быть смертельным!

Я заклинал коз головами их многообещающих козочек пойти на этот риск, иначе я умру с голоду. После этого состоялось довольно оживленное совещание по вопросу о допустимости и недопустимости кормления, причем было постановлено отпустить мне немного молока. Осчастливленный этим решением, подполз я под милосердную Зизи и принялся втягивать желанную, благотворную влагу. Но в самом разгаре сосания меня отпихнули, потому что большее количество, как со страхом воскликнули заботливые козы, могло мне повредить. Таким образом я насытился только наполовину, но все же был спасен от голодной смерти.

По поводу моего ночлега произошло второе совещание, грозившее кончиться ссорой, ибо козы отнеслись ко мне так доброжелательно, что каждая хотела согреть

меня между лапами и ни одна не уступала другой. Предвидя, что при таком рвении мне грозит остаться без тепла на всю ночь, я воскликнул:

— Милосердные и честные козы, разделите между собой вашего маленького лирика; пусть он спит по получасу подле каждой из вас!

Это предложение имело успех. Сначала меня взяла в свои лапы старая Зизи, затем Рири, затем Квикви, затем Нини, затем Мими, затем Лили, затем Пипи, затем Фифи, затем Биби, затем Диди, затем Виви, затем Кики, наконец, около четырех часов утра, Цици, самая молодая из этих мекающих граций,— ибо таковы были кончавшиеся на «и» имена двенадцати коз, из которых состояло стадо. Я случайно узнал их из разговоров. Правда, ночь была беспокойна, так как я только и делал, что ложился и вставал, но зато я не замерз.

Вас удивляет, что я так быстро понял мекание коз? Вы бы лучше удивились тому, что я смог понять англичанина.

Рассуждения о моей удивительной судьбе отняли у меня и те немногие мгновения, которые были мне предоставлены сменою моих двенадцати благодетельниц. «Таким образом, желая добиться самостоятельности,— подумал я,— ты попал в когти узурпатора и затем, после короткого лирического безумия, очутился среди скотов, которые даже не принимают тебя всерьез».

— Позволь мне,— воскликнул старый барон, когда г-н фон Мюнхгаузен на секунду остановился,— прервать эти безмозглые россказни и поговорить с тобой о нашей фаб...

— Сейчас,— ответил Мюнхгаузен,— моя история близится к концу.

В следующие дни я посетил пастбище вместе с геликонскими козами и их потомством. Я должен засвидетельствовать, что матери все время относились ко мне хорошо и ласково и что детеныши тоже обходились со мною неплохо, хотя проказливые, как всякая детвора, они на разные лады поддразнивали меня, например, становились передо мной на дыбы, перепрыгивали через мою голову и выкидывали другие столь же глупые шутки, которые я, как образованный ребенок образованных родителей, мог только презирать. «Ты — среди коз,— говорил я самому себе, когда гнев начинал меня одолевать,— не забывай этого, маленький Мюнхгаузен, столь

солоно доставшийся своему отцу!» Я понял, что должен подчиниться обстоятельствам, в которые попал благодаря коршуну и пуле великодушного англичанина; поэтому я прежде всего попытался бегать на четвереньках (тем более, что я плохо передвигался на своих маленьких человечьих ножках) и старался становиться на дыбы, прыгать, бодаться, правда, не отдавая себе отчета, куда должна была завести меня эта система приспособления.

О, если бы только эти добрые и милые козьи мамы не были так заражены предвзятыми идеями! Так, например, не было никакой возможности уговорить их достать мне мою янычарскую форму; они твердо и непоколебимо оставались при убеждении, что колет, шаровары, тюрбан были остатками сошедшей от болезни кожи. Голым я был и голым я оставался, так что в первые дни моей козьей жизни я страшно мерз, пока сама кожа не начала оказывать противодействия холоду, отчего постепенно исчезло это неприятное ощущение. Также и молока я получал только полпорции из страха перед последствиями травматической лихорадки. Нередко у меня урчало в желудке от голода. При всем этом я был любимцем стада и все двенадцать коз с окончанием на «и» называли меня не иначе, как «милый сынок». Я очень удивлялся, что в этих скотах было столько человеческого; а между тем, как я уловил из их речей, они выросли на этих геликонских высотах в полном одиночестве и отрезанности от остального мира и питали к людям, о которых знали только понаслышке, такое же глубокое презрение, как добродетельные Гуигнгмы декана Джонатана Свифта к грешным йегу.

Жизнь козы, в особенности дикой козы, полна всяких прелестей. Первый луч такого золотистого цвета, какого не знают равнины, ворвался в нашу пещеру и осветил ее мшистые расселины, перед которыми висели легкие гирлянды дикого винограда и пестрых вьюнков. Красные отсветы и цветные тени заиграли на стаде, которое все еще лежало и дремало возле камней и мшистых кочек, но вскоре поднялось, расправило члены и двинулось навстречу утреннему ветру, раскачивавшему шуршащие вьюнки и ломоносы. Как великолепно сверкал тогда горный кряж тысячами зубцов и утесов, как усердно вырывал острый зуб козы росшие там ароматные растения, с каким вкусом обдиралась после этой еды душистая кора кустов и деревьев, как услаждала нас затем сладкая прохлада божественного источника! Ветры освежитель-

но и живительно веяли над вершинами. Они не несли в себе туманов долины; нет, они рассказывали сказания о прекрасном мире старых богов! Глубоко внизу лежали города людей с пошлой грязью существования; до этих блаженных высот не доходили ни вопли нужды, ни вздохи горя. Порою с утесов, поросших дикими розами и фиговыми деревьями, доносилась мелодическая песнь дрозда или звенело на лугах и в тимиановых кустах золотое стрекотанье цикад. Все здесь, вблизи источника, вырытого копытом священного коня[14], звучало полнее, чище, невиннней, ибо все это было напоено его влагой; даже травы, цветы, кусты, деревья, на которые попадали капли этого бурного и в то же самое время спокойного ручья или до которых только доходил его аромат, держались прямее и осанистее, чем растения долины. Когда дыхание гор касалось их верхушек и корон, то стебли и ветки извивались в воздухе красивыми и приятными для глаза линиями. Все здесь, наверху, было утончено, одухотворено и нежно даже в проявлениях силы; брань, которою, не удержавшись, кто-нибудь осыпал другого, геликонские ветры превращали в изящные эпиграммы. Так было вблизи; дали тоже показывали одно только возвышенно-прекрасное: а именно божественные головы Пинда, Парнаса и Киферона.

В полдень мы обычно отдыхали на склоне, залитом солнцем. Сюда приходили супруги коз для короткой, но сердечной встречи. Они жили в другой горной пещере на противоположном склоне и вели отдельное хозяйство, ибо здесь между обоими полами царили самые благородные и целомудренные отношения. Затем начались гимнастические игры молодежи, совершенно несравнимые с жалкими прыжками простых ручных коз. Напротив, в этих играх можно было наблюдать пылкую силу и идеал комической грации. Расположившись кругом, добрые матери и серьезные, почтенные бородатые отцы радовались восхитительному, брызжущему через край веселью и вспоминали молодость. Если же давая о себе знать кредитор под ложечкой, никогда не забывающий своих претензий, т. е. когда козы и их мужья чувствовали голод, то они расставались с сердечными пожеланиями и веселым, бодрым возгласом: «до свидания». Оба пола направлялись на свои пастбища и слегка закусывали! Когда же спускалась сумеречная розоперстая Эос и вечерняя роса освежала классическую землю, то мы, мило мемекая, направлялись восвояси, достигали пещеры в

полной темноте и располагались там в приятном тепле на бархатном мху, кто пососать вымя, кто пожевать жвачку. Вскоре легкая дрема без сновидений изливала на нас свой бальзам, положив конец сосанию и жвачке.

Я говорю: мы, я говорю: нас, я говорю: наше, потому что со мной произошла удивительная перемена. С каждым днем я все ловчее бегал на четвереньках и принимал участие в гимнастических играх молодежи, сначала довольно косолапо, но затем все смелее и смелее; однажды, став на дыбы, я так храбро налетел голова об голову на одного козленка, вызвавшего меня на единоборство, что тот свалился, в то время как я удержался на ногах, возбудив этим сердечный, мекающий смех у коз и их супругов. Так как молочной пищи мне не хватало, то я приучился жевать травы и обгладывать кору с деревьев. Сначала я делал это с отвращением; затем оно постепенно исчезло, и я находил или принужден был находить, что трава обладает вкусом капусты, а кора вкусом салата. Вся эта перемена успела во мне совершиться, а я ее и не заметил, так как совсем не размышлял о себе. Непредвиденный случай зажег во мне факел самосознания и научил меня понимать свое изменившееся состояние.

Однажды вечером лежу я в пещере возле козы Квикви. Козлятки оставили вымя и уже спят, матери предаются жвачке и беседуют о свободе и необходимости. Я еще не заснул. В моей голове происходит нечто, не поддающееся определению; это бесформенное нечто опускается через глотку в нижние области и начинает там какую-то свою самостоятельную жизнь. Мои челюсти налезают друг на друга и начинают что-то беспредметно жевать; вскоре это действует на ближайшие и нижние части тела, мне становится дурно, предметы, от которых, мне казалось, я избавился, опять поднимаются по пищеводу, я не знаю, что это значит, боюсь, что заболел опасными коликами, кряхчу и испускаю стоны. Квикви сочувственно подползает ближе и спрашивает, что болит. Я объясняю ей мое состояние, поскольку это позволяют двигающиеся взад и вперед челюсти; но кто сможет описать мой ужас, когда ласковая Квикви, проливая слезы и нежно прижимая меня к себе, восклицает:

— Да благословит тебя небо, дорогой мальчик! Ты теперь совсем наш, ты постиг жвачку!

— О, боги! — кричу я (на Геликоне принято говорить только мифологически).— Что со мной стало?

Но я не успеваю продолжить своих восклицаний, так

как все одиннадцать коз, услыхав радостный крик Квикви, теснятся вокруг меня вне себя от волнения: Лили обхаживает, Пипи поглаживает, Рири прижимается, Фифи ласкается, Тити щекочет, Виви от любви укусить хочет, Биби, Диди нюхают-целуют, Кики, Мими, Нини лижут-милуют. От ликования просыпаются козочки и козлята, слышат еще в полусне, что произошло, и тут начинается настоящее вакхическое радение. Все это прыгает, брыкается, лягается, бодается, бегает вокруг меня, тешится, чешется, скачет, виляет, пляшет, хвостами машет — так что никакая фантазия, даже самая смелая и безрассудная, не в состоянии представить себе этой сцены, освещенной неверным светом луны. Только достойная Зизи сохраняет самообладание; протискавшись ко мне, она кладет благословляюще материнскую лапу на мою голову и говорит:

— Да хранят тебя Паи и все фавны, спасенный младенец!

Наконец волнение прекращается, и все снова готовятся вздремнуть. Я же лежу полумертвый от всех этих лап, морд, голов, брюх, выражавших мне свою любовь. Главную роль сыграл страх, так как ни одно из добродушных животных не причинило мне вреда; они сумели удержаться от неуклюжих движений. Только работа челюстей все еще не хотела войти в норму; под влиянием излитого на меня потока симпатий жевательный процесс испытывал затруднение.

Но все это были пустяки по сравнению с душевными страданиями и беспокойством, пережитыми мною в эту ночь! «Возможно ли, что ты среди коз перестал быть человеком? — вопрошал я самого себя.— Зачем ты распустился, зачем не помнил о врожденном достоинстве, зачем твердо и ясно не помнил об ужасной опасности унижающего общения и обессиливающей привычки?» Однако во мне еще трепетал слабый луч надежды, что все это лишь заблуждение. Нетерпеливо ждал я наступления дня, долженствующего принести мне уверенность, быть может, самую ужасающую. При первых лучах рассвета я выскользнул из пещеры, пока стадо еще спало, и воскликнул:

— Помни, что ты человек!

Я хотел пройтись на двух ногах, но, о господи, из этого ничего не выходило: я принужден был бежать на четвереньках, бежать к источнику Гиппокрены, который должен был обнаружить правду.

Нагнувшись над его ясным, божественным зеркалом, я увидел, что все мрачные предчувствия оправдались, что ужасное случилось. Я увидел смотрящий на меня оттуда живот с мохнатым руном, худые костлявые члены, точно от стыда прикрывшиеся шерстью, я увидел заострившиеся и торчащие уши и, ах, столь знакомую мне от общения со стадом физиономию, в которой рот вытянулся в широкую пасть, нос смешно удлинился вперед, глаза же, испугавшись этой метаморфозы, разбежались к вискам — словом, зачем столько слов? В зеркале Поэзии я узрел себя молодым козлом или по крайней мере на пути к этому.

— Вот до чего ты дошел! — воскликнул я и попытался прийти в отчаяние.— Для того ли ты так солоно достался своему отцу, для того ли ты уполз из его кармана, чтобы сделаться в конце концов рогатым и хвостатым? — Ибо источник отразил кроме уже описанных мною черт еще такие признаки на лбу и хребте, из которых при удачной погоде могли вырасти рога и хвост.

Я почувствовал слабость и нуждался в подкреплении, или, быть может, всему виной был утренний голод? Но, словом, мне неудержимо хотелось есть, и я ободрал одно из лавровых деревьев над Гиппокреной. Горьковато-терпкая кора пришлась мне по вкусу. Я опять попытался отчаяться или, так как из этого ничего не выходило, хотя бы поскорбеть о своей судьбе. «Как это понимать? — спросил я самого себя.— Ты утерял большую часть человеческих свойств и не можешь испытать никакого отчаяния, ни даже порядочной скорби?»

Тут я сделал открытие в своей душе, которое было еще хуже внешних признаков, отраженных источником. А именно, строго проверив себя, я заметил, что я сокрушаюсь об утере человеческого образа только для формы и чести ради, по существу же я доволен и шерстью на животе и лапах, и широкой пастью, и вытянутым носом, и зачатками рогов и хвоста. Кроме того, я почувствовал, что и душа моя тоже начинает окозляться. «О люди, люди! Пусть этот факт послужит вам предостережением! Сколь быстро проявляется в вас зверь, если вы не следите за собой неустанно!»

Я пасся на траве и отдавался этим глубоким размышлениям, пока они не были прерваны приходом стада. Добрые козы уже начали беспокоиться обо мне и, увидев меня пасущимся и рассуждающим у Гиппокрены, проявили самую непритворную радость; немногого не хватало,

чтобы повторилась ночная сцена, но я сослался на умиление и потрясение, испытанное мною в связи с моим новым счастьем, и просил их пощадить мое несколько расстроенное жвачкой здоровье.

— Он нуждается в покое! — воскликнули благородные козы и отвели от меня лапы и морды. На этот день козы расположились на пастбище возле Гиппокрены, и я слышал, как они, питаясь, долго восхваляли в приподнятом настроении и так называемом высоком штиле мое счастье, а именно то, что я наконец стал благоразумен и совершенно вошел в их семью.

«По-видимому, всему животному миру свойственна черта, которую я считал принадлежащей одним лишь моим бывшим собратьям, т. е. людям! — подумал я при этом разговоре.— Только принизив кого-нибудь до себя и уничтожив в нем все лучшее и самобытное, они думают, что он сделался благоразумным и достоин войти в их семью. Так, рабочий дробит большие камни у края шоссе и мостит мелкими осколками проезжую дорогу повседневного движения для пешеходов, колясок, лошадей, а порой и для ослов».

— Позволь мне,— опять вставил старый барон,— прервать эти безмозглые россказни и поговорить с тобой о нашей фаб...

— Сейчас,— ответил Мюнхгаузен,— мое повествование не продолжится и четверти часа.

С тех пор добрые и благоразумные геликонские козы стали носиться со мной как с писаной торбой. Они любили меня чуть ли не больше своих детей; понятно, ведь я был для них добровольно избранным сыном и, кроме того, внушал им особый интерес, так как во мне еще сохранились некоторые человеческие черты, которые они надеялись уничтожить своим воспитанием, считая себя к тому призванными. Они беспрерывно формировали и исправляли, т. е. лизали и чистили меня, чтобы вылизать и вычистить до уровня совершенного козла и слизать последние признаки сопротивляющейся человеческой породы. Я принужден был покориться, хотя и очень хотелось оставить себе хоть кусочек человеческого на крайний случай, когда, может быть, весьма полезно будет иметь запасное амплуа. Также и язык мой не казался им достаточно академичным; они считали, что это еще не настоящее тосканское мекание[15]. Я должен здесь указать, почему я так быстро научился объясняться со своими благодетельницами. Дело в том, что часть моего

детства прошла среди немецких проповедников и потому, попав в козье стадо, я услышал одни лишь знакомые звуки, и только их мне и пришлось повторять в разговоре с козами. Между тем мое мекание, как уже сказано, было не вполне чисто; возможно, что оно все еще отдавало проповедником. Поэтому ученая коза Пипи взялась за это дело и поучала меня меканью по всем правилам грамматики. Я быстро выучился и пришел к убеждению, что козье наречие обладает исключительным богатством своеобразных оборотов для выражения неясных представлений, почему этот язык следовало бы рекомендовать некоторым эпохам для использования в общественной жизни.

Дни приходили, дни уходили, из них составлялись недели, а из недель — месяцы, и никакая серьезная помеха не нарушала нашей идиллической жизни на Геликоне, если не считать, что матери покидали нас на слишком долгое время, и в одно из таких отсутствий орел унес одного, а карагуш другого козленка. Мы были очень огорчены происшествием, хотя козы Фифи и Рири, счастливо разрешившись от бремени, пополнили эту потерю. Частое отсутствие матерей и гибель козлят заставили призадуматься остатки моей человечности. Блуждая без надзора, мы не находили хорошего корма, легко могли прыжком вывихнуть лапу и иногда совершенно сбивались с правильного пути, а потому я спросил: где же матери? И получил ответ, что они заседают. Когда же я продолжал спрашивать, по какой причине и для какой цели происходят эти заседания, то сверстники объясняли мне, что это собрания благотворительного комитета. Правда, эти ответы мне ничего не разъяснили, но зато я стал наблюдать еще внимательнее и вскоре дошел до сути. К сожалению, мои расследования вскрыли некоторые теневые стороны в столь приятном и совершенном в остальных отношениях обиходе геликонского стада.

Оказалось, что милосердные и достойные матери учредили «Союз для облегчения горестей страждущих существ». Этот союз возник из развалин другого, имевшего целью утонченье козьего руна. А именно, однажды какой-то путешествующий дикий осел забрел на Геликон, напился из Гиппокрены и фантазировал после этого об удивительной шерсти тибетской козы, из которой выделываются в Кашмире роскошные, ценные шали. Сам фантазирующий осел не видал ни тибетских коз, ни кашемировых шалей, но слыхал в лесу, как говорил о них один

армянский купец, который, правда, знал толк в шалях, но коз тоже не видал, а слыхал от покойного брата, что такие водятся. Но фантазия осла воспламенила фантазию матерей и оплодотворила их дух идеалом тибетской горной козы. Этот далекий возвышенный идеал вызвал в них дух соревнования; их руно стало им казаться с того дня грубым и простым, и они решили путем совершенной жизни утончить свою шерсть и по возможности довести ее до состояния кашмирской; ибо руно для козы так же важно, как чувствительность для возвышенных душ.

Совершенная жизнь состояла в том, чтобы прекратить всякое общение с мужьями и не давать молока, отчего качество шерсти должно было повыситься. Но эти попытки грозили стаду вымиранием, и когда вздохи супругов и визжание козлят сделали эту опасность очевидной, благородные козы решили отказаться от своей прекрасной затеи; правда, скрепя сердце, ибо им казалось, что за эти несколько дней, пока изнывали мужья и дети, руно их стало заметно тоньше.

Из этого кружка по утончению шерсти возник «Союз для облегчения горестей страждущих существ», ибо высшее «я» геликонских коз нуждалось в удовлетворении и стремилось возместить потерю. Новый союз интересовался разными несчастными случаями и помогал всем насекомым, птицам и мелким млекопитающим, попавшим в нужду. Каждую неделю регулярно устраивалось заседание; я присутствовал на многих из них, потому что меня, как козленка с хорошими задатками, считали достойным познакомиться с этим благородным и общеполезным учреждением. Козы имели обыкновение располагаться кружком в тенистом месте на горе и там пережевывать жвачку; на этих собраниях председательствовала мудрая, добродетельная Зизи, которая возлежала посередине на высоком камне. Во время жвачки подвергались милосердному обсуждению всякого рода несчастные случаи. Например, как помочь шмелю, который упал в воду на глазах у козы Рири? Не сделать ли для охромевшего и онемевшего кузнечика своего рода цимбалы из листочков, чтобы он мог в будущем хоть сколько-нибудь заниматься своим искусством? Каким способом доставить пищу мыши, голодающей в дыре вместе с мышатами, про которую козы знали, что она без вины попала в такую нужду? И разные другие благотворительные меры, которые создали геликонским козам и их

кружку почти божественную репутацию среди всякого нуждающегося отребья. Я говорю отребья, потому что благородные животные и слышать не хотели о союзе и его деятельности. Каменный дрозд переставал петь, когда козы начинали совещаться поблизости от его куста; белая лань, порой посещавшая гору, вместо всякого ответа гордо повернулась спиной, когда козы предложили ей сделаться членом благотворительного общества; а лавровые деревья, под которыми происходили заседания, высокомерно покачивали головами, как я сам видел, когда красноречие коз становилось слишком пышным и текло без удержу. Одно из этих священных деревьев, по-видимому, физически не могло выносить близости коз-благотворительниц. Оно стало хиреть и под конец совсем засохло.

Однако матерям не во всех случаях удавалось выполнять свои благотворительные задания. Дело в том, что козам было строго запрещено оказывать помощь кому бы то ни было индивидуально, без надзора или экспромтом. С момента возникновения кружка благотворительность должна была осуществляться в деловом порядке, и каждой единичной козе предписывалось проходить мимо страждущего существа и только сообщать союзу о своей находке. Геликонские матери пытались таким способом уничтожить обыденное, инстинктивное сострадание и заменить его высоким, сознательным, регулирующим милосердием. Но так как устройство заседаний было всегда связано с длительной проволочкой, самые же заседания тянулись еще дольше и так как козы, мекая и противомекая, как бы пережевывали одновременно и жвачку и милосердие, то часто помощь являлась слишком поздно. Так, шмель, которому брошенный листок спас бы жизнь, утонул во время речей об этом спасении, а мышь, которой проходящая мимо единичная коза могла бросить немного зерна, подохла с голоду раньше, чем дело дошло до оказания ей коллективной помощи.

Порой имели место мероприятия, прямо противоречившие законам природы. Так, почти ни один охромевший кузнечик не смог справиться с цимбалами. Хуже всего, как я уже сказал, отражались эти долгие и растянутые заседания геликонского кружка на нас, козочках и козлятах. Бегая в это время по неизвестным дорогам, и нередко голодные, подвергаясь опасностям и нападениям диких зверей, бедные сосунки проливали горючие

слезы над тем, что матери думают об утопающих шмелях, хромых кузнечиках, голодных мышах и забывают про нас. Но в общем ни наши слезы, ни эти неудачи не имели никакого значения. Геликонки все больше и больше научились чувствовать в этом кружке собственное совершенство и восхищаться своей добродетелью, а в этом-то и заключалась вся суть и сила.

Я долгое время не знал, каким образом возникло у геликонок это веяние, побуждавшее их время от времени пренебрегать своей семьей ради какого-то отребья и раздувать скромное и неказистое милосердие в помпезное предприятие. Наконец мне удалось разрешить загадку. Как мы уже знаем, геликонское стадо пило воду из Гиппокрены. Этот источник оказывает сильное влияние на всех, кто его пьет; но только у предназначенных на то судьбою он вызывает знакомое нам приятное безумство, в других же, напротив, вода разлагается и либо выливается в виде отвратительного рифмоплетства, как это было со мной, либо приводит их в возбужденное и напыщенное состояние, которое отражается на их поступках и ощущениях и которое можно назвать цветистой прозой жизни.

Геликонские козы не принадлежали к тем, кто был предназначен для приятного безумства. Источник вызывал в них стремление к ненужным добродетелям и излишней благотворительности. Они находились в состоянии цветистой прозы. Это состояние происходило от разложившейся Гиппокрены.

Сколько раз, попав после этого к людям и познакомившись с их безвкусной пышностью и с той помпезностью, которой они окружают всякие громкие деяния, я восклицал:

— Разложившаяся Гиппокрена!

Там, где ей сопутствует цветистая проза, там умирает мелодичная песнь каменного дрозда, благородная белая лань гордо поворачивается спиной, лавр гневно качает верхушкой или засыхает.

Супруги коз также обычно пили из Гиппокрены и не хотели отставать от своих жен. Они тоже не принадлежали к избранным для приятного безумства; всякий, кто хоть раз видел подобного супруга, поверит мне на слово. Так как жены уже захватили в свои руки все нужды страждущего отребья, то они ограничились за-

ботой о пороках этого отребья и учредили «Союз для спасения морально падших созданий». Целью его было путем нравственного воздействия, добродетельных увещеваний и сердечных поощрений побудить к более безобидной и чистой жизни животных, которые от природы колют, кусают, царапают, крадут или питаются нечистотами. Таким образом, по идее учредителей и при удачном функционировании союза, комар должен был бы отказаться от жала, блоха от крови, сорока от воровства, а червяк и личинка от нечистот и падали.

Так как я жил у коз, то не могу сказать, как далеко зашла исправительная деятельность союза, когда я попал на Геликон. Мне известно лишь то, что на священной горе кололи, кусали, царапали, крали и ели несказуемые вещи всякие твари,— не знаю, впрочем, исправленные или неисправленные. Я был видоком и послухом только одного опыта по облагорожению нравов; о нем я хочу или даже должен рассказать, так как с ним связана катастрофа, повлиявшая на дальнейшие судьбы дитяти Мюнхгаузена, в то время козленка.

Объединенные козлы... я хотел сказать, нравственные супруги сердобольных коз, пришли на следующий день после моего появления на Геликоне на то место, где великодушный англичанин пустил пастись свою лошадь и где валялся дохлый ягнятник. Там, где стояла лошадь, они нашли жука с черными, блестящими подкрыльями, вроде того, которого у Аристофана слуги Тригея вскармливают для поездки к Зевсу и которого у нас называют навозным жуком. На шее же коршуна они заметили голубовато-стальную муху, именуемую мясной мухой. Хотя твоя дочь и не присутствует, брат Шнук, я все же буду из уважения к твоей деликатности называть жука не иначе, как Конем Тригея, а муху Голубой Мечтательницей,— сказал г-н фон Мюнхгаузен, поднимая глаза от рукописи.

— Позволь!..— воскликнул в бешенстве старый барон.

— Позволь мне,— сказал Мюнхгаузен,— прочитать историю про жука и муху.

«Неужели сердце у вас не переворачивается при виде двух ближних, дошедших до такого падения! — воскликнул один из супругов.— Братья, окажем им помощь, протянем заблудшим спасительное копыто, отучим жука от его скверных наклонностей, а муху от привычки закладывать нерожденное будущее своего рода в гниющие

элементы — сделаем из жука и мухи порядочных людей, которые будут вращаться в хорошем обществе!»

Эта речь была встречена всеобщим одобрением.

Единогласно решили, что Конь Тригея и Голубая Мечтательница должны стать нравственными и приличными, хотят ли они того или нет. Оратор, козий супруг Солон — все они надавали себе имена мудрых и благородных мужей древности,— осторожно соскреб копытом жука с его пищи и загнал его в скважину утеса, которая тотчас же при помощи пододвинутого камня была превращена в исправительную камеру.

Заточение жука не потребовало почти никаких усилий, ибо, как известно, это насекомое долго расправляет брюшко и шею, прежде чем полетит. С мухой же, крылатой Мечтательницей, надо было поступать хитрее. Тем не менее Платону, козьему супругу необычайно возвышенного образа мыслей, удалось подкрасться к подопечной, схватить ее губами и перенести таким образом в дырку на ветке фигового дерева, которую заткнули колышком. Это радостное событие было сообщено козам при следующей же встрече, и те не преминули принять живейшее участие в упованиях союза супругов. Этим путем известие дошло и до меня. Мы, козочки и козлята, должны были почистить то место, где стояла лошадь великодушного англичанина, а взрослые сбросили труп коршуна в глубокую пропасть, чтобы тем окончательно избавить обоих воспитанников от искушений порока.

В следующие дни Солон и Платон, иногда при поддержке других членов союза, принялись за увещевание Коня Тригея и Голубой Мечтательницы. Солон лежал перед расщелиной и прижимал морду к крохотному отверстию, не закрытому булыжником; Платон же стоял, опираясь передними лапами о ствол фигового дерева, и прикладывал свою медоточивую морду к отверстию в фиговой ветке. Таким образом, козлы, один стоя, другой лежа, произносили свои поучения, разумеется, когда не жрали: один фиги, другой юные лавровые ростки, особенно сочно распустившиеся возле расщелины.

— Разве не лучше питаться чистой пищей? — говорил Солон жуку, отдыхая после своей лавровой трапезы.— Неужели, падшее создание, ты не чувствуешь, что Зевс-отец усеял всеми нами, т. е. козами, мухами, жуками, борозды матери-земли, чтобы мы кормились из рук богов, а не из отверстия, которое только выпускает и

ничего не принимает? Ужасное, непонятное заблуждение презирать то, что пастбища и поля посылают в царство светлокудрой Деметры, и только тогда жаждать этих плодов, когда они, брошенные в Тартар, попадают в мир бесформенных теней печальной Персефоны. Если ты любишь золотое зерно овса, то почему ты не жрешь овес? Если тебя тянет на ростки травы, то почему ты не жрешь траву? Что соблазняет, что побуждает тебя желать всего этого в переваренном, разложенном, использованном виде? Послушай этот радостный хруст и шорох перед твоей темницей, внимай, как я жую сочный жирный портулак, горький перечник, освежающую трилистную кашицу! Разве ты не мог бы, будучи свободен, сидеть по-братски рядом со мной и наслаждаться этими, предоставленными нам Ореадой листьями, вместо того чтобы на расстоянии нескольких шагов поджидать, как илот и варвар, не достанется ли тебе какая-нибудь загрязненная Гарпией пища. Может быть, ты возразишь: «Я — жук, а ты козий супруг!» Ну, что ж, в таком случае взгляни на тебе подобных, смотри, как этот красный циркающий плутишка гложет сладко-душистый лист лилии, как этот карапуз с медно-коричневыми крыльями и зеленым щитком нежится в лепестках розы! Им следуй, к ним присоединись, там твое место! Жри лилии, если тебе не нравится овес, жри розы, если не можешь жрать портулак, перечник или кислицу!

После таких речей достойный Солон всегда чувствовал новый приступ аппетита и с особым усердием принимался за горные растения. Платон, отдыхая после фигового завтрака, держал приблизительно такие же речи перед своей ученицей. Он тоже настойчиво советовал мухе бросить тухлое мясо, начать есть фиги и на фиги класть свои яйца. Он особенно старался повлиять на ее материнские чувства и рисовал ей в увлекательных картинах, каким одаренным окажется ее потомство, если оно вылупится не среди смрада и гниения, а там, на озаренных солнцем, покачиваемых ветром сучьях. После таких речей он все время поглощал фиги, пока их хватало на дереве, затем обглодал ветки, так что растение постепенно получило довольно потрепанный вид.

Во время этих увещеваний Конь Тригея и Голубая Мечтательница вели в исправительных карцерах грустное существование. Оба они были непритязательные, суровые создания природы, далекие от всякой теории и погрязшие в практических побуждениях. Сначала они но-

сились, как бешеные, по своим камерам, жужжа и гудя, но так как это им не помогало, то они притихли и прислушивались к речам исправителей. Из этих речей они поняли только то, что жук должен жрать лилии и розы, а муха перейти на фиговую диету — предложения, выведшие Коня и Мечтательницу из себя, так как они сочли это за самое злое из возможных оскорблений.

— Душегубы! Душегубы! — гудел жук.— Почему нашему брату не жрать то, что ему по вкусу?

— Хочу вони, хочу вони, хочу вони! — жужжала муха.

Больше всего сердило обоих кандидатов в праведники то, что их исправители, судя по звукам, благодушно пожевывали на воле листву и фиги и что их добродетельные увещевания служили им чем-то вроде моциона для пищеварения. Между тем обстоятельства принимали для обоих весьма серьезный оборот, так как они не получали никакой пищи и страшно отощали во время подготовки к чистой жизни. Конь Тригея так ослаб, что еле держался на ногах; у Голубой Мечтательницы бессильно свисали крылья.

В этом грустном положении в них проснулась хитрость, порожденная инстинктом самосохранения. Они решили притвориться и стали издавать жалобные, меланхолические звуки.

— Слышишь,— крикнул Солон Платону (так как расщелина была неподалеку от фигового дерева),— порок начинает сдавать, заметны первые признаки раскаяния.

— Моя бедная падшая тоже сокрушается над своей безнравственностью,— ответил Платон.

Спустя некоторое время оба достойных супруга испытали души обращаемых, причем Платон осторожно просунул в отверстие ветки кусочек фиги, еще сохранившейся на дереве, а Солон ухитрился протолкнуть в расщелину лепесток лилии или розы.

Конь и Мечтательница задрожали от злости при этом отвратительном, как им казалось, предложении; Мечтательница в ужасе перед фигой подалась в самый дальний угол дупла. Конь оттолкнул короткими, крепкими ножками листок, сдавивший ему дыхание и зачумлявший воздух его жилища.

— Гнусная вонь! — зажужжал он.— Поверить только, что есть идиоты, находящие удовольствие в этой пакости. Задыхаюсь! О, где моя амброзия?

— Фиги! фиги! фиги! дрянь! дрянь! дрянь! — бушевала Мечтательница.

Но положение их дошло до крайности. Жертвы нравственности понимали в своем заточении, что исправители, пользуясь на воле отличным кормом, могли ждать, сколько бы дело ни затянулось. Голод мучил их, необходимо было притворством обмануть тюремщиков. Жук пересилил себя и с проклятиями и судорогами отъел по кусочку от лилии и розы, но тотчас же изрыгнул их обратно, так противны были ему возвышенные и чистые услады жизни. Муха подавила в себе отвращение и произвела над фигой до известной степени и как бы в виде пробы то, что от нее требовали во имя добродетели. Платон и Солон прислушивались и по раздавшемуся изнутри шуму заключили, что произошло нечто решительное. Открыв тогда обе темницы, они увидели, что лилия и роза обглоданы, фига загажена, а Конь и Муха лежат в полуобморочном состоянии лапками кверху. Солон и Платон обняли друг друга передними лапами и воскликнули:

— Победа! Добродетель торжествует! Порок покинул сердца этих морально погибших созданий, они никогда больше не впадут в свои позорные привычки!

Восторг перекинулся и на прочих козьих супругов, которые, несмотря на свою солидность, отпраздновали счастливое событие великолепным хороводом с самыми отчаянными пируэтами. Шум привлек матерей, а также нас, козочек и козлят. Козы были поставлены веселым меканием в известность об удаче нравственного исправления, увидели Коня и Мечтательницу с вытянутыми ногами и пролили несколько слез умиления. И так как женщины обладают даром молниеносно постигать самое возвышенное и правильное, то и в данном случае геликонские козы сразу придумали, чем увенчать морализирующую деятельность своих мужей.

— Создадим чету из этих спасенных для добродетели созданий! — вдохновенно воскликнули козы.— Поженим их и дадим им в приданое столько лилий, роз и фиг, сколько можно найти на Геликоне!

Это предложение было встречено невероятной бурей восторга. Правда, почтенный Мосх[16] усомнился, чтобы этот брак оказался плодовитым, а критически настроенный Бион[17] предлагал опросить жениха и невесту относительно взаимной склонности, но эти сомнения не встретили сочувствия, и остальные хором воскликнули:

— Для тех, кого соединяет добродетель, взаимная склонность и продолжение рода не играют никакой роли!

Во имя нравственности решено было тотчас же приступить к празднеству Гименея. Платон и Солон взяли Коня Тригея и Голубую Мечтательницу на спину. Они шли впереди, за ними следовали парами почетные супруги, затем двигались честные и сердобольные матери, а позади прыгали козочки и козлята. В таком порядке двинулось шествие к лужайке возле Гиппокрены, где предполагалось отпраздновать свадьбу.

Когда процессия пришла на место, старая рассудительная Зизи взяла Коня губами; то же сделала и Квикви с Мечтательницей. Затем они отнесли бра́чащуюся пару на высокий камень и поставили рядышком обоих молодых людей, которые заметно оживились от свежего воздуха и с каждой минутой становились все бодрее; после этого все мы, стар и млад, оцепили широким кругом жениха и невесту. Наскоро составленная программа празднества устанавливала следующий порядок: строфа; речи Солона и Платона; антистрофа; церемония; эксод; гимнастические игры; хоровод; пир.

Маленький хромой кузнечик, единственный, справлявшийся с цимбалами из листиков и шипиков, был приглашен в свадебные певцы. Поэтому, когда составился круг, этот поэт благотворительного кружка дошел или, вернее, доковылял до священного источника, слегка помочил в нем челюсти и закатил золотисто-желтые глаза; затем после неудачной попытки взобраться на самый низкий лавр он прихрамывающим прыжком вскочил на ветку тамариска, настроил цимбалы, почистил об них челюсти и, ударяя по инструменту, вдохновенно запел:

Строфа:

Навозный жук — свинеючек,
Брум, брум!
У мушки шесть лапченочек,
Зум, зум!
Жучок забрал ее в полон.
Ах, жук ужасный селадон!
Зум, зум! Брум, брум! брум, брум!

— Дивные стихи! Чудесная пища для души и сердца! — замекали козы.

— Чистое чувство, не отягченное никакой мыслью! Настоящая лирика! — восторгались козлы.

Солон и Платон вошли в круг, стали перед бра́чащи-

мися и один за другим обратились к ним с речами. В энергичных выражениях описали они постыдность их прежнего образа жизни, указали на то, что богиня Добродетели всегда готова простить, как добрая старая мамаша, и под конец перешли на лилии и розы, фиги, скважины и дупла. В первой части речи они всячески поносили новобрачных, во второй части возвысили до небес, в заключение они уже сами не знали, что им сказать,— словом, их проповеди могли бы быть немедленно отпечатаны в качестве образцов для речей на торжественные случаи.

Мне показалось, что новобрачные не внемлют красноречию, а только расправляют живот и крылья; я сообщил свое наблюдение соседям, но те, захваченные величием празднества, не обратили внимания на мои слова. После речей кузнечик пропел следующее:

Антистрофа:

И если он свиненочек,
Брум! брум!
У ней же шесть лапченочек,
Зум! зум!
Пусть ножки подадут вот так
И пусть им сладок будет брак.
Брум, брум! Зум, зум! Брум, брум!

Когда дело дошло до венчания и козы Зизи и Квикви предложили бра́чащимся подать друг другу лапы, торжество внезапно приняло неожиданный и неудачный оборот. А именно: справа послышался стук лошадиного копыта, а слева из горной расщелины вылез лис, или волк, или другой хищный зверь. Не знаю, что случилось с лошадью, но, стоя на внешней линии круга, я видел хищника, уносившего в пасти кусок мяса.

Тут у новобрачных появились конвульсивные движения, воздух принес их обостренному чутью искусительную весть, Конь и Мечтательница собрали свои последние, уцелевшие от влияния морали силы, и жук, гудя: «Навоз! навоз! навоз!», а муха, жужжа: «Падаль, падаль! падаль!», полетели один направо, другая налево, чтобы начать сначала свою порочную жизнь, невзирая на исправительные эксперименты, речи, умиления, строфы и антистрофы.

Внезапный испуг женихов, когда Одиссей неожиданно появился из лохмотьев с победным величием и стал метать смертоносные стрелы, не мог быть сильнее, чем страх матерей и их супругов при виде этого зрелища,

в котором, так сказать, величие природы тоже выпорхнуло из лохмотьев. Сначала они стояли безмолвно, тупо, неподвижно, подобные одному огромному окаменевшему зверю, затем их охватило неудержимое смятение и они бросились врассыпную, потому ли, что хотели поймать упорхнувших грешников, потому ли, что ими овладел демон, который пользуется такими страшными мгновениями. Козочки и козлята последовали за ними, так что благодаря этим бегущим вниз, прыгающим, спотыкающимся, падающим зверям вершина горы более напоминала фессалийский шабаш, нежели радостное местопребывание Муз.

Что касается меня, то я остался у источника. К чему мне было бежать за жуком и мухой? Меня страшила собственная судьба. Я боялся возвращения стада. Дело в том, что еще за несколько дней до этого матери решили прекратить мое женское воспитание и передать меня в руки козлов, чтобы искоренить во мне ненавистные остатки человечности. Но именно эти остатки и сопротивлялись изо всех сил, быть может, не менее энергично, чем Конь Тригея завтраку из лилий и роз. Хотя я и ценил высокие качества козлов, но не мог побороть в себе физического отвращения к ним, ибо эти качества не смогли уничтожить известных природных свойств, и я искренно трепетал перед моментом, когда мне предстояло очутиться в их атмосфере. Между тем звезды сулили мне нечто совсем иное.

Стук лошадиных копыт приближался, и вскоре у того места, где я стоял, появился верхом пожилой толстый человек, за которым следовал другой, худощавый. На толстом человеке была желтая шляпа, желтый кафтан, желтые брюки и желтый жилет. Лицо у него было бледное, одутловатое и весьма недовольное. Если бы он даже тотчас не заговорил, я бы по его внешности и безразличному взгляду, которым он окинул окрестность, все равно мог бы сказать, к какой нации он принадлежит. Слуга помог ему сойти с лошади, подвел его к камню новобранных, сунул ему камышовую трость в руки, опер его подбородок о набалдашник и соорудил таким образом нечто вроде статуи бесчувственного наблюдателя природы. Барин относился вполне флегматично к производимым над ним манипуляциям и скупо отвечал на речи словоохотливого слуги.

Из их разговора я узнал, что желтый толстяк — богатый, удалившийся от дел рантье, который жил в своей

усадьбе недалеко от Амстердама и в расстоянии часа пути от Гарлема. Ввиду участившихся у него припадков подагры и появления некоторых предвестников водянки врач предписал ему путешествие в южные страны. Мингер фан Стреф пошел на это и согласился поехать в Рейхсвальд под Клеве. Но врач заявил, что пациент его не понял, и назвал ему огромное количество миль, которое ему по меньшей мере предстояло отмахать. Сначала голландец впал в отчаяние, поскольку это ему позволяла его природа; но так как врач тоже был спокойный, настойчивый нидерландец старого закала и предсказал своему пациенту с величайшим хладнокровием день и даже час смерти, если тот не послушается, то г-н фан Стреф принужден был подчиниться и подумать о дороге, которую ему предстояло проделать в юго-восточном направлении, так как на юг по карте не выходило предписанного количества миль.

Тут слуга напомнил ему отдельными замечаниями все вышесказанное, чтобы ободрить его мыслью о необходимости путешествия и об его строго последовательном плане, и утешил его восклицанием:

— Барин, мы у цели; теперь в обратный путь, в наш прекрасный Вельгелеген.

— Слава тебе господи,— ответил голландец, несколько повеселевший от воспоминания о своей усадьбе.— Когда мы вернемся домой, я построю павильон и назову его Радость и Покой. И своего покоя я больше не нарушу, даже если моя водянка будет угрожать всем плотинам Зеландии. Я не знаю ничего безобразнее этой греческой местности, где одна мучительная гора идет за другой, где перед вами нет ни каналов, ни лугов, а небо не может отделаться от неестественно синего цвета.

— Не повсюду же быть старой Голландии,— ответил слуга и набил табаком маленькую глиняную носогрейку,— должны существовать и такие, никому не нужные местности.

— Когда я подумаю о своей усадьбе Вельгелеген, так ведь это совсем другое дело,— продолжал мингер фан Стреф, сделавшийся теперь разговорчивее, хотя лицо его продолжало выражать досаду,— по одну сторону лежит Чудный Вид мингера де Ионге, по другую — Фроу Элизабет мингера фан Толля, а посредине Вельгелеген. Я уже не стану говорить о красотах и удобствах внутреннего устройства, о зверинце, о вымощенном пестрыми плитами дворе, о гроте из раковин, о птичнике,

о золотых китайских фазанах и парниках с гиацинтами, которые здесь растут в жалком, диком состоянии. Но подумай только, Зевулон, о виде на канал, по которому плывут ежедневно шесть коричневых плашкоутов, а за ними необозримый луг, где нет ни одного возвышения величиной с кротовую кучу и где в глубине стоят двенадцать ветряных мельниц на ходу! И все это видишь не каждый день! Нет! Один день туман, другой — дождь, так что, лишенный этого вида, ты вдвойне смакуешь свое счастье, когда он снова появится; и небо, даже при ясной погоде, всегда остается скромным, умеренным и серым. Как ты себя чувствуешь, Зевулон, когда ты об этом думаешь?

— Отвратительно себя чувствую! — воскликнул Зевулон и сердито бросил носогрейку оземь, так что она разлетелась в куски.— Ко всем чертям эту проклятую греческую пустыню!

— Не горячись, Зевулон,— сонливо сказал барин, причем он с досадой опустил углы губ.— Голландец не должен горячиться, иначе ему следует кого-нибудь отколотить, чтобы горячность принесла какую-нибудь пользу. Приготовь чаю: вода тут как будто довольно прозрачная, насколько это вообще возможно в этой проклятой стране; но до утрехтской ей, разумеется, далеко. А я пока почитаю из «Электры» нашего великого Фонделя. Он вынул книжку из кармана, раскрыл ее и прочел со странным пафосом начальные стихи фонделевской «Электры»:

О сын вождя ахейских сил под Троей,
Воочию теперь ты видеть можешь
Все то, к чему стремишься ты душой.
Здесь древний Аргос твой желанный; в нем же
Святая сень неистовой Ио;
Там прямо, друг мой, бога-волкобойца
Ликейский торг; налево от него
Прославленный богини Геры храм.

— Да, да,— прервал себя мингер фан Стреф,— это больше похоже на Элладу, чем этот геликонский пустырь.— И он продолжал отбарабанивать своего Фонделя.

Между тем Зевулон достал из ранца дорожную машинку для приготовления чая, которую его барин повсюду возил с собой, зажег огонь, начерпал воды из Геликона и засыпал зеленого чая. Когда этот необходимый для голландца напиток был готов, он подал чашку своему барину.

Мингер фан Стреф поднес ее к губам с той медлительностью и угрюмостью, которые были свойственны всем его жестам. Он отведал раз, отведал другой, затем слегка сжал дряблые губы, проглотил содержимое чашки и сказал:

— Зевулон, еще одну!

Зевулон взглянул внимательно на своего барина и покачал головой. Вторую чашку мингер фан Стреф выпил без дегустации. Во время питья глаза его приобрели нечто вроде блеска, и он сказал:

— Зевулон, еще одну!

Лицо Зевулона выразило сильное беспокойство, и он дрожащей рукой подал третью чашку. Мингер фан Стреф быстро опрокинул и эту, после чего взглянул на небо.

— Что с вами, барин? — озабоченно воскликнул слуга.— Обычно вы кушаете три чашки в три четверти часа, а тут пропустили их в желудок точно на почтовых.

Старый голландец сильно призадумался и после долгого молчания сказал:

— Зевулон, чай мне здесь более по вкусу, чем в моей усадьбе Вельгелеген в расстоянии часа от Амстердама.

Тут верный слуга стал рвать на себе волосы, заплакал и завопил:

— Горе мне, горе! Мингер фан Стреф потерял рассудок на этой горе; чай ему нравится здесь больше, чем у нас дома; он хвалит чужбину в ущерб старым Нидерландам.

— Зевулон, не горячись,— сказал спокойно и дружески мингер фан Стреф.— Я не потерял рассудка. Знаешь ли ты, что такое мечтательность? Это такое состояние, в которое французский паяц и английский бык впадают по временам, немецкий колпак постоянно, а старые Нидерланды никогда. Однако и нам предстояло познакомиться с ним как-нибудь для пробы, ибо для господа нет ничего невозможного. Опыт был произведен на мне. Я мечтаю, Зевулон, вот и все. В этом чае есть что-то такое... он сделал меня мечтателем; ибо я должен еще раз повторить: чай мне здесь больше по вкусу, чем в моей усадьбе Вельгелеген. Но это пройдет.

С трудом удалось мечтательному голландцу успокоить своего слугу. Особенно успокоительно подействовало заверение, что экзальтированное состояние хозяина, по-видимому, является спасительным кризисом его болезни и что оно остановило водянку. Старый мечтатель встал и собрался в обратный путь; Зевулон упаковал чай-

ный прибор. Мингер фан Стреф огляделся вокруг и сказал:

— Я хотел бы взять что-нибудь на память об этом довольно сносном месте и дивном часе, когда мне так понравился чай, вообще, какой-нибудь сувенир о здешних мечтаниях.

— Что же нам взять с собой? — спросил Зевулон все еще весьма растерянным голосом.— Не запаковать же эти жерди (он имел в виду лавры) и эти огромные клинкеры (он разумел утесы).

В этот момент он увидел меня за скалой, откуда я наблюдал всю эту сцену с мечтаниями; он вытащил меня оттуда и воскликнул:

— Что это за существо?

Мечтательный голландец оглядел меня и медленно сказал:

— Накинь ему веревку на шею, Зевулон, я возьму его с собой на память о чудном часе. По-видимому, какая-то неизвестная порода; мингер де Йонге, который долго жил в Батавии, скажет мне, встречается ли она на Яве.

Что мне было делать? О бегстве не могло быть речи; я должен также сказать, что остатки человечности во мне испытывали некоторую радость от перспективы вернуться в свою среду, хотя тайное, мрачное предчувствие шептало мне, что мечтательность голландца ляжет на меня тяжелым бременем. Я терпеливо дал надеть себе аркан на шею и вместе со своим новым господином, ехавшим впереди, и Зевулоном, ведшим меня на веревке, покинул гору, где мне пришлось так много пережить. Перед уходом Зевулону было приказано наполнить гиппокренской водой кантины, свисавшие по обе стороны седла, чтобы впоследствии приготовить из нее чай в усадьбе Вельгелеген.

У подножия горы мингер фан Стреф стал также мрачен, как и раньше, и сохранял это настроение в течение всей остальной дороги. Попав на ровную местность, мы продолжали путь в коляске, т. е. в коляске сидели господин и слуга, а я бежал рядом. Вы можете мне верить или нет, мне это совершенно безразлично, но правда останется правдой — я отмахал несколько сот верст вприпрыжку, не считая короткого расстояния по Адриатическому морю, которое мы перерезали на славонской шебекке[18]. Да, за голландскими мечтателями можно поспеть и пешком!

Однако очень скоро меня потянуло обратно на Геликон, так как голландское владычество самое крутое, какое только существует. Со мной обращались, как с колонией; о корме я должен был заботиться сам, а на славонской шебекке, видит бог, меня питали одним только запахом гиацинтовых луковиц, закупленных мингером фан Стрефом и помещавшихся рядом с моей клеткой. К этому присоединялась вся нелепость путешествия по карандашной линии, ибо мой хозяин совершал и обратный путь по тому же принципу. С большинством достопримечательностей знакомишься только наполовину. Так, во Франкфурте мне не удалось видеть Здания Некомпетентности[19], потому что наша линия проходила через Еврейскую улицу.

Но и эти неприятности имели конец. Мы приехали в Амстердам, а час спустя в усадьбу Вельгелеген. При виде канала, ровного луга, двенадцати ветряных мельниц, наконец, при виде своего тихого дома с опущенными жалюзи, вымощенного пестрыми плитами двора с птичником, обнесенным золоченой проволокой, и отгороженной зеленой лужайки, по которой разгуливали золотые и серебристые китайские фазаны вместе с прочим зверьем, мингер фан Стреф пролил две круглые слезы и сказал Зевулону:

— О Вельгелеген! — и больше ничего.

Зевулон зарыдал и, подойдя к воротам, склонился до земли, как бы для того, чтобы ее облобызать, и ответил:

— Вельгелеген — это Вельгелеген, мингер фан Стреф!

В воротах стояли шесть североголландских девушек с золотыми гребенками в волосах, все белые, круглые и в сверкающих чистотой платьях. Они сделали книксен, поцеловали хозяину руку и сказали:

— Счастливого возвращения, барин.

Раздвинув девушек, к новоприбывшему подошел маленький человек с красным лицом, но с напудренными волосами, придававшими ему почтенный вид, потряс его руку и сказал:

— Я узнал, что вы приезжаете сегодня, и хотел взглянуть, удалось ли лечение.

— Доктор, я мечтал на Геликоне, после этого мне стало легче, и теперь я совсем здоров,— ответил пациент.

Врач посмотрел на него испытующе и сказал хладнокровно:

— Нет, мингер фан Стреф, вы так же больны, как и до отъезда; поэтому вы должны опять отправиться путешествовать, иначе вы умрете тогда-то и тогда-то. Он назвал день смерти.

Недавно я узнал, что такое голландская мечтательность, но теперь я увидел и услышал, что такое голландская ярость; ибо лицо мингера Стрефа сделалось серо-коричневым, жилы на лбу так вспухли, что походили на корни деревьев, и он излил на доктора такой поток ругательств, что я пришел в изумление от богатства местного языка. Доктор, в свою очередь, почувствовал прилив нидерландского вдохновения и выругал пациента, Зевулон выругал доктора, первая голландка выругала Зевулона за то, что он вмешивается в господскую ссору, вторая первую за то, что она ругает Зевулона, третья вторую за то, что она ругает первую, четвертая третью за то, что она ругает вторую, пятая Зевулона, первую, вторую, третью и четвертую вместе, а шестая никого в отдельности, но всех вообще. Эта запутанная сцена ругани напомнила мне современную картину немецкой литературы.

Такая громкая и бурная встреча ожидала мечтательного голландца в воротах его тихой усадьбы. Золотые фазаны, серебристые фазаны и несколько калао в птичнике присоединились ко всеобщему крику, и бог весть, не увенчалось ли бы еще торжество рукопашной, если бы издали не показался форейтор, а за ним влекомое лошадьми коричневое национальное судно. При виде его волны гнева затихли, все лица озарились миром и дружелюбием; доктор, пациент, Зевулон и все шесть голландок воскликнули в один голос:

— Пятый плашкоут!

— Опоздал на две минуты,— добавил мингер фан Стреф, посмотрев на часы.

Он с приветливым лицом вступил в свою виллу; доктор же, умиротворенный, сел на плашкоут, направлявшийся в Амстердам.

Так вид пятого гарлемского плашкоута положил конец нидерландской распре.

Как бы считая себя членом семьи, я последовал за своим господином на порог дома, но служанка согнала меня довольно неласково со ступенек и тотчас же принялась усиленно вытирать место, на котором я стоял, хотя я могу выдать самому себе удостоверение, что я вел себя вполне прилично на пороге Вельгелегена. Зевулон запер меня на одном из зеленых лужков вместе с золотыми и

серебристыми китайскими фазанами, или, вернее, я получил отдельно от пернатых особый маленький закут, подобно тому, как каждый золотой или серебристый фазан жил в отгороженном месте, вероятно, потому, что мингер фан Стреф предполагал и у зверей голландские наклонности. Я нашел довольно хороший корм,— хотя и не такие ароматные травы, как на Геликоне,— наелся, наконец, на покое досыта и проспал большую часть следующего дня, утомленный длинным путешествием. Только через неделю ко мне вернулась способность примечать и я смог подумать о себе и об окружающем.

С этого момента я начал основательно знакомиться с образом жизни голландского рантье, удалившегося от дел, ибо мое пастбище и жилище приходились под самыми окнами павильона, отделенного двором от главного дома и служившего хозяину местом каждодневных развлечений независимо от того, был ли шторм или дождь, туман или солнце.

Зевулон устроил мне скалу из клинкера высотою около пяти футов, прозванную Малый Геликон. Я часто лазил на нее и мог видеть оттуда все, что происходило в павильоне; я мог также слышать большую часть того, что там говорилось, так как окна, выходившие к зверинцу, обычно были открыты, когда погода была не слишком плоха. Со стороны же канала они всегда были заперты и задернуты занавесками, в одной из которых была оставлена узкая щелочка для наблюдения за плашкоутами.

Каждый день мингер фан Стреф приходил в павильон к восьми часам утра. Он являлся в утреннем костюме из светло-зеленого камлота и нес под мышкой красную папку. За ним следовала первая горничная с трубкой и чаем, так как дома его обслуживала только женская прислуга. Зевулон был повышен в лакеи только на время путешествия, по возвращении же занял свою прежнюю должность садовника и дворника. Здесь мингер фан Стреф пил свой чай, но не быстро, как на Геликоне, а действительно, как сказал Зевулон, каждую чашку по четверть часа, причем он медленно потягивал дым из зажженной трубки и в равномерные промежутки попеременно поглядывал пристальным взглядом то на канал, то на зверинец. Ничем другим он в это время не занимался, так как держался мнения, что каждое дело надо делать отдельно. Покончив с этим делом, он принимался за второе, а именно перечитывал лист за листом текст своих процентных бумаг, хранившихся у него в красной папке, хотя, как известно,

подобные документы ничем друг от друга не отличаются. В положенные дни сюда присоединялась еще работа по отрезанию купонов. В этих трудах протекало время до двенадцати часов. Затем появлялся слуга из усадьбы Чудный Вид и другой из усадьбы Фроу Элизабет, которые передавали любезные приветы от мингера де Ионге и мингера фан Толля и спрашивали от имени своих господ: как спал и как поживает мингер фан Стреф? После долгого размышления мингер фан Стреф отвечал каждый день одно и то же: что ночь он провел довольно спокойно и что сейчас, слава богу, чувствует себя сносно. Отпустив посланцев, он звонил Зевулону и отправлял его в Чудный Вид и в Фроу Элизабет с любезным приветом и поручением спросить, в свою очередь, мингера де Ионге и мингера фан Толля, как они спали и как поживают?

Для восстановления сил после описанного напряжения мингер фан Стреф снова пил чай, курил трубку и выслушивал сообщение от вернувшегося Зевулона. После этого он отправлялся в дом и, переодевшись, возвращался во двор; там он останавливался перед птичником и затем перед каждым отделением зверинца, долго и задумчиво рассматривал обитателей того и другого, на каждой остановке качал головой и приговаривал:

— Неразумные твари.

Он проделывал это каждый день, даже когда шел дождь, с той только разницей, что тогда Зевулон держал над ним зонтик.

Покончив с речами перед птичником и зверинцем, он возвращался в большой дом и садился обедать, что происходило около четырех часов дня; после этого он отдыхал и затем около шести часов снова шел в павильон, на этот раз с зеленой папкой под мышкой. Тут он пил чай в третий раз, курил, как само собой разумеется, и читал текст амстердамских городских облигаций, которые хранил в зеленой папке. Обычно к этому времени темнело; мингер фан Стреф, зевая, захлопывал папку, бросал последний взгляд на канал, покидал павильон и возвращался в большой дом. Когда становилось совсем темно, Зевулон запирал ворота; огни, недолго горевшие в окнах дома, постепенно угасали — признак того, что хозяин и прислуга почивали после трудового дня.

Над Вельгелегеном воцарялось глубокое молчание и абсолютная тишина.

Я забыл упомянуть о том, что среди ежедневных занятий мингер фан Стреф имел обыкновение отмечать

на грифельной доске, висевшей в павильоне, момент прибытия всех шести плашкоутов, каждый день проезжавших из Гарлема в Амстердам, и еженедельно выводить среднее уклонение от расписания. Самым большим его горем, как он иногда говорил, было то, что эта средняя никогда не совпадала, хотя бы он брал ее за месяцы и даже за годы, и что поэтому среднее время прибытия плашкоута оставалось по-прежнему неразрешимой загадкой.

Так проходил один день за другим.

— Господи, какая скука! — вздыхал я — уже без мифологических восклицаний — среди радостей и покоя нидерландской жизни.

Неужели мой хозяин стоит всего на ступень выше пятнистого ленивца и на много ступеней ниже слона, гордо-чуткого коня или вертлявой собаки, хоть он и читает процентные бумаги и амстердамские городские облигации? И тем не менее он придает себе какую-то цену, верит в бессмертие своей души и — о, самовлюбленный варвар! Презирает нашего брата, скота!

Вполне естественно, что при этом условии между мной и им не могло возникнуть никакой симпатии; этот голландец не был создан для того, чтоб возбуждать любовь. Поэтому я всегда поворачивался спиной, когда он подходил к моей загородке. Чтобы избавиться от ужасной скуки Вельгелегена, я попытался завязать знакомство с моими соседями по зверинцу. Это были вполне терпимые существа: налево золотой, направо серебристый фазан, за мной несколько черепах в большом ящике с песком и молодой бобер, у которого хвост свисал в воду. Мне было бы интересно обменяться мыслями с птицами, амфибиями и амфибиоподобными животными, но из этого здесь ничего не выходило. Эти индивиды были так подавлены духовным ярмом, висевшим над Вельгелегеном, что все мои попытки сблизиться с ними, мое сердечное мекание и благожелательные козлиные прыжки не встретили никакого сочувствия. Фазаны по большей части лежали, подсунув голову под крыло и тупо уйдя в себя; черепахи, насытившись углем, прятались под свои щиты; бобер был способен думать только о холодной воде, омывавшей его хвост.

Моим мукам немало способствовала также прославленная голландская чистота. А именно для нас, зверей, держали специальную подметальщицу, которую челядь прозвала Навозной Гритой, так как на ней лежала обя-

занность следить, чтобы в наших жилищах царила величайшая опрятность. Она проводила весь день в чем-то вроде сторожки, стоявшей при входе в большой дом, и оттуда беспрерывно приглядывала за зверинцем. Терял ли фазан перышко, или случалось еще что-нибудь неизбежное,— господи, ведь мы в конце концов только животные! — эта фанатически преданная своей профессии особа выскакивала, вооруженная длинной половой щеткой, откидывала дверцу соответственного загона и наводила чистоту. Мои коллеги были настоящими скотами и потому не принимали этого к сердцу, но во мне человек отзывался на подобное отношение, во мне человек стыдился этой слежки за самыми личными, интимными переживаниями. Нередко я находился в величайшем затруднении между необходимостью и возможностью, между естественной потребностью и страхом перед подстерегающей Навозной Гритой, готовой ежеминутно схватиться за традиционную метлу!

Скука... одиночество... вечно угрожающая подметальщица... Так мое положение с каждым днем становилось ужаснее! Мюнхгаузен был тогда несчастлив, очень несчастлив! Судьба схватила меня грубой хваткой; я стал жертвой холодной мечтательности; это самое ужасное, что может быть между небом и землей.

Мной овладело трагическое отчаяние. Я подумывал о самоубийстве. Я хотел осилить природу; подобно тому, как иные воздерживаются от пищи, я хотел отнять жертву у подметальщицы — надолго — навсегда! Ибо я чувствовал, что организм не выдержит, если я героически выполню свое намерение. Такой способ покончить с собой представлялся мне благородным и чистым, он казался мне новым и неподражаемым.

Я замкнулся в себе. Два дня отдыхала дверца моего стойла. Подметальщица обхаживала меня, зловеще выслеживая. «Обхаживай, обхаживай, я умираю!» — думал я.

На третий день мингер фан Стреф приказал позвать шпионку и спросил ее, почему я такой вялый и отчего опустил уши. Грита сообщила то, что знала.

— Подождем до завтра; может быть, он поправится,— сказал мой бесчувственный повелитель,— а если нет, так закатите ему... Он предписал быстрое и верное средство, против которого было бы бессильно даже геройство Катона.

— Это уж слишком! — промекал я одновременно с

грустью и с затаенной злобой, опускаясь на скалу Малый Геликон и прижимая к клинкеру пылающий лоб.— Ни жить не могу, ни умереть не дают!

Я уже видел внутренним оком момент, когда решимость моя будет сломлена, я видел страшный инструмент в руках Гриты, а себя краснеющим от стыда, униженным, снова вверженным в прежние конфликты, от которых моя свободная душа уже считала себя избавленной.

Увы, в этот день мне предстояло пережить еще кое-что похуже! Как бессильны так называемые великие решения! Я познал на себе эту горькую и унизительную истину!

В тот день мингер фан Стреф принимал у себя своих соседей де Ионге и фан Толля. Владельцы усадеб Вельгелеген, Чудный Вид и Фроу Элизабет навещали друг друга по одному разу в год. Дни были установлены раз навсегда, и в другое время эти трое голландцев никогда не встречались, хотя их виллы отстояли друг от друга не более чем на пятьсот шагов. Когда они сходились, то хозяин показывал гостям свои приобретения за год в той области, которая была мила его сердцу. Мингер фан Толль больше всего дорожил своей коллекцией дорогого фарфора, мингер де Ионге — своим естественнонаучным кабинетом, а мингер фан Стреф — зоологическим садом.

Откушав чаю в павильоне со своими друзьями, мой хозяин повел гостей в зверинец и спросил де Ионге, побывавшего в Ост-Индии, встречал ли тот на Яве зверей моей породы. Уже при первом беглом взгляде на меня глаза владельца естественноисторического кабинета засверкали и бледное лицо его покрылось легким румянцем. Я принужден был привстать, мингер де Ионге осмотрел меня со всех сторон, поднял мне лапы, еще не вполне утерявшие вида человечьих рук, пощупал шерсть, заглянул в пасть, потрогал череп.

Мингер фан Стреф глядел на это испытание со спокойной гордостью счастливого владельца. После многократных разглядываний и ощупываний мингер де Ионге вынужден был дать следующее заключение:

— Нет, эта порода не встречается на Яве. Я думал сначала, что это маленький пятнистый олень, который водится на Цейлоне, но строение головы противоречит этому предположению. В черепе есть что-то от обезьяны, остальное же тело козлиной породы. Тут ничего не поде-

лаешь, приходится установить новое наименование. Ваше приобретение, мингер фан Стреф, которое представляет величайшую редкость, следовало бы назвать козло-мартышкой.

— Я нашел его,— ответил мингер фан Стреф,— на греческой горе в незабвенный час. Зевулон, скажи Гертрейде, чтобы она приготовила нам третий чай из той воды, которую ты привез в кантинах, разумеется, если она не протухла. Я хочу посмотреть, как она подействует на мингера фан Толля и мингера де Ионге.

Он отправился с мингером фан Толлем к гиацинтам, занимавшим второе место в его сердце. Мингер де Ионге попросил разрешения посмотреть еще на козло-мартышку. Оставшись со мной один на один, он сказал:

— Ты — единственный экземпляр: не может быть речи о том, чтобы мингер фан Стреф уступил мне тебя; прислуга неподкупна, а посему я вынужден тебя украсть.

После того как он произнес эти недвусмысленные слова, вернулся из оранжереи мой повелитель со своим вторым приятелем.

— Как я вам уже говорил, мингер фан Стреф,— сказал мингер Толль,— на Фроу Элизабет живет сейчас один иностранный художник и химик, который открыл особую смесь красок, позволяющую воспроизводить на фарфоре подлинную рембрандтовскую полутень. Я хотел поручить ему разрисовать вазу в этой новой манере; все приспособления к обжиганию и глазурению уже готовы, я только сомневался в сюжете, так как я предпочел бы что-нибудь совсем новое. Мне очень бы хотелось иметь на вазе вашу козло-мартышку в полутенях, так как ни у кого нет ничего подобного; не окажете ли вы мне эту добрососедскую услугу и не допустите ли вы моего химика сегодня ночью в зверинец. Пусть он при свете фонаря сделает цветной набросок с этого зверя.

— Нет, мингер фан Толль, это невозможно,— возразил хозяин.— Ночной покой Вельгелегена не должен быть нарушен ни при каких условиях. Но ведь ваш химик может и днем срисовать животное в рембрандтовских полутенях.

Гертрейда прошла в павильон с чайным прибором.

— Пойдемте,— продолжал мингер фан Стреф,— я угощу вас, моих друзей и соседей, новым сортом чая.

«Опять тебе суждено быть украденным! — подумал я про себя.— Неужели ты столь драгоценен?»

Между тем в павильоне стало очень весело, но, разумеется, на голландский манер.

По-видимому, гиппокренская вода не потеряла своей силы за время путешествия. После первой же чашки приятели встали с мест и заходили взад и вперед по комнате. В фантастическом возбуждении, не обращая внимания друг на друга, де Ионге пытался на ходу воспроизвести па из менуэта, фан Толль выводил курьезным фальцетом национальный гимн, а фан Стреф раздвинул штору окна, выходившего на канал, и забыл отметить на грифельной доске только что проехавший шестой плашкоут.

Три голландских мечтателя вместо одного! Удивительная вода! Даже в расстоянии часа от Амстердама, даже вскипяченная для чая, ты творишь чудеса!

Вскоре эта экзальтация должна была втянуть в свой круг и меня, героя удивительнейшей биографии, когда-либо написанной на земле. Фан Толль подошел к окну, выходившему к зверинцу, и пролепетал, обращаясь вниз:

— После полуночи я пошлю химика с подобранным ключом, чтоб тебя срисовать. Ты должен, ты должен попасть на вазу с рембрандтовскими полутенями!

Он отступил назад, вместо него появился в окне де Ионге и произнес вполголоса, бросая на меня жадные взгляды:

— Я прикажу украсть тебя еще до полуночи и тотчас же сделать из тебя чучело!

«Чучело?!. Нет, это переходит за границы чудовищного! du sublime au rudicule...» — и я потерял сознание.

Когда я очнулся, перед моей загородкой стоял только мингер фан Стреф, а рядом с ним Зевулон.

— Зевулон,— сказал мой хозяин,— гости ушли, и теперь можно заняться тем, чего не полагается делать при чужих. Я опять впал от чая в геликонское настроение. Мне хочется помочь всему миру. Живо, скажи Грите, чтобы она тотчас же совершила над неизвестным зверем то, что я приказал ей сделать с ним завтра.

— По-видимому, уже ни к чему,— сухо возразил Зевулон.— Он, кажется, опять оживился; смотрите, как он весело скачет.

Действительно, уже было ни к чему! Ужасная перспектива превратиться в чучело уничтожила одним взмахом все помыслы о самоубийстве, вернула меня к жизни во всех отношениях и возбудила страстную жажду жить. Я, как безумный, прыгал по загону, а голланд-

ский дворник называл это веселостью; я испускал ужасающие звуки, чтобы оповестить моего повелителя о предстоящей потере его драгоценнейшего добра, а слепцы над этим смеялись!

Они ушли, стало темно, Зевулон запер ворота. «Несчастный, поставь самострелы и капканы на стены, через которые полезут наемные убийцы мингера де Ионге! А через ворота проникнет в худшем случае безобидный химикус, чтобы при свете своего безвредного фонаря нарисовать рембрандтовскими полутенями вашу бедную, маленькую козло-мартышку! — рыдал я.— Как опечалится художник, найдя вместо модели пустое место! Горе тебе, Вельгелеген, когда ты завтра проснешься и сокровище твое будет похищено! Плачь, плачь, Фроу Элизабет, твоя ваза так и останется неразрисованной!

Почему бы химику не прийти раньше полуночи, а бандитам де Ионге после полуночи? Тогда бы химик еще рисовал при свете фонаря, что отпугнуло бы банду, и я по крайней мере выиграл бы одну ночь. О, случай, случай, пьяный игрок! Безумная загадка бытия, яростная смесь хаотических сплетений! О, отец, отец, где ты? Спеши сюда спасти столь солоно пришедшегося тебе клопа от самого ужасного, от последней крайности! Добрый папа, ты любознателен и много путешествуешь; быть может, ты когда-нибудь посетишь кунсткамеру мингера де Ионге, и что это будет за минута, когда ты увидишь своего сына между чучелами выдры и сибирской белки! Впрочем, я забыл, кто я теперь; я брежу,— ведь ты меня даже не узнаешь!

Стать чучелом! От одной мысли закипает мозг и лопаются жилы! Превратиться в шкуру и паклю! Глупо и тупо смотреть стеклянными глазами и вечно чувствовать проволоку в спине и ногах в качестве единственно жизненного стержня! Видеть вокруг себя одни только чучела и пользоваться каким-то сухим бессмертием, созданным камфарой и спиковым маслом!»

В таких печальных размышлениях прошла часть той знаменательной в моей жизни ночи. При этом острый страх, по-видимому, повлиял на мое тело; когда я, переживая эти горести, по-человечески хотел ударить себя по лбу, я смог осуществить это передними лапами; когда я пытался рвать на себе волосы, они выпадали; кроме того, на моей морде происходила полная перемена декорации и перетасовка пасти, носа и глаз, так что кости хрустели. Но я не обращал на это внимания, охваченный

страхом перед перспективой превратиться в чучело.

Около полуночи — за стеной шорох, карабкание, сбрасывание веревочной лестницы. Какой-то субъект спускается вниз, осторожно пробирается между бобром и черепахой. Я безмолвно сижу (ибо я уже опять могу сидеть) и вырываю остатки меха; его грубая лапа хватает меня — и айда через стену вместе со мной! Я вишу у него в руках и трепещу всем телом.

— Какого черта! Что это я такое схватил? Ведь это же не...— бормочет он, сделав несколько шагов вдоль канала по направлению к усадьбе Чудный Вид.

Но не успел он договорить, как ему навстречу бросается человек, кричит голосом, порожденным самой добродетелью:

— Стой, вор, я видел, как ты перелез через стену! — и нападает на него со шпагой в руках. Вор бросает меня — ибо грех лишен мужества — и пускается бежать. Я падаю в канал, мой бесценный спаситель, все еще со шпагой в руке, бросается за мной и вылавливает меня оттуда.

— Как! Голый ребенок? — восклицает он и несет дитя, у которого голова закружилась от всех этих перипетий, к фонарю, горящему в ста шагах от того места.

При свете этого фонаря я смотрю в лицо спасителю и... кто поймет, кто поверит, кто расскажет, что я испытываю? Это... мой отец, мой так называемый отец!

Радость производит то, чего не могли достигнуть ни страх, ни горе. Ко мне возвращается дар речи, и я восклицаю, правда еще слегка мекая, но все же вполне вразумительно:

— Отец! Отец! Я твое дитя!

Обливаясь горючими слезами, я прижимаюсь к его груди; он узнает меня, как я его узнал, и — молчите, губы! Падай, занавес, над этой неописуемой сценой!

Не говоря ни слова от умиления, сует он меня снова в свой левый карман. Я узнаю его натуру. Все милые воспоминания опять всплывают передо мной в этом кармане; там имеется остаток завтрака, я пытаюсь его съесть, и это мне удается: я снова могу есть хлеб и колбасу! Я опять человек, образованное дитя образованных родителей! Но как это случилось?

Отец несет меня в усадьбу Фроу Элизабет. Это он — тот добрый химик, который остановился у мингера фан Толля, который должен был прийти ко мне с отмычкой,

которому было поручено срисовать меня после полуночи при свете фонаря; но, влекомый необъяснимым беспокойством (ибо в нем бурно забилось сердце отца), он собрался еще до полуночи, захватил с собой шпагу, так как приключение все же было связано с некоторой опасностью, и таким образом сделался у канала свидетелем моего похищения.

Не могу уже точно припомнить, как я сумел понять первые объяснения этой удивительной истории. Отец бормотал что-то в карман, я бормотал ему в ответ из кармана,— словом, мы объяснялись друг с другом нечленораздельными звуками.

— Почему, отец, ты не поднял шума, когда увидал, как вор перелезает через стену? — спросил я, когда мы слегка успокоились.

— О, сын мой, когда дело идет о спасении человека, то случаются еще более невероятные вещи, чем то, что я дал вору войти и выйти. Только при таких невероятных обстоятельствах ты и мог быть спасен; потому что, подними я шум, проснулась бы вся усадьба Вельгелеген, ворота оказались бы под надзором, я бы тебя никогда не увидел, и ты остался бы в руках мингера фан Стрефа.

Я вполне удовлетворился этим ответом.

Ведя такие и подобные разговоры, мы прибыли в Фроу Элизабет, отец дернул звонок и разбудил привратника, который отпер ему комнату.

При свете восковых свечей и алебастровых ламп мы впервые обнялись на свободе.

— Как я выгляжу, отец? — было моим первым вопросом.

— Отвратительно, сын мой,— ответил отец.— Твое лицо в удивительном беспорядке, можно подумать, что нос, рот и глаза напились допьяна и проснулись не на своих местах. Прежде всего следует окарнать уши, они слишком пышно растут к небу; на конечностях у тебя излишние клочки волос, и голос какой-то грохочущий, точно ты был в учении у трубача. Ты напоминаешь мне беспорядочно разбросанную библиотеку или гардероб; отдельные составные части твоей персоны имеются, не хватает только гармонии.

— Это пустяки, отец,— сказал я, подойдя к зеркалу и увидев в нем себя более или менее похожим на человека.

Он горел нетерпением узнать мои приключения.

Я рассказал их ему в самых общих чертах. Он думал, что мне это приснилось.

— Взгляни на меня,— воскликнул я,— и тогда скажи, был ли это сон? Самым большим чудом было последнее,— заключил я свое сообщение.— Если в нас сохраняется хоть одна искорка человеческого и если при этом из нас собираются сделать чучело, то искорка эта разгорается, и человек реставрирует себя изнутри. В глубинах страха, ужаса, отчаяния я, так сказать, вторично родил из себя человека и путем душевной борьбы сбросил звериные покровы.

— Ну, а теперь облачись в приличные покровы! — воскликнул отец, подошел к комоду и извлек оттуда белые шаровары, красный колет, маленькую жестяную саблю и тюрбан.

Боже милостивый! Это была янычарская кадетская форма.

— Где ты ее нашел? — спросил я.

— В греческих горах, по которым я рыскал в отчаянии, как Церера в поисках Прозерпины,— ответил он.— Я нашел их на склоне утеса и решил, что тебя съел хищный зверь.

— Но почему ты так думал, отец, ведь на одежде не было следов крови?

— Разве зверь не мог выесть тебя из брюк? — ответил он, несколько недовольный моими критическими сомнениями.

Затем он рассказал мне свою историю. Она была проста. В отчаянии от моего исчезновения и потеряв всякую надежду меня найти, он еще усерднее, чем раньше, отдался своим химическим и физическим занятиям и тут, между прочим, открыл и тот секрет изготовления красок, который привлек к нему интерес голландца фан Толля. Печаль не позволила ему ужиться на родине, он блуждал по странам Европы,— мрачный, истерзанный художник. По дороге он встретил много коллег. Судьба свела нас благодаря самому удивительному сцеплению обстоятельств. Он вышел ночью, чтобы зарисовать козла, а обрел сына.

Мы покинули Фроу Элизабет еще до рассвета, так как отец понимал, что роль его в этой усадьбе кончилась, поскольку он не мог выполнить для владельца заказанного рисунка. Мы воспользовались первым плашкоутом на Амстердам, а там первой возможностью добраться до Боденвердера. Пока я сидел в коляске, или,

точнее, по-прежнему в кармане, мне пришла тягостная мысль о г-же фон Мюнхгаузен, супруге моего родителя. Я сообщил ему свои опасения и добавил:

— Не случится ли с нами то же, что с мингером фан Стрефом у ворот его виллы, и не отправят ли нас во вторичное путешествие?

— Нет, сын мой,— ответил он,— эта славная женщина умерла шесть месяцев тому назад; я похоронил ее и долго оплакивал.

Я тоже почтил ее память несколькими посмертными слезами.

В Боденвердере отец всецело посвятил себя моему воспитанию. Хотя, как явствует из этого рассказа, я уже в раннем младенчестве говорил, как книга, тем не менее в моих познаниях не было связности; эту связность предполагалось теперь выработать. Первоначально мы думали о том — ибо я тоже принимал участие в выработке плана моего воспитания,— чтобы сделать из меня взрослого мужа по системе Лоринзера[20] при помощи одних только домашних и хозяйственных познаний, без греческого и латыни; однако возникло опасение, что я при этом методе впаду в прежнее состояние и не довоспитаюсь даже до козла, а разве только до барана. Поэтому мы оставили Лоринзера в покое и мое образование пошло по тому пути, который я описал в одном из предыдущих рассказов.

Мы еще часто возвращались к подробностям моего приключения.

— Скажи мне, сын мой, какое историческое поучение выводишь ты из этих невероятных происшествий? — спросил меня однажды родитель.

— Отец, эта история выше всяких поучений,— ответствовал Мюнхгаузен-дитя.— Но если тебе непременно хочется извлечь из нее мораль, то это та простая истина, которая известна каждому студенту, а именно что сын должен всегда рассчитывать на карман отца.

Тут старый барон сделал последнюю попытку остановить поток мюнхгаузеновских воспоминаний, но силы его были надломлены. У Мюнхгаузена опять хватило настойчивости духа ему противостоять, ибо не успел владелец замка раскрыть рот, как г-н фон Мюнхгаузен развернул вторую рукопись и начал читать историю «О духах внутри и вокруг Вейнсберга».

Когда он дочитал и ее, старый барон, обессиленный

напряжением последних суток и вздорными рассказами своего гостя, спал крепким и здоровым сном. Барон Мюнхгаузен остановился торжествующе возле кресла спящего и воскликнул приглушенным голосом:

— Наконец-то я тебя доконал, старый полуночник и нарушитель общественного спокойствия! Впрочем,— продолжал он серьезно,— мое пребывание в замке становится рискованным. Теоретически можно рассказывать людям сколько угодно таких вещей, которые чернь называет враками, но горе тому, кто втемяшит им в голову что-нибудь такое, за что уцепится их эгоизм. Они уверуют в это, уверуют, и вот — ученики уже загоняют своего учителя в тупик! Боюсь, не допустил ли я ошибки, ляпнув про Акционерное общество по сгущению воздуха; эта ошибка может оказаться хуже преступления.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Общество замка Шник-Шнак-Шнур начинает разлагаться на свои элементы

В течение всего дня, когда старый барон без устали гонял по окрестностям, а барышня испытывала недомогание, учитель пилил и рубил дрова. На следующее утро письмоносец спозаранку поднял его с соломенного ложа и вручил ответ от члена училищного совета г-на Томазиуса, которому учитель очень обрадовался. Он тотчас же накинул свою пелерину, очистил беседку от всех следов жилья и привел в порядок имевшуюся там мебель, т. е. придвинул стол к стене и подсунул под него скамейку; после этого он не без труда и напряжения мысли начертал на стене следующие строки:

«Я, Христофор Агезель, некогда учитель в Геккельпфифельсберге, пробыл в сем месте девять месяцев в тяжелой болезни, причина коей была непонятная грамматика. После того как всемилостивый господь вернул мне здоровье, покидаю я с благодарностью и надеждой на будущее сие место, в коем я пережил много счастливых часов.

Какое райское блаженство
Рассудок снова обрести!
Сие святое совершенство
От бредней может нас спасти.
Храни свой ум, и будешь ты,
Как гость с небесной высоты».

После этого свидания с Музой учитель направился в парк, где над всем одичанием и запустением сияло безоблачное небо; он бросил благодарный и прощальный взгляд на необстриженные тисы, на Гения Молчания, на флейтиста без флейты и дельфина без фонтана и пошел в замок, чтобы сообщить хозяину о своем решении.

У старого барона еще болела голова от фантастических рассказов Мюнхгаузена. Чтобы отделаться от этих химер, он отказался от обычной утренней прогулки по парку и, встав с постели, прямо направился в судебную комнату. Там, сидя за столом, он смог собрать свои мысли.

Поставив локоть на стол и подперев рукой голову, он сказал:

— Отлично вижу, куда это клонится. Он раскаивается, что в неосторожный момент выдал тайну сгущения воздуха и хочет теперь увильнуть от меня при помощи бессмысленнейших побасенок. Нет, мой умный друг, это тебе не удастся! Я знаю, к счастью, твое слабое место и в соответствии с этим построил план действий. Между друзьями должна царить откровенность; я буду поступать согласно этому принципу и постараюсь проникнуть в твои тайны, неудержимый анекдотист! Непонятно, откуда он берет весь этот вздор, вероятно, он вел странную жизнь; между прочим, мне мерещится, что я уже где-то его видел, не знаю только где?

Учитель поднялся на чердак, почтительно пожелал своему покровителю доброго утра и без всяких предисловий попросил у него какой-нибудь старый поношенный сюртук. Барон с удивлением спросил, почему сюртук понадобился ему именно теперь, когда он столько времени довольствовался коричневой пелериной; на это учитель ответил, что в уединении ему достаточно было и пелерины, но что теперь это одеяние ему больше не подходит, так как он собирается принять участие в общественной жизни, где признают одни только сюртуки.

— Вчера,— продолжал он, вынимая письмо,— я написал своему уважаемому начальнику, члену училищного совета г-ну Томазиусу, изложив ему откровенно мое прежнее и теперешнее душевное состояние; я просил его снова предоставить мне должность учителя, так как я вполне способен занимать таковую, но не в селе, где введена эта ужасная грамматика, а где-нибудь далеко в горах, куда этот бич божий еще не проник.

На это мой почтенный начальник ответил с обратной

почтой, что если он при личном свидании убедится в правдивости моих утверждений, то я могу тотчас же вернуться в Гаккельпфифельсберг, так как недавно пришлось там сместить моего преемника, тоже не сумевшего справиться с означенной грамматикой; он, правда, не сделался жертвой собственного воображения, но от огорчения и беспокойства предался пьянству и недопустимому распутству. Не к чему мне также опасаться грамматики, ибо таковая отменена при новейшем изменении учебного плана. Поэтому, глубокочтимый благодетель и покровитель, я явился сюда, чтобы поблагодарить вас самым искренним образом за проявленное ко мне великодушие, попросить у вас об упомянутом последнем даре и почтительно откланяться, надеюсь, не навеки.

Старый барон проникся изумлением с головы до пят.

— Разве, г-н Агезилай, вы...

— В полном уме, г-н барон,— прервал его выздоровевший учитель.— Но настоятельно прошу вас называть меня отныне Агезелем, ибо Агезель я был, Агезель я есмь и Агезелем я буду присно и вовеки.

— Невозможно выдержать! — воскликнул старый барон и в сердцах ударил кулаком по судейскому столу.— Вчера Мюнхгаузен врет мне, что он был козлом и с отчаяния снова сделался человеком, а сегодня в действительности и воочию я вижу, как сумасшедший стал нормальным. Ни на кого нельзя положиться и самому можно спятить, если не иметь столько дел в голове.

— Мне очень жаль, что я огорчил своего благодетеля,— мягко сказал учитель.— Это, с вашей точки зрения, неприятное происшествие произошло вполне естественно, и все высокочтимые обитатели замка принимали в нем участие.

— Что? Естественно?.. Нехорошо, учитель, повторяю я вам. Почему вы не могли остаться тем, чем вы были? Зачем вы теперь убегаете? Мы жили здесь так согласно, привыкли друг к другу, поддерживали один другого, а теперь эта прекрасная цепь разорвана.

— Единственное, что омрачает мою радость по поводу восстановления моего «я»,— это необходимость вас покинуть,— ответил учитель.— Ваша милость, я неповинен в том, что обрел рассудок. Тому виною отсутствие признания со стороны окружающих. Никто из вас меня не признавал.

С первого момента, как я имел честь явиться к вам, я не нашел ни сочувствия, ни возражения ни с вашей сторо-

ны, ни со стороны баронессы по поводу моей идеи о спартанском происхождении и образе жизни, но ко мне и к моей причуде отнеслись, как к чему-то безвредному и недостойному внимания. Эта холодность выросла в обидное равнодушие, когда барон фон Мюнхгаузен, да благословит его господь, стал гостем замка Шник-Шнак-Шнур. В то время как он потакал чувствительности баронессы, то превозносил, то задевал ваши тайносоветнические убеждения и вы оба обменивались с ним своими необыкновенными мыслями, никто не обращал внимания на фантазии бедного сельского учителя...

— Вы позволяете себе оскорблять меня, учитель! — крикнул старый барон.— Из ваших слов следует, будто я сам...

— Не толкуйте этого превратно, благодетель,— прервал его тот.— Язык со своими капризами рождает иногда такие лукавые обороты, которые говорящий никак не мог иметь в виду. Из моих слов ничего не следует; моим единственным намерением было открыться вам. Не встретив ни сочувствующей похвалы, ни закаляющего противоречия, цветок моего безумия (говоря образно) был лишен оплодотворяющего дождя и бури, которые укрепляют корни в земле. Поэтому он должен был постепенно увянуть, засохнуть и умереть. Это давно во мне назревало; если бы вы не считали ниже своего достоинства понаблюдать за мной поближе, вы бы заметили, что я давно стал молчалив и задумчив. Я чувствовал, как с каждым днем бледнеет и обесцвечивается во мне спартанская идея. Откровенное заявление барона фон Мюнхгаузена в прошлую ночь окончательно доконало ее, и с тех пор я стал сельским учителем Агезелем, немцем низкого происхождения.

Всякий человек, благодетель, нуждается в признании. Без него — проявись оно даже в самых бешеных нападках — величайший герой и возвышеннейший поэт перестают быть героем и поэтом. Нехорошо, когда равнодушные люди предоставляют такого страдальца его собственному сознанию, так как именно самые лучшие и способные души постоянно сомневаются в себе и держатся такого высокого мнения о других, что их оценку считают для себя приговором. Мертвое равнодушие окружающих может погубить любые качества.

И безумец, г-н барон, нуждается в признании, для того чтобы остаться безумцем. Либо надо его связать и надеть на него смирительную рубашку, либо обращать-

ся с ним в духе его безумия. А если его не трогать, то он скоро обретет разум, хочет ли он того или нет.

— Учитель, вы высказали великую мысль! — воскликнул старый барон.— В таком случае всякое сумасшествие...

— ...Было бы быстро излечено, может быть, совсем уничтожено на земле, если бы никто не обращал на него внимания,— сказал учитель.— Эта мысль не только касается частной жизни, но достойна того, чтобы князья и правители взвесили ее как следует. Шум и крик, поднимаемый вокруг абсурдных идей и поступков, возникает большей частью не из-за отвращения к ним, а потому что в каждом человеке сидит безумец, которого он ощущает, любит и хочет оберечь.

Он устраивает такой тарарам вокруг безумия своего ближнего или, точнее говоря, посвящает ему так много внимания, потому что думает про себя: «Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и сам поступай с другими».

Старый барон опять подивился мудрости учителя, которая не покинула его и теперь, после того как к нему вернулся обыкновенный человеческий разум. Когда владелец замка высказал нечто в этом роде, то учитель заметил, что это глубокомыслие, которое ему во всяком случае не очень пристало, вероятно, является остатком его прежнего состояния, но что он надеется освободиться и от него и сделаться обыкновенным человеком в полном смысле этого слова.

Владелец замка, убедившись, что его гость серьезно решил расстаться с ним, позволил ему выбрать необходимое среди поношенного платья, висевшего на колышках в судебной комнате. Учитель долго был в нерешительности, взять ли ему коричневый фрак или фиолетовую бекешу с бархатной выпушкой, и наконец остановился на бекеше, потому что она лучше выдерживает дождь, чем фрак.

В ту минуту, когда он снимал ее с колышка, в судебную комнату вошел с испуганным видом Карл Буттерфогель.

— Ваша милость,— сказал он,— прохожу я сейчас по комнате, что налево, где вы храните фамильные документы, и вижу: стена, что против фронтона, дала большущую трещину, а потому, верно, фронтонная стена еще поддалась и, пожалуй, уже начала захватывать крышу.

— Отлично,— возразил старый барон.— Я бы хо-

тел, чтобы только часть дома рухнула, не подвергая никого из нас опасности, ибо тогда твой господин принужден был бы взяться за дело и предварительно позаботиться о ремонте замка.

— Но пока что я не прочь выбраться отсюда,— сказал слуга,— и пришел просить у вашей милости разрешения занять жилье, что на горке, так как г-н учитель его покидает; было бы жаль, если бы такая приятная летняя квартира пустовала, а моя теперешняя дыра находится как раз у треснувшей стены, и, кроме того, я люблю свежий воздух и зелень и не прочь побыть сам с собой, да и их милости, баронессе, удобнее там со мной без помехи разговаривать; и если человеку негде спокойно поесть свою колбасу, то весь домашний уют летит к черту, а к тому же ваша милость устроили здесь наверху судебную комнату и...

— Замолчи, замолчи! — крикнул старый барон.— Причины растут у тебя точно ежевика, как говорится в одной английской комедии; достаточно и половины того, что ты наговорил. Ты трус и, как все люди простого звания, думаешь только о своей драгоценной жизни. А я-то разве не сплю рядом с перегнившей стеной? Впрочем, переезжай туда; мне даже приятно, что там будет жить кто-нибудь, кто так или иначе принадлежит к нашему дому: ты будешь служить возмещением за потерю учителя.

Последний собрался уходить. Старый барон не без умиления подал ему руку, которую тот облобызал со слезами благодарности.

— Да вознаградит вас господь за все добро, которое вы мне сделали! — воскликнул он.— Да благословит он ваши дни и ниспошлет успех всем вашим намерениям!

— Учитель,— сказал старик и торжественно положил ему руку на плечо.— Если зрело подумать, то вы уходите в подходящий момент. Крупные перемены в жизненных обстоятельствах действуют всегда разрушающе на прежние отношения. Замку предстоит стать ареной серьезных начинаний, с которыми вы бы не ужились и среди которых чувствовали бы себя неуютно.

Между нами (не говорите только никому!), я больше не очень дорожу званием тайного советника. Знаете ли вы, что такое воздух? Если ваше школьное здание обветшает, то скажите мне об этом откровенно; вам пойдут навстречу и дадут материал по себестоимости. Невероятно то, что мы здесь затеваем, и все-таки это правда,

ибо кавалер заверил в этом кавалера, и из нечистот делают теперь свет, а из того, что выливалось на помойку, сахар. Еще одно: ваша дорога идет мимо Обергофа, спросите там, не знают ли они чего-нибудь про Лизбет: она хотела переговорить со Старшиной. Я очень скучаю по девочке, в особенности теперь, когда я могу порадовать ее и обещать ей, что обеспечу ее будущее.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

ДУХИ ВНУТРИ И ВОКРУГ ВЕЙНСБЕРГА

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Богадельня св. Юлия и две старухи[1]

Приехав в Вюрцбург, я тотчас же направился в богадельню св. Юлия. Великолепное здание, чистота и тишина обширных дворов, коридоров и залов, довольный вид стариков и выздоравливающих, гревшихся на солнышке в приветливом саду,— все это произвело на меня благотворное впечатление. Меня провели в погреб, где я оценил деятельное человеколюбие Юлия Эхтера фон Меспельброна[2], выпив в его память бутылку лейстенского из собственных виноградников богадельни. Я сделался разговорчивым, ключник, помогавший мне пить,— тоже; слово за слово завязался разговор, и я сказал ему:

— Здесь так приятно, что, право, хочется быть стариком или больным, чтобы остаться у вас.

— Да, недурно живется в богадельне св. Юлия,— благодушно ответил ключник и погладил себя по животу.— У нас лучшие запасы, и всякий, нуждающийся для своего здоровья в тяжелом, огненном вине, получает его бесплатно, даже если бутылка стоит пять или шесть гульденов. Но обычно каждому мужчине и каждой женщине отпускается ежедневно кружка местного вина, а также хлеб, мясо и овощи, сколько сможет осилить.

Поэтому, попав сюда в пансионеры, люди становятся здоровыми, спокойными и веселыми, как бы больны и раздражительны они ни были до этого. Ссор и дрязг у нас почти не бывает, и неслыханно, чтобы кто-либо из богадельни захотел вернуться в мир, за исключением одного случая, о котором еще и сейчас говорят, хотя тому немало лет.

Я осведомился об этом неслыханном случае и узнал, что как-то давно две старухи, которые постоянно торчали вместе, болтали и шушукались, удрали из богадельни и с тех пор не были разысканы. Никаких трупов ни в Майне, ни в Таубере, ни дальше в Кохере в то время найдено не было; на родине старух тоже не оказалось, и все поиски остались тщетными; в богадельне решили, что их земля проглотила. Я спросил, было ли в этих старухах что-либо необычайное; на это ключник ответил отрицательно и добавил, что это были две самые обыкновенные старые бабы.

Тем не менее событие имело в этом кругу такой вес и значение, что подлекарь и надзиратель, зашедшие в погреб во время нашего разговора, узнав о его предмете, тоже высказались по этому поводу. Мне пришлось таким образом еще дважды выслушать историю о двух убежавших старухах с различными дополнительными подробностями, которые были известны подлекарю и надзирателю. Так, последний рассказал, что шушуканье и болтовня матери Урсулы и матери Беты вертелись исключительно вокруг всяких бабьих россказней, в которых они были неисчерпаемы.

В рассеянности я раскрыл книгу, лежавшую на столе, и увидел знаменитую «Ясновидицу из Префорста»[3].

Я чрезвычайно удивился, так как заметил это же произведение и в двух других помещениях богадельни.

— Эге,— сказал я помощнику,— вы тоже занимаетесь здесь этими вещами? Это меня радует; мы могли бы в таком случае вечерком, когда вы кончите дела, поболтать об этом часок-другой в харчевне, как два специалиста, если вы сделаете мне честь быть моим гостем. Я наполовину доктор; но (бог ведает, как это случилось) у меня что-то не клеилось с рецептами, и я перешел на тайные, священные и мистические средства, чтобы по возможности вызвать проникновение высшего мира в наш мир. Парочка мерцаний, немножко сферической музыки или необъяснимый выстрел мне иногда удавались, не говоря уже о мелочах, вроде того, чтобы читать письма пупком или видеть сквозь толстые доски.

Но до подлинно больших дел, до настоящих связанных явлений срединного царства я не дошел, и потому я хотел направиться теперь к истинным мастерам, а именно в Вейнсберг, чтобы постигнуть самую суть.

Мне было бы особенно приятно, если бы я еще по дороге, в Вюрцбурге, встретил человека, от которого я мог

бы ожидать разъяснения и поучения в этой трудной области.

— Вы ошиблись во мне, сударь,— ответил подлекарь.— Я не занимаюсь ни духами, ни ясновидением. Когда целый день возишься с острыми и хроническими болезнями, вполне конкретными страданиями, вроде подагры, чахотки, хлороза, то не находишь времени ни для высшего, ни для срединного царства; я должен также сказать, что первое из них никогда не проникало в нашу больницу и что мы вполне удовлетворяемся хиной, исландским ягелем, ртутью и подобными лекарствами. Что касается нескольких экземпляров «Ясновидицы», которые вас, вероятно, удивили при посещении нашего заведения, то происхождение их довольно странное. А именно в один прекрасный день в богадельню была прислана целая дюжина таковых без всякого сопроводительного письма, и мы не могли никоим образом установить, кто сделал нам этот странный подарок — я говорю подарок, так как никто никогда не потребовал от нас платы. Какой-то неизвестный сунул пакет привратнику в руки и исчез.

Тут без всякой задней мысли у меня вырвался нелепый вопрос:

— Были ли еще в богадельне столь любезные вам старухи, когда аноним вручил вам это произведение?

Ключник, подлекарь и надзиратель призадумались и затем ответили единогласно:

— Нет, это было значительно позже; прошло уже несколько лет с тех пор, как старухи удрали.

ВТОРАЯ ГЛАВА

Первое знамение высшего мира

На другой день я отправился через Мергентгейм, Кюнцельсау, Эринген в Гейльброн[4]. Я прибыл туда, когда уже начинало темнеть.

— Далеко ли до Вейнсберга? — спросил я возчика, гнавшего по улице телегу.

— Два часа,— гласил ответ.

«Ого,— подумал я,— было бы странно, если бы я уже здесь на что-нибудь не наткнулся. Последние слабые проявления Вейнсбергского пандемониума должны доходить, по крайней мере, до этого места. Поэтому, Мюнхгаузен, держи ухо востро!»

В то время Мюнхгаузен уже больше не был образованным ребенком образованных родителей, а был юношей, мечтательным юношей, полным предчувствий и тоски по потустороннему миру. Я стал держать ухо востро — и действительно на кое-что наткнулся. Возле церкви св. Килиана течет в углублении родник, от которого Гейльброн получил свое название, так как некогда один швабский герцог исцелился его водой. Я спустился по ступеням между каменными перилами и присел на камень против труб, из которых бил источник. Вскоре я ощутил холод в нижней части тела, да и сверху тоже повеяло прохладой.

— Готово! — сказал я себе.— Вы уже здесь, духи? Я слышу ваше дыхание.

Я посидел еще некоторое время и почувствовал, что холод и веяние усилились и наконец превратились в настоящий ветер. Пощупав камень, на котором сидел, я обнаружил сырость, из чего заключил, что души усопших проявляют себя во влаге. Я направился в гостиницу, где уже были зажжены огни. По дороге ветер, свист и сырость еще увеличились, и стоявший в своей конторе гейльбронский экспедитор, стесненный рамками своей церебральной системы, сказал:

— Паршивая погода!

В гостинице я ел серую куропатку с салатом. Куропаток они сервируют там очень мило: с необщипанной головой и бумажным воротником на шее. Я расспросил о Вейнсберге старшего кельнера, показавшегося мне разумным человеком, и узнал, к своей радости, что там теперь царит большое оживление и что срединное царство разгулялось вовсю.

— Нет ли у вас здесь комнаты с привидениями? — спросил я по секрету.

На это старший кельнер ответил, что ввиду все растущего спроса со стороны любителей из приезжих он давно советовал хозяину устроить номер с духами, но тот отказался, так как считает, что это преходящая мода и что такая потусторонняя комната может повредить репутации его заведения.

— Поэтому я завел по собственному почину помещение, где по крайней мере по ночам немного стучит и шуршит, и если вы прикинете к счету лишний гульден, то оно к вашим услугам,— шепнул он мне.

Я с радостью согласился, но должен был обещать ему блюсти это в тайне.

— Если история с комнатой выйдет наружу,— сказал он,— то я лишусь должности или принужден буду уплатить такой налог, какого ни один дух не окупит. Раньше я вел небольшую торговлю мылом, зубными щетками, туалетной водой и патентованными бритвами, как это принято в гостиницах, но налоги меня душили, а потому я бросил это дело и завел в качестве негласного приработка комнату со стуками.

Мы прошли в заднюю часть дома и оттуда направились через темный проход, где стоял всякий скарб и винные бочки, в маленькую пристройку, в которой, вероятно, помещалась и прачечная, так как из ее открытых окон доносился запах мыла. Там старший кельнер отпер одну из комнат, где оказался великолепно застоявшийся воздух. Он хотел извиниться за духоту, но я прервал его и сказал ему, что он не знает своего ремесла. Именно такие, отдающие плесенью и удушливые испарения являются самой подходящей атмосферой для духов.

Все там было, как полагается в помещении, в котором обосновались кернбейсер-эшенмихелевские[5] чудеса: стены выглядели, как трухлявые рожи демонов, а на потолке духи оттоптали штукатурку. Я отпустил старшего кельнера, повесил платье на гвоздь, почувствовал после хорошего ужина знаменательное действие нервов живота, а после этого способность к высшему созерцанию, потушил поэтому свечу и налетел в темноте на весьма грубого духа, который на ощупь походил на угол стола. Затем я улегся в постель и некоторое время все было тихо. Странным казалось мне только то, что голова моя уходила все ниже, а ноги поднимались кверху. «Ага, беспокойные грешные твари,— подумал я,— вы вытаскиваете подушку оттуда, где ей полагается быть, и суете ее туда, где она вовсе не у места». Но мне не удалось поразмыслить над этими штуками демонов, так как внезапно сквозь дверную щель замерцал свет; казалось, что кто-то поднялся по лестнице рядом с моей комнатой и затем улегся спать надо мной. Я крикнул громким голосом:

— Если ты не вейнсбергский дух, а кухонный мужик, то откликнись!

Никто, однако, не откликнулся; только вскоре я услышал, что дух страшно храпит. Затем снова наступило молчание, длившееся около часа, во время которого я не закрывал ни глаз, ни ушей, как заяц. Вдруг я услышал какой-то сыплющийся звук у стены, где висело мое

платье, а затем — падение. Одновременно я почувствовал, как поднялась пыль.

— Тише, демоны! — крикнул я.— Довольно для первого знакомства. Вы объявляли о себе дождевыми каплями, вытаскивали подушку из-под головы, топтались, как кухонный мужик, и подымали пыль, а теперь оставьте меня в покое, ребята, мне хочется спать.

Действительно, духи присмирели после этого окрика, и я заснул. Но проснулся я еще до рассвета от тяжелого удушья, вызванного испарениями демона, равно как и тем, что я лежал головой вниз, а ногами кверху. Кровь прилила к голове, и мне казалось, что я сейчас задохнусь, но я продолжал лежать тихо и подумал: «Если ты задохнешься, то задохнешься как жертва высших познаний». Однако рассвело, прежде чем я задохся, и я увидел еще более поразительное чудо, чем если бы духи вытянули у меня подушку из-под головы. По-видимому, они перевернули меня во время сна. Я лежал головой к ногам, а ноги покоились на подушке. Человек, стесненный рамками своей церебральной системы, сказал бы, что я вечером улегся шиворот-навыворот. Я встал и увидел, что слышанный мною звук произошел от падения моего платья, которое духи сбросили со стены вместе с гвоздем. Вытянуть гвоздь им не стоило больших усилий, так как стена, как я уже сказал, была довольно трухлявая.

Я выпил кофе, а после, за вторым завтраком, бутылку аффенталера и почувствовал, что вера моя достаточно укрепилась; затем я дал старшему кельнеру условленный гульден, обещал отрекомендовать всем любителям высшего мира комнату возле прачечной с самой лучшей стороны и покатил навстречу голубым горам, между которыми лежит Вейнсберг.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Магический портной

Недалеко от Вейнсберга на узкой дороге, проходившей по долине, откуда ясно виднелся Вейбертрейе, я заметил человека, который, покачиваясь, шел перед моей коляской; его можно было принять за пьяного, так как он шатался из стороны в сторону самым удивительным образом и, после некоторых попыток удержать почву под ногами, свалился в овраг. Его положение среди подорожников, крапивы и чертополоха не было положением

обыкновенного человека, так как он упал совершенно симметрично, а именно: спина и голова оказались на середине, а руки и ноги по краям оврага, так что меридиан проходил через его центр. Это необычайное зрелище особенно возбудило мое сочувствие, я сошел с коляски, вытащил его оттуда с помощью возницы и решил, что в Вейнсберге, вероятно, найдется место, где он сумеет проспаться.

Наконец мы достигли цели, и доктор Кернбейсер, которому я был рекомендован, принял меня очень любезно.

— Хорошо, что вы приехали,— сказал он,— а то здесь так много дела, что мы вдвоем не справляемся; нам нужны молодые силы, чтобы успешно бороться с духами. Сегодня у нас опять совершенно сумасшедшая возня и срединное царство разгулялось вовсю. Это такие перекаты, грохоты, стуки, громы, переливы, топоты, визги и кутерьма, что не знаешь, с чего начать. Я от всего сердца готов помочь ближнему в невидимом мире, но иногда это переходит границы. Один хочет спастись, другой закопал клад, третий уничтожил тайную книгу (при этом солнечные диски падают, как зрелые смоквы), четвертому надо прочитать молитву, пятому сыграть на рояле. У меня и моего друга Эшенмихеля голова кругом идет.

Я просил его успокоиться и обещал им со своей стороны всяческую помощь.

Мы вошли в дом, примыкавший своим уютным садом к городской стене. Внутри нас окликнул Эшенмихель, который делал пассы над сомнамбулой и от усердия даже со мной не поздоровался:

— Дюр придет?

— Нет,— ответил Кернбейсер,— пока что я привел Мюнхгаузена.

— Кто такой Дюр? — осведомился я.

— Магический портной, которого мы привлекли к себе в помощники,— возразил Кернбейсер.— Сатанинский парень (прости мне, господи, мои прегрешения и эти слова)! У него больше власти над демонами, чем у нас обоих, вместе взятых; он так их честит и приводит к резону, что сердце радуется. Дюр должен был нам помогать и велел сообщить, что явится сегодня. Господь осенил ему душу самым поразительным образом и вооружил необыкновенными силами; он стоит в центре явлений и видит оттуда радиусы, расходящиеся к периферии, где они образуют шелуху, кору и форму так называемого

внешнего мира, над которым витают небесные облака, как ищущие и любящие матери. Эти последние стремятся мелким дождем проникнуть в центр, чтобы небеса и существа слились воедино, взаимно растворившись и соединившись навеки, и...

— Да не болтай же столько, Кернбейсер,— прервал его Эшенмихель,— я из-за твоей трескотни не слышу, что говорит эта рохля, а она только что начала рассказывать внутренним языком про тайну светопреставления.

— Я же должен описать Дюра Мюнхгаузену! — воскликнул вяло, но с раздражением Кернбейсер.

— Ты всегда мешаешь моему вдохновению. Теперь созерцание нарушено, силы подорваны и я больше никуда не гожусь на весь день. Вы не встречали по дороге Дюра?

Я только что собрался ответить отрицательно, как вошел извозчик и спросил, что делать с мертвым человеком, найденным на дороге. Я попросил Кернбейсера отвести какое-нибудь помещение для моего подопечного. Он охотно согласился, вышел со мной и с извозчиком, чтобы помочь нам, но, увидев человека, который лежал замертво, в отчаянии всплеснул руками и крикнул:

— Да это же Дюр! Да это же Дюр! Да это же магический портной! О небо, опять мне приходится узреть тебя в этом состоянии, Дюр! Видите ли, у этого удивительного человека есть одна-единственная слабость,— продолжал он, обращаясь ко мне.— Он напивается через день, чему, впрочем, виною его чувствительная нервная система. В таком состоянии он не может использовать свои редкие магические таланты, и, таким образом, половина его жизни потеряна для высшего мира. О, Дюр! Дюр! Дюр! Но что поделаешь! Снимите его с коляски и положите на солому, пусть проспится.

Магического портного, которого я, ничего не подозревая, доставил из придорожного оврага в главную квартиру духов, водворили в сарай; я же вернулся к чудотворцам. Вскоре затем мы сели обедать без всяких предварительных чудес.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Гергесинец. Внутренний язык

В этом первом обеде кроме домочадцев принимал участие человек с дикими глазами, про которого я слыхал, что он по профессии бесноватый и время от времени

хрюкает. Это было вполне естественно, так как в нем засел один из бесов, которые некогда вошли в гергесинских свиней. Во время короткого пути, который бес проделал в этом обиталище до озера, куда тогда бросилось стадо, ему так полюбилась свинская жизнь, что он по временам продолжал испускать соответствующие звуки. Кроме того, он требовал свиного корма, в особенности дробленого ячменя.

— Но мы ему не даем, и он должен есть обыкновенную пищу, отчего он часто жалобно ревет и дергается,— сообщил Кернбейсер.

— Я слышал от него удивительнейшие откровения,— сказал Эшенмихель голосом ясновидца.— Только время для этих сообщений еще не пришло.

— Как вы себя чувствуете сегодня, Похгаммер? — спросил он одержимого.

— Пока еще недурно, г-н доктор,— ответил тот вежливо и голосом обыкновенного человека,— к сожалению, это ненадолго, он уже слегка клокочет под ложечкой; что-то ему опять втемяшилось в голову... ай... он поднимается... он сидит в глотке... ой! ой! ой!

Он захрюкал и в то же время кричал резким голосом:

— Отрубей! Ячменя! Отрубей! Ячменя!

Эшенмихель молился, Кернбейсер заговаривал гергесинца бессмысленными виршами, а остальные сотрапезники спокойно продолжали есть, так как подобные явления вошли здесь в обиход и никто больше не обращал на них внимания.

В это время вошел слуга, которого я видел во дворе, и сказал:

— Дюр проснулся и просит пить.

— Скажите, пожалуйста, какие барские замашки! — возмутился Кернбейсер.— Пусть сначала притащится сюда и исполнит свою работу, а там мы посмотрим.

— Да, пришли сюда магического и скажи ему, что гергесинец сегодня особенно расхрюкался,— добавил Эшенмихель.— О, небесные силы, какой мрак, должно быть, царит в преисподней. Спаси нас, господи, от пропасти, в которой ревет Астарот и Вельзевул описывает свои огненные круги!

Тут неуверенной походкой вошел магический портной; глаза у него были красные, и он облизывал языком высохшие губы. Кернбейсер и Эшенмихель поздоровались с ним за руку и предложили заклясть беса-гергесинца.

— Этого мы живо утихомирим,— сказал портной и осушил большой бокал молодого вина. Он засучил рукава и расправил худосочные члены, а затем, подойдя к одержимому, поднес сжатый кулак к его хрюкающему рту и заорал: — Замолчать немедленно! Я, Дюр, приказываю тебе силой своей магической власти. Что это за штуки такие, черт свинячий? Не можешь ты, что ли, говорить как следует или по дороге в озеро ты забыл свое бесовское наречье? На твоем месте я стыдился бы подражать свиньям. Замолчать немедленно, я тебе приказываю! Как? Ты не питаешь благодарности за то, что тебе когда-то разрешили выбрать квартиру по твоему вкусу? Проваливай моментально, или я буду лупить Похгаммера, пока ты этого не почувствуешь!

После этого обращения и в особенности после последней угрозы гергесинский бес стал тише, хрюканье перешло в поросячий писк и затем постепенно совсем затихло вместе с криками об отрубях и ячмене. Похгаммер отер пот со лба, протянул магическому портному руку и сказал:

— Покорнейше благодарю, г-н Дюр, он сидит теперь боязливо внизу и рыдает, как ребенок.

— Все они таковы, высокомерны и наглы,— ответил магический портной,— но стоит как следует их распушить, и они сплющиваются, как взрезанный рыбный пузырь. Дай-ка выпить!

Похгаммер потребовал жаркого, которое его миновало во время процедуры с изгнанием беса, и стал уплетать за двоих.

— А гергесинцу что-нибудь перепадает из этого? — спросил я.

— Боже упаси,— ответил Эшенмихель,— бесы не вкушают земной пищи; я даже полагаю, что эти крики об отрубях и ячмене надо понимать символически, по крайней мере, если бы Похгаммер их действительно проглотил, то до демона дошел бы только, так сказать, дух свиного корма.

Между тем Кернбейсер делал магическому портному ласковые упреки.

— О, Дюр,— сказал он,— такой выдающийся человек и такая распущенность! В какие глубины ты опять скатился!

— Не помню, куда скатился,— отвечал магический портной,— в овраг или в глинище.

— В овраг, уважаемый учитель,— сказал я.— Счаст-

лив с вами познакомиться и очень рад, что тотчас же смог оказать вам маленькую услугу.

— Вы, чудаки, думаете, что наш брат может быть постоянно трезвым и умеренным и при этом творить великие вещи,— сказал магический портной.— Нет, это не так. Экзорцизм и заклинания страшно действуют на нервы, и если после этого не залить за галстук, то скоро скапустишься. Мне сегодня пришлось в деревне, что за лесом, заговаривать работницу, в которую засел швед из Тридцатилетней войны, убийца и поджигатель. Негодяй хотел во что бы то ни стало знать, сгорела ли в подожженном им доме, расположение которого он сам не мог определить, утерянная им кожаная фляжка; он-де не может обрести покоя, покуда ее не сыщет. Это меня страшно утомило, так как сначала швед не поддавался ни на какие резоны. После этого я принужден был подкрепиться, а от подкрепления я потом несколько ослаб.

По окончании обеда я вместе с Кернбейсером осмотрел все заведение. В имевшихся там комнатах сидело или спало шесть-семь ясновидящих женщин; меня привели с ними в контакт, и я получил весьма важные разъяснения самого таинственного характера. Так, например: когда мне подарили первые часы, как зовут большую собаку, оставленную мною дома, сколько я остался должен хозяину гостиницы в Ульме. В некоторых комнатах раздавались шарканье, похлопывание, шагание, щелканые, стуки, кроме того, шумел дождь за оконными занавесками и от времени до времени происходили мерцания, а также шуршание, словно кто-нибудь бросал в стену бумагу или известку. В общем, были поставлены на ноги три мужских и два женских духа; впрочем, простите, был еще и ребенок, который при жизни уронил бутерброд и не мог успокоиться по этому поводу в загробном мире. Первый дух носил черный кафтан, второй нечто вроде балахона, третий был в сапогах; от этого последнего и исходил топот. Я уже запамятовал, в чем были женские духи, но у ребенка носик был именно в том состоянии, несмотря на которое Вертер некогда поцеловал младшего питомца Лотты. Столь натурально течет жизнь в срединном царстве. Кто в сей юдоли носил сапоги, тот не напялит ботинок и в царствии небесном и т. д. Впрочем, духи не причиняли нам никакого зла. Страдали от них только ясновидицы, у которых духи требовали помощи. То же происходило и с ребенком, который, жалобно крича, требовал оброненный при жизни бутерброд.

Когда мы пришли во двор, я услыхал, как слуга сказал служанке:

— Шнукли букли корамзи квич, дендроста периалта бумп, фирдейзину мимфейстрагон и гаук лаук шнапропэн?

Служанка ответила:

— Жратванидум плутглаузибеест, пимпле, тимпле, симпле, фериауке, мериокемау.

Я понимал и коз, и англичан, но это наречие оказалось мне не по силам. Спросив, я узнал, что это внутренний язык Ясновидицы из Префорста, праязык человечества, который она открыла во время экстазов. «Мы пользуемся им, когда хотим поговорить по душам о вещах, близких нашему сердцу».

— А что слуга сказал служанке?

— Он спросил: «Оставила ли ты мне клецки?» А она ответила: «Да».

Я должен был высказать свое мнение относительно этого языка и заявил, что, по-моему, некоторые корни родственны тем, которыми пользовался Асмус[6] на аудиенции у японского микадо. Кроме того, язык кажется мне несколько многословным.

— Да, он мог бы быть покороче,— ответил Кернбейсер.— Зато внутреннее или исконное письмо человечества, которое она тоже открыла, отличается большой сжатостью. Вы его знаете?

— Знаю, оно ведь приложено к книге,— сказал я.— В настоящее время я работаю над статьей, в которой защищаю его от нападок насмешников, утверждающих, что оно выглядит так, будто его куры нацарапали. Я объясняю также тонкую, хотя и вполне отчетливую разницу между префорстским санскритом и куриной письменностью.

Кернбейсер обнял меня и сказал:

— В вашем лице мы нашли истинного друга и брата.

Эшенмихель, прокравшийся за нами, отвел его в сторону, и я слышал, как он сказал ему вполголоса:

— Ты всегда торопишься. Мы должны испытать его, прежде чем принять в нашу среду.

Кернбейсер покачал головой по поводу подозрительности Эшенмихеля, но принужден был подчиниться, и оба доктора повели меня в сад. Там мы уселись в беседке, и экзамен начался.

Я испытывал некоторый страх перед предстоящим экзаменом, так как не очень доверял своим познаниям

в этой области. Тем не менее он сошел довольно гладко. Правда, на вопросы Эшенмихеля, как высоко небо и как глубок ад, сколько есть небесных сфер и сколько кругов в аду, какие существуют виды демонов и как они выглядят, я дал только приблизительные ответы, так как собирался изучить это именно здесь. Зато с Кернбейсером дело обошлось лучше. Он спросил меня:

— Откуда происходит в человеке всякое зло: дурные наклонности, высокомерие, ложные понятия и поверхностные знания?

На это я ответил чистосердечно:

— Из головы.

Следующий вопрос:

— Каким образом проникаем мы в суть и смысл вещей, узнаем, что творится на небе и на земле, и претворяемся в сосуд божий?

Ответ:

— Через живот.

После этого экзаменаторы заявили, что в моих познаниях имеются пробелы, но что я уверовал, а это самое главное. Затем меня заставили присягнуть на ганглиевой системе и приняли в члены Вейнсбергского Союза Духов. Эшенмихель сообщил, что задумано весьма важное предприятие, о котором я узнаю в один из ближайших дней. Так как духи несколько притихли, то я в радости сердца своего стал рассказывать про разные мирские происшествия, случившиеся со мною в дороге, и дошел также до Вюрцбурга, богадельни и двух сбежавших старух. Но об этом мои учителя и слышать не хотели. Они резко оборвали мой рассказ и заявили, чтобы я никогда не упоминал о Вюрцбурге, так как место это им ненавистно и связано с отвратительными воспоминаниями.

ПЯТАЯ ГЛАВА

Небо и ад долго не решаются вступить в конфликт

В следующие дни я познакомился ближе с характерами обоих докторов. Кернбейсер был старый добрый малый, который временами сам посмеивался над демонами, усердно подливал вам и старого, и молодого и при этом рассказывал комические анекдоты о том, какую собачью возню подымает порой эта бесплотная шатия. Он мог так смеяться над этим, что у него спирало дыха-

ние. Он мне очень понравился. В высшем мире должен быть запас всего, в том числе анекдотов и шуток.

Эшенмихель, напротив, был сдержаннее, и в его виде было что-то подстерегающее. Он никогда не глядел прямо, а только по сторонам или исподлобья. Он всегда находился в экстазе, и я не видал ни разу, чтобы он посолил кусочек мяса, не закатив при этом глаза. Не будь он пророком, его легко было бы принять за шарлатана, но так как он был пророком, то, разумеется, не мог быть шарлатаном.

Вскоре он сообщил мне план, о котором говорил раньше и который состоял ни много ни мало как в том, чтобы обратить духа.

— Это еще величественнее,— воскликнул я,— чем научить нравственности Тригеева Коня и Голубую Мечтательницу.

— Всякое знание и занятие имеет свои этапы,— возразил он.— Сначала было достаточно простого ясновидения и установления того, что происходит в срединном царстве. Затем к нашей работе присоединился магический портной со своими мощными дарованиями. Он уже имел силу над духами, заклинал их и успокаивал. Но этим дело не может ограничиться. Мы, как уже сказано, должны приобщить к благочестию одно из тех существ, которые витают вокруг нас, как комары вокруг огня. Таким путем мы укрепимся в стременах и можем ехать дальше, исходя из этой третьей стадии тауматургии.

— Значит, водворив духов на небо,— воскликнул я, удивленный этой идеей,— мы потихоньку примемся за легко осужденных, к которым тоже найдется лазейка из срединного царства. А начав с них наше миссионерское дело, мы пойдем все дальше и будем спускаться ниже и ниже.

— Мы этого уже не увидим,— сказал Эшенмихель, закатывая глаза.— Но нашим потомкам суждено превратить в христианина даже самого дьявола.

Кернбейсер расхохотался так, что долго не мог остановиться, и затем воскликнул:

— Жаль, что тебя уже не будет тогда на земле, брат Эшенмихель. Если бы дьявол удостоился божьей милости, ты мог бы стать лейб-медиком милостью дьявола.

При этом он стал приводить разные возражения против такого прогресса тауматургии, доказывая, что не

следует так глубоко засовывать руки в потусторонний мир, ибо неизвестно, что там раскопаешь, а духи остаются духами. Но Эшенмихель накричал на него и крепко пригрозил.

— Вот, всегда так,— ответил Кернбейсер надувшись.— Если бы ты мог, то повесил бы или колесовал бы всякого, кто тебе возразит.

— Глубоко ошибаешься во мне,— сказал Эшенмихель.— Я сама кротость.

— Да, в духе инквизиции,— прошептал, отвернувшись, Кернбейсер.

Тем не менее он уступил. Как всегда, когда его коллега начинал горячиться. Вообще, он настолько же отличался мягкостью, добродушием и непоследовательностью, насколько тот — рвением, суровостью и прямолинейностью, составляющими необходимую принадлежность ясновидения и экстаза.

Таким образом, мы втроем приступили к выполнению плана. Прежде всего необходимо было достать самый объект, т. е. духа, подлежащего обращению. К сожалению, среди запасов заведения не оказалось ничего подходящего.

Начать с гергесинца, духа по существу своему толстокожего, казалось нам малоподходящим, так как неудача в самом начале могла скомпрометировать все дело. Трудно было также использовать и остальных, т. е. двух мужских духов, двух женских и одного ребенка. Во-первых, потому, что они были только, так сказать, знакомы домами с ясновидящими, а не квартировали в них. Во-вторых, потому, что не заключали в себе ничего опасно-демонического: головы их были заняты всякой ерундой вроде шведской походной фляги или оброненного бутерброда.

Мы ломали головы, как найти выход из положения и раздобыть крепкого, хотя бы издали подпаленного адским огнем духа.

Эшенмихель и я очень жалели о том, что в этих трудных обстоятельствах мы были лишены помощи магического портного. Но этот великий человек почти все время валялся в сарае на соломе из-за единственного недостатка, которым наградила его природа. Что касается Кернбейсера, то он не мог нарадоваться на портного, утешал нас, когда мы жаловались, и говорил:

— Успокойтесь, Дюр, как и Вильгельм Телль, не годится для совета. Он человек дела. Как только мы

раздобудем поганый дух, никто не сравнится по работе с этой ненасытной глоткой.

Я подумал про себя: «Ребячьи головы этих швабов пригодны только для изобретений, но чтобы пустить дело в ход, создать для него правила, порядок и форму,— для этого необходим северогерманский ум. Разве достаточно того, что духи растут в Вейнсберге и вокруг него, как дикий подорожник? Разве нельзя было бы их культивировать, разбить площадь на участки, взращивать их, как спаржу на грядках, и затем вытаскивать один за другим по мере надобности? Благослови, господи, мои родные нивы на Эльбе, Одере и Везере! Эти южане никогда не поумнеют. Ты должен спасти здесь честь Северной Германии и довести дело до конца.

Поэтому я склеил из префорстских писаний, из госглатбахской ясновидицы и аналогичных предметов нечто вроде духоловки, наподобие обыкновенной мышеловки, и отправился с нею в разные отдаленные места: на кладбище, за старые стены, в обвалившиеся погреба и даже в интимные помещения. Там я расставлял свою ловушку и бормотал следующее заклинание на праязыке: «Руммельдебуммельдефиммельдепипельдегуссельдебуссельдекиммельделюммель-швипс!», что не может быть точно передано по-немецки, но что описательно означает: «Милости просим». Я часами сидел возле ловушки, но ничего не попадалось.

Ввиду того что все стремления руководителей сосредоточились на одном этом пункте, заведение стало скоро приходить в упадок. Хрюкание гергесинца сделалось реже, многие ясновидицы потихоньку удалились, вместе с ними пропали трое мужских духов, оба женских и половина детского, так как в срединном царстве и полдуха может иметь самостоятельное существование. Смолкли шумы, стуки и шорохи, и только половина детского духа, оставшаяся верной дому, еще изредка похныкивала. Но уже можно было предвидеть день, когда замрет и этот звук и вейнсбергское заведение совсем останется без духа.

При сих затруднительных обстоятельствах услышал я однажды из уст Кернбейсера весьма странные слова. Я сидел, спрятавшись под бузиной за выступом городской стены, и караулил подле своей духоловки. Кернбейсер вошел в сад, зашагал взад и вперед и наконец воскликнул:

— Я говорю и всегда говорил, что она приведет

нас к погибели. Она во всем доходит до крайностей!

Тут он меня заметил, страшно испугался и спросил, понял ли я его слова. Когда я ответил отрицательно, он вздохнул с облегчением и объяснил, что ему вспомнился анекдот.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Узкогрудая швея

Когда я с духоловкой в кармане направлялся по улицам к воротам города, я замечал у маленького домика, обвитого диким виноградом, женщину, которая, если только мало-мальски позволяла погода, сидела у дверей и шила на вольном воздухе. Она выглядела очень бледной и держалась скрючившись, даже когда поднимала взгляд от работы. Глаза ее сияли своеобразной синевой, и во всем ее существе было какое-то увядание, как бывает у цветов, предназначенных для солнца, но принужденных распуститься в тени. Я завязал с ней разговор и узнал, что она бедная швея, которая с детства больна эпилепсией и, кроме того, довольно давно страдает одышкой. А так как ей душно в комнате, то она по возможности работает на воздухе.

В ответах этой особы по временам проскальзывала какая-то боязливость, не оправданная никакими внешними причинами. Когда я однажды настойчиво попросил ее сказать мне, почему она так часто вздыхает без всяких оснований и вкладывает такой страдальческий тон в самые обыкновенные слова, то она сначала уклонялась, но затем открыла мне, что не может найти покоя с тех пор, как в кернбейсеровском доме усилились разные явления. Россказни ее друзей и кумушек о тамошних делах вселили в нее страх, как бы и с ней не случилось нечто подобное. Мысль об этом не дает ей покоя ни днем, ни ночью, и она беспрестанно молится, чтобы господь не довел ее до такой беды.

— Разве вы чувствуете какие-нибудь такие приступы? — спросил я.

— Ах, нет,— отвечала она.— За исключением моих болезней, у меня все в порядке, и я знаю, где нужна ажурная кромка, а где двойной рубец. Но у нас столько говорят об этом, и они будто бы витают здесь повсюду, а потому возможно, что они как-нибудь усядутся и на бедную швею, раз ей приходится так много работать на

воздухе. Они могут налететь и сама не знаешь как, в особенности если у вас был отец, который не очень чтил слово божие. Поэтому, чтобы уберечься, я на досуге всегда читаю Библию. Будь у меня деньги и возможность найти работу в Рейтлингене, я бы уехала к тетке и совсем бы покинула эту местность.

Около этого времени, когда больная швея доверилась мне, я как-то зашел в сарай навестить магического портного. Он был на этот раз трезв и восседал на соломе.

— Учитель,— сказал я ему,— неужели вы никак не могли бы провести несколько дней подряд... в опорожненном состоянии?

— То есть без мухи? — спросил он.

— Вы угадали мою мысль,— ответствовал я.

— Если бы дело шло о царствии небесном, то я бы попробовал. Разумеется, при условии, чтобы меня после этого оставили совсем в покое на долгое время,— сказал он.

Я изложил ему тяжкое положение, в котором мы находились, и объяснил, что он один может нам помочь.

Его честолюбие было задето. Он встал, держась довольно устойчиво на ногах, помахал изо всей силы кулаком и воскликнул:

— Уж я разыщу вам этого стервеца! Разве только сам черт вмешается! Я отрекусь от выпивки, пока мы его не изловим и не узнаем, как взяться за обращение. За царствие небесное я все могу, только я ставлю условие: пусть мне пока что дадут столько, сколько требуется, чтобы собрать силы и чтобы соки не свернулись. Поднесите мне полуштоф старенького, г-н фон Мюнхгаузен.

Я побежал в дом, сказал Кернбейсеру и Эшенмихелю, что нам засветила звезда надежды, но что они должны для этого предоставить мне магического. Затем я принес последнему требуемый полуштоф, который он осушил единым духом.

После этого к нему вернулись все его способности.

— Пусть никто не следует за мной! — крикнул он.— Прежде всего я обыщу Вейнсберг и посмотрю, не запрятался ли тут какой-нибудь незнакомый бес.

Кернбейсер и Эшенмихель вошли в сарай.

— Дайте на выпивку,— заявил магический портной.

Кернбейсер дал ему гульден и сказал:

— О, Дюр, удивительный человек, не напейся только опять и не упусти великого дела, раз уж оно должно свершиться по желанию моего друга.

— Что вы обо мне думаете! — воскликнул магический сердито.— Клянусь царствием небесным: или вы меня больше не увидите, или я вернусь с демоном.

Он собрался уходить, но Эшенмихель стал осыпать его мироточивыми благословениями.

— Бросьте болтовню! — крикнул магический портной.— Здесь нужны кулаки, а не словесность.

После его ухода мы остались в сарае, объединившись в искренней молитве за счастливый исход этой миссии. Я молился на праязыке, Эшенмихель вставлял в свою молитву проклятия по адресу противников, а Кернбейсер закончил свое обращение к богу следующими словами: «Анафемски любопытный казус: вся надежда высшего мира опирается на одного портного».

— Твой юмор, твой кощунственный юмор погубит нас! — напал на него Эшенмихель.

— Что нас погубит, это покажут последствия,— возразил Кернбейсер.— Я сказал и остаюсь при своем: не надо перебарщивать. Срединное царство было в полном порядке и превосходно управлялось, а теперь на него легло непосильное бремя. Посмотрим, что из этого выйдет и кто будет платить за разбитую посуду.

— Замолчи! — крикнул Эшенмихель.

— Я уже замолчал,— возразил Кернбейсер.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Кузнец или магистр? — вопрос, обращенный к вам, о небесные силы!

Прошло три дня, в течение которых мы ничего не слыхали о магическом, кроме того, что нам рассказывали люди, время от времени заходившие в заведение. Они передавали, что он суется во все дыры и норы, но, побыв там немного, выползает на свет божий и порою бормочет про себя: «Нет ни черта!»

На четвертый день он исчез из Вейнсберга и, согласно сообщению странствующего эгингенского торговца, продававшего в городе кружева, его видели шествующим по направлению к горам. Мы должны были, таким образом, положиться в дальнейшем на небеса, и я часто шатался по улицам городка, так как за прекращением деятельности духов мне там больше нечего было делать.

В одну из таких прогулок я обратил внимание на то, что страдавшая одышкой швея не сидит больше перед своим домом.

— Девица Шноттербаум больна? — спросил я соседа.

— Нет,— ответил тот.— Но у нее, вероятно, какое-то горе, так как мы слышим, что она весь день вздыхает в своей комнате и сама с собой разговаривает.

— В таком случае я пойду к ней, чтобы ее утешить,— сказал я.

— Это невозможно,— возразил сосед.— Она заперлась и даже заткнула замочную скважину.

В это мгновение швея подошла к окошку, посмотрела на нас жутким взглядом и бросилась в самый отдаленный угол комнаты.

— С ней что-то случилось,— сказал я.— Надо постараться ей помочь.

Я вошел в дом.

— Откройте, девица Шноттербаум,— сказал я после того, как несколько раз тщетно нажал ручку двери.

— Нет! — крикнула она.— А то он тоже войдет и сядет на меня.

— Кто — он? — спросил я.

— Мой отец, магистр,— ответила она.— Сейчас он не может проникнуть, так как окна и двери заперты, а замочная скважина заткнута пробкой. Но как только я чуть-чуть открою, так он сейчас и влезет.

— А вы его видели? — спросил я.

— Нет,— воскликнула она.— Но Дюр его видел. Каждый раз, как этот противный урод проходил мимо дома, он бросал на меня такие страшные взгляды, что у меня душа в пятки уходила. А вчера он рявкнул на меня: «К тебе приближается! Берегись!» А тут еще мои прежние страхи... Нет, несомненно, он бродит кругом и сядет на меня, и тогда могут открыться тайны, которые сделают меня несчастной на всю жизнь. О, бедная ты, Анна Катарина Шноттербаум! Чем ты это заслужила?

Так как все мои попытки войти оказались тщетными, я вернулся к соседу и попросил его объяснить эти непонятные речи. Он не мог мне сказать, что именно произошло между портным и швеей. По его словам, этот магический дядя (как он его называл) может взглянуть на человека так, что у того в глазах помутится.

— Истинное несчастье, что здесь развелась эта нечисть,— сказал он.— Нельзя быть спокойным, что у тебя в семье не заведется какой-нибудь дух, который возьмет и выболтает сдуру такие вещи, которые публике и знать

не следует. Раз уж тебя похоронили, то и всему делу конец. Если же после этого опять всплывают старые истории, то от этого не бывает ничего, кроме процессов, беспорядка и вражды. Вот я, к примеру, бакалейщик, и получал от своего дела дозволенный коммерческий прибыток. Вдруг на том свете, где делать-то нечего, меня охватывают всякие сомнения и я начинаю шуметь на складе и в лавке, сбрасываю ящики, раскрываю ставни, так что дождь соль подмачивает, делаю своим наследникам неприятности и вызываю угрызения совести — что же тут хорошего? Правительству следовало бы обратить на это внимание и выгнать отсюда все срединное царство, вместе взятое.

Вся эта болтовня, исходившая из односторонней деятельности его церебральной системы, мне наскучила, и я настойчиво попросил его рассказать подробнее про девицу Шноттербаум, ее отца и ее тайны, на которые она намекала в прежних наших беседах.

— Отец ее был магистр, который носил еще рыжий парик. Не скрою от вас, что она внебрачное дитя: старик спутался со служанкой, когда был прецептором у канонисс. Это был грешный, легкомысленный человек, который издевался над всем и не уважал даже слова божьего, за что люди считали его атеистом и избегали. Его уволили из-за скандала со служанкой, а также за безбожные речи. После этого он много странствовал, совал нос повсюду и здесь, и в других местах и скудно кормился своими писаниями. Но с Анной Катариной он поступил честно, взял ее на старости к себе, чтобы она стирала ему и готовила. Так как та с детства была очень благочестива, то кощунственные речи старика, от которых он не исправился до конца своей жизни, причиняли ей много горя. К тому же он перед кончиной впал в большое беспокойство, как это всегда бывает с дурными христианами, когда смерть начинает точить косу. Он скончался без причастия. Все это дочка его, Анна Катарина, приняла близко к сердцу и тотчас же после его кончины решила, что он не обретет блаженства. Кроме того, он обременил ее той самой тайной, на которую она намекает. Никто не может выведать у нее, в чем заключается этот секрет, но она говорит, что ни одна душа об этом не ведает и что вся Швабская земля изумится, когда он обнаружится. Часть своего открытия ее отец сделал во время странствований, а другую здесь, в Вейнсберге, в заведении Кернбейсера. Он изложил тайну на

бумаге и назвал это своим завещанием. Оно хранится в запечатанном виде, но где? Этого она не хочет или не может сказать. В последнее время она сделалась по отношению к нам очень молчалива, вероятно, потому, что ее пугали частые расспросы.

Тут в наш разговор вмешался третий человек, который пришел со стороны городских ворот и оживленно закричал нам:

— Слышали новость? Слышали новость? Не будь эгингенцев, вы бы в жизнь свою не узнали ничего нового! Дюр сидит наверху в Чертовой Кузнице и стучит так, точно еще сегодня должен изготовить двенадцать пар подков. При этом он на чем свет стоит поносит духа, которого держит на наковальне.

— Что все это значит и что такое Чертова Кузница? — спросил я.

— Это старая разрушенная мастерская, в которой уже несколько столетий никто не работает,— ответил сосед.— Говорят, что она принадлежит кузнецу, который умер, отягченный злодеяниями. Последний кузнец, пренебрегший разговорами и поселившийся в этой развалине, так перепугался, что даже бросил там свой инструмент и убежал.

— Ну, слава тебе господи! — воскликнул я.— Теперь магический, наверное, нашел выход из положения! Не хотите ли, друзья, проводить меня в Чертову Кузницу?

Эгингенец отказался, сославшись на свои кружевные дела, но сосед выразил согласие сопровождать меня, и мы пустились в путь. По дороге, узнав, в чем дело, к нам присоединилось еще шесть-семь уличных мальчишек.

Мы поднялись на гору и, оставив за собой откос с виноградниками, очутились в дикой, пустынной местности, где после трудного карабкания по камням и обвалам увидели группу жалких хижин, именовавшуюся селом. Мой спутник указал несколько в сторону на пихтовую рощу и сказал, что там лежит Чертова Кузница.

Между деревьями было очень темно. Мрачная трясина, застоявшаяся посреди площадки между высокими кучами желтых пихтовых игл, не отражала ничего. За ней я увидел стены здания, из которых, точно указательный палец, торчала над провалившейся крышей дымовая труба. Из этих развалин доносились сильные удары молота. Мы вошли и застали магического в раз-

гар работы. Он скинул кафтан, засучил рукава и беспрерывно ударял ржавым молотом по наковальне. Лицо его было измазано сажей, еще частично сохранившейся на стенах. Он дико вращал широко раскрытыми глазами, которые горели в темноте красным огнем, а его худощавые члены прыгали, как у картонного плясуна. Увидев портного, мальчишки расхохотались, сосед назвал это зрелище отвратительным, мне же оно показалось возвышенным.

Ударяя по наковальне, он то и дело восклицал:

— Ага, поддаешься, разбойник!

Сначала, погруженный в работу, он не обратил на зрителей никакого внимания, но затем, увидав их, опустил молот и сказал:

— Ну, довольно с тебя, присмирел наконец! Видите, г-н фон Мюнхгаузен, как вы были неправы, советуя мне бросить мои привычки. С этой вашей паршивой трезвостью мне бы нипочем не выследить духа, но когда я вчера как следует зарядился, так сейчас мои таланты расцвели пышным цветом. Не знаю, как я очутился в этой пустынной местности и среди этих развалин, но несомненно, что меня направили сюда сверхъестественные силы. Когда я сегодня раскрыл глаза, он стоял передо мной возле горна, закопченный, в кожаном переднике, пытался нагрубить, спросил, что я здесь делаю, и сказал, чтобы я проваливал ко всем чертям...

— Кто он? — спросили мы в один голос.

— Кому же быть, как не кузнецу, который здесь бродит. Но я взялся за него вплотную и спросил его, знает ли он, что я — Дюр. Затем я бросил его на наковальню и принялся обрабатывать ему воздушные кости, пока он не смирился, не захныкал и не признался мне в своем злодеянии. Он уже чувствовал некоторое желание искупить грех, только место это, по его мнению, неподходящее для спасения: здесь, наверху, слишком пустынно, а ему нужно, чтобы было полюдней.

— Где он? — спросили уличные мальчишки.

— Я вам его покажу! — воскликнул магический, схватил самого взрослого из них за волосы и ткнул носом в наковальню.— Видишь его? — крикнул он.

— Вижу, вижу! — завопил мальчик, у которого кровь хлынула носом. Остальные, дрожа, тоже подтвердили, что его видят. Я видел его с самого начала, как только магический его назвал. Видел ли его сосед, я не знаю.

— Носом надо тыкать людей в наши ахитофель-

ские[7], антихристианские времена, а то они зрячими глазами ничего не видят! — заорал магический.

Он приблизил ухо к наковальне, прислушался и крикнул:

— Хочешь пойти поискать себе квартиру? Итак, вперед! Ступай вперед! Живей вперед! В этом вам, духам, не надо перечить.

Магический вышел из кузницы, в экстазе размахивая руками и следя неподвижным взглядом за кузнецом, который летел вперед по воздуху. Стало так темно, что ни зги не было видно. Тем не менее я узрел кузнеца, когда ткнулся лбом о дерево, так как тут у меня из глаз посыпались искры, точно из-под молота.

Мы спускались все вниз по направлению к Вейнсбергу, мальчишки в качестве первых адептов убежали вперед. К счастью, благодаря темноте на улицах было мало народу, иначе вокруг нас несомненно собралась бы толпа. Недалеко от дома швеи магический крикнул изо всех сил:

— Ага, вот куда ты юркнул! — Подскочил к дому, вышиб дверь ударом ноги и уже стоял среди знамений и чудес, когда я несколько минут спустя вошел в комнату. Сосед, дрожа от страха, удалился.

Анна Катарина валялась на полу, крючилась, ахала и стонала. Магический стоял возле нее на коленях, потрясая перед ее носом сжатым кулаком, и орал:

— Разве я вам не предсказывал? Разве он только что не вселился в вас?

— Да, да,— хныкала швея.— Так и должно было случиться! Когда вы выставили дверь, он влетел мне в рот холодным ветром. Сжальтесь надо мной и освободите меня, а то он совсем сдавил мне сердце!

— И не подумаю,— ответил магический.— Я достаточно намучился, пока изловил эту собаку для господ докторов. Пусть сначала он у вас в нутре обратится к истинной вере.

— Этому не бывать! — завопил демон из швеи.— Я безбожный магистр, и таким я хочу жить и умереть!

Этот ответ поверг меня в величайшее изумление.

— Учитель,— сказал я портному.— Не упустили ли мы кузнеца по дороге? Выходит так, будто девица Шноттербаум приютила у себя не его, а своего покойного батюшку.

— Все это одни увертки! — вскричал магический.— Это дьявольское отродье способно менять краски по

шестьдесят раз в минуту, лишь бы выкинуть какую-нибудь каверзу. Не магистр, а кузнец вселился в швею, и именно тот самый, из Чертовой Кузницы, который молотом убил своего подмастерья и бросил в бездонную трясину, где его кости и посейчас лежат в грязи и тине.

— О боже,— рыдала швея.— Неужели мне суждено приютить такого ужасного духа! Я надеялась отъехать на своем покойном родителе.

— Да, девица Шноттербаум,— сказал портной, помогая ей встать.— Против этого ничего не поделаешь. Кому черт на роду написан, тому он и достанется. Вероятно, вы согласитесь с тем, что отныне вам место только в заведении господ докторов Кернбейсера и Эшенмихеля.

Швея ответила грустно и в изнеможении:

— Так оно и есть. Пусть все пойдет так, как судьбе угодно.

Она собрала белье в узелок и подсыпала своей коноплянке корму на неделю. Затем она аккуратно разложила шитье по пакетам и передала их одному из мальчишек, приказав вернуть заказчикам и сказать, что она не сможет выполнить работу, так как в нее вселился демон.

Во время этих приготовлений вошли Кернбейсер и Эшенмихель, которым уже успели кое-что сообщить о происшествии. Дюр, стоявший при их появлении посреди комнаты, произнес спокойно и величественно, как Фальстаф, когда он является с Перси: «Вот вам демон!»

Мы с триумфом отвели девицу Шноттербаум в заведение и устроили экспромтом маленькое семейное торжество. Вскоре Дюр, шатаясь, отправился в сарай, который этот удивительный человек раз и навсегда облюбовал для жилья. Кернбейсер распорядился осветить его в честь магии пестрыми лампионами.

Счастливые, разошлись мы по своим постелям. Мы уже считали, что дело в шляпе, и только Эшенмихель сомневался, сделать ли ему духа католиком или лютеранином. Девица Шноттербаум корчилась всю ночь в страшных судорогах, но это нас не касалось, так как мы имели дело не с ней, а с ее жильцом.

Правда, последующие дни и недели прошли весьма бурно, и мы поняли, что не только не взобрались на гору, но не одолели даже и подножия. Магический портной твердо стоял на том, что в швею вселился кузнец из Чертовой Кузницы, и боролся за эту истину, как герой, то есть, когда бывал трезв, выкрикивал это со

страшными угрозами прямо в лицо демону или, вернее, в рот одержимой. Напротив, демон уверял, что он не кузнец, а магистр, не убивал молотом никакого подмастерья, а только вольнодумствовал в некоторых отношениях.

Впервые срединное царство вступило в конфликт само с собой, ибо только один из них мог быть прав — либо ясновидец Дюр, либо демон. Швея же держалась пассивно и только приговаривала:

— Я так ослабела, что мне безразлично, ношу ли я в себе кузнеца или батюшку-магистра. Если это батюшка, то вы сами свили себе веревку, взяв меня в дом, так как магистр подстроит вам такую каверзу, какая вам и не снилась.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Дух кузнеца с воспоминаниями магистра

Наконец, после неустанных угроз, многократных окриков, заклинаний на праязыке, ужасающих жестов и закатываний глаз магический портной добился того, что демон смирился и начал отдавать должное если не богу, то правде.

Эшенмихель тоже немало способствовал этому усердными увещеваниями в присущем ему логически заостренном стиле. Так он однажды сказал бесу:

— Раз мы видим, что ты кузнец, то ты не можешь быть магистром. Понимаешь ли ты это, несчастный?

Тут демон затих и, видимо, устыдился своей глупости.

Четырнадцатого сентября в семь часов вечера последовала первая публичная исповедь. Плоть девицы Шноттербаум, одолеваемая спазмами и конвульсиями, была близка к смерти. Бес говорил из нее хотя и тихим, но внятным голосом и признался, что он кузнец Бумпфингер из Чертовой Кузницы, а не магистр Шноттербаум родом из Галле. После этого он подтвердил все, что мы о нем знали.

Последующие дни ушли на то, чтобы удержать беса в его настоящем образе.

— Ибо,— говорил Дюр,— если он снова обернется магистром, придется начинать дело сначала.

Дух должен был поэтому повторить по крайней мере раз двадцать историю об убитом подмастерье, так что швея, потеряв терпение, однажды воскликнула:

— Довольно, милые господа! Он это уже столько

раз выкладывал. К тому же он скажет только то, что мой отец ему нашепчет.

Эти слова звучали туманно, но разгадка не заставила себя ждать. На следующий же день по настоянию Эшенмихеля был учинен демону строгий допрос, клонившийся к тому, чтобы узнать подробности об аде и особенностях срединного царства. Приведу важнейшие вопросы и полученные на них ответы.

Эшенмихель. Как ты попал в срединное царство?

Бес. Как вообще попадают. Заглянул сначала в ад, но там не знали, что со мною делать, так как я в него не верил. Ад вообще чепуха.

Эшенмихель. Чепуха?

Бес. Да, чепуха.

Магический портной. Как выглядит ад?

Бес. Никак не выглядит.

Магический портной. Никак?

Бес. Да, никак.

Тут допрашивавшие сделали перерыв. Мы взглянули друг на друга с удивлением. Кернбейсер воскликнул:

— Вовек вам не сделать из этого духа настоящего, заправского кузнеца. Ни один кузнец не скажет, что «ад — чепуха» и «никак не выглядит». Уж слишком много ему самому приходится возиться с огнем!

— Тише,— сказал Эшенмихель.— Не надо унывать.

Допрос продолжался.

Магический портной. Узнал ли ты что-нибудь о дьяволе?

Бес. О, да, всю правду.

Эшенмихель. Как выглядит дьявол?

Бес. Никак не выглядит.

Кернбейсер. Как же это?

Бес. Его тоже нет. Он тоже чепуха.

Магический портной *(со страшными жестами)*. Разве ты не кузнец?

Бес *(с дрожью)*. Да, я кузнец, но об аде и дьяволе я думаю точь-в-точь как магистр Шнюттербаум.

— Ясно, совершенно ясно! — воскликнул Кернбейсер.— Кузнец не может еще отделаться от воспоминаний, мыслей и сомнений магистра.

Дюр ругался, бушевал и орал, что всех подвохов срединного царства никогда не узнаешь.

— Напротив, в этом и заключается величественное и божественное,— елейно отвечал Эшенмихель,— что в

нашем царстве глубятся глубокие глубины и одна пропасть подпирает другую. По-видимому, в девицу Шноттербаум одновременно вселилось два духа — кузнец и магистр. Они спутались, переплелись и слились в ней так неразрывно, что нельзя разобрать, где начинается один и кончается другой. Тому грандиозному и замечательному опыту, который мы проделали с половиной детского духа, симметрически соответствует не менее грандиозное и замечательное явление, а именно что в срединном царстве возможно полное смешение духов.

После этого глубокомысленного замечания я испросил разрешения поговорить с девицей Шноттербаум с глазу на глаз. Это разрешение мне было дано, так как никто больше не имел охоты продолжать допрос, и к тому же демон, освободившись из тисков, спустился, как сказала больная, из горла в область живота. Когда остальные покинули комнату, я спросил ее, не может ли она объяснить мне это удивительное явление.

— Ах! — ответила она, плача.— Я терплю страшные муки. Я слабею с каждым днем и всей душой тоскую по моей комнатушке и солнечному уголку. Там, мне кажется, я бы поправилась за ажурной кромкой и двойным рубцом. Правда, я теперь знаю (так как господа доктора и Дюр только о том и твердят), что это недостойные и греховные мысли. Кто предназначен быть сосудом чудес, должен терпеть до конца, и, видно, придется мне дотерпеть, бедной, несчастной женщине. По целым дням я думаю о безбожии покойного батюшки — да простит мне господь эти слова! И так как я всегда обладала хорошей памятью и запомнила все кощунственные и легкомысленные слова, что я слышала от него о Библии и христианской вере, то все это теперь во мне вихрем встает, и лезут из меня все эти противные речи. Кузнец, сидя во мне, только и слышит, что папашины богохульства. Вероятно, поэтому в те ужасные вечера, когда Дюр и господа так трудятся надо мной и когда у меня от молитв, пения, допросов, кулачных угроз, окриков и рева голова идет кругом и становится темно перед глазами, чувства мои начинают путаться и я говорю, как в горячке...

— Что? Что, девица Шноттербаум?

— Ах, простите мне необдуманное слово и, пожалуйста, не выдавайте меня остальным господам! Я хотела сказать, что, когда я лежу в горячке, дух начинает во мне вещать, и тогда говорю я, кузнец повторяет толь-

ко магистерские слова и обезьянничает с папаши. Другого объяснения я вам дать не могу.

Что этим объяснялось? Такое толкование было слишком скудным, и великая загадка потустороннего мира так и оставалась неразрешенной.

Более того, она с каждым днем становилась туманнее. Так, если мы спрашивали кузнеца, помнит ли он происшествия своей жизни, он отвечал, что точно знает час, когда дал первый латинский урок. Если мы осведомлялись, чего ему больше всего не хватает в его теперешнем уединении, то он говорил, что особенно ему не хватает любимого томика Ювенала.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Факт: обращение демона зависит от тысячи случайностей

Приведенная фраза выписана из дневника Эшенмихеля, который, подобно мне, вел записи с первого дня магических опытов. Мы поделили эту работу. Я заносил на бумагу исторические факты, он делал из них сверхъестественные выводы. Но, о чудо из чудес! Хотя мы и не сговаривались перед тем, как записывать, его выводы всегда совпадали с моими фактами, как перчатка с перчаткой. Из этого следует заключить, что те, кто повествуют о потустороннем мире, пишут осененные крыльями вдохновения и стоят выше всякой критики.

Тринадцатого октября Эшенмихель сказал:

— Так как мы ничего не можем добиться от этого ублюдочного духа, то приступим к его обращению.

Кернбейсер спросил:

— Не позволишь ли ты мне, брат, полечить девицу Шноттербаум? Она тает на глазах.

— Нет! — воскликнул Эшенмихель.— Дело идет о демоне, а не о Шноттербаумше.

На следующий день, а именно первого сентября, магический портной поплевал в ладони, как обыкновенно делал, когда ему предстояло что-нибудь трудное, и, выгнав духа крепкими заговорами из области живота в глотку, принялся его усовещать. Он срамил его тем, что тот держится за свое вшивое срединное царство, описывал ему небесные радости, разрисовал эту идиллию в двух разных колоритах, чтобы она прельстила и кузнеца, и магистра, сказал, между прочим, что там, наверху, железо всегда раскалено, а за латинский урок платят

на три крейцера дороже, чем на земле, и закончил тем, что довольно штук и что демон должен дать обратить себя без разговоров.

На это увещевание дух сначала отвечал только отчаянными грубостями. Он послал нас всех к шуту и сказал, что у каждого из нас не больше ума, чем в его мизинце. Какое нам дело до его спасения? Он-де вполне доволен своим помещением у девицы Шноттербаум.

— А вы тоже собираетесь попасть в рай? — спросил он.

— Да,— крикнули мы хором.

— Это уже само по себе достаточная причина, чтобы я оставался здесь,— заявил он.— Такие болваны, как вы, способны испортить мне вечное блаженство. Заботьтесь о своих монатках и не суйтесь в мои дела. Коротко и ясно. Я не желаю, чтобы меня спасали.

К этому он прибавил всякие издевательства, которые я не стану записывать. Эшенмихель, Кернбейсер и я не могли ничего возразить и потому молча замкнулись в высшем сознании. Но портной был не такой человек, чтобы спасовать перед каким-то каверзным духом. Если бес становился груб, то тот делался еще грубее, на каждое ругательство он имел десяток покрепче, а в доводы, которые демон коварно приводил, он вообще не вдавался. На все софизмы, которые тот пытался вставить в беседу, портной отвечал громовым голосом: «Заткнись!»

После часу такой извозчичьей перебранки между портным и духом последний действительно притих и пробурчал:

— Благоразумный уступает. Ничего не попишешь с этим утюжным рылом. Хорошо, согласен, чтобы меня спасали. Но как мне за это взяться, ведь у меня нет ни рук, ни ног?

— Идиот! — воскликнул магический.— Зачем тебе руки и ноги? Тебя спасут, вот и все.

— Бросьте ваши грубости,— возразил дух.— Нельзя ли обращаться с демоном повежливее, в особенности если он вселился в женщину?

— Видишь ли ты рядом с собой своего ангела-хранителя? — гаркнул на него портной, так как в эту минуту луч света прорезал темноту комнаты. Впоследствии мы узнали, что как раз в это время слуга пересекал двор с фонарем в руке. Поистине чудесно, что небесный посла-

нец избрал это естественное обстоятельство, чтобы сделать свое явление более убедительным.

— Я вижу все, что вы видите. Вы меня почти так же сбили и спутали, как швею,— ответил бес на вопрос портного.

Последний спросил демона, как выглядит ангел, и услышал в ответ:

— Как всякий ангел: одеяние белое, из кисеи, голубые крылья с золотой каймой.

Демон отвечал как на этот, так и на прочие вопросы ворчливым голосом и крайне неохотно. Видимо, его тяготил представитель небес. В течение затеянного по сему случаю разговора он, между прочим, сказал:

— Это ужасно — иметь еще на шее ангела, когда я никогда в них не верил.

Но тут Кернбейсер, до сих пор державшийся в тени, нанес демону прямой удар. Он быстро возразил ему, что, согласно его образу мыслей, он вообще не должен был бы верить в загробный мир, а между тем он теперь торчит в нем с руками и ногами. Этот довод поразил демона, он присмирел и после этого примирился с мыслью об ангеле.

Последнему тут же поручили справиться в соответствующем месте, когда должно произойти обращение кузнеца-магистра. Тот обещал сейчас же выехать по этому делу и, так как дороги были еще плоховаты, вернуться через три дня к семи часам вечера, вернее всего, с благоприятной резолюцией.

Прошло три дня в тихом ожидании. Всякий понимал, что ангел знаменует новую перипетию в этой драме чудес. Эшенмихель пересмотрел все, что мог найти об ангелах в каббале, у гностиков и у Эммануила Сведенборга[8]. Кернбейсер со слезами на глазах глядел в облака и сочинял красивые стихи, в которых воспевал одухотворенный взгляд теленка[9]. Девица Шноттербаум, которая едва могла подняться с постели, тихо теребила одеяло, странно поглядывала перед собой и порой невольно приговаривала:

— О чем бес умолчал, то ангел обнаружит.

Но на третий день в семь часов все были в сборе, кроме ангела. Демон, поднявшись, как обычно, из области желудка, не мог ничего сообщить об отсутствующем, был краток, даже несколько насмешлив и сказал:

— Совершенно очевидно, что на таких людей нельзя полагаться.

После этого магический излил поток проклятий, увещеваний и ругательств на отсутствующего, имея в виду привлечь его этим. Но все было тщетно. До двенадцати были бесплодно использованы все методы тауматургии. Негодный демон смеялся и кричал беспрестанно:

— Меня не спасут! Меня не спасут! Юхейрассасса! Юхейрассасса!

Наконец девица Шноттербаум так ослабела от этого, что готова была лишиться чувств. Кернбейсер поймал поднятую руку портного, который собирался применить жест небесного принуждения, и воскликнул:

— Ты слишком резок, о необычайный муж! Твои дарования и силы приспособлены только для грешных духов, а эти сладостные, блаженные, розовые, окрыленные мальчики требуют нежного обхождения. Поэтому я предлагаю следующее: ты оставляешь за собой духа и передаешь ангела мне и брату Эшенмихелю, который поможет мне своими познаниями.

Такое разделение обязанностей встретило сочувствие у магического и тотчас же было осуществлено. Кернбейсер уселся против одержимой и запел нежным голосом:

О легкое творение,
Где ты шуршишь крылами?
Мы жаждем исцеления.
Явись, кружа над нами.

Ведь ты — воспоминание
О прожитых мгновениях,
О детском лепетании,
О детских вожделениях.

Про то святое время
Ты нам поведай ныне.
Ты с нами был в Эдеме,
Ты с нами был в пустыне,

Где жажду человека
Один лишь утоляет
Тот ключ, что из-под века
Святой струей стекает.

Больная зарыдала, и ангел тотчас же явился. Он извинился за опоздание и заявил, что во всем виновато его чрезмерное усердие. А именно: он, как неудержимо летящее ядро, перемахнул через цель, т. е. через небесные чертоги, и устремился все дальше и дальше в так называемое великое ничто. Правда, заметив ошибку, он тотчас же повернул обратно, но из-за этого стреми-

тельного полета потерял время и сбился с пути. Что же касается спасения, то таковое произойдет тринадцатого декабря в восемь часов вечера. Ангел откланялся. Демон рассмеялся и сказал:

— Будь я не я, если это случится тринадцатого декабря. Но у меня еще есть кое-что на сердце, а без этого о спасении не может быть никакой речи.

— Что же у тебя на сердце? — спросил Кернбейсер.

— Не спрашивайте меня об этом, сударь,— возразил демон.— Это роковая штука, от нее никому не может быть пользы, а двоим большой вред.

Эшенмихель задумался и попросил Кернбейсера прекратить расспросы, так как и в отношении демонов надлежит соблюдать деликатность.

— Нет,— возразил Кернбейсер.— Если у него есть что-нибудь на сердце, то он не успокоится, пока не избавится от этого.

Увы, демон оказался прав. Тринадцатого декабря в восемь часов вечера никакого обращения не последовало. Уже какие-то слова вертелись у него на языке, но тут ему снова пришла на ум кощунственная мысль, и он быстро соскользнул опять вниз, так что все мы слышали шум, похожий на падение мешка. Магический портной заорал:

— Его ангел-хранитель должен был предвидеть эту кощунственную мысль. Как он смеет так подводить людей?

Ангел, привлеченный сладкозвучным пеньем Кернбейсера, извинился, сказав, что он, по-видимому, спутал дату, так как наверху — ужас как много дела, и указал новый срок — пятое января. Но так как и пятого января ничего не произошло, то он назначил спасение на третье февраля и затем, ввиду повторных неудач, переносил его на шесть разных дней в марте, апреле и мае.

Демон крепко сидел в девице Шноттербаум, которая теперь уже по временам впадала в беспамятство.

— Что это значит? — спросил Эшенмихель.— Мы должны серьезно привлечь ангела к ответу.

— Как ты можешь вводить нас так часто в заблуждение? — мягко и вежливо спросил Кернбейсер у ангела.

Тот ответил из швеи приятным, сладостным голосом по-английски, т. е. по-ангельски, только одно слово: «Пепебеле».

Он впервые пользовался этим наречием, до этого он всегда говорил с нами по-немецки. Кернбейсер и Эшен-

михель тщетно пытались проникнуть в смысл этого слова. Тут меня внезапно окрылило вдохновение, и я истолковал им по-немецки «пепебеле» следующим образом: «Господа, я не виноват в том, что в этой истории происходит столько недоразумений. Обращение демона зависит от тысячи случайностей, которые нельзя предусмотреть. С тех пор как вы растревожили срединное царство и высший мир со всех концов проникает в низший, нельзя больше ни на что положиться и все законы природы полетели вверх тормашками. Атмосфера полна всяких телепатических влияний и заглядываний в дали; воздух и свет не знают больше, что, куда и откуда; тяжесть пустилась во все тяжкие, а материя пошла по рукам. Центростремительные и центробежные силы играют друг с другом в свои соседи, краски звучат и звуки светятся, а жизненное начало густой жижей растекается повсюду. В такой перевернутой вверх дном природе не может устоять ни один элемент. У демона больше нет ни одного верного транспортного средства, чтобы перенестись. К тому же прочие духи стучат, шуршат, пищат у него перед глазами. Он раздражается, а от раздражения опять впадает в безбожие, и само провидение не может осуществить на нем своей задачи».

После этой моей речи на чистом немецком языке оба чудотворца долго молчали, предаваясь серьезным размышлениям. Ангел улетел тотчас же после своего «пепебеле». Наконец Эшенмихель сказал:

— Таким образом, может случиться, что магия сама себя парализует. Не лучше ли нам остановиться и оставить дело в его теперешней стадии?

— Нет, вперед! — крикнул портной.

— Вперед! — повторил за ним Кернбейсер, который, казалось, поменялся ролями с Эшенмихелем и с момента появления ангела сделался настолько же смел и порывист, насколько раньше был осторожен.

— Вперед! — к нашему удивлению, сказал дух глухим голосом из внутренностей девицы Шноттербаум.— Я положу конец делу и сам себя обращу. И это произойдет в следующую среду.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Факт: в присутствии полиции не являются ни бес, ни ангел

Происшествие, имевшее место в один из следующих дней, отвлекло нас на некоторое время от напряжен-

ного ожидания предстоящей среды. С расцветом шнот-тербаумовского чуда заведение снова мало-помалу наполнилось. Сначала опять захрюкал гергесинец, затем вместе с ясновидцами вернулись три мужских и два женских духа. Только вторая половина ребенка, по-видимому, заблудилась, так как о ней не было ни слуху ни духу. Таким образом, наш запас снова укомплектовался, и мы отлично пользовались своим богатством.

Но не у одних нас демонические дела обстояли так блестяще. Благодать излилась на весь городишко. Не было в Вейнсберге ни одного дома, где бы не являлись духи. Дух составлял, так сказать, принадлежность всякого порядочного хозяйства. Правда, от этого несколько страдали дела, так как в сумерки никто не хотел выходить в одиночку. Несмотря на обыденность этих явлений, страх все еще тяготел над людьми. Рассказывали необычайные вещи. Так, например, согласно самым верным сведениям, молот, которым портной впервые обрабатывал демона, продолжал бить по наковальне без помощи чьей-либо руки, подобно гегелевскому богу.

Здесь произошло то же, что со всякой религией, которая, прежде чем добиться светского могущества, сама должна пострадать от мирской десницы.

Вторжение высшего мира в улицы Вейнсберга начальство назвало, со свойственной ему грубостью, недопустимым безобразием, и десница его тяжело легла на всю деятельность эфирной сферы. Было запрещено видеть духа под угрозой штрафа в десять гульденов, а людей простого звания, повинных в этом, сажали в кутузку. Тяжелое бремя легло над Джиннистаном[10]. Молот стучал только по ночам, когда его никто не слышал.

Наше заведение тоже было предуведомлено о посещении полиции, и действительно вскоре чиновник явился. Портной внушил нам всем мужество, и мы храбро ожидали представителя власти. Вид этого чиновника тоже способствовал поднятию нашего настроения. Человек еще не старый, с приятной внешностью, он как бы извинялся за свой приход, оправдываясь приказом начальства.

— Поверьте мне, господа, что я никогда не позволил бы себе по собственной инициативе помешать вашим почтенным занятиям,— вежливо заявил чиновник.— Полиция не должна быть врагом чудес, она сама порой должна творить чудеса, видеть вещи, которые никто не видит, например, заговоры против трона и

церкви и т. п. Итак, господа, лишь несколько сверхъестественных опытов в моем присутствии. Я буду вполне удовлетворен, и вера моя укрепится.

Девица Шноттербаум, лежавшая без сил на кровати, с какой-то странной улыбкой поглядела усталыми глазами на чиновника и сказала:

— Я вас хорошо знаю.

— И я вас также, девица Шноттербаум,— ответил тот.— Мне несколько раз представлялся случай приятно беседовать с вашим покойным батюшкой, хотя я не всегда имел возможность соглашаться с его воззрениями. Если не ошибаюсь, то в нашем архиве и посейчас хранится...

Тут его прервал магический, которому не терпелось показать образец своих дарований.

— Вот мы сейчас заставим их поверить! — Он принялся проделывать уже неоднократно описанные мною манипуляции, чтобы набраться силы, и приступил к чудотворному действу. Но девица Шноттербаум продолжала лежать спокойно и сказала своим естественным, а совсем не демоническим голосом:

— Боже, как колет в боку. Это мой конец.— И больше ничего.

Демон не явился. Портной, на котором покоился спокойный и вежливый взгляд чиновника, напрягся еще сильнее, стал бросать вокруг себя самые страшные взгляды, на какие был способен, и корчился, как взмыливщийся шаман. Но девица Шноттербаум продолжала лежать спокойно, и ни один демон не явился. Внезапно магический запнулся на самой забористой формуле, которая так и осталась недоконченной, и крикнул, сердито глядя на чиновника:

— Когда на меня так глазеют, то от меня отходят оба духа, которые дают мне силу! — И выбежал из комнаты.

Тогда чиновник сказал еще вежливее, чем раньше:

— Я вижу, господа, что вы хотите меня наказать за мою навязчивость. Тем не менее, г-н Эшенмихель, я позволю себе попросить вас представить мне духа, который сюда так часто наведывается.

Эшенмихель пожал плечами, однако подошел к одержимой и заговорил с демоном по-каббалистски и посведенборгски. Но девица Шноттербаум продолжала лежать спокойно, и демон не явился. После этого Эшенмихель последовал за портным, сославшись на дела.

— Я в высшей степени огорчен,— сказал чиновник,— тем, что нарушаю ваши занятия. Не будет ли дерзостью с моей стороны, если я окажусь вынужденным попросить и вас, г-н Кернбейсер...

— Только не притащить демона! — воскликнул Кернбейсер, который не переставал улыбаться во время всех наших затруднений. Юмор не покинул его даже в этом тяжелом положении. Он продолжал: — Демона нужно приговорить к смерти. Но,— сказал он, всхлипнув (так как переходы от смеха к слезам были у него чрезвычайно быстры),— милый ангелочек придет, придет мой нежный мальчик, он сделает мне это одолжение. Он не подведет своего старого Кернбейсера.— Он подсел к кровати, взял больную за руку и запел сладким голосом:

Я знаю: в эмпирее
Живешь ты просветленном.
Я знаю: часто, рея,
Нисходишь ты к плененным.

Разрушив эту веру,
Себя я сам разрушу.
Сразишь ли ты не в меру
Доверчивую душу?

Но в швее все было тихо. После некоторого молчания она, т. е. телесная субстанция швеи, сказала:

— Не трудитесь, г-н доктор, он тоже сегодня не явится.

Кернбейсер встал, он выглядел очень смущенным.

— Быть может, в другой раз будет удачнее, г-н доктор,— сказал мягко и утешительно чиновник.— Не портите себе крови из-за этого. Однако ваш коллега, вероятно, вас ждет.

Кернбейсер удалился.

— Может быть, вам, г-н фон Мюнхгаузен, известно какое-нибудь средство? — спросил меня гуманный полицейский.

— Нет, сударь, я здесь только ученик и подручный,— ответил я.

— В таком случае...

Было ясно, что он хочет остаться один на один с девицей Шноттербаум. Я подчинился его пожеланию.

Чиновник пробыл у больной больше часа. Не предполагая, что он еще там, и желая справиться о ее самочувствии, я неожиданно вошел во время их разговора, от которого уловил последние слова. Швея спросила чиновника:

— А это не грех?

— Напротив,— отвечал он.— Вы этим сделаете доброе дело. Г-н фон Мюнхгаузен,— обратился он ко мне.— Вы являетесь здесь свидетелем удивительного факта из области высшего мира.

— Да,— ответил я.— И факт заключается в том, что в присутствии полиции не являются ни бес, ни ангел. Я не премину обратить на него внимание доктора Эшенмихеля.

Действительно, когда я сообщил об этом Эшенмихелю, он занес его в свой дневник. К нему опять вернулось мужество.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

Признание умирающей

Кернбейсер был разбит и сражен. Дюр спал. Я был тверд в своей вере и уповал на следующую среду.

Но развязке суждено было наступить раньше. Около десяти часов вечера девица Шноттербаум призвала нас к себе. Мы застали ее совсем без сил, она едва говорила. Позвали служанку, которая приподняла ее, и так, полусидя, она поведала нам следующее, часто прерывая свой рассказ от слабости.

— Милые господа, мне приходит конец. Духи меня окончательно изнурили. Быть может, какое-нибудь земное лекарство могло бы поддержать мое слабое и хрупкое тело, но у порога вечности я далека от того, чтобы кого-нибудь упрекать. Едва ли я доживу до следующей среды. Не знаю, сидел ли во мне кузнец или мой покойный родитель, магистр. Да мне это и безразлично. Без них (или без него) я должна предстать перед господом. Магистр доверил мне открытие, сделанное им во время странствий, и оно таково, что ни один человек не может вообразить себе ничего подобного. Оно меня ужасно мучило, но я не проронила о нем ни звука. Кроме того, я считала это выдумкой магистра, на каковые он был большой мастер. Да и сейчас не знаю, есть ли тут доля правды.

Теперь же, господа, слушайте и внемлите. Магистр говорил мне, что он занес эту тайну на бумагу и назвал ее своим завещанием. До сей поры я не знала, где оно хранится. Но недавно мне сообщили, что оно было приобщено в здешнем полицейском архиве на полке «С» к

разным ненужным и запыленным бумагам и находится там и по настоящее время.

А теперь, господа, делайте с моим сообщением и с неизвестным до сих пор завещанием все, что вам угодно. Меня же оставьте одну и пришлите мне, пожалуйста, священника.

Служанка снова положила ее на подушки, и она начала хрипеть. Мы покинули комнату и послали ей духовника. Никто из нас не ложился. Около полуночи пришла служанка и сказала, что она отошла. Перед самой смертью швея заявила:

— Возле меня нет ангела, но я не отчаиваюсь. Беда стряслась надо мной помимо моей воли. Я буду прощена.

— Вот еще одна вернулась в сети церебральной системы! — воскликнул Эшенмихель.— Пусть это обстоятельство, господа, пока останется между нами.

Все наши мысли обратились на завещание магистра Шноттербаума. После короткого затмения, вызванного темным телом полиции, солнце высшего мира как будто собралось засверкать еще победоноснее. Эшенмихель тотчас же написал письмо полицейскому чиновнику и просил разрешения для персонала нашего заведения поискать завещание в указанном месте. «На краю могилы,— закончил он письмо,— в момент, когда мнимый свет угасает, а священная темнота зажигает свои огни, мир духов снова вступил в свои несокрушимые, извечные права. Из него раздался глас, который умолк на мгновение, чтобы испытать веру сомнением. Если он изрек правду, то столбы пыли, поднятые усилиями современного неверия, должны рассеяться и исчезнуть».

— В сущности, это не совсем верно,— заметил Кернбейсер, перечитав письмо.— Насколько я понял добрую девицу Шноттербаум, магистр еще при жизни сообщил ей о завещании.

— Молчи! — воскликнул Эшенмихель и запечатал письмо.

Под влиянием трупа, лежавшего в доме, и мысли о чреватом судьбами полицейском архиве мы провели остаток ночи в бурно беспокойном и растерянном состоянии. Мы хотели сказать одно, а губы твердили другое. Мы хотели произносить торжественные, ликующие речи о победе тауматургии и неожиданно для самих себя переходили на заунывные. Мы хотели смеяться, а вместо этого утирали жгучие и горькие слезы. Дух,

быть может, более сильный, чем все духи в пределах и за пределами Вейнсберга, носился по заведению.

Рано утром Эшенмихель отправил чиновнику упомянутое письмо. Ответ не заставил себя ждать. Полицейский высказывал в самых обязательных выражениях свою радость по поводу возобновления чудес и сообщал, что во избежание какого-либо обмана он приказал опечатать архив. Одновременно он извещал нас о часе обследования и о том, что для придания процедуре возможно большей гласности и торжественности он пригласил нескольких уважаемых лиц города и выдающихся приезжих.

Эшенмихель мучил себя предположениями относительно мистического завещания.

— Быть может, там указано, куда он девал платье убитого подмастерья,— сказал он между прочим.

— Ты забываешь,— возразил Кернбейсер,— что это писал не кузнец, а магистр.

— Я чувствую подъем духа! — воскликнул Эшенмихель.

— А мне жутко,— ответил Кернбейсер.

Дюр все еще спал. Я потихоньку уложил свои вещи в чемодан. Почему — и сам не знаю. Я чувствовал, что пора укладываться. Не было ли тут напоследок какого-нибудь демонического внушения?

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Завещание магистра Шноттербаума

Когда наступил назначенный час, мы отправились в ратушу. Перед ней собралась большая толпа народу, которая почтительно нас приветствовала и уступила дорогу, когда мы подошли.

В аванзале нас поджидал облачившийся по случаю торжества в парадную форму чиновник вместе с несколькими почетными лицами, среди которых я заметил бакалейщика. Из выдающихся приезжих был только один эгингенский торговец кружевами. Наверху собралось в общем человек пятьдесят, на лицах которых самым разнообразным образом отражались любопытство, удивление и напряженность. Тауматургия еще никогда не заходила в мир непосвященных так далеко, как в тот день. Уж это одно должно было дать простор всевозможным ожиданиям, а к тому еще присоединялся

печальный конец девицы Шноттербаум, который разжег страсти.

Чиновник принял обоих представителей высшего мира с учтивостью, граничившей со смирением, и я слышал, как он шепнул одному из своих подчиненных: «Следите за Дюром».

«По-видимому, дело кончится каким-нибудь отличием, вероятно, дарованием почетного гражданства,— подумал я.— Может быть, и мне что-нибудь перепадет».

Над замочной скважиной архивного помещения висели бумажки с печатями. Их признали неповрежденными и сорвали. Чиновник приказал отворить комнату. Мы уселись против пыльных шкапов и полок.

Для Кернбейсера и Эшенмихеля были приготовлены на возвышении посреди комнаты два наскоро принесенных почетных кресла. Так, обозреваемые всеми, сидели они, возвышаясь над толпой.

Обернувшись случайно во время этих приготовлений, я заметил, что кто-то проскользнул через открытую дверь за ширму, находившуюся рядом с входом. Так как я несколько любопытен, то уловил момент, когда на меня никто не обращал внимания, и заглянул за ширму.

К величайшему моему удивлению, я увидел там знакомого, которого тут же узнал, а именно подлекаря из вюрцбургской богадельни св. Юлия, с коим я беседовал о префорстской ясновидице и о двух убежавших старухах. Я собрался восклицанием дать выход своему удивлению, но тот зажал мне рот и сказал:

— Не привлекайте к нам внимания, не надо мешать предстоящему священнодействию. Случай привел меня в Вейнсберг, и вполне естественно, что я пожелал быть свидетелем удивительного события, о котором узнал, как только заехал в гостиницу. А то, что я хочу смотреть или, вернее, слушать за ширмой,— это просто прихоть с моей стороны, которая, без сомнения, принадлежит к самым невинным.

Я не знаю, чье тайное влияние опять побудило меня выскользнуть из дверей, чтобы выйти на воздух. Но два сторожа остановили меня, сказав:

— Никому не разрешается покидать помещения, пока процедура не кончилась.

«Эге,— подумал я.— Вот какие полицейские строгости начали применять к духам!»

За это время чиновник успел произнести перед присутствующими сжатую речь о цели собрания, и в тот мо-

мент, когда я вернулся к возвышению, где восседали оба доктора потустороннего мира, он предложил им указать полку, на которой, по словам девицы Шноттербаум, должно было находиться завещание магистра. Эшенмихель мужественно назвал литеру полки.

— Заметьте, сограждане,— заявил чиновник,— если завещание покойного магистра, как утверждают, лежит на полке «С» среди разных ненужных и пыльных бумаг, то перед вами осязательное чудо. Ибо даже дочь его, ныне во блаженных усопшая чистая отроковица Анна Катарина Шноттербаум, которую столь отменно пользовали оба господина доктора, не ведала о местонахождении завещания, так как ее покойный родитель ничего не сообщил ей об этом. Оно было известно только двум лицам на свете — завещателю и мне, которому старый шутник вручил его как-то под пьяную руку, не сообщая, однако, его содержания. Здесь возможны только два случая. Либо я играю заодно с этими господами, либо дух магистра известил их из другого мира о местонахождении завещания. Третий случай немыслим...

— Позвольте мне сказать...— вмешался я, снова подстрекаемый тайной силой.

— Нет, г-н фон Мюнхгаузен, вам нельзя говорить,— с достоинством остановил меня чиновник.— Вы иностранец и не имеете у нас права голоса.

Он бросил такой выразительный взгляд на своих подчиненных, что у меня моментально исчез внутренний импульс к продолжению речи.

— Известна ли вам, господа, какая-нибудь третья возможность? — обратился он к Кернбейсеру и Эшенмихелю.— Я убежден, что для вас всего важнее истина.

— Нет! — храбро ответствовал Эшенмихель.

— Нет,— робко сказал Кернбейсер.

— Знаете ли вы какую-нибудь третью возможность, собравшиеся швабы? — крикнул чиновник в публику.

— Нет! — раздался единогласный ответ толпы.

— Думаете ли вы, что я шепнул об этом господам докторам и что полиция помогает инсценировать здесь фальшивое чудо?

Снова бурный протест.

— Таким образом, с полной достоверностью устанавливается факт, что только дух магистра мог дать эти сведения обоим просветленным мужам,— сказал чиновник.— При таких обстоятельствах, а также ввиду того, что о завещании шла речь в потустороннем мире,—

в мире, где отсутствует обман, мы посвятим содержанию этого документа сугубое внимание. Несомненно, что тауматургия переживает сегодня великий триумф. Я искренно скорблю, что в этот торжественный день я не смог поставить почетные кресла для ее жрецов на какое-нибудь другое возвышение, а только на этот помост, на котором мы, к сожалению, показываем народу в базарные дни совсем других особ. Но господин доктор Эшенмихель познакомил нас с демонофанией слишком неожиданно, и за неимением ничего лучшего мы принуждены были в спешке прибегнуть к этому недостойному сооружению.

Он приказал писцу поискать на полке «С». Все сердца беспокойно забились. Писец подошел к полке, порылся там, выбросил сначала несколько потемневших папок, так что пыль взвилась столбом, достал, наконец, пожелтевший конверт и прочел внятным голосом надпись на нем, каковая гласила:

> Здесь хранится последняя воля Иодока Зеведея Шноттербаума, при жизни магистра свободных искусств, родом из Галле в Швабии.
>
> Опубликование поручаю назначенному мною душеприказчику — Случаю.

Раздалось единогласное «ах!». Ожидание было удовлетворено. Эшенмихель сидел, как триумфатор, на своих подмостках. Кернбейсер все бледнел по мере того, как победа склонялась на сторону чуда.

В это мгновение приковылял в архив, а затем на стол, за которым сидел чиновник, большой черный ворон. Он доверчиво уселся против полицейского и смотрел на тауматургов, как посвященный.

— Ну, ну, старый Клаус, вестник несчастья, что тебе нужно? — сказал чиновник и погладил по спине ручную птицу, повсюду следовавшую за своим господином.

Печати завещания тоже были признаны неповрежденными. Писец сломал их по приказанию начальства и ясным, для всех внятным голосом прочел нижеследующее.

Лирическое отступление рассказчика

— О, судьба человеческая, судьба человеческая! Над какими крутыми пропастями бродишь ты, подоб-

но лунатику! Мнится тебе, что идешь сквозь златые врата Византии, что приближаешься к павлиньему трону Великого Могола в Дели, а тут раздается будящий крик, и ты валяешься, искалеченная, свалившись с кровли, на которую бессознательно взобралась! Увы, сколь прав был бледнеющий Кернбейсер, сколь прав был черный ворон, сколь прав был я, когда хотел говорить о возможности третьего случая!

Завещание магистра Шноттербаума содержало следующие распоряжения и показания:

«Смерть есть явление предопределенное, но день и час ее не предопределены. Посему, ввиду растущей моей слабости, но в здравом уме, решился я составить последнюю волю. Я всегда принадлежал к людям, которые не имели своей воли, но эту мою последнюю я хочу иметь и осуществить.

Худосочным явился я на свет, худосочным бродил я по миру и худосочным, по всей вероятности, покину его. Но составить завещание имеет право даже самый убогий, и ни один тиран не может ему в этом воспрепятствовать. Я надеюсь, что буду правильно понят, если напомню, что сын человеческий, не имевший ничего, когда должен был сложить голову, составил завещание, по которому наследовали поколения двух тысячелетий. Этого сына человеческого я любил при жизни, но не как Регана и Гонерилья своего отца, а втихомолку. За это меня считали дурным христианином и атеистом, что я охотно терпел, так как познал любовь Реган, Гонерилий, Эдмундов и Корнуэльсов по ее плодам[11].

Из мирских благ мне принадлежат три вещи, а именно: мой труп, внебрачная дочь и старый, совершенно истрепанный мною Ювенал, геттингенское издание Фандентука 1742 г. В отношении моего трупа я предоставляю право наследования моим родственникам по восходящей линии, т. е. завещаю его матери-земле, и пусть он сам позаботится, как ему воскреснуть, а пока что я хочу спокойно подремать. Свою внебрачную дочь я завещаю рукоделию, которому она по моему распоряжению обучилась во всех тонкостях. Моего Ювенала пусть разыграют в кости столицы мира. Его получит и будет пользоваться им в виде вечного фидеикомисса та, которая выкинет низшие очки.

Из вечных и нетленных благ я обладаю великой истиной и доказательством ее на назидательном приме-

ре, который, в свою очередь, связан с невероятной тайной. Это соединение истины, примера и тайны я оставляю и завещаю всем здравомыслящим людям. Так как точное обозначение наследников составляет основное условие законного завещания, то я указываю здесь, что из числа возможных претендентов исключаются:

1) так называемые великие умы
2) благородные характеры
3) выдающиеся люди
4) чувствительные души
5) те, кого называют
   а) высокозаслуженными
   б) высокочтимыми и горячо любимыми.

Моими же наследниками должны быть здравомыслящие люди, ныне, к сожалению, весьма пришедшая в упадок и незначительная секта. Ибо здравомыслие, которое я имею в виду, не приносит своим адептам ничего, кроме бедности и неуважения, да и само не ходит ни в шелку, ни в бархате, а в скромной белой одежде. Буфы, банты и стеклярус отсутствуют в его костюме; на щеках его не горит столь любезный многим чахоточный румянец, а блистают чистые, здоровые краски, слишком грубые и свежие для испорченного вкуса. Словом, в нем нет ничего, что может прельщать и соблазнять.

Моя великая истина заключается в следующем: нет такого безумия, такого сумасшедшего чудачества и простофильства, которое бы навсегда вымерло среди людей. Наоборот, гибель самых ужасных предрассудков — пока еще только мнимая смерть. Они в свое время постоянно воскресают, и даже не в новых одеждах! Нет! На такие расходы не раскошеливается их царь и военачальник. Они возрождаются такими, какими были, в своем старом, жалком, нищенском виде. Когда глупцы и трусы низвергают какое-нибудь царство, а умники и храбрецы его спасают, то несколько дней спустя после спасения безусловно начинается вновь господство глупцов и трусов. Если случалось миллионы раз, что рабы грабили и убивали господ и только верность свободного гражданина прикрывала благочестиво-спасительной рукой добро и главу повелителя, то, несмотря на это, любовь к рабовладению постоянно возрождалась. И если человек охватил духом мир духов, то это не мешает тому, что устарелая, жалкая, захиревшая болтовня о знамениях, чудесах, привидениях, весь этот заплесневелый, мисти-

ческий хлам вклинивается в мнимо освобожденный от него мир.

Приведу вам, дорогие наследники, в доказательство сих последних слов назидательный пример. У нас была Реформация и в связи с ней возникла великая философия и литература. Мы полагали, что могут считаться уничтоженными всякие фетиши, амулеты и духи. Наконец, мы думали, что как Эмпиреи, так и Гадес будут жить только в адекватной сфере просветленного человеческого сознания и в его внешней оболочке, истории. Ничего подобного. В девятнадцатом столетии опять внезапно зашевелилась эта протухлая, навранная, невидимо-видимая труха. Всякие потусторонние древоеды, мокрицы и могильные черви повылезали из своих дыр; святое имя бога и сына человеческого выкликается среди удушливой вони и испарений; мисты и эпопты[12] по глупости или из плутовства закатывают глаза и не стыдятся пришпиливать слова Вечной Жизни к своему потрепанному вздору. Брюхо потаскухи, оказывается, знает больше, чем ум и сердце мудреца. И во всю эту дребедень, бестолочь и бабьи пересуды, образцом коих могут служить «Волшебный жезл» Претория, «Дьявольский Протей» Эразма Франциска и «Многообразный Гинцельман», верит множество людей всех сословий и благодушно распространяет их дальше.

«Ай, ай,— скажете вы, мои наследники,— какое скверное наследство ты нам оставляешь! Ведь это значит, что у нас процессы ведьм на носу!» Терпение, дорогие мои! Конечно, весьма возможно, что наши внуки снова переживут процессы ведьм, но до этого еще не так близко, и именно благодаря невероятной тайне, связанной с назидательным примером, о котором дальше будет речь. Вы знаете, дорогие наследники, что доктора Эшенмихель и Кернбейсер, которые особенно способствовали пышному расцвету этой возни с духами, считаются всем миром за ученых и достойных мужей, и вы, вероятно, тоже считаете их мужами. Но если, как я полагаю, выяснится, что это не так, то более чем вероятно, что демонические явления будут дискредитированы или, образно говоря, окажутся шутовским фарсом, и тогда наши потомки, быть может, все-таки будут спасены на ближайшие тридцать лет от процессов ведьм.

Дорогие наследники! Доктора Эшенмихель и Кернбейсер не принадлежат к мужскому полу. Во время одного из моих скитаний ради хлеба насущного я попал в

город, где находится всемирно известная богадельня для стариков и больных. Тому уже много лет. Я попросил показать мне заведение и прошел сквозь длинные ряды стариков и старух, доживающих там свои последние дни. Иногда случается, что наш дух неизгладимо запечатлевает какое-нибудь дерево, скалу или дом. Так и на этот раз. Случай (я далек от того, чтобы приписывать этой истории что-либо романтическое) захотел, чтобы мне бросились в глаза две старые бабы, державшиеся особняком и ведшие между собой оживленную беседу. Ничего исключительного в них не было, самые обыкновенные старухи, каких тысячи. Но тем не менее их осанки и физиономии произвели на меня глубокое впечатление, так что мне тогда уже было ясно, что я узнаю их, где и когда бы я их ни встретил.

Спустя несколько лет и после многих превратностей прибыл я в этот наш город, решив остаться здесь на всю жизнь. Я узнал про устройство и деятельность кернбейсеровского заведения и, разумеется, тотчас же испросил разрешение осмотреть эту величайшую местную достопримечательность. Однако, дорогие наследники, что я почувствовал, когда хозяин учреждения и его друг вышли мне навстречу! Я думал, что пол качается подо мной и дом пляшет перед глазами, ибо можно быть готовым ко всему, когда идешь к благочестивым чудотворцам — они ко многому нас приучили! Но узнать в двух мужах высшего мира двух старых баб — этого никто не мог ожидать!

Итак, дорогие наследники, великое слово сказано! Тайна раскрыта! Если природа не подражает Менехмам[13], которые могут возникнуть только в фантазии сочинителей, если эта неисчерпаемо изобретательная богиня придает каждому выпускаемому ею из формы экземпляру отличительные приметы, то я не мог ошибиться. И потому я живу и умру с убеждением, что доктора Кернбейсер и Эшенмихель — это две старые бабы, которых я в свое время видел в богадельне св. Юлия в Вюрцбурге.

Как и когда они оттуда бежали, каким образом набрели на мысль о расцветшем под их управлением учреждении, мне узнать не удалось. Несомненно только одно: для того чтобы выдать за правду свои бабьи россказни, они принуждены были напялить брюки, сменить дискант на бас и вообще прикинуться тем, чем они никогда не были.

Таким образом, тайна здесь зафиксирована, и этим самым надлежит считать завещание составленным. Набожные и нежные души назовут его богохульным, но, с моей точки зрения, оно-то как раз и служит благочестивым целям.

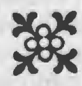
Своим же душеприказчиком я назначаю Случай. От него зависит, будет ли вскрыто это завещание и вступят ли наследники в свои права. Я очень высоко ценю Случай, с тех пор как видел, в какое жалкое чучело люди превратили Провидение. Побуждает меня к этому и другое основание. Я знаю, что в пасти льва можно рассчитывать на милосердие и в когтях тигра на спасение, но на пощаду у пророка — никогда. Поэтому при моей жизни эта тайна не увидит свет. И хотя я считаю долгом не скрывать этих сведений от грядущих поколений, я все же не стану ускорять их распространение. Пусть Случай распоряжается всем и подаст знак, когда наступит время. Ибо пророки и праха моего не оставят в покое, если только проведают, что я обнаружил их пол. Об одном из них я знаю это наверняка.

Самым большим преследованиям, дорогие наследники, всегда подвергались те, кто обнаруживал старых баб на кафедре, на амвоне, в государственном совете и среди полководцев.

Молюсь тебе, разум, сын божий, заступник мужей, дыхание души! Молюсь тебе в духе и в истине. Ты потрясаешь мне сердце и утробу. Веди меня, будь со мной до конца дней моих! Скромное, непритязательное моление, моление раба! Но большего я не прошу.

Вышеприведенное есть моя последняя воля, без обозначения места и числа, ибо я желаю, чтобы она была действительна повсюду и во все времена.

Иодок Зеведей Шноттербаум,
магистр свободных искусств».



ПОСЛЕСЛОВИЕ

(Несколько лет спустя)

Я не дождался конца этой сцены. Когда при чтении соответствующего места завещания сначала воцарилась гробовая тишина, а затем ликование, презрение, страх, гнев, ужас, насмешки, ругань — словом, всякие аффекты дали себе волю во взглядах, мимике и криках и оба доктора, как бы пораженные пулей, отклонились на спинки кресел, я воспользовался этим моментом и удрал. В три прыжка очутился я в заведении, поручил слуге послать мне вслед мой чемоданчик (что он честно исполнил) и опрометью выбежал из ворот, так как чувствовал, что здесь все кончено, кончено навсегда. На улице я промчался мимо магического портного, которого увлекала некая темная сила. Простонародие называет это пинком в зад. Но Дюр еще не совладал со своими чувствами и потому впоследствии с полным правом утверждал, что был поднят и унесен порывом экстаза.

Позднее я узнал о дальнейшем ходе событий. Правда, до меня дошли две различные версии. Первая гласила, что, как только магистр Шноттербаум закончил свою загробную речь, из-за ширмы выступил подлекарь и подтвердил завещание следующими вескими словами:

— Эге, мать Урсула и тетушка Бета, вот где привелось неожиданно вас встретить!

После этого чиновник сказал пророкам, удвоив свойственную ему дьявольскую мягкость и учтивость, что он со своей стороны считает шноттербаумовское завещание саркастической шуткой старого злобного магистра и что приезжий господин доктор ошибается, введенный в заблуждение поверхностным сходством. Однако распоряжение начальства обязывает его выяснить положение со всех сторон. Совершенно ясно, что даже в отношении чудес многое зависит от того, сообщает ли о них мужчина или старая баба. И так как случайно здесь присутствует специалист, то он принужден — правда, с болью в сердце и с глубоким почтением к обоим господам — все же просить их в целях дальнейшего выяснения пожаловать за ширму вместе с приезжим доктором.

Несмотря на бешеное сопротивление, чиновник сумел настоять на своем, и четверть часа спустя подлекарь из Вюрцбурга выдал удостоверение по чести и совести, что магистр Шноттербаум покинул мир, не запятнав себя ложью.

Согласно второй версии, все кончилось оглашением завещания. Все вышеуказанные аффекты разрядились в звонком хохоте. Подлекарь вышел, смеясь, из-за ширмы и от смеха не мог сказать ни одного путного слова относительно того, узнает ли он или не узнает героев дня. Хохот был так заразителен, что даже старый комичный Кернбейсер присоединился к нему и воскликнул:

— Это самая изумительная шутка, которую только можно придумать, но она нисколько не опровергает существования срединного царства!

Это всеобщее финальное веселье усиливалось еще тем, что, как передают, чиновник сохранил и в этот момент свою истинную или напускную, ничем непоколебимую серьезность. Относительно обследования за ширмой эта версия ничего не сообщала.

Между тем завещание магистра продолжало еще долго оказывать свое влияние, так как, куда бы я с тех пор ни попадал, везде народная молва говорила, что старый Шноттербаум открыл истинный пол корифеев срединного царства.

Этим, как ясно чувствовалось, был нанесен удар высшему, т. е. кернбейсер-эшенмихельскому миру. Наследники же магистра беспрепятственно вступили в права наследства, согласно тексту завещания.

ПРИМЕЧАНИЯ

Г. Бюргер

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА ФОН МЮНХГАУЗЕНА

[1] Имеется в виду русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русскими войсками командовал фельдмаршал Миних (1683—1767), известный государственный деятель того времени, выходец из Германии. В 1737 г. под его командованием русские войска овладели турецкой крепостью Очаков.

[2] Подразумевается прутский поход Петра I в 1711 г., кончившийся неудачно для России. Согласно условиям мирного договора, Россия обязывалась уступить Турции город Азов и ликвидировать несколько крепостей на южных рубежах.

[3] Франсуа Бланшар (1753—1809) — выдающийся французский воздухоплаватель, совершивший в 1785 г. первый перелет на аэростате через канал из Дувра в Кале.

[4] Племянник библейского царя Давида, отличавшийся быстротой хода.

[5] Статья Ягеманна «Спасение чести Италии, задетой замечаниями Гауптмана фон Архенгольца» в журнале «Deutsches Museum», 1786.

[6] Подразумевается осада Гибралтара 1779—1783 гг., в которой против англичан, захвативших в 1704 г. Гибралтар, совместно действовали испанцы и французы.

[7] Известная английская фирма, выпускавшая оптические приборы.

[8] Жорж-Луи Леклерк, граф Бюффон (1707—1788) — знаменитый французский ученый-естествоиспытатель, автор многотомной «Естественной истории животных».

[9] День рождения английского короля.

[10] Звезда из созвездия Большого Пса.

[11] Имеется в виду книга П. Брайдона «Путешествие в Сицилию и на Мальту».

[12] Английская мера жидкости.

К. Иммерман

МЮНХГАУЗЕН

Первая книга

[1] Карл Вильгельм Рамлер (1725—1798) — немецкий поэт, автор од, духовных и светских кантат. Современники называли его немецким Горацием.

[2] Так проходит мирская слава.

[3] Намек на книгу Давида-Фридриха Штрауса «Жизнь Иисуса».

[4] Под именем I'Oie выводится либеральный ученый-правовед Эдуард Ганс (1798—1839), автор работы «Ретроспективный взгляд на людей и события».

[5] В этой главе Иммерман пародирует Вальтера Скотта, увлекавшегося пространными описаниями.

[6] Вильгельм с 1803 г. был курфюрстом Гессенским. После Тильзитского мира (1807) он потерял трон. Курфюршество было ему возвращено в 1813 году.

[7] Под именем римского историка Веллея Патеркула Иммерман вывел фаворита курфюрста, ростовщика Будеруса фон Карлсгаузена.

[8] М. А. Ротшильд, возведенный в 1822 году в баронское достоинство, спас капиталы курфюрста, когда тот бежал после заключения Тильзитского мира.

[9] В 1776 году Вильгельм продал Англии несколько полков для подавления восстания в североамериканских колониях.

[10] Фридрих Великий.

[11] В 1832 г. вышли «Письма из и об Италии немецкого учителя Лебрехта Гирзевенцеля, изданные доктором Эрнстом Раупахом». Имя «Изидор» Иммерман взял из трагедии Раупаха «Крепостные, или Исидор и Ольга». Парикмахером он называет его, вероятно, потому, что Платон в своей «Роковой вилке» выводит Раупаха в этой роли.

[12] Раупах долгое время жил в России. Поэтому, вероятно, Иммерман производит его в кожевенники.

[13] Это место является сатирой на драму Раупаха «Гогенштауфены». Раупах написал 16 драм этого цикла, которые не лишены занимательности. В них восхваляется королевская династия, а католическая церковь выведена в жалком виде, что и вызвало критику Иммермана.

[14] Адольф Мюльнер (1774—1829) — автор фаталистической трагедии «Преступление». Иммерман неоднократно высмеивал его.

[15] Эрнст фон Говальд (1773—1845) — автор драмы «Картина», героиню которой зовут Камилла, что по-немецки означает «старая сказка». Муж Камиллы бежит, его приговаривают заочно к повешению и вздергивают его портрет.

[16] Под Санд-Иерусалимом Иммерман подразумевает Берлин, скомбинировав это название из двух, употреблявшихся Пюклер-Мускау,— «Сандомир» и «Новый Иерусалим».

[17] Луи Ангели (1787—1835) — актер и автор фарсов, имевших успех. Покинув сцену, он стал хозяином постоялого двора.

[18] Валгалла — нечто вроде пантеона возле Регенбурга, открыта уже после выхода «Мюнхгаузена».

[19] Тонкий нюхательный табак.

[20] Пьесы Раупаха.

[21] Гегельянец Гейнрих Густав Гото (1802—1873), профессор Берлинского университета, приверженец Раупаха. В 1830 г. он сказал на лекции, что Иммерман слабый писатель, но выдающийся критик, о чем передали Иммерману.

[22] Комический персонаж, фигурирующий в нескольких пьесах Раупаха.

[23] Комический персонаж.

[24] Трилогия Раупаха «Дела любовные и брачные Ганса Михеля Редьки».

[25] Фраза основана на непереводимой игре слов Till-Dill (укроп) и Petersilie (петрушка) из драмы Раупаха.

[26] Адольф Шрётер (1805—1875) иллюстрировал «Мюнхгаузена».

[27] Обе пьесы принадлежат перу Фридриха Людвига Шредера (1744—1816), директора театра. Иммерман высоко ценил Шредера.

[28] Под Нахтвехтером (Ночной сторож) выведен Вольфганг Менцель (1798—1873), редактор литературного приложения к «Утреннему листку».

[29] Л. Г. Шпитлер (1752—1810) — историк; А. Л. Шлецер (1735—1809) — историк, филолог, автор «Нестора» и десятитомной переписки.
[30] Леопольд фон Ранке (1795—1886) — немецкий историк. Иммерман очень ценил его труды.
[31] Гуцков написал эту книгу во время заключения в тюрьме в Мангейме.
[32] Генрих Стеффенс (1773—1815).
[33] Длинные накидки.
[34] Лак = 100 000 рупий.
[35] Генрих Чокке. «Часы молитвы» (1809—1811).
[36] Сатира на «Христианскую мистику» Иозефа Гёрреса.
[37] Высмеивается пристрастие Пюклера к орденам.
[38] Все эти теологи были противниками Штрауса.
[39] Гёррес — выходец из Кобленца. В молодости, сочувствуя французской революции, издавал «Красный листок», а также журнал «Рюбецаль», выходивший в синей обложке. Впоследствии он принимал участие в национальном немецком движении.
[40] В 1835 году Гуцков издал «Люцинду» Фридриха Шлегеля, восхвалявшую чувственные наслаждения любви, и указал в предисловии, что сочувствует «эмансипации тела». Затем он выпустил роман «Сомневающаяся Валли».
[41] Герой романа «Сомневающаяся Валли».
[42] Сатира на роман Гуцкова «Серафина».
[43] Имеется в виду Беттина фон Арним, которая выпустила в 1835 году «Переписку Гёте с ребенком».
[44] Намек на длительный конфликт между Гёте и Беттиной.
[45] Беттина была урожденная Брентано. Здесь имеется в виду и ее брат, писатель Клеменс Брентано.
[46] Графиня Юлия Галленберг и певица Генриетта Зонтаг были приятельницами князя Пюклер-Мускау. Беттина фон Арним тоже была с ним в близких отношениях.
[47] Египетскими маркизами Иммерман называет образованных еврейских дам Доротею Шлегель, Рахиль Фарнгаген фон Энзе и др., игравших большую роль в немецкой литературной жизни того времени.
[48] Ирония по поводу теории, считавшей, что соки человеческого тела и их смешения являются причиной болезни.
[49] Намек на князя Пюклер-Мускау, женившегося после многочисленных любовных приключений на рейхсграфине Люции фон Паппенгейм, которая была старше его на девять лет. Женившись по любви, князь тем не менее рассчитывал на солидное приданое. Расчеты его не оправдались, а произведенные затраты грозили разорением. Княгиня предложила мужу развестись и жениться для поправления дел на богатой англичанке. Пюклер в конце концов согласился, развелся с ней и отправился в Англию. Но осуществить задуманное не смог. Князь вернулся к своей Люции и жил с ней в любви до самой ее смерти.

Вторая книга

[1] Веревка — символ власти.
[2] Владелец свободного двора под названием Баум; это название заменяет крестьянину фамилию.
[3] Основателем тюбингенского протестантизма был Фердинанд Христиан Баур (1792—1860) — немецкий протестантский теолог, автор

книги «Противоречия между католицизмом и протестантизмом».
4 «Адом» называют истоки Дуная.
5 Имеется в виду пользовавшаяся у романтиков большим успехом книга «Взгляд на темные пункты в науке о природе» Гейнриха фон Шуберта (1780—1860). В «Мюнхгаузене» встречаются неоднократные намеки на это произведение.
6 Бамбоччиадами называют грубокомические сцены из жизни простонародья, как их рисовал художник Питер де Лар по прозванию Бамбоччо.
7 Оброчный крестьянин.
8 Намек на Шарлотту Штиглиц. Она покончила с собой, надеясь своей смертью вызвать в своем супруге поэте Генрихе Штиглице глубокую скорбь, которая оплодотворила бы его творчество.
9 Евгений Богарне, вице-король Италии; маршал Ней, князь московский; граф Рапп, генерал.
10 Граф Сегюр, автор «Истории Наполеона и его великой армии в 1812 г.»; барон Гурго выпустил вместе с Монтолоном «Мемуары Наполеона на острове Св. Елены»; барон Фен, автор исторических работ о событиях 1812—1814 гг.; граф Лас Каз опубликовал известные «Воспоминания с острова Св. Елены».
11 Иммерман имеет в виду обелиск, воздвигнутый в Берлине в 1821 г. в память об освобождении от Наполеона.
12 «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» — роман английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768).
13 «Швабский Меркурий» — самая крупная газета в Вюртемберге.
14 Монета, имеющая вдавленное изображение на одной стороне и выпуклое — на другой.
15 Согласно преданиям, так назывался глава восточной разбойничьей секты.
16 Иммерман называет пастушеским поэтом автора «Идиллий» Соломона Геснера (1730—1788), а картофельным — Иогана Генриха Фосса (1751—1826), который обличал крепостное право.

Третья книга

1 Платон называет в «Пире» Диотиму, жрицу из Мантинеи, своей учительницей любви. В этом смысле Диотима стала именем нарицательным.
2 В комедии Аристофана «Мир» Тригей едет на Олимп верхом на навозном жуке.
3 Густав Кюне (1806—1888) и Теодор Мундт (1808—1861) — писатели группы «Молодая Германия». Расточали похвалы друг другу.
4 Курорты с сернистыми источниками.
5 Нострадамус (1503—1566) — французский врач и астролог. Получил известность как автор «Столетий», содержащих предсказания грядущих событий европейской истории.
6 Пародия на сцену из «Смерти Валленштейна» Шиллера.
7 Буттерфогель — «бабочка».—*Нем.*
8 Подразумевается граф Рачинский, написавший книгу «История современного немецкого искусства».
9 Иммерман имеет в виду итальянского скульптора Антонио Канову (1757—1822), который ребенком лепил фигуры из масла.
10 Аббат де ля Плюш (1688—1761) — французский писатель; «Шельмуфский» — роман Христиана Рейтера; «Азиатская Баниза» — роман фон Циглера и Клипгаузена; Нейбер — известная артистка, биография которой была написана Ф. С. Мейером.

[11] Из оперы Россини «Танкред».
[12] Намек на чисто турецкое, деспотическое правление в Ганновере.
[13] Пародия на заглавия некоторых современных Иммерману сборников стихотворений.
[14] Миф повествует: Пегас ударил копытом в скалу и оттуда потек источник Гиппокрены.
[15] Распространено мнение, что на образцовом итальянском языке говорят тосканцы.
[16] Сиракузский идиллический поэт III в. до н. э.
[17] Греческий буколический поэт III в. до н. э.
[18] Небольшое судно.
[19] Такое ироничное название получило здание, где заседал Франкфуртский сейм, который проявил некомпетентность по большинству обсуждавшихся вопросов.
[20] Карл Игнац Лоринзер (1796—1853) — врач, автор книги «Защита здоровья в школах», которая вызвала так называемый «лоринзеровский спор».

Четвертая книга

[1] Четвертая книга «Мюнхгаузена» представляет собой сатиру на врача Юстинуса Кернера, который жил в Вейнсберге. Его работы в области сомнамбулизма и магнетизма вызывали насмешки у современников.
[2] Епископ, основавший Вюрцбургскую богадельню.
[3] Книга Юстинуса Кернера. В ней описаны видения больной Фредерики Гауфе.
[4] Целебный источник.— *Нем.*
[5] Под Кернсбейсером Иммерман разумеет Кернера, а под Эшенмихелем — тюбингенского профессора Карла Августа Эшенмейера. Оба работали в одной области, а отчасти — и вместе.
[6] Под Асмусом Иммерман вывел Матиаса Клаудиуса, который в своем сочинении рассказал об аудиенции у японского микадо.
[7] Ахитофель — военачальник царя Давида, подговоривший Авессалома к восстанию против своего отца.
[8] Эмануэль Сведенборг (1688—1772) — шведский теософ.
[9] Намек на стихотворение Кернера «Теленок».
[10] Мир духов, по арабским сказаниям.
[11] Персонажи из «Короля Лира».
[12] Мист — жрец Цереры; эпопт — жрец элевзинских таинств, достигший третьей, или высшей, степени познания.
[13] Два неразличимо похожих друг на друга близнеца из комедии Плавта того же названия. В данном случае имеется в виду вообще мотив сходства.

СОДЕРЖАНИЕ

Рудольф Эрих Распе

ВЕЧЕРА БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

Готфрид Август Бюргер

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ БАРОНА ФОН МЮНХГАУЗЕНА

Карл Лебрехт Иммерман

МЮНХГАУЗЕН

История в арабесках

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ КНИГА

МЮНХГАУЗЕН ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СЦЕНЕ

ВТОРАЯ КНИГА
ДИКИЙ ОХОТНИК

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ КНИГА
ШНИК-ШНАК-ШНУРСКИЕ СОБЫТИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА
ДУХИ ВНУТРИ И ВОКРУГ ВЕЙНСБЕРГА

Д 22 Два Мюнхгаузена: Удивит. приключения барона Карла на суше и воде, на войне и на охоте, верхом и в карете и столь же невероят. похождения его внука, побывавшего в кармане сюртука, в старин. замке и в других местах: Пер. с нем./Сост. и авт. предисл. С. А. Корень, А. В. Сапун.— Мн.: Беларусь, 1993.— 462 с.: ил.

ISBN 5-338-00911-0.

В книге представлены три произведения на одну тему. Р. Э. Распе и Г. А. Бюргер повествуют о приключениях барона Карла Ф. И. Мюнхгаузена, бывшего гусара русской армии. К. Л. Иммерман в своих арабесках рассказывает о столь же невероятных похождениях внука старого барона.

Для массового читателя.

Д $\frac{4703010100—021}{М 301(03)—93}$ Без объявл. ББК 84.4Г

Литературно-художественное издание

ДВА МЮНХГАУЗЕНА

Удивительные приключения
барона Карла
на суше и воде,
на войне и на охоте,
верхом и в карете
и столь же невероятные
похождения его внука,
побывавшего в кармане сюртука,
в старинном замке
и в других местах

Составители Корень Светлана Александровна,
Сапун Александр Владимирович

Ответственные за выпуск *С. А. Корень, А. В. Сапун*
Художник *А. А. Кулаженко*
Художественный редактор *А. А. Шуплецов*
Технические редакторы *С. Л. Сармант, Я. С. Шляшинская*
Корректоры *Н. Н. Масаренко, Г. К. Пискунова, Л. Б. Шинкевич*

Сдано в набор 19.08.92. Подп. в печ. 25.03.93. Формат 84 $\times$ 108 $^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура тип Таймс. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 26,25. Тираж 120 000 экз. Зак. 2274.

Ордена Дружбы народов издательство «Беларусь» Министерства информации Республики Беларусь. 220600, Минск, проспект Машерова, 11

Лицензия № 2.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005. Минск, Красная, 23.

